Цена 90 коп. Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ»—89

РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ следующие произведения:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Скрижали и колокола.** Роман.

Игорь ВОЛГИН. **Политический процесс** (Достоевский и современники: жизнь в документах). Книга вторая.

Д. А. ВОЛКОГОНОВ. **Триумф и трагедия** (Политический портрет И. В. Сталина). Вторая часть.

Александр ГАЛИЧ. **Генеральная репетиция.**

Майя ГАНИНА. **Зимородок — синяя птица.** Роман.

Василий ГРОССМАН. **Все течет.** Повесть.

Руслан КИРЕЕВ. **Пир в одиночку.** Роман.

Федор КОЛУНЦЕВ. **Свет зимы.** Роман.

Анатолий КУРЧАТКИН. **Веснянка.** Повесть.

Подборки новых стихов

Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Константина ВАНШЕНКИНА, Евгения ВИНОКУРОВА, Инны КАШЕЖЕВОЙ, Александра КУШНЕРА, Юнны МОРИЦ, Ивана САВЕЛЬЕВА, Давида САМОЙЛОВА.

«Октябрь», 1988, № 8, 1—208

1988 8 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

8

1988



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1988

АВГУСТ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Александр ПРОХАНОВ

Шестьсот лет после битвы

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Стройка глотает грузы, чавкает, лязгает, ворочается в ледяных котлованах. Подымает из грунта зазубренные, в стальной щетине бока, шершавые горбы и уступы. Трасса гонит и гонит бетон, металл, механизмы, кормит ненасытную стройку.

Все это там, за окном кабинета. А здесь — лакированный стол. Разноцветный раскатанный график. Внимательные наклоненные лица. Замминистра пробегает глазами стрелу пускового графика от тонкой синей черты, отмечающей сегодняшний день, к завтрашнему красному кругу — дню пуска второго реактора.

— Повторяю! — Замминистра тяжело из-под мохнатых бровей оглядел собравшихся. Смуглого, с седыми висками начальника строительства Дронова; его заместителя, моложавого, с красивым тонким лицом Горностаева. Главного инженера Лазарева, чьи умные темные глаза скользили вдоль линии графика. Молчаливого, замкнутого, с обветренными губами секретаря райкома Кострова. Все они склонились над графиком, и стрела, выточенная из дней и ночей, нацеленная в завершающую красную мишень, пролетела сквозь них, собравшихся. — Повторяю!..

Он старался быть твердым и жестким всем своим видом — стариковским басом, шевелением бровей, тяжестью жестов и слов. И одновременно робел их, отстранялся. Чувствовал мгновенный страх, подозрительность, неприязнь. Они могли уже знать о его несчастье. Молчали, но знали. Молча потешались над ним, не верили ни одному его слову. Изображали внимание, почтение, но потешались.

На столе в стеклянной колбе пульсировал электронный частотомер. Зеленые дрожащие цифры кипели, как пузырьки. Прибор мерил пульс высоковольтной сети. Огромная синусоида пробегала по стране от океана до океана. Крутила моторы, гнала поезда, плавила сталь. Страна добывала энергию, сжигая мазут и уголь в топках громадных ГРЭС, крутила на реках турбины, расщепляла уран в реакторах атомных станций. В стеклянной колбе дрожала невесомая бестелесная весть о грохочущей в дымах и огнях работе.

Замминистра посмотрел на прибор и вдруг вспомнил, как на даче в Крыму внук принес банку с зелеными богомолами. Поставил у него на окне, и они за стеклом бесшумно совершали свой неутомимый скользящий танец.

— Я повторяю еще раз: это — решение правительства! Вам вдвое урезали сроки пуска. Но у вас достаточно времени, чтобы перепланировать свои возможности. После наших неудач на Украине мы остро нуждаемся в вашем блоке. Государство возьмет у вас станцию в срок, чего бы это вам и нам вместе с вами ни стоило. Под эти киловатт-часы, не мне вам это рассказывать, уже запланированы потребители. Их ждут заводы, чей

пуск совпадает с пуском вашего блока. Их ждет оборона, а она ждать не может. Эти киловатт-часы уже проданы по поставкам СЭВ, и их ждут не дождутся в Польше. Мы не можем нарушить контракты, не можем не удовлетворить оборону, не можем обрекать на простои заводы. В случае вашего срыва государство будет вынуждено сжечь на ГРЭС дополнительные нефть и мазут. Покрыть ваше неумение работать за счет все той же матушки-земли. Ваши отговорки, как я их понимаю, ссылки на обстоятельства есть синдром Чернобыля, которым многие теперь прикрываются...

Он оглядывал их лица, стремясь уловить в них двойной ответ. На эти суровые, непреложные, связанные с судьбой государства требования. И на малый больной вопрос, связанный с его личной судьбой. Этим вопросом, этой больной, мучительной тайной, которую они могли уже знать, было решение освободить его, замминистра Авдеева, от должности. Отправить его, старика, на пенсию. «На дачу, на травку, на Рогожское...» — думал он угрюмо.

Крепкий, властный, привыкший руководить и командовать, привыкший работать без устали, он был уже устранен. Эта истина, пока что известная малому министерскому кругу, еще только обрастала подписями, утверждениями в инстанциях, не имела формы приказа. Но была уже в нем, уже мертвила его. Явившись на станцию, готовый порицать и приказывать, он был уже неопасен. Был безвольный, беспомощный. Чувствовал себя таковым. Хотел угадать, чувствуют ли и эти, собравшиеся.

— Афанасий Степанович, вы правы во многом, но и нас вы поймите! — Горностаев, любезный и вкрадчивый, провел над графиком своими длинными белыми пальцами. — Синдром Чернобыля действительно имел место, но он преодолен. Сейчас мы пойдем на станцию, и вы лучше почувствуете наши сложности, наши узкие места и, надеемся, поможете нам, как всегда помогали!

Нет, пожалуй, они не знают. Сплетня не успела дойти. Не донеслась по телефонам и телетайпам. Не просочилась с командировочным людом, с визитерами из министерства и главков. Те, начавшиеся в Москве недомолвки, намеки, едва заметные признаки отчуждения, когда окружение начинает меняться, начинает от тебя отворачиваться. Не сразу — то один, то другой. Припоминают твои личные слабости, служебные просчеты и промахи. Втихомолку злорадствуют, лицемерно сочувствуют. Ты забыт, от тебя отреклись, желают твоего устранения. Всматриваются, подымаются на цыпочки, стремятся углядеть, кто преемник. Кто он, облеченный новой властью, новым доверием. «Перевертыши! Никогда вам не верил!» — беспощадно думал он.

Испытывал презрение, почти отвращение к преемнику, еще неизвестному, выжидающему, ловкому, цепкому, усвоившему новые веяния, новые словечки и термины. И к тем своим сослуживцам, торопливо от него отрекавшимся. И к себе самому, униженному, с двусмысленной ролью. Был готов погрузиться в огромную, на остаток жизни, обиду, в прозябание, в ворчливое неприятие, в быстрое дряхление вдалеке от этих станций и строек, из которых весь состоял, которые у него отбирали. «Старый хрыч... Устал и не нужен... Поведут тебя убивать...»

Но нет, еще не отставлен. Он еще был замминистра. И эти, за столом, не знали о его отстраненности. Он был, как и они, отягчен государственным делом, обременен непомерной заботой. И оно, это дело, оставалось превыше обид. Он смотрел на пляшущие зеленые цифры. Зеленые танцовщицы танцевали танец об огромных заводах, о рождаемых ежесекундно младенцах, о хирургах под операционными лампами, о стартующих на полигонах ракетах. И в этих биениях и ритмах стоязыкой страны был и его ускользающе малый пульс, готовый замереть и исчезнуть.

— Идемте на станцию! — сказал он, грузно вставая. Попробовал пошутить: — Посмотрим ваши стыки и ваши разъемы. Посмотрим, как вы перестраиваетесь...

Шли, не задерживаясь, по первому работающему блоку. Сначала по удобным чистым коридорам с одинаковыми дверями, за которыми скрывались эксплуатационные службы. Вышли в машинный зал, огромную туманно-голубую кубатуру, наполненную мерным гремучим рокотом. Равномерное слияние множества вращений, качений. Трение воды о стальные объемы труб. Давление раскаленного пара в летящие лопатки турбины.

Уханье насосов, поршней. Умягченное маслами и смазками, подхваченное гулкими сводами, это гудение превращалось почти в тишину, в металлическую неподвижность туманного напряженного воздуха, в котором разноцветно изгибались ребристые трубы, взбухали цилиндры и сферы, уложенные, упакованные в незыблемое сложное единство.

Замминистра шагал через зал, не разумом, а всей своей инженерной сутью понимая конструкцию станции, ее мощь, красоту. Стекло и сталь отделяли внешний мир, нерукотворную, естественную природу от рукотворной, сотворенной разумом. Он думал с гордостью, как о деле своих собственных рук, о соизмеримости этих двух стихий.

«Болтуны! Писаки! — обращался он к кому-то, ненавистному, глумливо-болтливому, досаждавшему трескотней статеек, бесконечным бездарным лепетом, отнимавшему у него, инженера, это чувство красоты и могущества. — Не сметь! Не трогать руками!..»

Не умея отрешиться от своего едкого раздражения, выговаривал начальнику строительства Дронову:

— Вы повторяете ошибки, допущенные при строительстве первого блока! Сначала затянули бетонные и земляные работы. Потом, естественно, затянули монтаж и наладку. А теперь, когда навалились сроки, делаете и то, и другое разом. И вот вам неразбериха! Вот вам хаос! Вот вам ваша самостоятельность!.. Извлеките уроки из прошлого! Вы же опытный, тертый строитель!

Дронов хмурился, не отвечал на упрек. Сохранял на лице упрямое несогласие.

— Вам увеличили ресурсы, как вы просили. Пошли на увеличение рабочей силы! Дали вам людей. Дали заключенных, расконвоированных. К тому же у вас появились теперь новые рычаги и стимулы. Двигайте ими! Работайте по-новому! Это мы работали по-старому. А вы давайте по-новому!

«Да что это я лицемерю? — спохватился замминистра, косясь на Дронова. — Насквозь меня видит. Не любит! Валит меня!.. Я, старик, — про новые времена. Оно его, это время. Не мое, а его! Он меня им и валит! Он, Дронов, в мое седло пересядет. О нем поговаривают... Ну скачи, скачи, молодец! Посмотрим, далеко ли вы на новом коне ускачете!»

И эта едкая неприязнь и ревность сменились в нем смутной тревогой, посещавшей его теперь постоянно. Опасением — не за себя, а за все громадное любимое дело, за государство, которому верой и правдой служил, в незыблемость которого верил. И она, незыблемость, стала вдруг колебаться, породила страхи, сомнения. Новые времена, где ему не быть, куда отпускал от себя свое дело, сулили беды. И они, эти новые люди, оттеснявшие его, старика, сумеют ли справиться с бедами? Не напортят построенное с таким усилием? Не разбазарят накопленное с таким трудом?

Проходили диспетчерский пост — драгоценный стеклянный витраж, выполненный столичным дизайнером. В приоткрытую дверь мелькнул на мгновение округлый пульт в бессчетных миганиях и блестках. Бригада диспетчеров в голубых, словно скафандры, комбинезонах действовала среди кнопок и клавиш. Пульт искрился, мерцал, как небесный свод. Инженеры, как космонавты, вели гудящую станцию, и казалось, она одолевает гравитацию, отрывается от бренной земли, летит в мироздание.

И мгновенный, пугающий, затмевающий зрение образ. Другой — чернобыльский пульт. Среди недвижных погасших приборов — горящие вспышки тревоги. Сигналы аварии. Пылающее световое табло. Разгромленные, залитые жижей коридоры, ошметки обгорелого кабеля, чадящее зловоние пластика. Задыхаясь, сипя в респиратор, он грузно бежит, сторонясь застекленных окон, в которые бьет радиация всей мощью и ядом развороченного четвертого блока, яростью пекла, сжигающего сталь и бетон.

«Нет, погоди, не здесь! — суеверно, защищая станцию, запрещал он себе вспоминать. — Не теперь!.. Не об этом!..»

Подумал: он уйдет, устранится, унесет с собой свое время, уступит место другим. Но останутся его дела. Останутся станции.

«Говорили «надо» — и делали! Надо — и строили станции. Надо — и оборону! Вот так, в этих «надо», в этих надрывах, поставили государство, выиграли войну!.. Что ж, давайте, творите, делайте теперь по-другому!..»

Миновали зону первого безлюдного блока, наполненного автоматами. Уткнулись в металлическую сетку с турникетом, у которого стоял вахтер. Пост вооруженной охраны отделял действующую зону станции от стройки. Прошли турникет и оказались в другом пространстве и времени.

Черное, ржавое, из разрывов и провалов пространство окружило их. Тусклое железное небо, сконструированное из двутавров, нависло над ними, осыпало окалиной, сором. Двигались бесформенные пыльные тучи. Гремело и вспыхивало. Сочились длинные огненные ручьи, плоско разбивались о невидимые преграды, проливались водопадами, с треском гасли на мокром бетоне. Клубилось, мерцало и лязгало. Двигались в воздухе обрезки труб, бадьи с раствором. Шипели ядовитые огни автогена. Краснели ожоги сварки. И повсюду — внизу, наверху, в поднебесье и в темных провалах, — везде были люди. Толкали, точили, жгли, врезались и ввинчивались, кроили и резали. Вытачивали станцию. То ярко освещенные, то едва заметные. Складывали воедино бесчисленные разрозненные части. Приваривали искусственное небо к рукотворной земле. Наполняли их еще неживыми машинами. Соединяли, укладывали по невидимому, ускользавшему от понимания замыслу.

Едва вступив в этот едкий обжигающий воздух, едва глотнув этот огненный металлический дух, погрузившись в визги и скрежеты, в стенания и вопли рождавшейся в муке громады, замминистра испытал знакомое давнишнее счастье. Это был его мир. Нет, не тот мир, министерский, кабинетный, бумажный, — мир стройки. Здесь ему было хорошо. Здесь было ему понятно. Здесь, в этом хаосе, из которого выдиралась станция, обретая форму и контуры, уже просматривались ее будущие красота и могущество. В этих черновых стомерных усилиях, сочетавших людей и металл, неодушевленную материю и возвышенный дух, — здесь он был нужен. Был свой.

Начальник участка Язвин, в белой рубахе и галстуке под спецовкой, с перстнем на чистой руке, остановил его, не пуская под внезапный, пролившийся сверху огонь: «Эй, там, наверху! Осторожней! Дай пройти!»

На его окрик из железной стены выглянуло лицо, протянулась рука с держателем. Сварщик, прикованный цепью, с любопытством посмотрел на проходившее начальство. Едва оно прошагало, забыл о нем, снова вонзил электрод, откупорил в стене огненный шипящий источник.

Замминистра шел вдоль машинного зала, по звукам, по запахам и огням, по скоплениям людей угадывал движение стройки. Ее сбои, огрехи. Промахнувшиеся, несведенные стыки, где простаивали и курили бригады. Видел просчеты управления, утечку материалов, энергии. Видел взбухшие узлы напряжений, где работа удавалась и спорилась, рвалась вперед и люди упорно и жадно кидались на эту работу, загребали ее себе. В этом дыме и скрежете добывали заработки, благополучие семьям. В сверхплотном и страстном контакте с угрюмым непускавшим металлом одолевали его и сминали.

Он все это видел и знал. Понимал стратегию стройки. И снова — больная, пугающая, безнадежная мысль: ведь это его последняя стройка, последняя станция. И другая мысль, напоминавшая панику: «Не хочу уходить! Не уйду! Умру, не уйду! Здесь останусь!..»

Он и впрямь был готов здесь остаться. Отказаться от министерского кресла, от почета и власти, от «чайки», что поджидала его у подъезда и готова была умчать в своем длинном уютном салоне, от пайков, привилегий, престижа. Готов был работать здесь любым, самым малым прорабом. Хоть шлифовальщиком, сварщиком. Даже стоять на вахте, охраняя этот грохот и звон. Если нет — готов умереть. Превратиться в сталь водоводов, в асбестовый кожух турбины, в языки автогена и сварки, в ругань и хрип бригад. Любой ценой быть готов сохраниться в суммарном мире стройки.

«Не правы!.. Буду бороться!.. Ненавижу!.. Брехуны, краснобаи!»

Кругом продолжалось движение. Прошли монтажники в робах, с нашивками, в черных подшлемниках, перешнурованных белым крест-накрест. Несли на плечах рулоны сверкающей жести. В каждый рулон залетал блик света. Метался, крутился в раструбах на плечах у рабочих.

Неслась в высоте тускло-желтая балка крана. Под ней, в клетчатой стеклянной кабине, виднелось девичье лицо. Навстречу несся другой, красный кран. Они сближались, как в воздушной атаке, готовые протаранить друг друга. Замедлили движение. Замерли. Подняли на разных высотах связки стальной арматуры.

К грязным перекрестьям двутавров припал рабочий. Черный в измызганной робе, расставил сбитые кирзовые сапоги. Кричал, хрипло кашлял, кого-то материл. Коснулся электродом двутавра. Из-под рук ударили прозрачные голубые лучи, невесомые синие лопасти. Воздух вокруг наполнился чистым сиянием. И он вспорхнул на этих лучах, затрепетал на этих крыльях, как синий ангел среди железного гудящего неба. Погас электрод. Стал черный, замызганный. Только у лица с опущенной маской горела остывшая алая, зажженная им звезда. Гасла, входила в конструкцию станции.

Сопровождаемый свитой, вошел сквозь алюминиевую дверь в помещение диспетчерского пункта. Ярко горели лампы-времянки. Мерцала сварка. Штукатуры белили потолок. Электрики подвешивали плафоны. На полу ветвились многоструйные плети кабелей. Разделялись, расслаивались, подползали к пульту. Длинная выгнутая панель с пустыми глазницами, без циферблатов, была не похожа на соседнюю, в рабочем блоке, горевшую, как галактика. Была еще погашенным звездным небом. Еще неоживленной вселенной.

Наладчики в белых халатах. Сварщики в грязных робах. Прибористка с паяльником, роняющая оловянную каплю на серебряный лепесток индикатора. Маляры, брызгающие краской на пульт. Одна работа настигла другую. Ворвалась в нее, мешала и путала. Люди нервничали. Нервность рабочих передалась инженерам. И они, забыв о высоком начальстве или, напротив, ему напоказ, затеяли перепалку.

— Вот, Афанасий Степанович, наше узкое место. — Начальник строительства Дронов ничего не скрывал, но и ни в чем не винился. Просто показывал узкое место, одно из многих, в которых застряла стройка. Игольное ушко, в которое проталкивали упиравшуюся многогорбую станцию. — Работаем внахлест. Мы посоветовались на штабе. Решили: пусть параллельно работают. Так мы выиграем несколько дней. Думаю, мы правильно поступили, Афанасий Степанович!

— Меня это не интересует! Не интересуют ваши мелкие решения в каждом отдельном случае! — сказал замминистра. — Меня интересует только твердый осадок. Только твердый осадок! Сдача второго блока! — И неожиданно повернулся к маленькому голубоглазому прорабу: — Устали люди? Я спрашиваю: люди устали?

— Да как сказать! — стушевался, спрятал за спину перепачканные руки прораб. — Работаем...

— Да это видно — устали! — Секретарь райкома Костров словно брал под защиту смутившегося инженера.

Замминистра недружелюбно, из-под бровей, посмотрел на молодого, с обветренными губами секретаря. Что он может знать о стройке, о станции, этот секретарь, далекий от инженерного дела, в чей захолустный, захудалый район, славный недородами, непроезжими проселками, обезлюдевшими деревнями, вкатила эта уникальная стройка? Осчастливила его, вывела из безвестности. И теперь он хозяин не чахлых нив, не обшарпанных скотных дворов, а этой красавицы станции, турбин и реакторов. Как он может чувствовать стройку?

— Конечно, устали, — повторил секретарь райкома. — На прошлой неделе вот отсюда, прямо от этого пульта, «скорая» увезла с инфарктом замначальника треста. Обширный инфаркт задней стенки.

— Срыв пуска — это инфаркт энергетики. Инфаркт экономики. Вот о чем надо знать! И главное — «скорую» здесь не вызовешь. Из Японии она не примчится. И из ФРГ не примчится. И из Штатов к нам не примчится. Так что лучше не доводить до инфаркта!

Его жесткий ответ был не им, инженерам. А другим, не знающим этих надрывов и пусков. Как тогда, в Экибастузе, на ГРЭС, когда стройка не давалась, опасывала, оборудование шло нестандартное, рвались трубопроводы, сгорали обмотки и он, инженер, управленец, посылал ночные бригады в закопченное чрево котла. Стройка их сжирала, проглатывала. Выплевывала наутро обрезки труб, измочаленных, изможденных

людей. И с первым поворотом турбины обрывается целая жизнь, целая судьба завершается. Дымит и клокочет станция. Блещет вал генераторов. Рапорты, телеграммы в столицу. А ты опустошенный и мертвый, как после изнурительных родов. Черно-белая казахстанская степь. Полосатые бетонные трубы. Твой электрический дымящий младенец.

Они шли по станции. Ныряли в полутемные глухие отсеки с грозными наледями, из которых торчали вмороженные короба и остовы, веяло стужей, и казалось, что это не стройка, а взорванный умертвленный объект. По узким коридорам переходили в освещенные яркие камеры, где дышали калориферы, ловкие наладчики свинчивали тончайшие драгоценные трубки, устанавливали приборы, похожие на хрустальные сервизы, и пахло здесь ароматными лаками, тонкими эфирами.

Он останавливался, задавал вопросы работающим, как бы незначительные, не связанные с технологией, а такие, чтобы услышать интонацию, не смысл, а звук ответа. По степени его разумности, связности угадать настроение людей, их готовность и желание работать. Находился в полутемном отсеке под выпуклыми цилиндрами баков, а видел всю станцию сразу, внутри и снаружи. Ее образ, ее голографию.

Вошли в гермозону, в герметичный громадный объем, отлитый из сплошного бетона. В огромный непроницаемый кокон, в котором за толщей монолита таился реактор, водяной первый контур, отбиравший тепло из урановой топки. Множество машин и приборов, управлявших работой реактора, уже стояли, сшитые на живую нитку. В оболочку гермозоны были врезаны многожильные тросы, стягивали бетонную корку дополнительным мощным усилием. Оболочка была настолько прочна, что выдерживала прямой удар упавшего самолета. В случае аварии, разрыва трубы держала давление раскаленного радиоактивного пара. Станция была не просто системой, отнимавшей от урана энергию, превращавшей ее в электричество. Она была комбинацией множества защитных систем, предотвращающих утечку ядов. Выброс ее радиации, ее внешнее радиационное поле были меньше, чем естественный фон земли, и намного меньше, чем выбросы радиации из труб теплостанций. Она отличалась от Чернобыльской иным проектом реактора, совершенной и мощной защитой. Но он, замминистра, запрещал сознанию воспроизводить тот злосчастный, взорванный блок, черное, источающее гарь дупло, повторял суеверно: «Не дай бог! Не дай бог!»

— Вот здесь мы потеряли два дня. Отсюда потянулась цепочка потерь, — пояснил ему замначальника стройки Горностаев.

Они вошли в отсек, где бригада с переносными лампами расселась, распласталась среди плетения труб. Ставили задвижки, сорили искрами, шипели газовым пламенем.

— Пожалуйста, ко мне бригадира! — попросил замминистра.

В ватнике, в торчащей из-под каски ушанке, в резиновых сапогах, держа в рукавице пучок электродов, бригадир предстал перед ним, спокойный, сдержанный, угадывая его должность и роль. В этих бетонных промороженных стенах, дыша густым паром, он, бригадир, был хозяином.

— Почему на два дня отстали? — спросил замминистра, чувствуя сквозь бригадирский ватник силу мужского сутулого тела, привыкших к напряжению мускулов. И одновременно озноб сквозь свою шубу, не греющую ослабевшее стариковское тело. — Где вы два дня профукали?

— Кладовщица не выдавала резаки.

— Что, что?

— Кладовщица, говорю, резаки не выдавала. То учет, то отгул. «Я, говорит, плюю на твой пуск. У меня отгул, я не выспалась!» И ушла, заперла кладовую.

— Черт знает что! — охнул замминистра, ощутив знакомый гнев и бессилие. — А вы говорите — новый подход! — повернулся он к начальнику стройки. — Кладовщица, безмозглая баба, срывает пуск станции! Срывает постановление правительства! И вы не можете найти на нее управу? Мы здесь с вами будем принимать сверхмудрые решения, вспоминать партийные пленумы, а у нее отгул, она спать захотела!.. Почему не послали за ней ночью? Почему не подняли из постели? Почему не обеспечили бригаду инструментом?

— Да вы ведь знаете, Афанасий Степанович, какие у нас кладовщицы! — оправдывался Дронов. — Безмужняя, двое детей, сто рублей заработок! Чуть что не по ней — и уходит! Кто за такие деньги будет работать?

— Сами вместо нее встаньте! Другую поставьте! А инструмент у бригады должен быть! — выговаривал он все в том же бессильном гневе — на себя, на начальника, на безвестную кладовщицу, затурканную, злую, изведенную мыканьем по стройкам, по барачным углам, измученную мужем-пьяницей, с неумытыми, кое-как одетыми и накормленными детьми. Гневался и сдавался: все было давно известно. Как вчера, как годы назад.

Крикливая, остервенелая женщина, которой нечего больше терять, некуда отступать и скрываться, и была тем пределом, за который им всем не ступить. У порога ее каморки останавливалась вся экономика, все искусство управлять и планировать.

— Да мы нагнали по срокам, — сказал бригадир, ровняя пучок электродов, упирая иглы в ладонь. — Бригада собралась и решила — работать в три смены. Подравняли график. Даже на полсуток вперед идем.

— Спасибо, — сказал замминистра и прошел под нависшими трубами. Слышал, как кто-то сзади, то ли Язвин, управляющий с перстнем, то ли начальник строительства, благодарил бригадира:

— Спасибо, Семеныч, нашелся! Выручил! Спасибо тебе!

— Резаки давайте! Старые совсем износились! Не могу больше на этих соплях работать! — шипел в ответ бригадир.

Бригада из темных ниш смотрела на них. То и дело зажигала огни, вонзала электроды в железо. Подсвечивала путь замминистру.

Вышли на солнце, на яркий жесткий мороз. Взрывы пара. Тупые удары в грунт прокаленной тяжкой болванки. Криволапые рыжие «татры» с курчавыми гривами дыма. Башня реактора. Бетонный шершавый столп, спекшийся, покрытый коростой, с драгоценной, упрятанной в глубине сердцевиной.

Оболочка реакторного корпуса была наспех, неровно покрашена в грязно-белый цвет. Наверху, незакрашенное, оставалось большое пятно, серо-синее, в подтеках, напоминающее медведя, поднявшегося на задние лапы. Замминистра смотрел на это пятно, похожее на старинный герб. Вставший на дыбы медведь, насаженный на невидимую, убивающую его рогатину, напоминал его самого: «Я, я медведь! Меня убивают!»

Они подошли к подъемнику, к просторной, продуваемой ветром клети. Уплыли вниз кабины самосвалов, разрытые парные котлованы, ползающие бульдозеры. Воспарили сквозь дым и гарь к холодному солнцу. Открывалась даль с перелесками. Белые с гулявшей поземкой поля. Замерзшие озера и реки. Высоковольтные мачты наполняли резным узором туманные просеки. Бетонки искрились моментальными вспышками солнца.

Оттуда, из лесов и полей, приближались стальные пути, катили составы, мчались машины. Стремились сюда, к станции, где кончалась белизна, зачерненная сором и гарью, застроенная, заставленная, заваленная, в копошении людей, механизмов. Из этого подвижного сгустка, как его ядро, вставала башня реактора. Центр гравитации, захватывающий в себя растревоженное сдвинутое пространство, наматывающий на себя поля, перелески, поземки, стягивающий провода и дороги. Все сжималось, вбивалось в ядро.

С мороза и стужи, исполосованные ветром, они нырнули в круглый люк башни. Скрылся внешний, блистающий солнцем мир. Они оказались в замкнутом сумраке, в недрах бетонного кокона. В реакторном зале.

После солнца здесь было тускло. Горели прожекторы. В косых, под разными углами, лучах сверкали элементы реактора. Драгоценные, выточенные из нержавеющей стали, напоминали прозрачные вазы, бокалы, чаши. Льдисто отражали прожекторы, лица монтажников, пылающие шары сварки. От стальных элементов исходило тихое сияние. Весь зал до высоких сводов был наполнен этим тихим непрерывным сиянием, чуть слышным, похожим на орган звучанием. Глыба стали прошла через столько

рук; столько лиц и дыханий к ней прикасались, что она казалась живой, слабо дышала.

— Практически мы завершаем наладку реактора и главного контура, Афанасий Степанович. Не хватает нескольких клапанов и одного габарита задвижки. Завод-поставщик замешкался, но мы его поторапливаем. — Накипелов, похожий на кольчужного богатыря, рассказывал о наладке реактора. Замминистра слушал, но при этом почему-то вдруг вспомнил книгу, которую недавно листал. В этой книге, посвященной народному творчеству, говорилось об иконах и вышивках, о рубленых избах и храмах, о крестьянских песнях и свадьбах. «А это разве не творчество? — думал он, касаясь пальцами холодной стенки реактора. — А это разве не песня?»

Все они были здесь: он сам, руководители стройки, рабочие в белых брюках и робах, — все они еще были здесь, пока не опустят в глухую шахту тяжкие литые конструкции, соединят многотонные слитки в сверхточную, начиненную горючим машину. Уран раскалится. Вода непрерывным потоком начнет омывать накаленное чрево реактора. Насосы погонят по трубам клокочущую перегретую воду. И весь зал, безлюдный и замкнутый, пронизанный лучами урана, станет подобием огнедышащего земного ядра, сконструированного инженерами.

— Ну вот здесь, я вижу, дело идет! Здесь бригады вцепились в работу! — Замминистра остановился перед рабочим, орудующим шлифовальной машинкой. Длинный звенящий вихрь вырывался из его рук, словно выскакивала и пропадала красная металлическая лисица. Калорифер, предназначенный для обогрева реактора, не работал. От металла веяло ледяным ветерком. Замминистра чувствовал резь под лопаткой. Но уходить не хотелось — так сильно, ловко и точно работал шлифовальщик.

— Когда вы пускаете блок? — спросил он рабочего, который выпрямился, выключил инструмент, смотрел спокойно и выжидающе. Серые глаза, маленькие светлые усики, свежие губы, крепкие перепачканные кулаки, сжимающие шлифмашинку, — все нравилось в нем замминистру. — Сроки знаете? Когда у вас пуск?

— В мае, — ответил рабочий.

— Укладываетесь?

— Укладываемся, если дадут фронт работ.

— Правильно. Если фронт работ есть, есть и заработок. И настроение хорошее.

— Ребята хотят работать. Пусть дают фронт работ, мы будем работать сколько нужно.

— Слышите, что рабочий класс думает? — Замминистра повернулся к окружавшим его инженерам. — Дайте ему для работы все, что он требует, и дело пойдет! Вот вам и вся перестройка! Глупое управление приводит к простоям, к безделью. Все прогулы, пьянки, весь брак лежат на совести дурных управленцев. Я это буду всегда, во все времена утверждать!

«Всегда? — охнуло в нем беззвучно и больно. — Это когда же всегда-то? На пенсии, что ли? В старых шлепанцах?»

Рабочий спокойно, терпеливо смотрел, ожидая, когда можно будет включить шлифмашинку. А замминистра не хотелось отходить. Хотелось спросить еще о чем-то. До чего-то еще дознаться.

— Откуда пришел на станцию?

— Из армии.

— Где служил?

— В Афганистане.

— Ах вот что!

Замминистра вглядывался в спокойное молодое лицо. Стремился угадать, что изведал молодой, почти во внуки ему годившийся парень, — какой жестокий и страшный опыт, неведомый ему, пожилому. И было неясное чувство вины и растерянности. Желание его защитить. И одновременно искать у него защиты.

— Тут же брат его работает сварщиком. Из Чернобыля прибыл. Ликвидировал аварию. — Секретарь парткома стройки Евлампиев мягко похлопал по плечу рабочего, по белой робе с цветной нашивкой. — Ну как, Вагапов, жена не родила?

— Пока еще нет.

— Через пару месяцев новый дом сдаем. В квартиру всем семейством въедешь.

— Хорошо бы, — кивнул рабочий. — Нельзя ли калорифер сменить? Третий день просим. Холодрыга! И реактор холодный!

— Все сделаем, спокойно работай!

Шлифмашинка опять заурчала, и длинная бегущая лиса заструилась под рукой у парня, отражаясь в зеркальной поверхности.

«Да нет, все мы ровня, и стар, и млад! — успокаивал себя замминистра. — Я ставил станции, а другие на моем электричестве строили истребители и подводные лодки, а третьи спускались в отсеки. Оборона не выбирает работников. Государство не выбирает работников. Все мы, и стар, и млад, в государственной, оборонной работе...»

Они покинули реакторный зал. Оказались на скрежещущей дымной земле. Ее давили и рвали ковши. Мяли гусеницы. Чернили копоть и гарь. Бетононасосы «Швинг» гнали сквозь трубы раствор. Бетон застывал в монолите среди тучи нагретого пара. «Татры» разматывали дымные шлейфы, сбрасывали со спины песок, заваливали траншеи с черными свитками труб. Бульдозер «Комацу» вонзал в ледяную коросту отточенный клык, драл грунт, выкорчевывал из него гнилые ребра древних безымянных построек. «БелАЗы» выворачивали квадратные морды, хрипя, выволакивали из котлована смерзшиеся глыбы. Машины всех мастей и расцветок, построенные на заводах Европы, Америки, Азии, сошлись на этой атомной стройке. Отдавали ей свои силы. Станция, которую они воздвигали на среднерусских суглинках, была детищем мировой экономики, мировой цивилизации. Ее энергия принадлежала всей земле. Бесцветная, бестелесная мощь электричества омывала землю, сотворяла ее новые оболочки, одевала ее сиянием.

Замминистра шагал тяжело, огибая рваные клубки тросов, обрезки алюминия, лужи гудрона, солярки. Навстречу быстро в подшлемниках, касках шли рабочие. Парни и девушки. Монтажники — смуглые, загорелые, переброшенные с азиатских строек. Верхолазы из Заполярья с малиновыми лбами. Все языцы сошлись на стройке. В тысячи рук поднимали ее из болот и лесов.

— Я надеюсь, вы догадываетесь, этот блок для вас будет этапным, — сказал замминистра начальнику строительства Дронову, с которым вышагивал рядом, обогнав остальных. — Если все будет в срок, если не допустите срыва, уверен, вас возьмут в министерство. Открываются вакансии. Мы, старики, свое отработали. Нам пора на покой. Вы наша смена. Вы новые люди. Вам — на наши места.

— Ну что вы, Афанасий Степанович, — ответил Дронов. — Вы еще поработаете. Прекрасно еще поработаете. У вас такой опыт, такой авторитет в энергетике. А я, если честно признаться, отсюда не хочу уходить. Стройка — вот мое место. После второго блока — третий, а там и четвертый. А на это, вы знаете, уйдет весь остаток человеческих сил. И не нужно мне ничего другого, поверьте!

— Ну нет, не поверю! Вы достигли другого уровня. Ваш путь — в министерство.

Он тонко его искушал и испытывал. Проверял и выведывал: знает ли в самом деле о том, что его на пенсию? Быстро, зорко взглядывал в крепкое, резкое лицо, на котором лежали линии и тени усталости, уже не смываемые, прочертившие в этом крепком лице другое — лицо старика.

«Да какие новые люди? Он ведь такой же, как я. Я его вырастил, выучил. Он знает то же, что я. Только, пожалуй, поменьше. Какие новые люди?..»

И острая к нему неприязнь. Больная обида — на него, на станцию, на шофера в кабине «БелАЗа», на сварщика, несущего резак автогена, на все, что вытесняет его и выдавливает, готово забыть, отвернуться. На само государство, которое вручило ему огромное дело, отличило от многих, наградило орденами и премиями, а теперь от него отрекается.

— Вы думаете, если вы нас прогоните взашей и сядете на наши места, вы справитесь? Сделаете все лучше нас? Нет, говорю я вам, нет! Вы будете хлебать и хлебать то, что заварили. Хлебать и захлебываться! А мы, старики, из своих богаделен будем смотреть на вас, как другие, те, что моложе, будут выкидывать вас на помойку. Взашей, в богадельню!

Нельзя безнаказанно бить и хлестать отцов. Вас будут бить и хлестать ваши дети! Вы прибежите к нам, если мы доживем, станете каяться, просить прощения. Но за вами будут гнаться с дубьем ваши дети!..

Умолк, задохнулся. Косо смотрел на изумленного Дронова. Жалел, что позволил себе сорваться.

Обогнули станцию и вышли на берег озера. Пустое, белое, с далекими берегами, с серой россыпью села, с хрупким церковным шатром. Все это так отличалось от бетонного бруска машинного зала, от башни реактора с косматым паром, от насосной станции, громадных промасленных труб, похожих на шеи многоглавого змея. Трубы пустые, не соединенные с озерной водой. Зачавкают береговые насосы, потянут озеро в железные трубы, омоют горячие валы и подшипники, ополоснут всю горячую станцию. Станция выпьет озеро. Половодья, рыбы, утонувшие старые лодки, далекий шатер колокольни станут частью громадной машины, системой ее охлаждения.

— Когда приступаете к переселению деревни? — спросил замминистра у секретаря райкома Кострова, сжимая глаза от морозной, дующей из озера поземки. — Перед пуском начнем потопление. Деревня должна быть пустой.

— Через пару месяцев сдаем в городе дом. В него и переселяем людей, — ответил Костров, глядя в ту же сторону, через лед, через ветер, на белый, как перышко, церковный шатер.

— С этим нельзя тянуть. Еще одно узкое место...

И пошел туда, где начиналась трансформаторная подстанция. Где рябило от множества серебристых лучей, соединенных в кресты и соцветия. Все было соткано из хрупкой готической стали. Небо, расчлененное проводами, шелестело, шуршало, сыпало на землю невидимые летучие ворохи.

Он стоял, пропитанный электричеством. Слушал звучание короны. Через это звучание соединялся со всеми сотворенными станциями — на водах, на угольных пластах и карьерах, на уране, на нефти и газе. Они, сотворенные им, через великие реки и горы посылали ему свои голоса. Окружали его электричеством.

«Чайка» стояла перед зданием управления, длинная, лакированная. Поодаль, не приближаясь к ней, — зелёные измызганные «уазики». На башне реактора поднялся на задних лапах медведь. И замминистра еще раз увидел герб, увидел символ могучей, уставшей, убиваемой жизни, не желавшей умирать. Увидел себя.

Среди провожавших был один, к кому хотелось обратиться отдельно, поговорить не о делах, не о пуске. Замначальника стройки Горностаев, моложавый, с красивым лицом, не огрубевшим от наждачных сквозняков и морозов, от криков и ссор. Сын его умершего друга, с кем строил азиатскую гидростанцию. Племянник видного работника Совмина, с кем часто встречался по службе. Помнил его ребенком, помнил с отцом на станции. Вместе ходили в горы за первыми цветами, и он, мальчишка, срывал голубые, выраставшие из-под снега соцветья. Плотина внизу удерживала окаменевшую зеленую воду, опадала белыми недвижными космами...

— Ты уж, Левушка, меня прости. Не зашел к тебе, не посмотрел, как живешь. Дядьке твоему позвоню, отчитаюсь. Скажу, видел, — жив, здоров, чего больше?

— В другой раз зайдете, Афанасий Степанович. Весной на пуск приедете, тогда и зайдете. Посмотрите мое житье-бытье!

«Нет, не знают! Не знают, что весной не приеду. Кто-то другой, а не я».

— До весны далеко. Все может случиться, — ответил он. — Время на дворе быстрое. Каждый день — новое время! — И вдруг быстро, страстно, почти шепотом, чтоб не слышали другие, сказал: — Ты-то, ты-то будь тверд! Не вертись, как флюгер. Есть же устои, есть же ценности. Мы-то с тобой энергетики до мозга костей, знаем дело. Знаем, чего оно стоит! Знаем, как управлять строительством. Как управлять государством. Не предавай! Никогда!

Быстро повернулся к нему, не поцеловал, а крепко прижал к себе, к своей старой, тяжелой груди его сильное, гибкое тело.

Он пожимал руки, а сам смотрел на станцию, на ее серый, угрюмый облик, такой знакомый, понятный. И вдруг безнадежно и страстно захотелось стать молодым. Цепко взбегать по шаткам, сваренным наспех стремянкам. Уклоняться от падающих огней автогена. Нырять в туманное, с голубыми снопами пространство, где сильные, шумные люди вращают валы и колеса, двигают поршни. Там его мир, его счастье.

Станция смотрела на него многоглазно и безмолвно прощалась.

— До свиданья, — повторил он, садясь в машину.

«Чайка» мощно, мягко, брызнув из-под колес промороженным гравием, скользнула, помчалась Все смотрели, махали вслед.

Перестали махать. Облегченно вздохнули. Отворачивались от опустевшей дороги.

— Ну что ж, получили указания свыше, давайте их выполнять! — полушутливо сказал Дронов, смахивая с рукава белые брызги извести.

— Авдеев — мужик крутой, но дельный, — сказал Накипелов. — Умеет взять за рога. Это он мягко сейчас. Погодите, весной приедет, стружку снимет поглубже!

— Да он не приедет весной! — белозубо улыбнулся Горностаев, поворачивая свое красивое лицо к пустой дороге. — Уже почти подписан приказ о его уходе. Старика отпускают на пенсию.

— Быть не может? — сказал Язвин. — Он же непотопляемый!

— Я разговаривал с Москвой. К дядюшке звонил — он сказал. Последствия чернобыльских чисток. Он тоже несет ответственность.

— Ну так что же мы тогда испугались? — Главный инженер Лазарев оживленно блестел глазами. — То-то я смотрю, клыков не показывал! Раньше-то круче был!

— Ну ладно, товарищи, хватит! — перебил секретарь райкома Костров. — Давайте все-таки осмотрим город. Меня волнует судьба восемнадцатого дома. Надо переселять деревенских.

Пошли к «уазикам». Усаживались, хлопали дверцами. Упругие, голенастые машины покатили по бетонке в город.

«Чайка» тем временем мчалась в прозрачной пурге, пролетая пустые осинники, белые болота, утлые деревеньки. Замминистра ссутулился, погрузился в сиденье, тяжелый, усталый.

«Вот она, Русь-то!» — думал неясно, углядев за стеклом семенящую лошадь, сидящего в санях мужичонку. Двигатель мягко ревел. Мелькало, белело. И чудилось: за всеми полями, за туманными лесами и далями звенит в снегах бубенец.

Глава вторая

Вереница «уазиков» обгоняла самосвалы, шаткие автобусы с рабочей сменой. В головной машине сидел секретарь райкома Костров, озабоченный, почти удрученный. Недавний обход строительства обнаружил множество огрехов, срывов, очередное невыполнение графиков. Станция снова ошеломила его своей огромностью, сложностью. Он, в прошлом школьный учитель, не мог ее себе объяснить. Не мог соперничать с инженерами, создавшими станцию. Строители, виновные в неполадках и срывах, он уверен, были сведущими, образованными, знающими дело людьми. И он, не умея понять мучительную технологию стройки, драму управления, вынужден был вмешиваться, требовать, контролировать. Воздействовать на это огромное дело, ставшее частью районной жизни, его главной секретарской заботой. И это вторжение в проблемы, которые были ему до конца не понятны, угнетало его.

К тому же его не оставляло больное, тревожное чувство, возникшее недавно, на озерном берегу, у черных, похожих на многоглавого дракона труб. Село Троица на другом берегу, обреченное на затопление — серые избы, белый шатер колокольни, — было его родное село. Там жил его отец, стояла школа, находилась могила матери. Отец, старый учитель, не желал уезжать из села, попрекал сына, винил его в случившемся несчастье — в строительстве станции, в затоплении села, в погублении чудесного лесного и озерного края, посреди которого возводился котел с ураном,

готовый взлететь и взорваться. Вечером Костров собирался в Троицу к отцу. Мучился предстоящей встречей с любимым больным стариком.

Колеса месили нерасчищенный снег, буксовали, виляли в скользком желобе. Машины катили по Старым Бродам, плоским, деревянным, наклонившим веером свои темные заборы, осевшие трубы.

— Я, Владимир Григорьевич, вчера к своей тетке сюда заезжал,— говорил шофер, уставший молчать.— Она стонет, болеет. «Как эту станцию,— говорит,— построили, атом повсюду пустили, и здоровья не стало. Воду пьешь — в ней атом. Кашу ешь — в ней атом. На огороде морковка уродилась с тремя головками, с четырьмя хвостами — все атом. Спину ломит — атом в кости залез. Теперь,— говорит,— из лампочки атом прямо в дом идет вместе с электричеством»... Электричество боится включать, чтоб облучения не было. «Ну, купи,— говорю,— керосиновую лампу. Хоть темнее, зато здоровее!» Она и вправду купила! — Он смеялся, вертел баранкой, вилял по скользкой улице.

Проезжали винный магазин, единственный оставшийся в округе, размещенный в старом лабазе. Длинный хвост мужиков в робах, спецовках, масленых рабочих одеждах протянулся от лабаза, смял сугробы, выстроился вдоль дороги. Костров, проезжая вдоль плотной, угрюмой, жилистой стены, чувствовал их нетерпение, раздражение, злобу, провожавшие его недобрые взгляды.

— Алкаши говорят — они дольше всех проживут! — ухмылялся шофер.— Водка, говорят, в крови атом в сахар превращает. А сахар опять в самогонку пускать можно!

Миновали нитяную фабрику, разместившуюся в старой церкви. Куполов давно не было, церковь обросла кривыми уродливыми пристройками. В них гремело, скрипело, тянуло кислым парным зловонием.

Потянулся высокий серый забор, за которым укрылся пансионат для душевнобольных. Их свозили из соседних областей и районов. Больные были не буйные. Тихо жили за высоким забором. Иные появлялись в городе.

— А помните, Владимир Григорьевич, как перед пуском первого блока психи сбесились? Разбежались ночью! Что-то такое чувствовали психи, когда в реактор топливо загружали. Мы их по подвалам ловили.

Этот унылый ряд — лабаз с хвостом мужиков, фабрика с закопченной стеной, приют для душевнобольных — усилил в Кострове чувство вины. Старый город, ветхий, заброшенный, был прибежищем болезней и бедности. Сам был похож на неизлечимо больного. Но больной был родной, дорогой. И от этого мука.

Избы резко кончились. Среди рассыпанных сугробов, вырубленных садов поднялись башни нового города. Высоко, нарядно блестели окна. Пестрели дорожные знаки. По бетону мчались машины. Иные люди, в других одеждах, с иным выражением лиц торопились по тротуарам. Новый город вломился в старый, как бульдозер. Раскраивал, раздирал стальными гранями обветшалые срубы. И они отступали без боя.

Линией встречи и гибели был дымящийся ров. На дне, над трубой теплотрассы сварщики мерцали огнем, чадили, гремели. Казалось, они минируют еще один ветхий, подготовленный к взрыву ломоть. И эта линия взрыва пролегла через него, Кострова. Он чувствовал в себе этот больной, незаживающий рубец.

Вереница машин катила по Новым Бродам, вдоль объектов, что были уже сданы, входили в действующий фонд города. И мимо тех, что строились и вводились. Костров смотрел, пересчитывал, словно боялся, чтобы они не исчезли, вновь и вновь убеждаясь в нарастающем богатстве.

Вдруг испуганно и нежно подумал: в это время в Троице на заснеженном дворе перед домом — его упрямый родной старик, задыхаясь, кашляя, хватаясь то и дело за грудь, строит лодку. Сорит желтыми стружками, вгоняет в тес гвозди. Строит свой Ноев ковчег, готовится к потопу. И надо скорей к нему, к его любимому худому лицу, к частому, в перебоях дыханию — успеть, обнять, усадить.

Станция, возникая мощно и грозно, возводимая множеством людей, в каждом завязывала свой узел, в каждого внесла свое напряжение. Его беда, его двойственность были в том, что он, секретарь, торопил возведение станции, желал ее скорого пуска. Но это желание приближало разорение села. Он сам насылал на село потоп. На отчий дом, на отца, на могилу матери, на белый шатер колокольни. Вот в чем была его мучительная действительность.

Об этом и думал теперь, разговаривая с инженерами у высокого шестнадцатиэтажного дома, еще не достроенного, в лысых панелях, с забрызганными известкой окнами.

— Ну что, опять будем ссориться? Опять все в те же места носом тычемся? Строительство этого дома должно вестись в пусковом режиме основного объекта, станции. А мы все возимся, возимся! Райком старался не вмешиваться, проявлял корректность. Вы обещали на бюро выкарабкаться из прорыва. И вот карабкаетесь, скребетесь, как мыши! А стройка лишена управления. Хромает куда-то сама собой! — Он говорил жесткие, обидные для них слова. Обветренные губы болели от этих слов, но он сквозь боль выталкивал их в лицо главному инженеру Лазареву.

Он воздействовал на главного инженера, на его бледный лоб, мигающие темные глаза, на его волю и ум. И это воздействие, как казалось Кострову, через невидимый поршень должно было передаться на стройку. Ускорить вращение поворотных кранов, стыковку труб и конструкций. Выдавить из снегов громаду станции еще на вершок. И она подымалась, увеличивалась, расталкивала грунт, раздвигала небо, вытесняла из берегов воду. Гнала ледяной пенный вал на сельскую околицу. Валила заборы, заливала проулок, где стоит душистая круглая липа с коричневым теплым стволом. А под ней — круглый стол, и отец, держа на длинных руках самовар, боясь опадающих угольков, выносит из огорода легкий пахучий хвост дыма. Мать ставит белые чашки, сахарницу, миску с горячими пышками. Втроем они сидят в прозрачной тени, и дерево гудит, благоухает, роняет на стол жужжащих, отяжелевших от сладости пчел.

— Вы простите, но я удивляюсь позиции парткома стройки! — Теперь он обращался к Евлампиеву, глядя в его спокойное, хорошее, крепкое лицо, наполняясь сдержанной к нему неприязнью. Выталкивал сквозь больные губы угловатые, дерущие слова.— На станции я не видел ни одного призыва и лозунга, связанного с пуском второго блока. Рабочие не знают конкретных сроков, конкретной цели! Не удается создать в коллективах морально-политической обстановки, когда все понимают цель, охвачены единым порывом. Ведь в войну люди делали невозможное, потому что понимали: быть или не быть стране! Сейчас положение не проще!

Станция набухала, наращивала высоту, наполнялась тяжелым железом. Наваливалась на берега и на воды. Потоки пены и льда врывались в село, крушили избы и бани, подбирались к родному крыльцу, точеному, с покосившимися резными колонками, под которыми сидела мать. В светлом линялом платье, в косынке, с мокрыми руками, устала копать, поливать. И такая к ней нежность, к ее загорелому светлобровому лицу, к тихим вздохам, к долгому взгляду сквозь кусты шиповника, на озеро. Далеко, за красивыми красными розами, в синем разливе — остроносая лодочка, рыбачит отец.

Он обращался к начальнику строительства Дронову. Смуглый, с проступавшим на скулах румянцем, с блестящей сединой на висках, накрытый пушистой шапкой. Водил раздраженно белками, дрожал ноздрями. Был похож на пушного чуткого зверя. Костров чувствовал его силу и ум, его сопротивление и протест.

— Не понимаю, хоть убей, почему вы, опытный строитель, имеющий за плечами несколько крупных строек, почему не можете держать в руках вожжи управления? Вы, простите, беспомощны! Вас не слушается стройка, и вы не можете ее схватить под уздцы. Есть же наука, теория! Вам сейчас не мешают, вы самостоятельны, так воспользуйтесь новыми методами управления! Убежден, чернобыли закладываются уже на стадии строительства, на стадии неумелого управления!

Вода срывала наличники, ломала тонкие стекла. Врывалась в дом, где темнели потолки, растресканные, из хрупкого дерева шкафы и комоды. Часы с медным маятником и фарфоровым циферблатом мягко, бархатно ухали, и он, не просыпаясь, слушал ночами их сладкие удары. Книги в библиотеке отца, учительский стол с тетрадями, кафельная печка с медной начищенной вьюшкой. И в тихих, струящихся по дому запахах мед-

ленно, чудесно течет его детство в предчувствии, в ожидании огромного, небывалого счастья.

Он повернулся к замначальника стройки Горностаеву. Казалось, лицо того выражает тончайшую иронию, едва заметное превосходство. Холеное лицо, которого будто бы и не касались сильные сквозняки, загазованный дымный ветер, ожоги мороза и сварки.

— Повторяю: с прежней психологией покончено! С перекуром в двадцать лет покончено! Пока мы с вами пировали, проедая и пробалтывая добытое для нас богатство, Япония изобрела микропроцессоры, новые формы труда и планирования. Мы не можем оказаться в хвосте у Америки под крышей СОИ. Нас просто сотрут, сгонят с мировой арены. Трудно сейчас? Будет еще труднее! Будут перегрузки. Будут инфаркты. Будут недовольные. Но мы должны догнать этот поезд, от которого отстали, засидевшись на юбилейных торжествах и банкетах. Мы станем работать иначе, пускай хоть кости трещат!

Вода прибывала, глотала венец за венцом. Топила сени, подбиралась к чердаку, где в теплых сумерках, в разноцветных ромбиках света, падающего сквозь наборное оконце, стоял маленький телескоп, висела карта звездного неба. Они с отцом, оба в нетерпении, торопя вечернюю, красную сквозь яблони зарю, ждали ночи, холодного мерцания над липой. Поднимались по шаткой лестнице. Снимали оконце. Выставляли медную застекленную трубку и по очереди с восторгом, с одинаковым наивным восхищением смотрели в радужную туманную бездну.

Он сказал им все это, стоя у стены шестнадцатиэтажного незаселенного дома, к которому, пятясь, подъезжал бетоновоз, вращая квашней. Они молчали, переживая обидные для них укоризны.

Стояли впятером среди строящегося нового города, связанные между собой борьбой и партнерством, неприязнью, симпатией. Одной непомерной заботой. Она, забота, рождала в каждом свою тревогу и боль. Забота стояла среди них и вокруг. Возвышалась над ними шестнадцатиэтажной башней. Смотрела из оконных проемов, из проезжавших грузовиков и бульдозеров, из дымного морозного неба с багровым клубящимся солнцем.

И Костров вдруг подумал: через много лет, стариком, он снова окажется здесь. На лодке выйдет в открытое озеро, причалит к торчащей из его воды колокольне, где в сумерках, в плесках воды — голубой затопленный ангел. Под озерной гладью — родное село, стол под липой, отец с матерью. И в чем он тогда раскается? О чем тогда сокрушится?

— Хорошо, давайте еще заглянем в Дом мебели. Узнаем, как проходит торговля. — Костров, сутулый и хмурый, шагнул по хрустящему снегу.

Дом мебели, стеклянный, с затейливой вывеской, был выстроен на каменном цоколе. В витрине манекен, златолицая дева с рассыпанными по плечам волосами сидела на кушетке, вытянув длинные ноги. Журнальный лакированный столик с раскрытым журналом, зажженный торшер, мебельный, с резными дверцами гарнитур — все говорило о возможном, достижимом уюте.

Костров подходил, не желая обгонять идущую впереди молодую женщину. Осторожно, неловко, в тесном пальто, она взглядывала на золоченый манекен. И Костров, не видя ее лица, угадывал на нем образ материнства. Она шла в магазин подбирать мебель для своего нового, быть может, еще не существующего дома. Чем-то напоминала большую птицу, устраивающую гнездо.

Ступеньки магазина были залеплены обледенелым снегом. Женщина поскользнулась, потеряла равновесие, стала падать. Костров кинулся, подхватил, ощутив ее тяжесть. Разглядел беспомощное, ужаснувшееся выражение глаз. Ее страх был не за себя, а за другую, невидимую, хранимую ею жизнь. Этот страх, беззащитность, ее мгновенная благодарность, ее милое большегубое лицо тронули Кострова. Уберег ее от падения и испытал к ней нежность и благодарность, сам не зная за что.

— Спасибо вам!.. Как же тут скользко! Ничего, я сама, спасибо.

Вошла в магазин, потерялась среди других покупателей. Костров, окруженный строителями, стал обходить прилавки, разглядывать товары.

Директор магазина водил их, оживленный, ловкий, лукавый. Успевал что-то шепнуть продавцу, подмигнуть кассирше, заслонить собой обвалившийся кусок штукатурки.

— У нас, Владимир Григорьевич, выручка небывалая! Едва завезем, раскупают. Склады пустые. Я так считаю: люди пить стали меньше, деньги у них появились. Берут все без разбору. В новые, как говорится, квартиры — с новой мебелью!

Костров слушал бойкую речь директора. Снова увидел белолицую женщину, ту, которой помог на ступеньках. Она стояла под люстрами, нажимала на стене выключатели. Над ней один за другим загорались светильники. Она восхищалась, поднимала лицо, не могла сделать выбор. И Костров опять пережил мгновение нежности к ней, благодарности неизвестно за что. Желал ей блага, мира и довольства в доме. Все их труды и муки, надрыв в черновой, не имевшей окончания работе обретали смысл в ее благе. Усилия их не напрасны, если очаг ее сбережется среди грозящего бедами времени.

— Какие-нибудь указания, Владимир Григорьевич? — спрашивал директор, провожая их к выходу. — Торшеры завезли, югославские, отделаны камнем — сердоликом!

— Что же вы ступеньки перед магазином не можете расчистить? Народу к вам столько ходит, а ступеньки во льду. Можно прийти за торшером, а уйти с костылем!

— Виноваты, Владимир Григорьевич, дворничиха на работу не вышла. Сегодня непременно почистим!

Костров попрощался с руководителями стройки. Сухо пожал руки. Уселся в «уазик».

— Еще забыл вам сказать, Владимир Григорьевич, — говорил на ходу шофер. — Прошлое воскресенье на рыбалку ходил, на озеро. Весь лед издолбил, ничего не поймал. Рыба-то, видно, не хочет у станции жить. Как это понимать, Владимир Григорьевич? Рыбу как понимать?

Главный инженер и секретарь парткома уехали вслед за Костровым. Дронов и Горностаев медлили, стояли у машин.

— С районным, земским мышлением он стремится управлять глобалистикой! — язвил Дронов. — Ему бы весь век управлять пеньками и кочками, да бог послал станцию. Ведь это для него дар божий! Всю жизнь везде и всюду он будет повторять: «Я построил АЭС!» Он на нашей станции въедет завтра в обком и выше. Да он нас должен лелеять, он наши головы должен беречь, чтоб ни волосинки с них не упало. Нет, не понимаю я этой психологии!

— Ее и не следует понимать. — Горностаев наблюдал своего начальника, его раздражение и желчность. — Эту психологию надо учитывать как неизбежный коэффициент помех. Костров растерян, как все партработники. Мода на диктатуру прошла, а нового стиля не возникло. Он человек неплохой, мягкий, даже мямля. Я знаю — у него отец-старикан живет в Троице. Пишет какую-то книгу. «Книга утрат» называется. В ней предъявляет счет Советской власти за семьдесят лет. Сколько кулаков сослали. Сколько церквей разорили. Сколько народу спилось. Сколько деревень побросали. А сына своего за станцию готов проклясть, отлучить. Все это надо учитывать!

— Существует теория атома, — не слушал его Дронов. — Теория электросварки. Теория комет, черт возьми! Никому никогда не приходит в голову лезть в реактор, если не известна теория радиоактивности. При обилии всех теорий не существует только одной — осмысленной теории управления. Не самолетом, а стройкой! Это позволяет дилетантам всех мастей соваться в самое загадочное, самое таинственное, самое сокрушительное из того, что существует, — в экономику, социологию, управление. Самоуправление — замечательно! Но если, говорю я вам, в ближайшее время не возникнет осмысленной, реалистичной теории управления, мы вынуждены будем обратиться к другой теории — теории катастроф.

— Я с вами согласен, Валентин Александрович. Но сейчас нам надо

подумать, как успокоить райком. Ну показать что-нибудь ему, в чем бы он разбирался. Лозунги мы, конечно, развесим. Но и еще что-нибудь. Какую-нибудь яркую штуку! Я все время об этом думаю.

— Устал! — Дронов почти со страхом выдохнул воздух и как бы перестал дышать. Ссутулился, сжался. Его смуглое лицо побелело, а блестящая седина потускнела. — Ужасно устал!

Горностаев внимательно смотрел на него. Знал, что Дронова мучают внезапные приступы депрессии. Он истосковался по жене, которую месяцами не видит: преподает в Москве историю, занимается реставрацией. Тревожится о сыне, военном вертолетчике, который отвоевал в Афганистане и сразу попал в Чернобыль, сбрасывал свинец на реактор, а потом два месяца провалялся в госпитале.

— Я хотел вас просить, Валентин Александрович, позвольте мне сегодня провести вечерний штаб. А вы отдохните денек от сумбура. Посидите, послушайте. Я вас буду использовать как артиллерию главного калибра. А все мелкие огневые точки обработаю сам. Вы позволите?

Дронов чувствовал, как что-то на него надвигается, приближается, входит вместе с железным, морозным воздухом, дымом сгоревшей солярки. Тупое, необъятное и бездушное, чему нет конца. Не пускал, противился.

По ступенькам магазина осторожно, щупая лед, спускалась большая белолицая женщина. И другая, с золоченым лицом, смотрела на нее из витрины. И мгновенный толчок в виски, прокол тончайшей боли. Сын, жена в их московской квартире, тополиный пух за окном.

Снег вдруг стал красным, небо белым, и в нем, как в затемнении, — черное косматое солнце. Это длилось мгновение, кончилось. Снова был город, белый хрустящий снег, далекие контуры станции.

Глава третья

Когда стемнело и стройка превратилась в гроздья огней, дымных прожекторов, туманных блуждающих фар, началось вечернее заседание штаба.

Два длинных голых стола под люминесцентными лампами. На стене фотографии передовиков: бетонщик с вибратором, высотник в связках цепей, сварщик с резаком автогена. Входили, шумно усаживались, ерзали стульями. В измызганной обуви, в робах, в грубо вязанных свитерах. Стаскивали косматые шапки, плюхали их тут же на стол. Цепляли полушубки на гвозди. Многолюдье, гул, упрямые лбы и глаза. В складках одежды неисчезающий запах железа, бензина. Клубы морозного воздуха, заносимого в штаб вместе с гулом, визгами стройки.

Горностаев дождался, когда рядом на стуле уселся Дронов, чуть поодаль, отчужденно, сместившись с центра, уступая ему, Горностаеву, центральное место.

Накануне, сутки назад, на таком же штабе делался смотр всех ведущихся на стройке работ. Тщательно, объект за объектом, стык за стыком, мотор за мотором, просматривались все участки, все углы и отсеки, где проходил фронт работ. Проверяли завершенность объектов, готовность к сдаче, причины неудач, отставаний. Разбирались споры столкнувшихся в работе бригад. Эти споры решались, улаживались. Намечали объекты, близкие к сдаче, на них сводили усилия. Очерчивали новый, нарождающийся контур, чтобы за сутки в этот контур перетащить, передвинуть станцию.

Но этот ежесуточный, старательно намечаемый контур каждый раз искривлялся. Не смыкался. Обнаруживал изломы и вмятины. Работы срывались. Представители ведомств, вцепившись в стройку, возводили ее с неодинаковой быстротой и умением. Множество усилий сталкивались, свивались в клубок, пытались распутаться, рвались, застывали на месте.

Земляные работы затягивались, не пускали на объекты бетонщиков. А те проклинали сломавшийся экскаватор, глумились над измученными землекопами. Монтажники варили железо, тянули по земле свои кабели. А наладчики, наступая на них, чертыхались, замыкали проводку, рисковали пожаром, тут же прокручивая валы механизмов. Пожарники запрещали работы, отключали времянки сварщиков, требовали ввода автоматических защитных систем. Проектировщики с опозданием на несколько месяцев вдруг обнаруживали неувязку в проекте, и рабочие с резаками вламывались в завершенный отсек, вырезали из труб задвижки, заменяли их новыми. Задерживались поставки оборудования. Бригады, едва набрав темп, распалившись, разыгравшись в работе, зло останавливались, безнадежно простаивали, кляня начальство и стройку.

Новый штаб через сутки стремился выправить дело, распутать узлы, вытянуть в линию скомканные, намотавшиеся друг на друга работы. Каждый штаб созывался для ликвидации этих микроаварий. Тело станции было в бессчетных, нанесенных во время стройки рубцах.

Горностаев видел их всех. Чувствовал их за столами. Каждый представлял в этой комнате других, невидимых, оставшихся на стройке людей. Говорил не от себя, а от тех бригад, что трудились на станции. Нес в себе их жалобы, страсти, лукавство. Был насыщен их взрывной энергией. Как электрод, был подключен к невидимым источникам тока. И смысл управления был в том, чтобы, одолев расхождения, точно, мгновенно ввести этот пучок электродов в точку, в ярчайшую вспышку, в которой срастается, как в сварке, еще один фрагмент новостройки.

Каждый принес сюда свое отдельное знание. Глубокое понимание той части станции, которую строил. Где действовали его механизмы и люди, платились и тратились деньги. Эти отдельные знания они передавали ему, Горностаеву. Он складывал эти эскизы в картину, дорисовывал ее и домысливал. Улучшенную, исправленную возвращал им обратно. Они уходили с этой картиной на стройку, сверяли изображение с действительностью. Найдя расхождение, поворачивали станцию в нужную сторону.

Он знал и ценил всех. Они, как собранное по крупицам богатство, были той силой, что составляла станцию. После Дронова, когда тот переедет в Москву, они достанутся ему по наследству. С ними, с их опытом и радением, управляя ими, подчиняя своей воле и замыслу, он продолжит строительство, создавая станцию по образу своему и подобию.

Молодые и старые, чернявые и белесые, смешливые и угрюмые, они были похожи. Накопили от стройки к стройке опыт уникальной работы. Обрели в непрерывных переездах с места на место особые черты жития и быта, свойства души и характера, что делало их строителями, энергетиками. Особое племя, кочующее по огромной стране, с женами, детьми, домашним скарбом; из уютных, обжитых квартир, из построенных молодых городов снимались каждый раз в пустыню, в глушь, в неустроенность, на песчаный бархан, на гиблую топь, где вгоняются первые сваи и тракторный поезд приволакивает железные, избитые на ухабах вагончики. Пути их кочевий отмечают заводы и станции, как в древности на путях переселений возникали храмы и крепости.

Он, Горностаев, был из той же породы строителей, из того же умелого племени. Отказался от Москвы, от протекции, от теплого министерского места. Не имел ни жены, ни детей — только стройки, только станции.

Поднялся Язвин, чернявый, лысеющий, резкий. Коричневое, с прямым длинным носом лицо. Жаркие, с желтоватыми белками глаза. Пальцы с серебряным перстнем, с тяжелым вороньим камнем. На запястье наборный браслет. Из кармана, как газыри, блестят авторучки. Вороненый, металлический, точный, как винтовочный ствол, Язвин встал и, действуя смуглой большой пятерней, отводил обвинения, валил на других.

Горностаев слушал терпеливо, чувствовал симпатию к Язвину, — жизнелюб, ценитель дорогих красивых вещей, тамада и душа застолий, дамский угодник.

Поднимался Накипелов, могучий, сутулый, с округлыми крутыми плечами, будто на них лежала тяжелая ноша, в тесной робе и свитере, с торчащими красными кулаками, синеглазый, шевеля белесыми мохнатыми бровями, проводя ладонью по небритому, издающему наждачный звук подбородку.

Горностаев слушал рокочущий бас Накипелова. Знал цену его уму и лукавству. Его неистовой богатырской натуре. Ему было мало напряжений на станции: во время отпуска он отправлялся в странствия на плотах по горным бурливым рекам, на упряжке собак по тундре, на велосипеде по туркменским пескам. В пусковые авралы своей неукротимой энергией увлекал бригады. Побывал на взрыве в Чернобыле. Вместе с шахтерами ходил под реактор, строил подушку фундамента, держал на плечах взорван-

ный, раскаленный котел. Казалось, силы его безмерны. Но иногда, все чаще и чаще, в простоях и срывах, в безнадежной неразберихе, он наливался гневом и бешенством. Готов был сорваться. Сдерживался. Угрюмо, как бурлак, напрягая все жилы, тащил по мелям осевшую махину стройки.

Горностаев слушал его. Пытался удержать целостную картину строительства, обнаруженную на сегодняшнем штабе. Но картина двоилась, троилась, то и дело меняла обличье. Команды, которые он отдавал, были неточны, приблизительны. Объект оставался непознан. Непознанный объект управления принимал неточные, неверно посланные команды. Рычаги, которыми он двигал, за которыми должны были тянуться стропы, рули управления, вдруг проваливались в пустоту. Рули были срезаны, стропы порваны. И это его пугало.

Сверхусилием воли, прозрением он удержал рассыпающийся образ станции. Ее турбину, реактор, ее механизмы и трубы. Не давал им распасться грудой металла. Так магнитное поле стремится к удержанию плазмы. Охватывает на мгновение ускользающее веретено. Проливает его и теряет.

Говорил Менько. Его белое, без единой кровинки лицо казалось напудренным. Напоминало китайскую театральную маску. На ней тушью были выведены резкие страдальческие морщины, воздетые измученно брови. Там, где маска кончалась, открывалась красная шея, красные оттопыренные уши, красная у корней волос кожа. Казалось, Менько прикоснулся лицом к ледяному железу, обморозил его, обескровил. И где-то на станции на ковше экскаватора хранится отпечаток его лица.

Он был вечно всем недоволен. Вечно брюзжал. Вечно у него что-то болело. Но при этом, брюзжа, завязывая платком разбухший флюс, заклеивая пластырем очередной фурункул, подвязывая радикулитную спину теплым женским платком, он тащил свою долю работы добросовестно и умело.

И Менько был связан с Чернобылем. Испугавшись, бежал от аварии. Его корили, осуждали, исключили из партии, не брали нигде на работу. Горностаев его призрел и устроил.

Горностаев почти грубо, со злобой обрывал, ломал пререкания, улавливал в кулак разбегавшиеся интересы, сводил опять на этой бетонной перемычке, в наледях, жиже, в торчащих каркасах. Подумал со злым пониманием: все эти люди, собравшиеся на штаб,—лишь мнимо едины. На деле разобщены и раздроблены. Сложились в группировки и партии. Борются между собой и хитрят. Объединяются на время в союзы. Расслаиваются снова в борьбе. Эта борьба—друг с другом и с ним, Горностаевым, с политикой стройки. Цели этой борьбы связаны лишь отчасти со станцией, а больше с личным престижем, добыванием премий, с продвижением по службе, а также с мучительной заботой о рабочих бригадах, которыми они управляют. О их заработках, о благополучии их семей. Эта забота, как давление, исходящее от рабочих, постоянное, глухое, выраженное неявно, давит на любое начальство. И он, Горностаев, участник этой борьбы. Станция, перевитая проводами и трубами, вместилище урана, электричества, пара, опутана бессчетными незримыми связями людских отношений, их личных целей и помыслов. Другой неявный чертеж, наложенный на явный и зримый.

Он чувствовал этот многомерный человеческий мир, скрытые в нем взрывы, тлеющие ползущие процессы, клубящиеся противоречия. Этот мир и был загадочным, необъяснимым, но единственно реальным миром народной энергии, воли, народной способности трудиться и действовать, принимать или отвергать обращенные к нему слова и призывы. На него можно было воздействовать силой, понуждать его насилием. Он гнулся, ломался, уступал слепому давлению. Но потом неизменно одерживал верх. Разрушался, страдал, но одерживал. Горностаев знал: здесь в конечном счете будут решаться судьбы затеянных в стране перемен. Не в газетных статьях, не в речах искушенных витий, не в кабинетах. Здесь, в этом скопище рабочих людей, наполнивших отсеки станции, оседлавших балки, уцепившихся на высотных отметках,—создающих и строящих. Здесь будет решаться судьба страны, судьба перестройки. Воздействуя на эти пласты, он, управленец, понимал, что действовать должен осторожно и точно, что имеет дело с реактором колоссальной энергии.

Говорил Лазарев. Речь его была обличительной, не только в адрес строителей, но и в свой собственный.

Горностаев видел: он был равнодушен к стройке, изуверился в ее эффективности, в действенности технологии и управления. Он был поклонником западных методов. Стройка не увлекала его, а увлекался он серьезно и истово биополем, интересовался индийской мифологией, сказаниями о пришельцах из космоса. Рассуждал о чудесной стране Шамбале, что, впрочем, не мешало ему быть ловким политиком.

Сейчас он прибегал к приему обычной своей демагогии, заключавшейся в самобичевании. Это должно было избавить его от критики.

Дронов насупленно, молча слушал его, взирал на участников штаба.

Горностаев почувствовал вдруг, как это бывало и раньше, что он управляет не стройкой с помощью штаба, а только самим этим штабом. И все происходящее здесь — искусный, повторяемый ежедневно спектакль. У каждого тонкая, тщательно усвоенная роль. Каждый умело ее играет. Этот вечно кричит и сердится, изображает обиженного, а сам себе на уме, уходит, унося самый лакомый, сочный кусок. Тот правдолюб, обличитель, но в его правдолюбии есть нечто от хитрости, нечто утаенное, умело проносимое всякий раз под полой. Третий должен выступить резко, потому что его об этом просили, и он выступает. Четвертый начинает вдруг причитать, мучая и сбивая соседей, отвлекая от главного, и достигает цели — сбивает. И этот театр, освещенный люминесцентными лампами, с фотографиями ударников на стене,—ловушка, в которую улавливаются и запираются все команды. Не выходят наружу к стройке. Не достигают бригад, выбившихся из сил бригадиров, сбитых с толку прорабов. Стройка остается неуправляемой. Вся энергия управления расходуется здесь, на этом спектакле.

Эта мысль оглушила его. Он слышал только отдельные, невнятные, как в банном гуле, слова. Пусть он плохой управленец, действует изжитыми методами. Но есть ли другие? Самоуправление, к которому их призывают, что оно выявит? Чем обернется? Победит эгоизм? Сильная группировка рвачей? Безделье? Жажда заработка? Победит ли общий интерес и согласие? Победит ли стройка?

Ему казалось: между ним, управленцем, и стройкой, нуждавшейся в его управлении, подымается облако дыма, клубится туман. Стройка становится неразличимой в неясных исчезающих контурах. Он действует почти вслепую. Откликаясь на сигнал тревоги, вводит поправку, исправляет неполадку. Но это исправление отзывается в неожиданном месте перекосом — двойным сигналом тревоги. Он кидается туда — направляет ресурсы рабочих, действует осмотрительно, точно, исправляет перекос. Но вдруг начинает оседать, разрушаться другая, непредвиденная, непредсказуемая часть стройки, и вся она, сквозь дым и туман, пульсирует, мигает в красных лампах тревоги, и он, растерянный, ослепший, действует наугад, желая спасти, посылает разрушительный сигнал исправления.

Иногда ему чудилось: кто-то невидимый, знающий стройку блестяще, наблюдает за ним. Путает его команды. Незаметно перебрасывает штекер, и команда уходит в другое гнездо, несет разрушение. Являлась мысль об «управленческом оружии», о загадочном и точном воздействии невидимого врага, более мудрого, чем он, знающего тайны управления, превосходящего его, Горностаева, по интеллекту и знанию.

Он вел управление. Стройка казалась ему огромным больным существом, в стонах, в зовах о помощи. Из нее истекали потоки сукрови, ее сотрясали судороги. Она пучила глаза. Не могла найти себе места. Ворочалась с боку на бок среди промерзших вод и земель. Он хотел ей помочь. Накладывал на нее бинты и компрессы. Сращивал ее переломы. Остужал ожоги. Пытался при этом понять причину болезни, поставить диагноз — что подкосило жизнь? Что внесло в нее муку? Заставило страдать не только людей, но и железо, бетон, металлические опоры и крепи.

Завидовал летчикам, ведущим бомбардировщик. Махина, набитая до отказа приборами, начиненная оружием, бомбами, меняла высоты и курсы. То стлалась над самой землей, то шла в стратосфере. Варьировала геометрией крыльев. Ориентировалась по приборам и звездам. Отбивалась от атак перехватчиков. Уклонялась от зенитных ракет. Окутывалась завесой помех. Огибала циклоны и бури. И в точный, заложенный в программу мо-

мент, достигнув рубежа удара, шла на цель, сбрасывала ракеты и бомбы, провожая их в прицельную оптику. Оставляла за спиной пожары и взрывы, ложилась на обратный курс, и летчики на предельной усталости, в сверхперегрузках, с лопнувшими в глазах сосудами, владели и управляли машиной.

Он, инженер, управленец, руководитель стройки, был не в силах ею управлять. Где-то в Белоруссии бушевала метель, несчастный шофер махал в буране лопатой, вызволял грузовик, в котором застряли детали. Страны НАТО наложили запрет на поставку в СССР технологии, лишили станцию комплекта приборов, и пришлось заваливать министерство депешами, посылать ходоков за Урал, заказывать в Сибири приборы. У кладовщицы Нюры в семье большой праздник, приехал любимый тесть, она загуляла, не вышла на работу, и три бригады, матерясь, полсмены сидят без дела. Стройка болеет, стонет, истекает кровью, а он, диагностик, врач, не в силах ей помочь.

Иногда ему казалось — вот-вот он нащупает путь. Совершит открытие, изыщет метод. В этой путанице, в хоре не слушающих друг друга певцов, есть какой-то простой закон, и надо только его обнаружить. Он есть, существует — захламлен и замусорен, закидан, как бывает закидан на стройке какой-нибудь важный узел, накрытый кучей обрезков. Он, инженер, прошедший несколько строек, побывавший за границей, искушенный в руководстве строительством, изучавший системы управления по американским, японским источникам, он чувствовал: метод есть, он прост и доступен, и только не хватает последнего озарения мысли.

Иногда же ему казалось, что все безнадежно. Весь его опыт и ум, весь опыт и ум других, пластичность и гибкость, изобретательность и порыв бессильны перед жесткой, неверно заложенной в стройку конструкцией, которая изначально мешает и давит, не хочет сдвигаться. И все они, со своими усилиями, со своим протестом, надрывом, лишь окружают эту недвижную, сваренную из двутавров конструкцию. Он чувствовал эти двутавры, проложенные сквозь собственный, воспаленный, в озарениях и прозрении разум.

— Давайте спокойно пройдем еще раз по контурам «альфа» и «бета», попробуем добиться синхронности. — Он чувствовал, что страшно устал. Что и все остальные устали. Потеряно чувство нормы, чувство здравого смысла. Все примирились с хаосом, действуют в нем, как в мучительной неизбежной среде. Действуют ему вопреки. Потому что станция все равно должна быть построена. Блок должен быть пущен. Энергия пойдет в провода. — Давайте еще раз спокойно...

Он чувствовал стройку позвоночником, спинным мозгом. Безликая, неуправляемая, непознанная, она росла, сотрясала землю, ворочала в ней бетонными корневищами. Выдирала с хрустом металлический корень, била им, как хвостом. Громадная, стоглавая, в башнях, в дымах, мерцала глазищами, вспыхивала урановой пастью, лязгала гигантскими лапами. Ползала, давила, выпахивала черные котлованы, срезала блестящими фрезами поля и леса, оставляла на месте городов черные взрывы.

Это было как бред и кончилось. Он прогнал наваждение. И, спасаясь, отстраняясь от этого, вдруг подумал: в сущности, не так уж все плохо. Даже вовсе не плохо. А если подумать — отлично. Замминистра, усталый старик, уходит в небытие. И, по сведениям сразу из нескольких точек, все подтверждают одно: Дронов после пуска второго блока будет взят наверх, на вакансию. А место Дронова уготовано ему, Горностаеву. И он вполне его заслужил: управляется с делом, знает его и любит, умный, гибкий, знающий.

В сущности, все отлично, все славно. Сегодня после работы, после вечернего обхода станции, он собирает у себя гостей, в своем холостяцком доме. Все тех же сталкивающихся лбами строителей. Забыв о распрях, усядутся в его уютном коттедже у камина, поведут неспешные разговоры о чем угодно, только не об этом железе. Он сделает им сюрприз — покажет слайды, «сокровенные», как он их называет, из заветной коробки. И, конечно, будет женщина, милая, добрая, ну пусть не жена, не невеста, а та, с которой хорошо остаться вдвоем после этой кромешной работы. Вот она накрывает на стол, ставит тарелки и рюмки, и он от камина, из

низкого кресла смотрит, как блестит в ее пальцах хрусталь, как белеют ее быстрые руки. И это умиляет его, волнует.

Очнулся от крика и гама. Накипелов, разгневанный, шевеля под свитером буграми мускулов, грохотал:

— Я не согласен! Не буду делать! Не пущу никого в отсек! Вы мне аварию планируете! Чернобыль планируете!

— Нет, пустите! — наскакивал на него Лазарев. — В какой отсек к вам ни придешь, у вас везде монтажник висит. И за Чернобыль прошу не прятаться!

— Да вы в чертежи загляните! Вы размеры читать умеете? — тонко перекрикивал их Менько. — Вы мне лепите дырку на дырку!

— Не стану я делать! Никого не пущу в отсек! Аварию не позволю планировать!

— Тихо! — ударил кулаком по столу Дронов. Вскочил яростный, бешено скаля зубы, дергая черными ненавидящими глазами. — Вы когда-нибудь научитесь грамотно разбираться в проблемах? Или вечно будете превращать штаб в восточный базар! Вы торгуете изюмом или строите атомную станцию? Вы станете выполнять приказания штаба или будете имитировать деятельность? Я хочу понять, с чем мы имеем дело, — с некомпетентностью или прямым саботажем? Вы, Накипелов, как вы смеете срывать выполнение графика, сознательно закупоривая отсек, разрывая технологические цепи! Я вас спрашиваю, Накипелов!

— Я действую по вашему вчерашнему указанию, Валентин Александрович, — ошарашенный натиском, оправдывался Накипелов. — Не хочу допустить возможных аварий.

— Вздор! Делайте, что вам приказывают. Время течет между пальцев, а мы говорим, говорим, говорим!

— Я подчиняюсь, Валентин Александрович! Подчиняюсь вам как руководителю стройки!

Дронов упал на стул, задыхаясь. Ненавидел себя за эту вспышку гнева, затравленно озирался. Все понимали его. Делали вид, что ничего не случилось. Тихо переговаривались.

— Пройдем еще раз по контуру «альфа». — Горностаев снова принял бразды правления.

Глава четвертая

Тем временем далеко от стройки, медленно к ней приближаясь, по пустынной и скользкой дороге, мимо редких деревень, занесенных снегом опушек ехал автобус. Осторожно вилял на льду.

В автобусе было нелюдно. Несколько деревенских женщин, немолодых, укутанных в стеганые пальтушки, с кошелками, в одинаковых грубошерстных платках, из которых торчали раскрасневшиеся длинные носы и выглядывали сонные глазки.

На отдельном сиденье, нахохлившись, в напряженной неудобной позе сидел человек, каких в народе называют «дурачок», или «убогий». Молодое, оплывшее, бело-румяное, безбородое лицо. Подслеповатые водянистые глаза. Вывороченные влажные губы. На нем была кожаная добротная ушанка. Шнурок развязался, и одно кожаное ухо отвисло. Ноги в новых ботах стояли носками внутрь. Из-под коротких брюк торчали сморщенные носки. Он сидел, вцепившись в кулек. Перебирал его на коленях непрерывно щупающими пальцами.

Через сиденье от него разместился другой пассажир, неопределенного возраста, то ли пожилой, с сохраненным сквозь морщины и отеки на нечистом, несвежем лице выражением молодости, то ли молодой, но уж очень истасканный, испитой, помятый. На голове у него красовалась общипанная кроличья шапка. Торчали длинные немытые волосы. Верхняя губа плохо закрывалась, обнажая два больших желтоватых резца, что делало его похожим на белку, на мышь или зайца. Шея была обмотана красным шарфом. Под расстегнутым пальто виднелся костюм-тройка, когда-то дорогой, но теперь засаленный и обвисший. На ногах полусапожки, прежде модные, с пряжками, но давно не чищенные и избитые. Руки большие, с черными ногтями, в ссадинах и царапинах — водились с инструментом. Он

ухмылялся, косился в сторону соседа с кульком. На его впавших небритых щеках горел винный румянец.

Поодаль сидела женщина, молодая, в ярком, плотно повязанном платке с зелеными цветами и листьями. Куталась в пушистый воротник. Закрыла глаза, стараясь дремать. Вздрагивала от тряски, нетерпеливо поглядывая на нескончаемые перелески.

За ней, крепко схватившись за поручень, сидел мужчина. Ему было тесно, он не помещался на сиденье. То и дело двигал большим, сильным телом, пытался поудобнее вытянуть ноги. Смотрел в окно, стараясь не пропустить ничего, хотя пропускать, кроме застывших осинников и редких заметенных стожков, было нечего. Но он оглядывался на проплывавшие стожки, пока они не скрывались, улыбался чему-то, шевелил губами, и казалось, что он разговаривает с кем-то невидимым, идущим вслед за автобусом вровень с окном. Одет он был в легкое, не по погоде пальто, в меховой картуз. Рядом на сиденье стоял портфель, старомодный, из потресканной кожи, с медными замочками. Иногда мужчина отрывался от окна, переставал улыбаться. Трогал портфель, то ли укреплял его на сиденье, то ли гладил.

Так они катили в автобусе, неторопливо, обгоняя стучащий гусеницами трактор с тележкой навоза, лошадь, запряженную в сани, с возницей на рыжей соломе. Лишь однажды навстречу пронеслось с грозным вихрем длинное черно-блестящее тело, обрызнув водителя жаркими гневными фарами. Тот изумленно крутанул баранку, впервые встречая на этой дороге машину подобной марки. Не узнал в ней министерскую «чайку».

Хозяин кроличьей шапки наклонился к соседу, пытаясь заглянуть в его водянистые, железобразные глаза.

— И откуда только такие берутся?.. Откуда, интересно, ты взялся такой? Может, тебя атомом облучили, когда ты еще червячком был? Не тебя, так папу твоего, вот ты и получился!.. Это ж надо, где-то ухнут бомбу, тучка к нам прилетит, дождик пройдет, кто-то без зонтика погулять вышел, и вот получается! Без зонтика не надо гулять, ни-ни! А то такие, как ты, получаются!

Он ласково, сочувственно кивал, а убогий в кожаной ушанке подслеповато моргал, отстранялся, что-то невнятно мычал, теребил свой кулек.

— А может, твой папаша с бутылкой дружил? — допытывался желтозубый. — Может, он был почетный алкоголик, а маму твою Бормотуха Петровна звали? Вот беда, до чего пьянство доводит! Тебя надо в антиалкогольной пропаганде использовать, по телевизору показывать. Если б я вовремя посмотрел, пить бы не стал. Ни зимой, ни летом! А теперь уж поздно! Я и сам алкоголик, из Чернобыля родом. Мне детей нельзя иметь. А то такие, как ты, получатся!

Убогий жался в сторону, что-то тихо гудел, всхлипывая. На его толстых влажных губах выдувалось и никак не выговаривалось какое-то слово.

Старухи в платках стали волноваться. Поворачивали свои длинные носы, шевелили вязаными рукавицами.

— Да оставь ты его! Чего пристал?

— Вот клещ-то! Сам окривеешь!

Желтозубый весело огрызнулся на бабок:

— Ну вы, старые цапли, потише! Не на болоте! Не мешайте хорошему разговору.

Он легонько толкнул убогого в бок, потянул кулек.

— Покажи, чего там!

Тот задергался, заурчал. Старался что-то выговорить, но у него получалось долгое страдающее «уу-чууу!».

— Учишь? Чего ты учишь? И меня научи! — Желтозубый наслаждался его страданиями. Помолодел, распустил на лице морщины, счастливо смеялся. — А ну покажи, чего там! — дергал он за кулек.

Молодая женщина в цветном платке привстала, поворачиваясь на этот смех, на мычание и стоны. В глазах дурачка был невнятный, неочерченный мир, белесый, мутный, откуда исходило страдание.

— Да что же это такое, в самом-то деле! — воскликнула она. — Оставь его сейчас же, слышишь!

Мужчина в меховом картузе словно очнулся от этого возгласа. Оторвался от окна, оглядел сидящих в автобусе. Встал, выбираясь из-за сиденья. Большой, высокий, шагнул к желтозубому, наклонился над ним. Тот сжался, съежился, ожидая удара. Смотрел вверх, ощеря рот, еще больше напоминая грызуна. И все, кто ехал в автобусе, ожидали окрика, толчка. Ожидали, что сейчас мужчина схватит желтозубого за шиворот, встряхнет хорошенько. Но крика не последовало. Мужчина мягко, беззлобно произнес:

— Прошу вас, не надо. Пусть себе едет спокойно. Если можно, пересядьте туда, вперед. Там и к печке поближе, и трясет поменьше. Пожалуйста, я вас очень прошу.

И владелец кроличьей шапки не заупрямился, не заартачился, не стал огрызаться, а, к удивлению всех и, быть может, к собственному своему удивлению, послушно поднялся. Не повиновался, не подчинился силе, а как бы внял совету: ведь действительно, и к печке там было ближе, и трясло поменьше. Запахивая свое неопрятное пальто, дергая красный шарф, пересел вперед. А мужчина вернулся на место, поправляя свой портфель, под дружное одобрение бабок.

Так и ехали дальше в спускавшихся сумерках среди тусклых снегов и поземок.

— Вы, должно быть, к нам в город едете, на станцию? — повернулась к мужчине молодая женщина. Было видно, что этот вопрос, блестящие ее глаза, розовое, милое, окруженное цветастым платком лицо, — все это и есть благодарность ему.

— Что, что? — не расслышал мужчина, но улыбнулся, наклоняясь вперед, понимая, что к нему обратились с чем-то хорошим и дружелюбным.

— Вы не местный, это сразу видно. И не со станции, я там почти всех в лицо знаю. И не командировочный, — за ними обычно к поезду высылают машину. Значит, своим ходом едете, устраиваться на работу.

— Верно все угадали. А вы со станции?

— В профкоме работаю, на строительстве.

— Значит, мне повезло. Можно считать, что устроился. Меня зовут Фотиев Николай Савельевич.

— А меня Антонина, Знаменская.

— Значит, я уже на работу устроился!

Мгновение близко, весело они смотрели друг другу в глаза, а потом рассмеялись. Она засмеялась первая, а он просто вторил ей — так хорошо она засмеялась. Отвернулась, поправляя платок, а он сидел, улыбался, ожидая, когда она снова к нему обернется.

— Вы ни разу еще у нас не были? — снова спросила она. — Не знаете, что вас ждет, какое будущее?

— Никогда не знаешь свое будущее, — с готовностью отозвался он. — Надеешься на лучшее, фантазируешь: какое оно будет, твое будущее? А оно, быть может, уже началось. Вот встретились с вами, и оно началось.

— Может быть, — сказала она серьезно, стараясь разглядеть в сумерках лицо мужчины. Из мутного окна падал последний зимний свет, мелькали, рябили стволы, и она опять отвернулась, а он смотрел на ее близкий платок, на еще различимые потемневшие розы.

— Как шиповник в вечернем палисаднике, — сказал Фотиев.

— Что? — Теперь она не расслышала. Но он не повторил своих слов, а она не настаивала.

— Я сказал: не знаешь своего будущего, не можешь его угадать. Но почему-то всегда доверяешь ему. Вдруг тебя ждет подарок? И в ответ свой готовишь.

— Вы везете в Броды подарок? — Она посмотрела на его старый портфель. — Вот здесь?

— А где же еще? Старый автобус, в нем старый портфель, а в портфеле подарок, которого в Бродах не ждут. — Он шутил, не шутил. Она не видела его улыбки, но все же решила, что это шутка.

— В Бродах трудно чем-нибудь удивить. На станции столько всяких чудес! То аврал, то простой, то пожар, то инфаркт, то угрозы, то анонимки! Устали от этих чудес. А ваше чудо какое? Не скатерть-самобранка?

— Самобранка! Вот именно! Я все время искал, с чем бы сравнить. А вы подсказали — самобранка!

— Ну что ж, значит, будем пировать,— усмехнулась она.— Услышу, в каком-нибудь доме пируют, всякие заморские яства едят, значит, вы там поселились, самобранку свою расстелили.

— Заходите, подсаживайтесь!

— Зайду!

Сумрачный лес расступился. Возникла белая просека. Прибавилось свету. И в этом белом прогале, чуть мерцая, возникли прозрачные мачты, дуги проводов, изоляторы. Казалось, вся просека была полна прозрачного, уходящего в сумерки стального дыма. Прижавшись к стеклу, Фотиев смотрел, как проплывают повисшие в небе гроздья, исчезает ажурная ребристая сталь.

— Многие здесь нуждаются в помощи,— сказала Антонина.— Много людей живет тяжело, несчастливо.— Она поглядела на пригорюнившихся, приумолкших старух, колыхавшихся в своих темных пальтушках, на больного в ушанке, окаменевшего над своим кульком.— Очень многие нуждаются в помощи.

Она помолчала и как бы забыла о нем. Видела что-то ему недоступное. И потом неохотно, огорченная чем-то, к нему возвратилась. Сказала рассеянно:

— У вас такая непривычная речь, такие слова... Так не говорят инженеры. Может быть, вы не на станцию? Просто в город? Учителем литературы, истории?

— Да нет, не учитель. Не истории. Хотя, действительно, недавно прочитал несколько исторических книг. Историю этих мест полистал. Захотелось узнать, кто эти Броды закладывал. Кто здесь брел до меня. А то говорят: «Не зная броду, не суйся в воду!»

— Какая уж тут может быть история! И на карте-то их не найдешь, наши Броды. Может, когда-нибудь после, когда станция встанет. А сейчас болота да речки — вот и Броды!

— А знаете ли, что на этих болотах была сеча между суздальцами и новгородцами? Они спорили, кому быть первыми на Руси. Новгородцы напали на суздальцев, и стрелы новгородцев повернули обратно, поразили самих лучников.

— Это было здесь? Я не знала,— смутилась она.— Где вы прочитали?

— А знаете ли, что Бродами прошел Иван Грозный, когда задумал разгромить Тверь и Новгород? Говорят, искал в городах своего соперника, законного царского сына. А сам он был незаконный, мнимый. Войска его, написано, катились, как тьма. Впереди дозор. По сторонам — дозор. Всех, кого ни встречали, ребенка, женщину, даже овцу и собаку,— всех убивали, чтобы весть о походе не опередила войска. И Броды были сожжены и избиты, все до последней души.

— Когда котлован под первый блок рыли, нашли много костей. Какое-то кладбище старое. Может быть, это побоище.

— В Отечественную войну здесь Волховский фронт проходил. Шла борьба за дорогу на Ладоге. В этих болотах решалась судьба Ленинграда. Пехотинцы в обмоточках с трехлинейками по этим болотам в атаку ходили, отстояли Ленинград.

— Это я знаю. Мы все собираемся на площади памятник Победы поставить. Уже над проектом работают.

— Но в одной из книг я натолкнулся на загадочную строку, выписку из летописи. Без конца, без начала. И она меня тронула, взволновала. Я с ней к ученым ходил, к знатокам, исследователям. Ничего мне путного не сказали.

— Какая строка?

— Сказано так: «В лета от сотворения мира шесть тысяч девятьсот сорок седьмое на Бродах бысть сеча великая с неведомою ордою. В той сече погибоша мнозие бродичи».

— Как? — переспросила она осторожно, почти испуганно повторяя: — «Погибоша мнозие бродичи...»

— Меня поразила эта строка. Представляете, в какой-то год от сотворения мира, с того дня, как были сотворены горы, звезды и под этими звездами, на этих озерах плавали челноки, стояли деревни, колосилась рожь, на этих местах бог знает откуда явилась неведомая орда. Не печенеги, не хазары, не татары, не тевтоны, не шведы. А какая-то другая, неведомая. Стала все жечь и губить. Топтать хлеба, разорять деревни, и бродичи пошли с ней биться, и была сеча, и многие бродичи, почти все, были посечены в этой битве. А потом вдруг орда исчезла, словно ее и не было. Будто с неба упала и туда же ушла... Сеча с неведомой ордой!

— Вы не разыгрываете меня? — Она всматривалась в его лицо, стараясь разглядеть улыбку, но он был серьезен.

В темноте за лесами вспыхнули огоньки. Погасли. Опять загорелись. Набежал и ударил луч, промахнулся, пропал в тумане. Его настиг другой, третий. В морозной кристаллической тьме закачались длинные щупальца. Влетали в автобус, бесшумно рассыпались и гасли. И из этих тревожных вспышек возник за лесами город, окруженный свечением. Высокие дома, фонари, блестящие белые улицы.

В стороне, в отдалении, в дымном металлическом зареве виднелась станция. Два серо-блестящих цилиндра, литые, недвижные, словно полные ртути.

Сидевший впереди парень в кроличьей шапке вяло поднялся. Сказал водителю:

— Открой мне здесь, командир. Я сойду.

Двери, лязгнув, открылись. Парень, сонный и вялый, вдруг распрямился. Резко пробежал по автобусу. На бегу ударил убогого по лицу, громко, хлестко. Выпрыгнул цепко наружу.

— Получили? — обернул он свое острое, счастливое лицо.— Чтоб вам всем сдохнуть! Чеснока будете помнить! Чеснока! — И побежал, развевая шарф, исчезая во тьме.

— Какая дрянь! — Антонина утешала тонко плачущего дурачка.— Ну не надо, не плачь!.. А эту дрянь мы найдем! В милиции он нам ответит!

Они доехали до центра, до магазинов с горящими витринами, с черной мелькавшей толпой.

— Вам на станцию, в управление? Это дальше, две остановки.— Она помогла выйти убогому.— Будете мимо профкома проходить, загляните. Спросите Антонину Ивановну Знаменскую. Это я!

И они расстались. Автобус, куда заскочили трое рабочих в спецовках, покатил через город к станции, к серым, натертым ртутью колонкам.

Фотиев стоял перед станцией на черно-блестящем льду, в рубцах гусениц, с вмороженным ржавым железом. На высокой бетонной башне, освещенной лучами, стоял на задних лапах медведь, мохнатый, сырой, окутанный космами пара. Станция звучала утробными хриплыми гулами, ворочалась в котлованах, шевелилась в черной берлоге. Фотиеву казалось, она поднимается над ним, нависает, хочет подмять под себя когтистыми громадными лапами. И он стоял перед ней, одинокий, осыпаемый льдистой росой, летучими искрами. Испытал мгновение страха. Видение другой, развороченной взрывом станции.

Неужели опять все сначала? И это железо, этот жесткий, угрюмый, из грубой материи мир, недоступный тонким энергиям духа, таящий угрозу взрыва? Это и есть его будущее, в которое должен войти? В те черные врата, где тускло, багрово вспыхивает, раздаются удары и гулы?

Медленно проходил мимо станции, направлялся к конторе.

В здании управления, перед дверью с табличкой «Заместитель начальника строительства Л. Д. Горностаев» он был строго остановлен секретаршей.

— Лев Дмитриевич занят. У него люди!

Фотиев мягко улыбнулся. Снял свое легкое пальто и картуз, разместил их на вешалке. Не замечая раздражения секретарши, уселся на стул, поставив на колени свой обшарпанный портфель. И почувствовал, как промерз. Как станция, подержав в своих объятиях, выпила все его тепло.

За дверью звучали голоса, иногда смех. Секретарша стучала на машинке. Забулькал электрический чайник. Она выдернула провод, и Фотиеву так захотелось горячего чая: густой душистый аромат, край фарфоровой чашечки у губ.

Наконец кабинет распахнулся. Горностаев, провожая к порогу усмехавшихся Язвина и Накипелова, напутствовал их:

— Ну я не прощаюсь! Жду на ужин! — оглядывая приемную, он увидел посетителя. Все еще улыбался, довольный состоявшейся встречей, на которой приватно, после штаба, удалось уладить несколько больных вопросов. — Вы ко мне? — спросил он, переставая улыбаться, и лицо его принимало рассеянное, скучное выражение.

— Товарищ вас ждет. Я предупреждала, что вы заняты и уезжаете. Но он настаивал! — Секретарша, торжествуя, отдавала Фотиева на волю начальства.

Горностаев был готов извиниться, отказать посетителю, перенести свидание на завтра и уже поворачивался в кабинет, если бы не мелочь: старый, потертый портфель на коленях у Фотиева. Старомодный, из другого времени, с другой, позабытой формой замочков, с другой глубиной и вместимостью. Перевелось поколение, ходившее с такими портфелями. Истлели бумаги, носимые в этих портфелях. Исчезали, рассыпались изделия, сотворенные теми людьми — здания, машины, мосты, — заменялись другими, новейшими.

Эта мелочь — старый портфель, и то, как посетитель держал его за ручку, поставив себе на колени, — остановили Горностаева. Возбудили в нем любопытство, слабое, готовое тут же пропасть. Он отметил в себе это любопытство, его непрочность, случайность, и это подмеченное в самом себе состояние позабавило его: внеразумная, случайная, побудительная сила действовала в человеке. Он пригласил посетителя:

— Прошу... Только в самом деле я очень тороплюсь... Если можно, недолго!

— Я — Фотиев Николай Савельевич, — сказал посетитель, усевшись напротив Горностаева за столом, заваленным чертежами и папками, с цветным подносиком, на котором стояли три чашечки с мокрыми блюдцами. — Я приехал на станцию в надежде получить здесь работу.

Горностаев уже потерял к нему интерес. Досадовал на визитера. Понимал его целиком. По костюму, поношенному, видавшему виды. По неуверенной, несвободной позе, в которой тот сидел, ухватив свой нелепый портфель.

Он знал эту породу людей, случайных, легковесных, ненужных. Их захватывала, притягивала к себе гравитация стройки. Как громадная планета своей массой притягивает пылинки, крупицы, малые астероиды, носящиеся в межпланетном пространстве. Остатки разрушенных, испепеленных небесных тел, следы былых катастроф. Эти пылинки, налетая на стройку, сгорают, бесследно гибнут в сверхплотных, окружающих стройку слоях, не добираясь до ядра, сердцевины. Неизбежные, неучитываемые потери, случавшиеся в любом крупном деле.

Они, эти люди, были неприменимы, никчемны. Не то, что спецы, проверенные на других объектах, на других громадных строительствах. Инженеры, прорабы, рабочие, целые бригады и тресты приезжали по вызову вместе с семьями, скарбом, с налаженными служебными отношениями, с накопленным неостывшим опытом. С ходу, с марша, расселившись в необжитых квартирах, в только что построенных среди рытвин и грязи домах, вламывались в стройку, в прорыв. Закрывали бреши, направляли в дело отбойные молотки, резаки, шлифмашинки. Рассаживались в кабины самосвалов и кранов. Надежные, обстрелянные, как фронтовики третьего года войны, — толкали и двигали стройку.

Этот был не таков. Этот был неудачник. Перекати-поле, без кола, без двора. Без поддержки, без связей. Гонимый своими неудачами, своими сквозняками в надежде зацепиться за какой-нибудь уступ, за какую-нибудь милость — за кадровика в добром расположении духа, за угол в перенаселенном общежитии. И сейчас он, Горностаев, выслушает его вялую болтовню, переправит, отфутболит его в отдел кадров, где ему уготован отказ.

Но что-то мешало ему так думать. Какая-то еще одна мелочь. Пожалуй, лицо посетителя. Открытое, спокойное, приветливое и очень доверчивое. Не доверчивое, а какое-то верящее. В лице его была вера. Она, эта вера, делала лицо необычным. И хотелось понять, во что же верит этот высокий, невидно одетый человек, сидящий в его кабинете, явившийся на тяжелую, запущенную стройку на исходе мучительного зимнего дня, в котором не было места вере, а только изнурительному труду, непрерывным подсчетам, выкраиваниям, ссорам и распрям, без всякой уверенности, что реактор запустят в срок и в срок раскрутят турбину. И если энергия с «миллионника» вовремя пойдет к потребителю, это будет достигнуто не верой, а силой, сверхтратой людских и материальных ресурсов, тратой его, Горностаева, жизни.

Поэтому «верящее» лицо посетителя остановило его, заставило задержаться. Подумав, он объяснил эту веру просто. Она была верой в него, Горностаева, в его обходительность, человечность, в способность понять другого. Не отринуть, не отказать с полуслова. Увидев себя таковым, так отразившись в «верящем» лице человека, он усмехнулся — над ним, над собой, помедлил отсылать посетителя, хотя и торопился уйти. Торопился в коттедж — принять душ, остыть, смыть прах строительства, облачиться в красивый удобный костюм и остаток вечера провести в стороне от стройки, от ее оглушительных, затмевающих разум проблем.

— Так что же вы можете предложить нашей стройке? — Горностаев насмешливо и почти бессознательно унизил вопросом просителя. Ибо он, проситель, явился не предлагать, а просить, пробавляться от расточительства стройки, рассыпавшей вокруг своих котлованов, вокруг миллионных затрат, необъятных, в тысячи рук работ даровые обильные крохи, которыми многие кормились. — Чем же вы собираетесь быть нам полезным?

— Я специалист в области управления. То есть хочу сказать, я много думал, много изучал управление. И у меня есть практический опыт. Я его долго вынашивал, проверял на мелких объектах. Впрочем, не только на мелких. И вот теперь, когда правильность его несомненна, я решил приехать на вашу стройку, проверить мой метод у вас.

— В самом деле? Да что вы говорите? — откровенно рассмеялся Горностаев. — Почему же именно к нам? Ведь есть же другие стройки, где, я уверен, ждут не дождутся вашего метода! Почему именно нас осчастливили? Чем мы таким заслужили?

— Я долго выбирал. — Фотиев, казалось, не замечал откровенной обидной насмешки, не замечал глумления. — Долго выбирал и решил сюда, в Броды. Во-первых, я знаю, это тяжелая, отстающая стройка, очень запутанная. А мой метод как раз и связан с «распутыванием». Он вносит ясность, создает целостную картину. Во-вторых, мне очень важно, что эта стройка в центре России, в некотором смысле очень русская. Она — воплощение русской истории от древности до сегодняшних дней. Мой метод я назвал «Вектор». В названии скрывается способность метода точно выстраивать законы развития, законы стройки в направлении конечного успеха, конечной победы. «Вектор» расшифровывается, как «Века торжество». Вот что побудило меня приехать в Броды. Я хочу предложить мой метод. Предложить работать по «Вектору».

— Интересно. — Горностаев долгим и уже не насмешливым, а вязким, тягучим взглядом рассматривал посетителя — в последний раз, перед тем как навсегда с ним расстаться. Сравнивал его с другими, подобными, во множестве вдруг появлявшимися. Их называли «чайниками». Они были не из породы жуликов и рвачей, составлявших особый, пестрый, распространенный слой, внедрявшийся в любое здоровое, обильное соками дело. Проникали под кору, буравя ходы и отверстия, въедались сквозь защитные оболочки в живые мягкие ткани, разлагали, высасывали, протаскивали сквозь пробуравленные скважины других, себе подобных. Размножались в жадное, деятельное, хорошо организованное скопище. Вытесняли из дела полезных и нужных работников. Сжирали живую плоть дела, наполняли его трухой и отбросами. И там, где еще недавно развивалось сильное дерево, готовое цвести и плодоносить, оставалась сухая, в свищах оболочка, труха в копошении жуков и личинок.

Этот был из других. Из прожектеров и утопистов, помышляющих о спасении мира, многие из которых были просто помешанные. Одни пребывали в счастливом, не ведающем утоления безумии. Другие — в непрерывном, не имевшем завершения страдании. Изобретатели машин, механизмов, способов пахать или сеять, а то и стрелять из какого-нибудь фантастического сверхоружия — эти люди в вечном возбуждении от одной-единственной, поразившей их ум идеи искали ей применения. Кидались неутоми-

мо на пороги кабинетов, осаждали редакции, требовали встреч, аудиенций, писали письма, трактаты, заваливали ими экспедиции, уповали на высочайшее прочтение, с которым их изобретение будет наконец внедрено, и мир, исправляясь от скверны, спасется. В этих писаниях, обивании порогов они изнурялись, изматывались. Куда-то исчезали. То ли в психушки, то ли в наркологические клиники. То ли успокаивались сами собой, превращаясь в обычных смертных. Их покидала идея. Ангел их улетал. Некоторое время «чайников» не было видно. Но потом, в силу таинственных, совершаемых в обществе превращений, под действием неведомых, пронизывающих все живое лучей, они опять возникали. Густо, целыми колониями, как летающие муравьи. До нового упадка и гибели. Валяются повсюду перламутровые опавшие крылышки. Легкий сор быстротечных социальных процессов.

Вот кто он был, сидящий перед ним человек. «Чайник». «Фантазер». «Крылатый муравей».

«А нам нужны муравьи рабочие», — съязвил про себя Горностаев.

— Вы считаете, что стройка позволит себе отвлекаться на внедрение вашего метода? В этот критический момент? Когда мы уже внедрили десяток методов и все они лопнули, как гнилые баллоны? Вы думаете, мы бросим свои дела и станем внедрять ваш метод?

— Да в том-то и дело, что он не требует внедрения! Он самовнедряем! Не требует никаких новых затрат. Он просто соприкасается с жизнью и начинает ее выстраивать. Он, как вирус, но не зловредный, а целительный. Или, точнее, он — как цепная реакция. После первого удара нейтрона захватываются все новые и новые атомы. Если позволите, я вам его изложу. — Фотиев стал раскрывать портфель, отмыкать блестящие замочки. Отбросил крышку, начал извлекать какие-то листки. — Мой «Вектор» позволяет немедленно, после прикосновения к нему, покончить с неразберихой и только за счет простого уяснения целей добиться двойного прироста производительности. Он особенно эффективен в бригадах, среди рабочих, но первое касание он должен совершить среди управленцев, работников штаба.

Фотиев продолжал извлекать свои листки, свои хрупкие, тонкие, звенящие, как фольга, бумажки. И пока извлекал, Горностаев вдруг почувствовал нарастающий озноб, ледяное сквозное проникновение, подобное ужасу, поражающему и тело, и дух. Словно станция всем своим морозным железом коснулась его и кровь его стала превращаться в лед. Этот ужас, пробежавший, как судорога, не имел прямого источника, но был связан с видом кабинета, где висели на стене схемы и графики, стол был завален чертежами, стояли на подносе три пустые влажные чашечки и кто-то незнакомый, проникший в кабинет, щелкал медным замочком. Это длилось мгновение и кончилось. Он не знал, что — оно. Перед ним сидел посетитель, готовый что-то рассказывать.

— Где вы прежде работали? — утомленно спросил Горностаев.

— Много работ перепробовал. Работал прорабом. Диспетчером. В плановых отделах работал. А последние годы — в лаборатории организации труда. А совсем недавно.... — Фотиев умолк, не сказав, где недавно работал.

Горностаев удивился сложности, необъяснимости своих состояний. Своей неуловимой зависимости от этого незнакомого человека. Вспоминал недавний штаб с его неразберихой и хаосом. Вспоминал приезд замминистра, грозного, но уже дряхлого, устраненного. Разговор с секретарем райкома Костровым, — сбитый с толку, раздвоенный, он требовал новаций, новых идей в управлении.

«Вектор» — это умозрительное, смехотворное, мертворожденное «Века торжество», оно и было управленческим чудом, которое он, Горностаев, покажет Кострову, наезжим столичным инспекторам, прогрессивным репортерам, заоравшим вдруг в один голос: «Новое! Новое!»

«Да он посланец судьбы! — думал Горностаев, презрительно выпятив губы, рассматривая Фотиева. — Вестник перестройки, гонец! И я просто не волен отказывать! Я просто во власти судьбы!»

Распрямился, сильно и крепко потянулся на кресле. Стряхивал с себя все необъяснимое и ненужное, превращал все в ясное и полезное. Весело, почти дружелюбно сказал:

— Николай Савельевич — так, кажется, вас величать? — вы очень вовремя с вашим методом. Еще не ознакомившись, уже верю в него! Приглашаю вас на работу. Подробнее о «Векторе» завтра. Сейчас, несмотря на всю заинтересованность, нет больше времени. Предлагаю вам на стройке место диспетчера. С жильем у нас, разумеется, туго. Пока только место в рабочем общежитии. Вы согласны?

— Да! — кивнул, расцветая, Фотиев. — Я рассчитывал на ваше понимание!

Не давая ему излиться в благодарностях, щедрым барственным жестом Горностаев снял телефонную трубку:

— Кадры?.. Тоже засиделся там, никак не уйдешь?.. Я вот по какому делу. Сейчас к тебе подойдет один товарищ, Фотиев, он будет у нас диспетчером!.. Да, да, очень нужный товарищ. Оформишь его на работу!

Набрал другой номер:

— Бытовики?.. Скоро нам пельменную пустите? Ведь не реактор от вас требуем, а пельменную!.. Ну ладно, я не за этим!.. К вам сейчас подойдет товарищ Фотиев. Направьте его в четвертое общежитие. Да, да, в рабочее! Ну уж, что найдется у вас, он без претензий!.. Ну вот, — повернулся он к Фотиеву. — Поздравляю. Теперь мы с вами коллеги. В одной, как говорится, упряжке. И движемся в одном направлении, по «Вектору»! — Жал Фотиеву руку. — До завтра! Буду очень и очень ждать! — Было неясно, искренно ли он говорит или в его радушии таится тончайший глум.

Фотиев вышел на мороз, успел разглядеть горностаевскую «Волгу», умчавшуюся в сторону города. Станция высилась перед ним, выхваченная прожекторами из черного неба. Бетонная, цилиндрическая, металлически плотная, окруженная свечением.

Луч прожектора повернулся, прошел над его головой, не задев, расплавив на мгновение стальную, окованную льдинами балку. Другой, с проезжавшей «Татры», настиг его, ослепил, уперся в грудь, и он стоял, освещенный, чувствуя сквозь пальто бесшумный ожог луча. Третий луч в синем шипении полоснул его наискось, и ему показалось, что он сейчас упадет. Все огни, все прожекторы, все высотные на мачтах светильники задвигались, завращались — искали его, чтобы свести на нем свои огненные голубые удары.

От станции исходила жестокая радиация света. «Сириусы» в металлическом небе превратились в дымные морозно сияющие кресты. Высокий белый светильник бросал в небеса радужный, размытый в бесконечности столб. От него в обе стороны расходились две лучистые перекладины. В перекрестии угрюмо громыхала и ухала стройка.

И такая мгновенная боль, и слабость, и страх. Нежелание идти в это скопление темных, угрюмых сил, неподвластных, неодолимых и вечных, гнездящихся в преисподней, в разрытой тьме котлованов. Еще не поздно. Еще можно уехать. Кинуться вспять на этот проезжающий самосвал. Докатить до города. Найти, переплатить, уговорить ночного таксиста. Промчаться обратно по ночным полям, перелескам к железной дороге. Подсесть на проезжий поезд. Плюхнуться на полку, заснуть. А наутро — Москва, площадь трех вокзалов, золотой петушок на крыше Казанского, башенные часы Ленинградского, поливные изразцы Ярославского. И сидеть у московских друзей, все понимающих, ни о чем не расспрашивающих. Пить утренний крепкий кофе. Хватит ему Чернобыля, хватит беды и болезни, хватит лишений и трат.

Он стоял и мучился. Огромный медведь в высоте умирал на рогатине. Японский грязно-рыжий бульдозер хрипел, содрогался, укрытый попонами, в лезвиях, кромках, штырях. Как громадный скорпион с загнутым, нацеленным вниз хвостом, взрывал котлован. Приближал к ледяному грунту отточенный клык. Драл, разрывал, дробил скрытые в земле сухожилия. Вел сквозь наледи рипер. Бульдозерный нож, гладко-белый, сияющий — вытянутое лиловатое зеркало — отразил станцию и его, одинокого, стоящего на краю котлована. И, слыша трясение земли, видя в параболоиде ножа отраженный разрезанный мир, он вздохнул глубоко и пошел. Соединять этот разрезанный мир. Стягивать жестокий, проведенный в мире надрез. Туда, где разворачивался у бетонки рабочий автобус, собирал в себя промерзшую утомленную смену, готовился везти ее в город.

Глава пятая

Поздно, неспешно отужинали. Отошли от стола, оставив на нем среди бутылок, посуды длинное березовое полено с горящими капающими свечами. Удобно расселись у камина, жаркого, с треском, с шипением смолы и сока. Гулкое пламя кругами ходило в каменной нише, сыпало на лист железа мелкие сочные угольки. Антонина сидела в стороне от мужчин. Рассеянно прислушивалась к их разговорам. Старалась вспомнить весь долгий сегодняшний день. Теперь, когда все было сделано и некуда было торопиться, усталая, она сидела на маленькой резной табуреточке, слушала разговоры мужчин. Хотела понять: кто она в этом доме. Хозяйка? Гостья? Работница? Или просто приживалка на время? И кто ей хозяин дома, высокий, красивый, иронично-приветливый, чьи вкусы, привычки и правила выражало убранство дома. Эти свечи на березовой плахе — так, кажется, коротают вечера в Финляндии. Черные глянцевитые фигуры, вырезанные из тяжелого дерева африканским скульптором. Стеклянный шкаф, где пестро от книг. Кто он такой, хозяин дома? Кто он для нее, Горностаев?

Язвин устроился в кресле, близко к огню, вытянул длинные ноги, наслаждаясь теплом, уютом, белизной своей манжеты с крупным черным камнем, под стать тяжелому перстню, которым лениво играл, — ловил в его чернильной глубине отсветы пламени. Распустил морщины и складки. Отдыхал, смывал с себя отпечаток железных перекрытий, бетонных балок, оттиск станции. Щурился, улыбался, превращаясь в сильного, здорового человека, знающего толк в красивой одежде, вкусной еде, во всех земных удовольствиях.

— Правильно вы говорите, Лев Дмитриевич, атомный реактор пускаем для того, чтобы вот так в камине дрова горели, чтобы на столе красивая посуда стояла, чтобы женщина смотрела на тебя любящими глазами. Нет уж, пуск не пуск, а возьму путевку в круиз по Средиземному морю. Акрополь, Босфор, Неаполь! Легкие одежды, вина! Нет этих роб и фуфаек, этих касок пластмассовых! Ведь существует же такое, скажите!

Его слушали, поощряли. Улыбались его мечтам, его маленьким, всем известным слабостям.

— А я, будь моя воля, махнул бы не в Неаполь, а в другую сторонку! — Накипелов расстегнул ворот нарядной рубахи, открыл крепкую красную шею. Его лицо, обычно сердитое, кричащее, несогласное, светилось сейчас благодушием. Сильное, с круглыми плечами тело отдыхало. Не лезло навстречу электрическим сполохам, колючим искрам, а покоилось в удобном кресле. — Если б я был на Кольском, нарты с собачками заложил. Строганинки в мешок, карабин с патронами — и тю-тю по тундре! Северное сияние! И ни души! Ни пожарника, ни наладчика, ни врага, ни друга! Вот что хочу! Туда, куда мы еще со своими реакторами не добрались.

И его поощряли. Знали его страсть, тягу к скитаниям. После Чернобыля его хотели упрятать в больницу, а он на лодке пошел по карельским озерам. Ел чернику, бруснику, выгонял из себя зловредные изотопы. Позвериному, по-медвежьи лечил себя ягодами и грибами. Вернулся здоровым. Сейчас ему позволяли мечтать. Завтра он забудет мечты, вернется на станцию, в реакторный зал на тридцать восьмую отметку.

— Вы все куда-то стремитесь, куда-то бежите. А от себя не уйдешь. — Лазарев уютно устроился, рассматривал с удовольствием свои пальцы, находя в них гибкость, красоту, благородство. Был не прочь поучительствовать, не прочь наставить этих славных, непросвещенных людей, своих товарищей. — Надо учиться спасаться в себе самом. Я, например, развил в себе такую способность. В самую, казалось бы, тяжкую минуту, ну хоть на штабе, когда наш содом подымается, или в машинном зале, когда голова от бухания раскалывается, — я могу отключиться. На одну-две минуты. Уйду в себя, и, хоть вы стреляйте, у меня будет тишина и покой. Хоть гудрон мне на голову лейте, у меня будут белые снега. Это целая культура, от Индии, от древних мудрецов.

— Вы у нас, Виктор Андреевич, древний мудрец! — соглашался с ним Евлампиев. Блаженно потягивался, отдыхал от дневного заседания парткома, от двух проведенных митингов, от бесед с комсомольским активом, от поездки в райком. — На все-то у вас есть свой оригинальный взгляд. У вас, наверное, какая-нибудь особая библиотека, книги индийских философов!

Антонина их слушала, сидя на резной табуреточке. Казалось, они находятся от нее в удалении, словно сквозь прозрачный выпуклый воздух, в перевернутые окуляры бинокля. Их уносит, они уменьшаются, скоро совсем исчезнут. И хотелось их такими запомнить, понять, какие они.

Она испытывала тончайшую боль, необъяснимую жалость, будто видит их в последний раз, будто это последний их вечер. Завороженно, оцепенело не сводила с них глаз.

— Интересно, Лазарев, откуда у вас берется свободное время для этих вещей? — Менько, единственный из гостей, сохранял недовольный вид. Не мог удобно устроиться в кресле. На шее, заклеенной пластырем, болел фурункул. Спину, простуженную на сквозняках турбинного зала, ломило. Он морщился то ли от боли, то ли слушая самодовольные разглагольствования Лазарева. — Может, ваши идеи все-таки имеют хоть какое-то отношение к станции?

— И к ней, конечно! — не откликался на его раздражение Лазарев. — В древних полузабытых истинах можно почерпнуть много полезного и для сегодняшних дней. Например, Вавилонская башня.

— Ну, началось! — скривился Менько. — Опять Вавилонская башня!

— Мы вас слушаем, Виктор Андреевич, внимательно слушаем. Итак, Вавилонская башня! — Хозяин дома Горностаев поддерживал его с чуть заметной, ускользавшей от Лазарева иронией. Готовился насладиться предстоящим рассказом, забавляясь маленькой, затеянной гостем распрей, неопасной, неспособной нарушить их общего мира и отдыха. — Мы вас слушаем, Виктор Андреевич!

— И заметьте, этой трактовки вы не найдете ни в Библии, ни в «Махабхарате» и уж, конечно, ни у современных ученых. Мой взгляд! Моя версия! — Лазарев патентовал свой рассказ, оглядывая всех с подозрительной зоркостью, усматривая в окружающих возможность плагиата, опасность похищения идеи. — Вавилонская башня была никакой не столб, никакая не каменная башня, а была сверхмощная энергетическая установка, возводимая учеными древнего мира для улавливания и аккумуляции энергии космоса. Она была невиданных размеров станция по добыче и производству энергии. Детище высокоразвитой цивилизации, предназначенное для создания еще более совершенного общества — цивилизации технотронного типа. Вы спрашиваете — доказательства? Вот они!.. Посмотрите внимательно на картину Брейгеля, на другие изображения башни, копирующие, несомненно, более ранние, не дошедшие до нас. Эти спиралевидные конструкции, напоминающие спираль циклотрона! Эти ритмически расположенные полукруглые ниши, являющиеся элементами системы охлаждения! Завершение башни, которое есть не что иное, как параболическая антенна, улавливающая энергию космоса!.. Ее разрушение — неудачное испытание, неудача конструкции. Если угодно — Чернобыль древнего мира. Разрушение огромной машины, чья мощность питала эту древнюю цивилизацию. Взрыв был столь силен, что спалил всю северную часть Африки, основной ареал этой цивилизации, превратил ее в пустыню Сахару. Кварцевые пески Сахары — расплавленные города, самолеты, корабли этого древнего цветущего мира. Уцелела лишь дельта Нила, аграрная периферия, откуда потихоньку-полегоньку люди начали выкарабкиваться из-под обломков, отстраиваться, что называется, заново. Вот мой взгляд! В моей статье о Вавилонской башне я попытаюсь дать приблизительный чертеж этой энергостанции.

— Бред! — взвился Менько сначала от возмущения, вызванного рассказом Лазарева, а потом змеевидно вильнув спиной, уклоняясь от боли в пояснице. — Идиотизм! Мракобесие! Инженер, а такая ересь! Все спятили, что ли? Лечат наложением рук. Молятся перед пуском турбины. Гороскопы составляют перед приездом начальства. Может, крылатые ракеты будем сбивать с помощью биополя?

— Между прочим, у вас вянут не только уши. Но и спина, и шея! — едко парировал Лазарев. — А я вам предлагал, между прочим, снять радикулит. У меня есть способ. И напрасно вы отказались. Вот и мучаетесь.

— Да ну вас с вашим знахарством! Занимайтесь им втихомолку, но, ради бога, не тащите в производство, не тащите в медицину! Видно, все потеряли голову, не осталось здравого смысла!

— Ну что вы, что вы, Валентин Кириллович! — успокаивал его Горностаев, не желая пускать в их вечернее времяпрепровождение дневное раздражение.

— Лев Дмитриевич, дорогой! Все хотел поблагодарить, — обратился к Горностаеву Накипелов. — Лекарство, которое вы помогли достать для матушки, замечательное! Сразу сердце у нее отпустило и дыхание улучшилось. Да и нам всем, на нее глядя, стало получше. По гроб жизни вам благодарен. Должник, что называется. Только мигните, Накипелов сделает!

— Накипелов, сделайте! Возьмите щипцы и поправьте в камине полено, — добродушно смеялся хозяин. Накипелов схватил щипцами раскаленный уголь. Держал на весу влажно-алый ломоть.

Антонина смотрела на Горностаева, изумлялась: неужели это он, тот самый, что недавно казался близким, любимым, о котором помышляла, кем восхищалась, кому хотела служить, подчиняться? Он сейчас был почти чужой, удалялся от нее, уменьшался. Вчера и сегодня, все эти недели и дни что-то завершалось, кончалось. А он еще не знал, улыбался ей, посматривал насмешливо, ласково. Думал — они вместе, вдвоем.

— Маленький всем подарок! — Горностаев подошел к бару и извлек из него пузатую темную бутылку с золотой наклейкой. — Бренди, французский! Но не из Парижа, не думайте, а из Африки. Уж лет семь, наверное, храню. А сейчас решил: почему не выпить? Русские морозы под тридцать, какие-то Броды заснеженные! А мы пригубим и окажемся если не в Париже, так в знойной Африке! — Отведай! — передал он стакан Антонине. — Ты почему у меня пригорюнилась?

Она взяла стакан, коснувшись его пальцев. И он постарался на секунду продлить прикосновение.

— Чушь! Несусветная! — Менько весь исстрадался, исходил негодованием. — Как я ненавижу эти разглагольствования, эту пустоту, пузыри ума! Никто не желает думать! Никто не желает работать! Легкий хлеб разглагольствований! Не лечить от болезни, а колдовать, морочить измученных, потерявших надежду больных. Не исследовать проблему, а гадать над ней. Не добиваться истины, умирать от непонимания, жертвовать жизнью, а безбедно фантазировать на безопасном расстоянии от истины... Один бездельник исследует пророчества Библии и в них находит предсказания о появлении компьютера. Другой распишет по кругу алфавит, вертит над ним другим кружком с дырочкой и хочет открыть закон Вселенной, заменяющий квантовую механику. Третий выводит родословную своего рязанского хутора от скифов или древних индусов. Четвертый знает, как мыслью остановить грозовые облака. И не дети, нет! Мужики здоровые! Бабы дебелые!.. Никто не желает трудиться! Заложат свой чертежик Вавилонской башни в конструкцию реактора — и вот вам подводная лодка тонет! Запихнет свой закон алфавитный в устройство ускорителей — и «Чэлленджер» рассыпается вдребезги! — Он тыкал пальцем в сторону Лазарева, одолевая боль в пояснице. — Трусы! Бежите от истины!

— Да бросьте вы! Никто не бежит. Кроме некоторых. — Лазарев, уязвленный, был готов отвечать. Отстаивал свои ценности. — Когда взрывается настоящий реактор, все порядочные люди, экстрасенсы они или нет, кидаются устранять аварию. А люди сомнительные, экстрасенсы они или сторонники позитивной науки, кидаются прочь от аварии. Уклоняются, как вы говорите!

Все умолкли. Стало слышно, как трещат дрова и что-то тихо бурлит и клокочет в горле Менько.

Горностаев выждал мгновение, словно хотел убедиться, что страдание Менько достигло предела и стрелка коснулась красной отметки. Приоткрыл невидимый клапан, сбросил перегрузку:

— И Макс Планк раскладывал пасьянс, я уверен. И Пирогов перед операциями крестился. Одно не мешает другому. Но, конечно, и тут я согласен с Валентином Кирилловичем, от этих верящих в магию житья не стало. Как хорошо, что наша Антонина Ивановна не вносит в работу профкома алхимию и астрологию. Верно, Тонечка? — Он подошел к Антонине, чокнулся с ней легонько, чуть насмешливо, чтобы видели остальные.

Тронул ее плечо, чтобы и она почувствовала: они вместе подтрунивают беззлобно над случившейся размолвкой, знают ее подоплеку.

А ей стало неприятно. Он воспользовался ею, чтобы избегнуть неловкости. Отвлек на нее внимание, когда назрела ссора. Втолкнул ее в эту ссору. И эта малая бестактность кольнула ее.

Она знала подоплеку размолвки. Менько появился в Бродах после Чернобыля. Испугался, бросил отравленную, опудренную радиоактивной пылью стройку, уехал прочь от беды. Злые языки говорили, что он подвесил свой дозиметр под корпус бронетранспортера. Машина, разъезжая по зараженной местности, копила в дозиметр «рентгены», набирала предельную для каждого работника дозу. Ему долго не прощали малодушия. Репутация труса тянулась за ним в министерство. От него отвернулись. Горностаев взял его в Броды, и теперь благодарный Менько слепо ему подчинялся, исполнял его волю. Пребывал в постоянной тоске и смятении. Жаловался на вечное нездоровье. Был мнителен, склонен к обидам.

Антонина видела, как хозяин весело, властно следит за Менько. Тот сникал и смирялся. Отходил под власть Горностаева. Вступал под его защиту. Отдавал взамен свою волю. Горностаев ее брал и использовал для каких-то неведомых Антонине целей.

Она знала: все, кто здесь был и не был, зависели от Горностаева. Не просто по службе, а сложнее, незримее. Множеством больших и малых зависимостей, благодеяний, любезностей, которые он неустанно оказывал. Создавал из этих услуг и любезностей сложную упругую ткань отношений. Все видели в нем будущего, скорого начальника стройки. Тянулись к нему. Старались заручиться его расположением.

Она смотрела на него. Он был красив, любезен, радушен. Умен и тактичен с другими. Обращал на нее свое чуткое внимание, нежность. Еще недавно он был ей важен, понятен. Она была увлечена этим ярким, сильным, открывшимся ей человеком, казалось, любила его. И теперь медленно от него отдалялась. Он был чужой. С иной, непонятной, неблизкой душой. С неблизкой, непонятной для нее сердцевиной, которая не пускала в себя, отдаляла, отталкивала. И она, дойдя в своем обожании до этой плотной, оттолкнувшей ее сердцевины, остановилась, застыла, стала медленно от него удаляться.

Слушала, ждала, предчувствуя, как что-то копится в этом вечере...

— А я вас хотел поблагодарить, Лев Дмитриевич, за сына! — Язвин отвлекал внимание от Менько. — Спасибо, что вы тогда проректору позвонили. Алешку за уши подтянули, учится теперь хорошо. Первую сессию сдал... Спасибо!

Горностаев, принимая мимоходом благодарность, хлопнул громко в ладоши:

— Прошу у вас минуту внимания... На ваш суд!.. Может быть, вы мне подскажете. — Ушел в соседнюю комнату.

Вернулся, держа в руках черную тяжелую доску.

— Вот, взгляните, какая икона! Никогда такой не встречал. Нашел ее позавчера в брошенной деревне, в избе. На вездеходе шли вдоль трассы. Смотрю — поляна. На ней деревня. Окна выбиты, двери настежь. На полу сугроб. Весь пол в лисьих следах. На кровати — снег. На столе — снег. Везде лисьи следы. А в углу на божнице — икона. Вот она. Черная, почти ничего не видно. Хочу отдать реставраторам. Жена Дронова Вера Егоровна понимает толк в реставрации. Приедет, ей покажу.

Все знали — Горностаев собирает иконы. Где покупает у ветхих, доживающих век старух. Где просто берет в глухих, покинутых избах, зарастающих лесом, когда на гусеничных машинах с изыскателями забирается в медвежьи углы. В соседней комнате у него иконостас. Красные, золотистые, голубые, очищенные от копоти, покрытые лаком, висят иконы. Каждую он возил в Москву, отдавал реставраторам, и те возвращали иконам их древний образ.

Теперь он держал продолговатую тяжелую доску в нагаре, в каплях воска и лампадного масла, будто она побывала в пожаре. Сквозь спекшуюся коросту чуть проглядывали кони, шлемы и копья. Городские стены и главы. Туманное в небе светило, опиравшееся на перекрестья лучей.

Все заглядывали на доску, пытались угадать изображение.

— Какая-то битва, не так ли?

— А в небе луна или солнце.

— Похоже на нашу станцию. Ночью такие же лучи на морозе.

— Так ведь это летающая тарелка! — воскликнул Лазарев. — Летающая тарелка на русской иконе! Пришельцы из космоса! Было такое свидетельство!

— Да ну, какие там пришельцы! — отрицал Накипелов. — Просто так бога изображали. Надо расчистить, и увидим.

— А я говорю — пришельцы! — Лазарев загорелся, готовился витийствовать, но одновременно озирался на Менько, опасаясь повторения вспышки. — Есть достоверные сведения о том, что дважды пришельцы из космоса побывали на Земле. Один раз — в Месопотамии, в Вавилоне. Другая версия Вавилонской башни. Вавилонская башня — причальная мачта для космического корабля. Неудачная посадка — и взрыв!.. Второй раз они высаживались в Древней Руси. И их здесь не приняли, атаковали из луков! Сами от своего счастья отказались! А третья посадка будет в Америке, в Штатах. Ибо уровень их цивилизации позволяет им принять посланцев из космоса. Уже между ними происходит обмен сигналами. Достраивается посадочная полоса где-то в Колорадо. И я убежден, скоро мы станем свидетелями приземления!

— Идиотизм! — прошипел Менько. — Оглупление!

— Не понимаю в иконах ничего, — равнодушно заметил Язвин. — Чего в них находят? Импрессионисты — это я люблю. Или искусство Древней Греции — я сейчас изучаю альбомы. А иконы? Не понимаю...

— Тут, знаете, особая культура нужна, особое знание или предрасположенность. — Лазарев с видом знатока рассматривал икону. — Я, например, одобряю Льва Дмитриевича за его пристрастие, за его гуманитарные интересы. С одной стороны, прекрасный инженер, отличный руководитель, организатор, а с другой стороны — ценитель древности. Это знак времени, добрый знак. Не сомневаюсь, Лев Дмитриевич скоро возглавит строительство. И иметь такого начальника, такого просвещенного человека — большое благо.

— Какое уж там просвещение! — отказывался от комплимента Горностаев, от той его части, где содержалась тонкая лесть. — Какая-то в ней есть сила! — качал он на ладонях икону. — Какая-то мощь!

— Вообще вы должны знать, во всех иконах — огромная сила! — учил Лазарев. — Перед ними столько людей молилось, добрых, злых, несчастных, счастливых. Все их чувства скопились в иконе. К тому же в самом изображении закладывается энергия святости, сила благодати. Уверен, когда-нибудь мы научимся извлекать из икон весь потенциал их энергии. Если хотите, это аккумуляторы, копилки энергии. И когда-нибудь мы научимся ее извлекать!

Менько шевельнулся, желая возразить и оспаривать. Но, помня недавний урок, воздержался. Только пробормотал:

— Аккумуляторы! Клеммы!.. Шарлатанство! Ненавижу!

Антонина смотрела на доску, черную, как вар, в сургучных сухих отпечатках. То ли губы и пальцы оставили эти следы, то ли давление огня. И вдруг вспомнила промерзший автобус, лицо попутчика, рассказ про какую-то битву с какой-то неведомой тьмой. Рассказ показался выдумкой, случайной дорожной фантазией и вдруг сегодня же, на этой доске получил свое подтверждение.

Она слушала Горностаева, его умные, изящные замечания. Удивлялась, что они больше не увлекают ее. Он был ей чужой и далекий. И она для него чужая. Они вот-вот разойдутся, без боли, без муки: какой-нибудь малый пустяк, какая-нибудь ничтожная ссора — и они навсегда расстанутся. Вот и хорошо, вот и ладно. Не было ничего и не будет.

Горностаев засмеялся, приглашая повеселиться других. Собирал их всех своим смехом, делал их соучастниками.

— Приходит сегодня ко мне в кабинет один чудак. Раскрывает портфельчик времен ГОЭЛРО, достает засаленные бумажки и говорит: вот это, говорит, ваше спасение. Вот это, говорит, чудо двадцатого века! Метод управления, которого все дожидались. «Вектор» его назвал, что расшифровывается, как «Века торжество». Берите, говорит, меня на работу, берите мой метод, и все ваши беды в прошлом. Хотел я его отправить обратно на мороз, откуда пришел, а потом подумал: ан нет! Надо взять! Он пригодится. Репортерам его будем подсовывать. Министерской инспекции. Пусть и Костров увидит, что мы ищем новые решения. Вы, Евгений Борисович, прежде чем завтра идти в райком, познакомьтесь-ка с этим «торжествующим веком», а потом и ступайте к Кострову!

— А что, так и сделаю! — обещал Евлампиев.

Они чокнулись с Горностаевым, и тот, держа стакан, стал обходить гостей, чокаться, повторяя:

— За «Вектор»... За «Века торжество»!..

Антонина, звякнув стаканом, почти испугалась. Угадала, что речь идет о ее дорожном знакомце. Это он, в пальтишке на рыбьем меху, с портфельчиком времен ГОЭЛРО, — он был в автобусе. Защитил убогого, укротил бича, говорил ей о неведомой рати, смотрел на нее в полутьме счастливым лицом. И возникла неприязнь к Горностаеву. К его высокой, статной фигуре. К красивому дорогому костюму. К мягкому голосу. К дому, в котором собраны африканские резные фигуры и русские, вынесенные из брошенных изб иконы. К рассказу о чудаке, в котором был глум и одновременно тонкий, хитрый расчет. К тонкому, умному, из расчета и глума, владычеству над всеми собравшимися. К недавнему владычеству и над ней, Антониной, привязанной к этому дому невидимой, унижающей ее чем-то зависимостью. И вдруг захотелось встать и уйти. Молча встать и уйти. Вот сейчас подняться и выйти.

Но снаружи был ветер, мороз. Столбы ледяного, застывшего над станцией света. А тут тепло. Сладкий треск в камине.

Гости собирались уже разойтись, уже несколько раз почти поднимались, направлялись к вешалкам. Но каждый раз оставались в креслах, удерживались в тепле какой-нибудь необязательной фразой. Цеплялись взглядом за решетку камина, за стаканы с бренди, за уютное убранство дома, за пределом которого — черные наледи бетонки, спекшиеся металлические сугробы, продуваемый вьюгой город.

— Все-таки, я говорю, западногерманские задвижки отличные! — произнес одну из таких необязательных фраз Лазарев. — Я с ними горя не знал. Поставлю, и стоят с микронной точностью. А наши вместо немецких прислали, пять раз переставлял! Там прокол! Там протек! И кто их только делал? Все-таки нет, не можем, не умеем настоящие вещи делать! — Лазарев заряжался раздражением. — Не хватает нас на целую вещь, ровно на одну треть недоделываем! Дорогу кладем — на одну треть недокладываем. Дом строим — на одну треть недостраиваем. Деталь точим — на одну треть недотачиваем. И вся-то наша жизнь на одну треть недоделана, от сантехники до реактора. Так и хромаем на культяпке обрубленной. А туда же, в Европу лезем, Европу жить учим!

— А что, и Европе есть чему у нас поучиться! — возражал Накипелов все еще благодушно, но построже, пожестче, обращал свою жесткость не в адрес Лазарева, а скорее в адрес Европы. — Я ведь помню, как они на наш спутник ахнули, на Гагарина рот раскрыли! И на первую атомную в Обнинске — какая суматоха была! И на первый наш пассажирский, реактивный, на Туполев-104, кудахтали, боже мой! И Европе есть чему у нас поучиться, когда не баклуши бьем, а вкалываем во всю Вселенную!

— Было, да сплыло! Профукали! — Лазарев закипал, возмущаясь прекраснодушием Накипелова, виня лично его за технологическое отставание. — Проели, прокутили, на дуде проиграли! Откуда жирок-то взялся? В войну мальчишки голодные на морозе шпинделя крутили, умирали, а детали точили! Профессора, академики в шарашках на цепях сидели, бомбу изобретали! Вот и Обнинск, и ваш пассажирский! А какой ценой, какими слезами и кровью? А мы, «застойники», эти слезы и кровь пропивали. И пропили, теперь башмаки покупаем — и оба на левую ногу. Утюг включаем, а из него дым! Форточкой в доме хлопаем — и вся стена выпадает!

— Ну уж вы перебрали с примерами! Это просто Вавилонская башня какая-то! — Накипелов еще старался шутить, но уже мрачнел, багровел, принимая наскоки Лазарева на отечественные достижения, как на себя самого. — Правильно, разболтались маленько, но опомнились, взялись за ум, слава богу! Жуликов посажали, дали по рукам. Теперь надо лодырей вздрючить. Пьяниц подлечить. А самим рукава закатать, как бывало, и сделать дело!

— Да какое там дело сделать! Никакого не сделаем! — тонко, желч-

но смеялся Лазарев, издеваясь над Накипеловым, над его упрощенной моделью экономического и социального обновления.— Обогнали нас капиталисты проклятые, обошли на прямом отрезке. И мы им за хвост уцепились, боимся руки разжать. Прицепной вагон: «Москва — Чернобыль»! Но в СОИ они нас собой не возьмут, туда с нашим вагоном не лезь. Что, получили? На весь мир осрамились? Теперь они вам покажут! И в Афганистане, и в Анголе, и в Персидском заливе! Отовсюду повыкинут. Будете Нечерноземье осваивать!

— Это кому же, нам-то, покажут? Мне? А вы-то откуда?

Не было недавнего дружелюбия, нависла ссора.

Антонина остро, испуганно чувствовала происшедшую перемену, расслоившую, разбросавшую всех по разным углам. И только Горностаев оставался невозмутимым. Казалось, был даже рад разногласиям, почти наслаждался. Словно этот спор был им задуман заранее, медленно готовился, создавался огнем в камине, свечами на березовой плахе, старой иконой. И теперь наконец увенчал собой вечер.

— Да зря вы, скажу я вам, надеетесь на вашу СОИ! — Накипелов набычился, наставил на Лазарева свои мышцы, покрасневшие надбровные дуги, гневно дышал ноздрями, уже не отличая его от врагов, желавших погубить государство.— Ну потратите вы свои триллионы, развесите свои фонарики! А мы их возьмем и погасим! Дунем — и нету! Решили Россию, как волка, красными флажками из космоса обложить? Смешно! Мы эти флажки перепрыгнем. Россия — не серый волк! Облавы на нее не пройдут!

— Как я ненавижу этот дешевый оптимизм! Как я ненавижу эту мелкотравчатую пропаганду, рассчитанную на дураков! — Лазарев и впрямь ненавидел. И впрямь, казалось, был с теми, кто в Ливерморе разрабатывал рентгеновский лазер.— Мы тридцать лет занимались этой дешевой брехней, клали на себя румяна и проиграли гонку. Вместо того чтобы честно анализировать, беспощадно себя судить, мы бодрились, кичились, румянились, а всю энергию, накопленную в недоеданиях, тратили на то, чтобы что-то запрещать, чему-то мешать, с чем-то и с кем-то бороться. Смешно сказать, дизайнеров и тех разогнали! Этикетку на банке огурцов нарисовать не умеем! Глядишь на этикетку, и от одного вида тошнит! А ведь какая этикетка, такие и самолеты! Какая этикетка, такие и компьютеры! Единая цивилизация и в гайке и в боеголовке!

— Да бросьте, зачем передергивать? — Накипелов сжал кулаки.— Может, этикетки кое-где и кривые, но перехватчики, слава богу, с тройной скоростью звука летают, и ракеты в квадрат попадают, и лодки по всему океану шастают! Оборону, слава богу, держим — и на востоке, и на западе. И на вашу разлюбезную СОИ тоже откликнемся и откликнемся, будьте спокойны, на всякую гнусь, и клевету, и злорадство, которые здесь, дома у нас, разные паникеры и пораженцы разводят!

— Перехватчики со скоростью звука? А вы у немчика на Красной площади об этом спросите! Лодки в Мировом океане?

— Прекратите, прошу вас! — Евлампиев их останавливал, разводил, страшился не ссоры, а самого предмета ссоры. Политической сути, в которую по долгу был должен вмешаться и в которую ему так не хотелось вмешиваться.

— Да ну, Анатолий Никанорович!.. Виктор Андреевич!.. Ну давайте о чем-нибудь полегче! Давайте анекдотик вам расскажу! — тосковал Язвин, дышал на свой черный перстень, не выдерживая яростной полемики.— Послушайте, какой анекдотик.

— Нет, они оба не правы! — пытался воткнуться Менько.— Слышите, вы оба не правы!

— Эх вы, голова садовая! — Лазарев презирал Накипелова, жалел его и одновременно не мог терпеть.— Волки!.. Флажки!.. Облавы!.. Сравнения у вас все сермяжные, деревенские! Взгляд из берлоги!.. Да вы понимаете, что такое СОИ? В чем их над нами могущество? Они приставят свои лазеры прямо вам в лоб, где бы вы ни находились,— в кабинете или в туалете. Оккупация на космическом уровне! Режим военных комендатур от Москвы до Владивостока! Контрольно-пропускные пункты от Мурманска до Ташкента! Вам из города в город не позволят проехать. По малой нужде не дадут сходить. Будете в госдепартамент за пропуском обращаться. Они свои рубежи обороны провели по Садовому кольцу. А вы — облава!.. Волки!.. И это еще пустячки! Это еще ерундистика по сравнению с главным замыслом. Америка триллионы свои разбросает по европейским и японским фирмам, загрузит их на десяток лет, а когда заказы будут выполнены, то окажется, что Япония и Европа срослись неразрывно со Штатами в новейшую, небывалую, на технотронном уровне цивилизацию! В невиданную, неразрывную мощь! Перед которой мы — каменный век! Их ресурсы, людские, экономические, научные, их культура, их пространство срастутся в СОИ, в сверхцивилизацию двадцать первого века, и эта цивилизация будет против нас. И наша шестая часть суши, наши ресурсы, наши двести восемьдесят миллионов будут ничто перед этой грозной, оснащенной, планово развивающейся цивилизацией! Вот что такое СОИ! Если рассматривать мир не из вашей волчьей берлоги, не с мыльным пузырем парфюмерной пропаганды! Заметьте, все нынешние перемены, которые у нас затеваются,— это паническая попытка вырваться из-под зонтика СОИ!

Накипелов играл желваками, выражая высшую степень гнева. Мышцы на его плечах взбухли. Он держал на коленях два огромных набрякших кулака, готовых сорваться, устремиться навстречу Лазареву. А тот не замечал, продолжал глумиться, дразнить:

— Вояки! Кулаки-то пора убрать! Мириться пора, пока не поздно. А то и впрямь последнюю рубаху отнимут. Что осталось и то отберут. На мощь не попрешь с кулаками. На интеллект не попрешь! Ливию бомбили и будут еще бомбить. Никарагуа давят и додавят, как пить. В Афганистане у моджахедов уже и ракеты есть, а будут и танки, и вертолеты!.. И где наш ответ, позвольте? Чернобыль! Ансамбль песни и пляски Бурятской АССР! — Лазарев захохотал мелко, страстно. В его заведенных хохочущих глазах мелькнуло почти безумие.

— Врешь! — Накипелов надвинулся на него, как гора, готовый раздавить и расплющить.— Чернобыль не трогай! Я тебя там не видел! Солдатиков, мальчишек с тонкой шеей, которые на уран кидались, лопатой его хватали,— их видел! Вертолетчиков, которые на реактор летали, свинцовые «чушки» бросали,— тех видел! Шахтеров, которые под четвертый блок туннель били, под раскаленную топку,— их видел! Даже того видел.— Накипелов мотнул головой в сторону Менько.— А тебя не видел! Ты здесь отсиживался! Вы всегда отсиживаетесь, когда другие в огонь лезут! Когда Россия горит, и другие за нее головы и жизни кладут, вы тут отсиживаетесь. Она вам мать, когда ей хорошо, когда ей сытно и ее доить можно. А когда ей худо, когда она в беде и нужде, в слезах и крови, вы от нее отворачиваетесь. Вы к врагу бежите, ворота ему отворяете, в дом с хлебом с солью пускаете. Были такие, которые Гитлера ждали, на танки его молились, с «юнкерсов» листовки хватали. А были другие, которые с бутылками на «тигры» кидались, по «юнкерсам» из трехлинейки гвоздили! Правильно вас Сталин к стенке ставил, и теперь поставим!.. Чуть покачнулось, чуть бедой запахло, и вы бежите! К тому, кто посильней, побогаче, у кого этикетка поярче и нужник потеплее. И Родину без боя отдать готовы. Черта с два! Додразнят они нашего мужика, доведут! За дубину возьмется. Додразните вы нас, за дубину схватимся. Будем дубиной авианосцы гвоздить, СОИ прорывать дубинушкой нашей. Ну да слава богу, есть кое-что и покрепче дубины... А предателей не терпели и терпеть не будем! Их на воротах вешали и в проруби топили. И будем топить, и вешать, и к стенке ставить! Ты все в Европу рвешься, все тебе здесь противно. Ты им, своим-то, скажи — нас нельзя оккупировать! Шестую часть суши, населенную таким народом, нельзя оккупировать, понял? Мы не колония, не Гренада! А Великая держава! И с нами, господа, обращайтесь, как с Великой державой!

— Сталина вспомнил? Гулаг? Крови мало пролили? Убийца! Палач!

Поднялся шум, гам. Лазарев, тонкий, визжащий, взвился на Накипелова. Метался перед ним, едва не задевая руками. Тот, свирепый и яростный, был готов его двинуть. Евлампиев втиснулся между ними, разводил их в стороны. Менько выкрикивал:

— Оба неправы, оба! Нужен другой подход! Всех собрать за «круглым столом»!

И только Горностаев оставался спокойным.

— Ну хватит, друзья! — сказал он внезапно, хлопая в ладони, и

все, очнувшись, оглянулись на этот хлопок.— Действительно, закончим полемику. Завтра тяжелый день. Не будем ссориться. Нам завтра надо быть вместе. Есть нечто за пределами полемики. Нечто, нас всех роднящее... А теперь — маленький сюрприз. Развлечение. Чтобы страсти улеглись... На прощание.

Он вышел в комнату. Принес проектор с кассетой, в которую были заранее заряжены слайды. Выключил свет. Нацелил аппарат на белый участок стены.

— Полюбуемся на красоту природы...

Включил проектор. И загорелся слайд. Круглое пышное дерево начинало желтеть, золотиться. Под деревом светлая «Волга», его, Горностаева. Антонина в алом сарафане. Ее смуглые плечи, красные бретельки, схваченные косынкой волосы. Оглядывается, словно на оклик, усмехается. И кругом много золотого, прозрачного. Ранние дни сентября.

— Вот это другое дело! Это действительно красота! — Язвин с облегчением, стараясь поскорее забыть недавнюю суматоху, устремился к разноцветной картине. И все остальные, умолкнув, еще полные раздражения, повернулись к золотистому дереву, к алому сарафану.

А в ней, Антонине, — испуг: зачем? Зачем показывать посторонним то, что касалось двоих. Их поездка по окрестным лесам, по заросшим опушкам, где кусты с перезрелой малиной, и взлетают шумные рябчики, и желтеют цветы зверобоя, а в прозрачном, стеклянном просторе темнеют далекие избы, островерхие кирпичные церкви. И было так хорошо, так светло. Ничто не мешало, не мучило. Тот редкий чудесный день, когда было им хорошо. Зачем же теперь пускать в этот день посторонних?

Снова щелчок аппарата. Новый слайд. Золотая копешка соломы. На соломе — красный сброшенный сарафан. Сброшенная цветная косынка. Белые туфельки. И вблизи, за копешкой, синеватый проблеск реки, наклоненная ива.

— Замечательный натюрморт! — похвалил Менько, слегка хохотнув.— Вообще, Лев Дмитриевич непревзойденный мастер натюрмортов!

— Уж он большой мастер, — недовольно ворчал Накипелов, косясь на Лазарева.

— Зачем ты показываешь? — тихо сказала Антонина.— Мне неприятно. Прошу тебя, не надо.

— Ну что ты? — сказал Горностаев.— Ведь это красиво. Посмотри, как красиво. Ты думала тогда, я отправился за грибами, а я взял аппарат и тихонько пошел за тобой. Фотоохота.

— Прошу тебя, не показывай. Это не для всех. Я прошу!

— Ну еще два слайда, и все.

Он передвинул кассету. И возникла голубая заросшая речка со студеной водой, в которую кануло лето. И в эту воду, неблизко, светясь сквозь заросли зверобоя, сквозь узорные резные цветочки, входила она, Антонина. Белая, чуть размытая, не в фокусе, как в тумане. Входила в воду. Наполняла ее своей белизной, своим теплым свечением.

— Прекрати! — сказала она громко, пытаясь найти выключатель. Не нашла. Направилась к выходу. — Я ухожу!

Он кинулся ее догонять.

— Ну что ты? — догнал в прихожей, мешая взять шубу.— Обиделась? Но ведь это красиво! Должен же я был их успокоить! Твои предрассудки...

— Я просила тебя не показывать! — Она с силой вырвала шубу. Подумала: «Вот и случилось. Чего ждала, то случилось».

— Останься! — не пускал он ее. — Они сейчас разойдутся. Может, я действительно поступил бестактно. Но я хотел их отвлечь. Как стадо быков! Ну прости, ну останься.

— Мне тяжело у тебя.

— Я вижу, ты решила устроить маленькую сцену. — Он начинал раздражаться.— В дополнение к той большой, что уже устроили. Сегодня все решили капризничать. Все чем-то недовольны. Извини, не сумел угодить!

— До свидания, — сказала она, отворяя дверь, впуская стужу. Шагнула навстречу черной мерцавшей тьме.

— Жаль. Не смею задерживать. Обращусь к тебе, когда почувствую, что твое настроение улучшилось.

Она уже шла. Перешагивала квадратный желтый снег под окном. Ступала на ледяную дорожку к бетонке, где прогудел ночной самосвал. Над спящим городом стояли недвижные кристаллические столбы морозного света. Но выше, в высоком тумане, что-то шевелилось и двигалось. Казалось, прозрачный небесный конь, запряженный в сани, движется в морозных туманах.

Она смотрела на небо и думала: «Все хорошо... Так и надо... Нет ничего и не будет...»

Глава шестая

Фотиев, побывав в управлении стройки, получив квиток на жилье, вернулся на автобусе в город. Нашел общежитие. В комнате на застеленной кровати сидел парень в спортивных брюках и майке. Пришивал к рубашке пуговицу. Стол был накрыт клеенкой, пустой, с катушкой ниток. На подоконнике стоял кассетник. Парень был светловолосый, бледный, болезненный. Сероглазый. Грудь и плечи мускулистые, крепкие. Руки с черными ногтями, в ссадинах и царапинах, ловко орудовали блестящей иголкой.

Другая кровать была аккуратно застелена. Фотиев оглядел ее с благодарностью, сам не зная к кому. Прицелился на пустой край стола. Его край.

— Вечер добрый. Жильцов принимаете? — Он снимал шапку, поглядывая, куда бы ее положить. Положил на кровать. — Не стесню?

— Заходите, — ответил парень. — Двухместная комната. Здесь сварщик жил со второго участка. Уехал, совсем.

— Ну, значит, я за него. — Фотиев чувствовал застенчивость парня, будто тот был не хозяин, а гость. И от этого сам смущался. — Думаю, сживемся, подружимся. Меня зовут Фотиев Николай Савельевич.

— А меня Вагапов Сергей. — Парень привстал, и они пожали друг другу руки. — Это все ваши вещи? — Парень осмотрел портфель, пальто, шапку. — Других нету?

— Еще не разжился, Сережа, — усмехнулся Фотиев. — Не успел. Еще разживусь!

— Это как жить будете, — осторожно заметил парень.

— Живу я скромно. В театры не хожу. На бензин мне не надо. И в карты не играю.

— Тогда разживетесь. — И парень первый раз улыбнулся. Его бледное худое лицо стало от улыбки добрым, доверчивым. И Фотиев, отвечая на эту улыбку, вдруг почувствовал, что кончились его скитания, кончилась дорога. Он наконец доехал, остановился. Здесь его пристанище, дом. И в этом доме рядом с улыбнувшимся парнем, в этой маленькой чистой комнатке, будет ему хорошо.

— А нет ли у тебя чайника, Сережа? — Он раскрыл свой портфель, извлек из него пачку чая с индийским слоном, пачку сахара, обрезок батона. — Иду сейчас, дрожу и мечтаю. Есть же, думаю, где-нибудь в этом городе обыкновенный кипящий чайник. Где бы кипяток раздобыть?

В дверь без стука заглянуло женское большеглазое лицо. Промелькнула поправлявшая волосы рука.

— Сереня, ну иди же! — Женщина увидела постороннего, отступила. — Да ты не один...

— Сосед приехал. Сейчас вместе придем. — Сергей ловко откусил нитку, натянул рубаху. — Ну пойдемте к брату, — пригласил он Фотиева. — Как мечтали, так и случилось. У них чайник поспел.

Они перешли в соседнюю комнату. Там был другой мир. Хозяин Михаил Вагапов — те же сильные, грязноватые, неотмываемые руки, те же серые глаза, что и у брата. Только все крепче, здоровей и мужественней. Румянец на щеках, жесткая зоркость в глазах, маленькие светлые усики над крепким ртом. Его жена Елена в широком, как балахон, домашнем платье, с белыми крупными руками, которые она то и дело складывала на дышащем большом животе, словно прикрывала, пригревала его.

В комнатке было тесно, негде ступить. Множество домашнего скарба. Уже подержанного, послужившего и только что купленного, приобретенного впрок. На стене без шкафа, упрятанные за штору, висели на распялках платья, костюмы. В углах стояли один на другом чемоданы — заменяли ко-

мод. На спинке кровати красовались только что купленные детские ползунки. И вид этой детской одежды, уже поджидавшей неродившегося ребенка, тесная комнатка, переполненная до предела не только вещами, а молодой, крепкой, сильной жизнью, готовой разорвать и раздвинуть эту тесную оболочку,— все это радостно почувствовал Фотиев и опять улыбнулся.

— Да вы не смотрите, что у нас так тесно,— смущалась хозяйка. Радовалась этой улыбке гостя, угадывала его мысли.— Нам скоро квартиру дадут. В шестнадцатом доме. Через месяц ключи раздадут.

— Проходите, садитесь. Будем знакомы.— Михаил подставлял к столу единственный стул. Сам теснился на кровати, подсаживая брата.— Лена, давай-ка нам к чаю джем. Да завари покрепче. А гостя заварку не тронь. Потом пригодится.

Фотиеву с первой минуты стало хорошо и свободно среди этих едва знакомых людей, очень молодых, очень дружных и любящих, отворивших ему свои двери, пустивших его без расспросов в свое застолье.

Пили чай. В доме не оказалось хлеба. В дело пошел батон, принесенный Фотиевым. Поделили поровну, густо мазали джемом.

— А я сегодня с замминистра разговаривал лично,— сказал старший Ваганов.— Подошел ко мне прямо у реактора и спросил, как дела, какие проблемы. Я и сказал, какие проблемы. Бывают ничего дела, а бывает хреново. Пусть начальство дает фронт работ, пустим блок к сроку. А не будет фронта — сорвем пуск. Еще про калорифер ввернул неработающий. Околеть, говорю, можно от холода.

— Так и сказал министру?— испугалась за мужа Елена.— Да тебя же начальство за эти слова заклюет!

— Во-первых, он не министр, а замминистра. Есть разница. А во-вторых, меня здесь никто заклевать не может. Меня в Афганистане душманы из засады заклевать хотели. Но я их сам заклевал. Правда, они меня клювом один раз долбанули.— Он раздвинул вырез рубахи, показывая Фотиеву сморщенный розовый рубец у ключицы, уходивший вглубь, под рубаху.— В Панджшере заработал. Есть на земле такое местечко проклятое.

Фотиев испытал мгновенную боль и растерянность. Благополучие и здоровье, наполнившие комнатку, были обманчивыми. В этом парне с крепким румянцем, с белокурыми щегольскими усиками присутствовало грозное, страшное, отмеченное рубцами и ранами, молниеносным жестоким блеском в глазах.

— Миша, не надо!— жена, пугаясь, умоляя, одной рукой закрывала рубаху на шее у мужа, а другую прижимала к своему животу. Отвлекала его от опасных, ее напугавших слов. И было в этом что-то птичье, трогательное, беззащитное, когда птица уводит опасность от своего гнезда, навлекает ее на себя.— А я сегодня разговаривала с Костровым, с секретарем райкома. Ты с министром, а я с Костровым! Шла в магазин, поскользнулась, а он меня поддержал. Пожурил, что по льду неосторожно хожу!

— И правильно пожурил. Надо бы строже!— Муж поддался на ее уловку, отвлекся от жестоких видений. Тревожился за жену.— Я тебе говорил: одна не ходи в магазин. Все равно без меня не выберешь. В воскресенье вместе пойдем.

— Не утерпела! Охота было посмотреть. Там такая люстра красивая, с синими стеклышками. Купить бы, пока висит!

— Всего не купишь. Ставить негде,— выговаривал ей Михаил.— Вот въедем, тогда и купишь!

Фотиев рассматривал братьев, их похожие лица, в которых родовое сходство, отразившись в глазах и губах, раздвоилось, неповторимо разошлось, полилось по их разным судьбам.

— А я вначале подумал, вы близнецы. А теперь вижу — разные. В тебе, Михаил, кость пошире и румянца побольше. А Сергей побледней и пониже.

— Он был раньше румяный,— сказал Михаил, оглянувшись на брата.— До Чернобыля щеки красные были. А вернулся из армии белый как мел. Я его летом к матери хочу отослать, в деревню. Пусть морковь поест. Говорят, от нее розовеют.

— Так ты в Чернобыле был? В химвойсках?

— Был,— кивнул Сергей. Но и только. Не стал говорить, поднес к губам чашку, медленно пил, закрыв глаза, словно боялся, что в глазах обнаружится нечто неуместное, неурочное, не к вечернему их чаепитию.

— Был и я,— сказал Фотиев. И тоже закрыл глаза.

Под веками набухло и дрогнуло. Измызганный борт грузовика с отломанной белой щепкой и слюнявая бычья башка с лопнувшим сосудом в глазу. Бегущая из хаты старуха в долгополой крестьянской юбке и орущий у нее на руках до хрипа, до посинения младенец. Военные регулировщики в касках, в респираторах, в глянцевитых бахилах и колонны военных машин с зажженными при солнце огнями. Лежащий иа иосилках пожарный, обожженный, в волдырях и отеках, и летящие красные «зилы», с воем, с синими вспышками. Обезлюдевший город в белом цветении садов и далекое, бесшумное в сумерках зарево над взорванной станцией.

Видения понеслись, полетели, сплетаясь в долгие цепи, и Фотиев, набрав сильно воздух, остановил, разорвал эти цепи. Раскрыл глаза.

Сидели и пили чай. Черпали ложками джем. Фотиев видел: их застолье не было безмятежным. Каждый принес к столу свой горький ломоть, свою беду и несчастье. И он, старший из всех, вдруг почувствовал к ним, молодым, такую нежность, такой внезапный страх за них, что рука, державшая чашку, дрогнула и он пролил на колени чай.

— Вот все говорят нам: «Живите по правде!» А что в твоем понимании — правда?— спросил Фотиев Михаила.

— Правда? Значит, жить честно! Хочу работать честно и во всю силу. Пусть тяжело, пусть много, чтоб косточки трещали. Буду выкладываться, как мы в горах выкладывались. Не чадить, не коптить, не стоять столбом у дела: и ты его ненавидишь, и оно тебя. День не работал, а домой пришел как больной. Вот чтоб этого не было! А работа чтоб была могучая и с ног валила, а ты стоишь и не валишься! Это раз!

Он ударил о стол ладонью, словно сделал на нем зарубку. Отметил первый параграф своего кодекса правды.

— Чтоб деньги, которые честно достались, мог хорошо и правильно тратить. Чтоб была квартира хорошая. Хорошие, лучшие вещи. Не какая-нибудь туфта-муфта, которую и в дом стыдно поставить и на себя не наденешь. То ли калеки их делали, то ли вредители. Взял бы их, вынес из магазинов и сжег разом при всем народе. Уж лучше полки пустые, чем эта рухлядь. Хочу, чтоб мой труд не впустую шел, а возвращался ко мне красотой и добром... Это два.

Он снова рубанул по столу, оставляя вторую зарубку.

— А еще хочу, чтоб с людьми по-людски обходились! Я лично людей люблю. Вижу, вроде и другие любят. А выходит так, что ненавидим друг друга. Почему? Почему мы друг к дружке так поворачиваемся, что ненавидим? Один другого подсиживаем, не доверяем, завистничаем. Я в бригаде говорю — нельзя так, ребята. Если б мы так в горы ходили, ни один бы назад не вернулся. Нельзя нам в этой жизни друг на друга косо смотреть. Одна жизнь-то! Зачем ее косо жить? Надо друг с другом по-братски... Это три.

Кодекс увеличивался, вырубался на досках стола. Фотиев почти догадывался, что будет в-четвертых и в-пятых. О том же были его труды и открытия, был его «Вектор», его «Века торжество».

— Не хочу всей мути и нечисти! Вранья и обмана! Чтоб в голову всякая муть лезла, похабщина разная! Я водку не пью. И брат Серега не пьет. И двое парней из бригады тоже бросили — не пьют. Я из Афганистана вернулся, в деревне два дня гулял, ничего не помню. Деревня кишлаком казалась. Все автомат искал, подушку пуховую мамину вдрызг разодрал. Отрезвел и сказал себе — хватит! Чтоб вся эта жизнь как стеклышко прозрачное стала — ни капли в рот! Чтоб голову тебе никто не дурил, ни жулик, ни прохиндей, чтоб мог думать и день и ночь, понять эту жизнь — не пью! Вот только, видите,— чай, молоко. На свадьбе рюмку пригубил — и кончено! Сейчас человеку одной головы мало, чтоб понять, куда что идет, а тут еще и единственную водкой дурить. Не пью!

Брат Сергей и жена Елена слушали его серьезно и молча. Соглашались, были заодно.

— Говорить ты умеешь.— Елена легонько провела рукой по голове Михаила, насмешливо и любовно.— А в квартиру будем въезжать, нету де-

нег на мебель. Я узнавала, завтра в магазин стенки болгарские привезут. Красивая, как раз к синей люстре. Разберут ведь стенки. Когда в другой раз достанем!

— Займем денег,— успокаивал ее муж.— Вон Серега даст. У ребят в бригаде займу. Сколько надо?

— Семьсот рублей.

— У меня возьмите,— предложил Фотиев. Загорелся желанием быть им полезным, принять участие в их молодых заботах. Чтоб дом их был «полная чаша».— Возьмите у меня, как раз семьсот есть.

— Ну нет,— отказывался Михаил.— Не возьмем. Вы чужой человек. Как же можно?

— Какой чужой!— возражал Фотиев.— Сосед. За стеной живу. За вашим столом сижу. Я — свой. Возьмите!

— Возьмем, Миша,— сказала Елена.— Он правда свой. Он мне сразу понравился... Вы мне сразу понравились!.. Свой вы!

— Вот и правильно. Вот и ладно.— Фотиев выскочил из-за стола в другую комнату, к портфелю. Вынул из него пакет с деньгами.— Вот здесь восемьсот, берите.

— А вам-то как?— спросил Сергей.— У вас же у самого нет ничего. Вам еще разживаться!

— Разживусь. На две рубахи я себе денег оставил.

Елена взяла пакет, спрятала в ворохе вещей. На лице Сергея появился и тут же угас румянец.

Было поздно, когда вернулись к себе. Сергей улегся, а Фотиев не решался лечь. Поглядывал на застеленную постель, на кожаный помятый портфель.

— Ты спи, Сережа, а я немного посижу, поработаю. Не помешаю тебе?

— Работайте. Вы же не молотком.

— Я тебе свет сейчас занавешу.

— Мне свет не мешает.

— Все-таки я занавешу.

Он подвинул стул, поднялся и куском газеты, скрепляя ее булавкой, заслонил лампу. Отвел свет от лица засыпавшего Сергея. Оставил себе на столе, на клеенке пятно блестящего света. И в это пятно, на пустое пространство бережно извлек из портфеля бумаги. На больших, чуть дрожащих ладонях перенес, разложил несколько тонких листков. Он раскладывал их столь осторожно, словно это были древние папирусы, ветхие, готовые рассыпаться в прах, драгоценные, с занесенными на них сокровенными текстами.

От листков исходило прозрачное излучение, почти звучание. Они казались фольгой неизвестного серебристого металла, чуть слышно звенели. Ему чудилось, в них звучало время его прожитой жизни, энергии его мыслей, страстей. И эта энергия, заключенная в микронном слое бумаги, таила в себе, он знал, мощь мегатонного взрыва. Он смотрел на листки, чувствуя их радиацию. В маленькой комнатке рабочего общежития казался себе огромным.

Его метод был прост. Пройдя бесчисленные сложные стадии, неуклюжие громоздкие формы, был сведен к простоте. Был малый ключ, открывающий громадные, со множеством замков и запоров ворота. Микродвигатель, раздвигающий огромные шлюзы. И перед тем как его включить, в эту последнюю перед запуском ночь, Фотиев, волнуясь, предчувствуя, еще раз проверял свои выкладки.

Все было готово той весной на той динамичной чернобыльской стройке. Его «Вектор», его шеститактный двигатель, после великих трудов был собран, налажен, заправлен горючим. Был готов заработать.

На день-другой, ожидая первых итогов, первых экранных оценок, он решил уехать из города, из весенней Припяти, где в доме-башне с видом на далекую станцию была у него квартирка. Уехать не в соседний Чернобыль, куда звал его знакомый врач райбольницы, любитель пофилософствовать, поговорить о высоких материях. И не в Киев, где минувшей зимой был ослеплен золочеными главами, белоснежным сиянием соборов. Он

решил уехать в окрестные леса к тихому озеру. И там, на природе, милой, любимой, желанной, от которой был отделен машинным дымом и грохотом, там прожить эти дни. Надышаться, набраться сил.

Облачился в брезентовую робу, в солдатские кирзовые сапоги. Нахлобучил выгоревшую, доставшуюся от приятеля пилотку. Прихватил котелок, рюкзак и уехал в леса.

Он сидел на берегу лесного круглого озера, недвижного и зеркального, окруженного мягкими сосняками. В прозрачной воде голубело тихое небо.

Он бродил под солнечными прозрачными соснами. На влажной бестравой земле в серебристых иглах качались цветы сон-травы. Синие колокола с желтыми сердцевинами дрожали, мерцали.

Он рубил сушняк, разводил под котелком огонь. Кидал в кипяток щепотки чая. Вода клокотала, переливалась в пламя. Угли дергались бледным жаром.

Подстелив брезентовую куртку, лежал у озерной воды. Две белые чайки, перенырнув верхушки сосен, летали бесшумно, почти касаясь друг друга длинными крыльями. Зажигали на воде блестки, расходящиеся негаснущие круги. Эти чайки были его мать и отец, молодые, счастливые, до той угрюмой поры, когда отца сгубило вино и он почернел и сгинул, как кинутая на огонь бумага, а мать, изведенная в трудах и болезнях, превратилась в старуху. Нет, оба они были молодые, нарядные, кружились в вальсе на какой-то соседской вечеринке, обнимали друг друга, и он, мальчишка, запомнил — рубаха отца была подпоясана наборным цветным ремешком.

Вечером, перед тем как уснуть, забраться в шалаш — сострoил его наподобие уральских лесных балаганов,— он наблюдал явление. На сухую сосну, на корявые старые ветки садились легкокрылые прозрачные твари. Прилетали из неба несметной невесомой толпой. Толклись в теплом воздухе, мерцали, слабо шелестели. Оседали на дерево, покрывая его шевелящимся слоем. Фотиев смотрел на их сонмы. Крохотное, прозрачное, наполненное зеленоватой каплей тельце. Мохнатые нежные усики. Бесцветные слюдяные крыльца. Существо приближалось к ветке, выбирало пустое, не занятое другими пространство. Точно усаживалось, сливалось с пульсирующим шевелящимся скопищем.

Это зрелище поразило его. Малые, отдельно живущие организмы складывались в целостную огромную жизнь. И эта новая, собранная по каплям жизнь имела очертания дерева.

Он смотрел на летучее воинство, и ему казалось, он присутствует при чудесном явлении из космоса. Видит прилет на Землю инопланетной жизни. Каждая заключенная в прозрачную оболочку капелька — отдельная молекула инопланетного разума. Распыленный на отдельные частицы, пролетев через миры и пространства, он соединяется воедино. Вылетали из зари, достигали старого дерева, сбрасывали ненужные, израсходованные в полете крыльца, соединялись с другими. Шел монтаж, сотворение разума. Воздвижение живого, доставленного по частям интеллекта. И этот интеллект уже начинал познавать Фотиева; его мысли, его идеи и чувства уже захвачены полем иного сознания. Оно, явившееся, начинает свое познание Земли с него, Фотиева. Он — первый для этого разума земной образец.

Эта мысль показалась ему увлекательной. Он смотрел, как в темнеющем воздухе летят невесомые твари, десантируют на старое дерево. Улыбнулся, подумав, как станет об этом рассказывать знакомому врачу из райбольницы и тот оценит его остроумие.

Ночью в шалаше, среди лесных дуновений и шорохов, его сны напоминали скольжение — не в пространстве и времени, а в нарастающем чувстве блаженства, которое подымалось, возносило его и, не достигнув вершины, кончилось пробуждением. Продолжалось наяву, наполняло его бодростью, влекло наружу.

Он вышел из шалаша на берег. Небо над ним раскрылось множеством звезд, неярких, неблестящих, одетых прозрачным туманом. Туманное сияние, размывавшее звезды, ниспадало к земле из бесконечно удаленного центра, словно струилось невесомое дыхание. Касалось земли, входило в нее, распускалось дышащей жизнью. Он чувствовал лицом, губами, открытой грудью встречу с этой небесной энергией. Подымался на цыпочки, стре-

мился туда, в бесконечный центр, откуда излетали потоки. Ему казалось, он слышит в них чудесную весть — о возможности счастья, земного цветения, избавления от бед и напастей. Его душа, выбравшая путь совершенства, ошибаясь, сбиваясь с пути, впадая в заблуждение, в тьму, стремилась в это цветение, открывалось ему.

Пережив минуту восторга, он успокоился. Подумал, что и об этом расскажет врачу: он только что видел, как из космоса по сверхдальней космической связи шла на Землю энергия. Живой интеллект, угнездившийся на старой сосне, принял этот сигнал, стал действовать, выполняя программу из космоса. И эта программа была не во зло Земле, а во благо.

Мысль о «Векторе», уже смонтированном, после малой команды начавшем свое врастание в жизнь, — эта мысль была созвучна предшествовавшей. С ней и вернулся в шалаш. Вытянулся на ветках. Быстро, счастливо заснул.

Второе его пробуждение было на рассвете, вызванное стремительной, набегавшей в сновидении паникой. Очнулся, чувствуя гулкую пустоту в груди, с остановившимся на мгновение сердцем. Вылез из шалаша. Утреннее серое небо. Бесцветное круглое озеро. И сквозь небо, перечеркивая его, — тонкие нити, розовые от зари. От вида этих несущихся нитей, розовых, выдранных из неба волокон тревога его усилилась.

Приблизился к берегу, к засохшему дереву, унизанному прозрачными тварями. И увидел: в живой стеклянной массе, облепившей ветки, происходит смятение. Словно в нее вонзались больные вихри, вырывали клубки и сгустки, несли их прочь, в одну сторону. Бесчисленные насекомые, охваченные бесшумным ужасом, покидали свои насесты. Вытягивались в мерцающие слюдяные потоки. Летели над озером вдоль отраженных красных нитей по силовым, прочерченным в небе линиям. Этот безмолвный ужас, поразивший крылатый планктон, разрушивший его недавнее единство, гармонию, передался и Фотиеву. Он протянул ладонь в слюдяное мерцание. Почувствовал множество едва ощутимых толчков-столкновений с тельцами и крыльями. Рука его оделась шевелящейся стеклянной перчаткой. Он извлек ее из потока, и она обнажилась. Насекомые улетали. Дерево опустело. Голо и сухо чернело у бледной воды.

Весь день он не находил себе места. Не покидали тоска и тревога. Все было неуютно, ненужно. Вчерашние цветы, облака, озерная вода не радовали, а причиняли страдание. На все легла сумрачная незримая тень. Казалось, все так же светило солнце, голубело небо, блестела влага, но все было словно посыпано пеплом. Он чувствовал, бесшумно распадаются молекулы воздуха, и прозрачные зеленые клетки растений, и его собственные кровяные тельца, звенящие, дробящиеся, погибающие в его теле. Это было страдание, но не физическое, а душевное. Страдало само пространство, сама мысль, и ему вдруг показалось, что он сходит с ума.

Так было однажды в детстве, такое же беспричинное беспокойство, охватившее весь мир вокруг. Дуновение беды исходило от домов, палисадников, от желтых осенних цветов, занавесочек на окнах бараков, от гранитных круч за поселком, человеческих лиц, автомобильных следов на дороге. К вечеру прибежали в поселок два потных орущих мужика. Проорали у них под окнами, что отец разбился. Напился пьяный и свалился на бульдозере с кручи. Рыжий откос, смятое железо бульдозера и недвижное кровавое тряпье, белая, с синими ногтями рука.

Ему вдруг показалось, что в методе его допущен просчет. В систему прокралась ошибка. И он зарядил свой двигатель с этой ошибкой. «Вектор» начнет работать на стройке с ошибкой, не созидая, а разрушая, сея в своем ускорении разрушение, умножая хаос. Люди, доверившие ему свое дело, пустившие его в свои труды, будут обмануты, получат страшный удар разрушения. Эта мысль казалась чудовищной. Он порывался кинуться прочь, назад, в Припять. Устранить ошибку, остановить движение «Вектора». Если нужно, кинуться под его маховик. Погибнуть, но спасти «заминированную» стройку.

Он выходил на берег озера, на песчаную сырую косу. Сучком на песке рисовал диаграммы и графики, вычерчивал формулы. Еще и еще проверял справедливость концепции, безупречность теории. Двигался вдоль воды, оставляя на песке письмена... На формулы, едва они появлялись, тотчас ложилась незримая прозрачная тень. Озеро слабо мерцало. Вдоль берега, начертанный на косе сосновым сучком, был отображен его метод, его «Вектор». Все было верно и точно.

К вечеру пошли вертолеты. Низко, с металлическим воем вылетали из-за сосен. На секунду наполняли небо длинными рокочущими телами, свистом винтов, пропадали в вершинах. Он стоял, задрав лицо, оглушенный, под плоскими пятнистыми днищами, в жестоком блеске кабин. Поражался их появлению. Это были боевые машины. Не те, голубовато-белые, с мерным стрекотом, с высоким трепетанием винтов, какие изредка в одиночку появлялись над лесами, охраняя их от пожара, а жестокие военные вертолеты, грязно-зеленые, в пятнах камуфляжа, с бортовыми номерами и звездами, с подвесками для бомб и ракет, с черными стволами пулеметов. Они утюжили небо над его запрокинутым лицом, роняя копоть и гарь. И вдруг заметил, что все они летят по тем же силовым направлениям, куда умчались бессчетные прозрачные твари. Куда утром стремились по небу разорванные красные нити.

Его охватило смятение. Он кинулся к шалашу собираться. Но раздумал — до шоссе через лес было не меньше часа пути. И в село, где была остановка автобуса, он явится поздно, когда последний автобус уйдет. Уж лучше остаться здесь, переночевать в шалаше, а утром пойти на дорогу.

Он лежал в темноте на ветках. Чувствовал, как там, над навершьем шалаша, в звездном небе несутся бесшумные вихри, без имени, без цвета. Пронизывают мироздание, вовлекают в свое движение облака, птиц, насекомых, грохочущие вертолеты и его несобранные, тревожные мысли.

Он вспомнил, как в детстве из лагеря по соседству с поселком бежали заключенные. Будто бы сели в грузовик, разогнали, проломили ворота в зоне и, сбив караульных, захватив оружие, умчались. Пропылили, протрещали сквозь поселок мотоциклы погони. В колясках сидели овчарки, на сиденьях — солдаты с карабинами. Матери запрещали детям ходить в тайгу. Мужчины брали в кабины тракторов охотничьи ружья. И два дня блуждали по поселку слухи: там слышали выстрелы, там видели на болотах незнакомых хоронящихся людей. На третий день под вечер пропылили обратно мотоциклы с измученными, искусанными мошкой солдатами. А следом проехали две подводы. На одной лежал убитый молодой солдат с отвалившейся фуражкой, со стриженой белесой макушкой. На другой — три застреленных зэка, серые, худые, носатые, с бритыми, колотящимися о подводу головами. Ноги у одного были босые, костлявые, в запекшихся черных царапинах.

Снаружи, за стенами шалаша, он вдруг услышал шелест и хруст. Тяжелое бурное дыхание. Кто-то пробежал, простучал, и он в шалаше почувствовал трясение земли.

Его испуг. Тишина. Колотящееся сердце. Этот топот и бег в ночи были не случайны. Продолжали дневные тревоги. Влекли за собой новые тревоги и страхи. Все сдвинулось с места, куда-то устремилось в смятении. Живая и неживая природа, он сам, его мысли и чувства. Снова топот и хруст. Тяжелое, сиплое дыхание. Плеск воды. Звук, похожий на стон.

Он взял фонарь. Страшась, вылез наружу. Направил свет к озеру, где раздался звук. В свете фонаря возник блестящее стеклянный, дышащий звериный бок. Оскаленная губастая голова. Красно-синий мерцающий глаз. Огромный лось, топорща загривок, повернул к фонарю толстогубую морду. Побежал, зачмокал вдоль озера, поднимая летучие брызги. Скрылся в соснах.

Прошла минута, и новый треск. Другие два лося, выбрасывая длинные ноги, двигая лопатками, толкая друг друга боками, пробежали, не оглядываясь на фонарь, мелькнув потной ворсистой шерстью.

За ними бежали, хрипя и постанывая, кабаны. Впереди лохматый черный вепрь с мокрым рылом, загнутым блеснувшим клыком. Следом — другие, поменьше, все вприпрыжку, горбясь, обгоняя друг друга, — по прибрежной косе, где были начертаны его схемы и графики. Черпали копытами воду, вздымали стеклянные в фонаре брызги.

Он стоял, направляя фонарь, и в белом луче скользили лесные звери, большие и малые. Лисы, изгибая хвосты, мчались, мягко толкаясь лапами. Вместе с ними, страшась не их, а какой-то другой настигающей

силы, скакали зайцы. Волновались спинами белки и ласки. Шумно хлопая крыльями, летели птицы-глухари, ночные совы, мелкие птахи. Все вместе, все в одну сторону прочь от чего-то, настигавшего их в темноте.

Он вдруг испытал животный ужас. Желание кинуться вместе с ними, забиться в их стаю, мчаться с ними огромными спасительными скачками, хрипя, задыхаясь, прочь от этой безымянной вездесущей погибели. Этот звериный страх прокатился по нему, как конвульсия. Превратил его мускулы в тугие, сжатые болью шары. Он остался на месте, слушая затихающие трески и топоты.

Громкие звуки умолкли. Пронеслось и исчезло крупное лесное зверье. Но земля продолжала шуршать. Шелестели опавшие прошлогодние иглы. Ускользали змеи, спасались лягушки, ползли чуть слышно улитки. И в этом бегстве было нечто библейское, древнее. Где-то рядом надвигался потоп, или вселенский пожар, или трясение земли. Огромная, всем уготованная погибель. Но погибели не было. Блестели звезды. Слабо мерцало озеро, омывающее отмель с начертанными графиками и формулами, по которым пробежали животные.

Без сна, дрожа не от холода, а от нервной, покалывающей во всем теле тревоги, он дождался утра. Собрал в мешок свои вещи. Натянул сапоги. Нахлобучил пилотку. Оглядываясь на отмель с графиками, изрытыми следами копытных, заторопился через лес к шоссе.

Он шагал под соснами, повторяя своим маршрутом путь пробежавших животных, словно его подгонял невидимый ветер, подталкивал в спину чей-то перст. Несколько раз он оглядывался, чувствуя за спиной чье-то грозное немое присутствие.

Внезапно он почувствовал вокруг перемену. Будто изменилось освещение. Стало светлее, ярче. Поднял голову — лес был желтый. Сосны стояли желтые. Хвоя утратила зелень, ровно, ярко желтела. Так желтеют осенние лиственницы. Деревья не высохли, хвоя не осыпалась, выглядела сочной и влажной. Просто потеряла зеленый пигмент, была ярко-желтой.

Он наклонился. Земля была в белых цветах. Сон-трава, вчера еще синяя, теперь поседела и выцвела. Он боялся коснуться седых цветов. Осторожно ступал по земле, словно тронутой изморозью.

В одном месте у мелкой лужицы он увидел мертвых бабочек. Их было много, нежных белянок, — слетели к водопою, умирали у влажной кромки, ложились на бок. Вся земля была в мертвых бабочках.

Он стоял под желтыми соснами среди поседевших цветов и умерших белянок, в бесшумном, без птичьего свиста, лесу. И казалось — вдруг наступило предзимье. За истекшую ночь земля провернулась вокруг оси, пропустила целое время года. Вслед за весной, минуя лето, сразу наступила осень. И он в апрельском лесу чувствовал холод, близость зимы и стужи.

Вышел на шоссе. Стоял на обочине, оглядываясь в обе стороны на пустынный асфальт. Собирался двинуться вдоль поля к селу, к остановке. Вдали на асфальте загудело. В рокоте, в дымной гари плотной массой, светя зажженными фарами, воспаленно и дико при солнечном свете возникла колонна. Впереди шли бронетранспортеры — зеленые бруски, задраенные наглухо люки, башни с пулеметами, гибкие хлысты антенн. Мчались на упругих колесах, выбрасывая из хвостов космы дыма. За ними на больших скоростях, шумно разрывая ветер, проносились автобусы, разноцветные, яркие, устрашающе-нарядные, вслед за грозными боевыми машинами, словно на автобусы были надеты размалеванные маски, скрывавшие другую, жестокую сущность.

Он смотрел на мелькающие автобусы. За стеклами плотно, тесно сидели люди. Старухи, дети, смуглые морщинистые старики, женщины в платках, загорелые, с крестьянскими лицами мужики. Все с одним и тем же выражением паники. Словно их подхватила та же безымянная сила и мчала, гнала в ту же сторону, куда летела, спасалась живая жизнь.

Автобусы прошумели, награждая его хлопками цветного ветра. Он было устремился за ними и тут же отстал. Замер, глядя на пропадавшие хвостовые огни.

Снова загудело, задымило на трассе. Замерцали сквозь гарь водянистые, дрожащие фары. Новая волна транспортеров, отсвечивая ромбовидной броней, воронеными пулеметами, пронеслась, проревела. И за ними, подхватывая металлический рев, превращая его в жаркое, живое стенание, пошли грузовики со скотом. Коровьи головы мотались в деревянных клетях, колотили рогами о доски. Выпучивали глаза, вываливали в муке языки. От тесноты, от качки, от устрашающего движения то одна, то другая корова выдиралась из гущи, вздымалась над хребтами и спинами, колотя в них копытами, вытягивая ввысь ревущую голову. И тогда грузовик нес над кабиной живую рогатую статую. Рушил ее вниз, в месиво глаз, напряженных позвонков и хвостов.

Колонна, обдавая его смрадом и воем, промчалась, оставляя на асфальте липкую жижу. И он, заслоняя ноздри, глаза, не желающие слышать уши, провожал грузовики, ловя нестихающий стон. Когда машины растворились, а стон продолжал раздаваться, он понял, что стонет сам. Из его пересохшего набитого пылью горла продолжал вырываться долгий беспомощный звук.

Догоняя колонну, промчался по шоссе молоковоз. Видимо, из днища цистерны вывалилась пробка. Молоко хлестало на асфальт. Фотиев, шагнув на шоссе вслед молоковозу, двинулся вдоль молочного, разбрызганного по асфальту ручья.

«Война, — вдруг страшно осенила догадка. — Война!.. Началась!.. Так же и тогда начиналась. И тогда убегали, скот угоняли вот так же... Но ведь теперь-то ракеты! Теперь по городам, по заводам... «Першинги», «Трайденты»... Неужели сейчас полетят?»

Он представлял, как в эти мгновения, вспучивая океан, всплывают подводные лодки и ракеты, как красные свечи, встают над Мировым океаном. Как над всеми лесами, степями, по всем континентам начинают взлетать, отжиматься на огненных метлах боевые ракеты. Вся невидимая, упрятанная под землю, под воду, в запретные зоны мегамашина войны начинает шевелиться и лязгать. Выползает из-под маскировочных сеток, движется в блеске и скрежете.

И он бежал, чиркая сапогами асфальт, оглядываясь по горизонтам. Шарил взором над вершинами сосен, поминутно ожидая вспышек, черных грибов — там, где был Киев, где была златоверхая Лавра. И ближе, в направлении станции.

Впереди забелело село. Чистые мазанки. Соломенные и шиферные крыши. Пышные купы деревьев. Но этот уютный, обычно радостный для глаза пейзаж сейчас был словно надорван, перечеркнут. Там, среди мазанок, что-то творилось. Доносились крики и рокоты. И, как показалось ему, звуки стрельбы. Он шел на эти звуки, пугаясь неба, солнца, дороги, чувствуя, как все сворачивается в стремительный свиток, доживает свои последние земные секунды. И мгновенная сквозь панику мысль: «На мне, на мне завершится! Конец света сейчас, при мне!» Эти мазанки, этот столб придорожный с цифрой «34» — это и есть конец света.

Он вошел в село. Отъезжая от дворов, катили тяжелые военные грузовики с брезентовым верхом. Из-под брезента смотрели, качались, колотились друг о друга лица людей. Стенали, тянулись к своим хатам, заборам, палисадникам, а их увозили в зеленых колыхающихся коробах.

Повсюду сновали солдаты, цепью, вдоль улиц, у дворов и колодцев. Все они были в масках. В зеленых с пластмассовыми рыльцами респираторах. Все на одно устрашающее козье, кабанье лицо.

Гибкая худая старуха в долгополой юбке, в стоптанных башмаках металась между калиткой и хатой. Прижимала к себе ребенка, почти грудного. Кутала его в одеяло. Ребенок кричал, одеяло спадало. Солдат в респираторе подхватывал его на лету. Нес в руке бутылку с соской. Другой солдат удерживал старуху, не пускал к хате. А та голосила:

— Ой та куды ж вы мэнэ ховаете? Дочка ж в город поихала, так вона ж мэнэ и не знайдет! Дитятко малое пропадет! Хата пропадет! Огурцы пропадуть! Куды ж вы мэнэ, хлопцы, ховаете?

Солдаты подталкивали ее к грузовику, к брезентовому полутемному зеву.

У другой мазанки небритый, больного вида мужчина, держа под мышкой куль, свободной рукой хватал за плечи девочку, прижимавшую кошку. Встряхивал, сердито кричал:

— Та кинь ты ее к бису, халяву! Воротись у хату, визьми часы! Тилькы купляв, а теперь оставляты!

Девочка сильней прижимала кошку, а та, чувствуя, что их хотят разлучить, вцепилась когтями в платье и сквозь платье в живое тело. Девочка морщилась от боли, но не отпускала, а сильней обнимала кошку. И всех троих легонько теснили солдаты в масках, подталкивали к грузовику.

— Что происходит? Что случилось? — обратился Фотиев к офицеру в майорских погонах, чья форма была в белой известке от прикосновений то ли к беленой мазанке, то ли к домашней печке. На лице офицера, спрятанном в респиратор, оставались одни глаза, выпуклые, блестящие, угрюмо-зоркие. — Что здесь такое стряслось?

— А ты кто такой? — Майор в упор оглядывал его робу, кирзовые сапоги, пилотку, плечи, на которых хотел найти и не находил погоны. Видимо, с первого взгляда принял его за солдата. — Кто такой?

— Да я здесь попутно. Я со станции, с Припяти. В Припять возвращаюсь.

— Станцию твою рвануло, вот что случилось! Разметало к чертовой матери реактор! И сейчас другие рваться начнут!.. Здесь кругом радиация. Народ увозим. И ты давай сматывай удочки. Нечего тебе в Припяти делать. Оттуда всех вывезли. Вон в грузовик полезай!

Забывая о нем, окликнул двух толкущихся у калитки солдат:

— Макаров! Шленцов! Чего вы все топчетесь! В кузов их, живо!.. Еще не надышались заразой? — Майор вынул из кармана маленький блестящий цилиндр — дозиметр, — поднял его к свету, заглянул, как в подзорную трубку, снова вложил в карман.

А в нем, в Фотиеве, смещение всего. Оползень. Мгновение абсурда. Рвануло станцию, рвануло стройку, потому что в стройку введен его «Вектор». Его динамит, его взрывчатка с неточно завинченным капсюлем. Он, Фотиев, в своем несовершенстве, гордыне заминировал станцию, заложил в нее детонатор, и вот — этот взрыв. Бегущие из домов крестьяне, обезумевшие ночные животные, красные размотанные в небе космы — это его разорвавшийся на волокна «Вектор», его «Века торжество», принесшее миру несчастье.

Он стоял, потрясенный открытием, с помутившимся разумом, в котором огненно и ярко звучало: он, Фотиев, виновник беды. Сейчас продолжатся взрывы. Над лесами в бледное небо начнут взлетать обломки атомной станции, осколки полосатой красно-белой трубы, растерзанные бруски корпусов, чаши и цилиндры реакторов. Он смотрел в небеса, ожидая все это увидеть.

Офицер повернулся к нему. Приказал:

— Помоги!

Из хаты выходила молодая женщина, непричесанная, с большим животом, придерживая на нем пестрый передник. Красивая, с влажными черными глазами, осторожно ступала, словно щупала зыбкую землю. Не захватила с собой из дома ни одежды, ни снеди, а только драгоценное, сокровенное — свое неродившееся дитя. Фотиев кинулся к ней, поддерживая, чувствуя ее тяжесть, ее шаткость, ее большое, перегруженное тело. Она доверчиво оперлась на него. Медленно шла, заслоняя свой живот тонкой цветной материей.

Ее подхватили солдаты. В несколько рук вознесли в грузовик, и она скрылась под тентом.

— Давай и ты полезай! — скомандовал майор Фотиеву.

— Да я сейчас, — ответил он, все еще потрясенный, но уже с внезапным прозрением, с внезапным, похожим на понимание порывом. — Я только им помогу!

Офицер отвернулся. Фотиев скользнул мимо двух солдат, выводивших всклокоченного старика с торчащей вперед бородой. Завернул за угол хаты и нырнул в полутемный хлев. Пробрался в самый глухой, запыленный угол и замер там за кучей хлама, еще точно не понимая, зачем и от кого он укрылся.

Нельзя, чтоб его увезли, чтобы там без него на станции оставался «Вектор». Если и впрямь во всем виноват его метод, то только он, Фотиев, его создатель, зная устройство заряда, сможет его обезвредить. Но эта мысль о вине и ответственности все больше казалась нелепой, невозможной, явившейся в миг помрачения. «Вектор» был ни при чем. Случилось что-то другое. Иная причина аварии. Но «Вектор» был там, на станции. Там были поверившие в метод люди. И они нуждались в спасении. «Вектор» нуждался в спасении. И он, его создатель, не мог его бросить в беде.

Он сидел за грудой старого хлама, слыша снаружи моторы, крики, лай собак.

Глаза привыкли к сумеркам. Он стал различать окружавшие его предметы. Деревянная долбленая ступа, в которой толкли зерно, источенная и трухлявая. Старая прялка с лопастью, похожей на весло, почернелая, отшлифованная прикосновениями рук, бессчетных овечьих шерстинок. Поломанные самодельные грабли с выпавшими зубьями. Продырявленная, сплетенная из ивовых прутьев верша для ловли рыбы. Весь этот старый, пришедший в негодность скарб и был той защитой, что скрывала его. Отделяла от военных грузовиков и солдат, от смятенного, покидающего жилища люда, от взорванной станции, от случившейся катастрофы. Этот ворох крестьянских изделий, не изменившихся со времен неолита, заслонял его от взорвавшегося реактора, от жгучих лучей радиации. И он прижимался к этим древним орудиям, вдыхал их тончайший, из прели, из трухи, нестрашный древесный запах.

Он пытался представить случившееся. Понимал, что случилась катастрофа, и ее размеры, неведомые ему, казались огромными. Расширялись в его представлении, грозили другими авариями, цепной реакцией взрывов, когда вот-вот один за другим замурованные в бетон стальные чаши реакторов начнут взрываться, вышвыривая раскаленное ядовитое варево. Поднебесные гейзеры радиоактивного пара. Случилось то, чего он тайно боялся. Что побуждало его работать и действовать. Что вывело на свет его «Вектор». Угрюмые, слепые, заложенные в индустрию энергии, темные, неуправляемые, скопившиеся в машинах и в людских умах, стали действовать вопреки изначальным замыслам. Разрушили скреплявшие их оболочки, вынеслись на свободу и пошли носиться и рушить. Губить, повергать в крушение и хаос все, что в великих трудах было возведено и построено.

Он представил себе города и заводы, уходящий к горизонту индустриальный пейзаж, и туда же, к горизонту, удалялась череда пожаров и взрывов — взрывались атомные станции.

Он опоздал. Торопился, создавал свой «Вектор», стремился ввести его в действие раньше, чем наступит взрыв. Но опоздал. Его опередили. Всего на несколько дней. На те, что провел у костра, у тихого озера, созерцая цветы. Он должен был успеть запустить свой «Вектор», который вычерпывает из мира энергии распада и гибели, расщепляет их, обезвреживает, превращает в энергию творчества. Но он опоздал.

Слишком долго готовился, слишком долго учился. Позволял себе отдыхать, позволял отвлекаться. Еще больше должно было быть бессонных ночей. Больше прочитанных книг. Непростительно то давнишнее его путешествие в Ростов Великий, когда захотелось поглядеть на древнее русское диво, — он не должен был этого делать, потерял для работы неделю. Непростительна та давнишняя его любовь, когда забросил свои чертежи и весь месяц, весь чудесный зеленый май, провел на берегу Енисея, пропустившего по себе сначала звенящий ледоход, а потом белоснежные караваны судов. Они жили в палатке на берегу, слушали ночами гудки, кряканье селезней. Нет, не должен был этого делать, — отстал на месяц в работе.

Он сидел в крестьянском сарае среди соломы и ветоши, поломанных орудий труда, которые и после смерти продолжали служить: скрывали его, Фотиева, сберегали его и таили.

Наконец все утихло. Погас вдалеке рокот последнего грузовика. Перестали лаять собаки. Зашла на порог серая курица, остановилась, и Фотиев видел, как прозрачно и ярко краснел попавший на солнце гребень.

Он осторожно выбрался из укрытия. Двор был смят и истоптан. Смята и истоптана была рассада. Открыта и не затворена калитка. Не замкнута на щеколду, приоткрыта дверь в хату.

Он хотел было пройти, но мучительное любопытство, больное влечение к чужому покинутому жилищу остановили его перед дверью.

Он вошел. Дом был живой, полный тепла, дыхания, словно обитатели его где-то рядом. В огороде или в палисаднике, сейчас вернутся, наполнят жилище хлопотами, разговорами.

На столе — тарелка с остатками еды. Ложки. Хлебница с хлебом. Трапеза, неостывшая, звала к себе, ждала хозяев. И он осторожно обогнул стулья, боясь их сдвинуть, чтоб не разрушать остановившееся мгновение, которое с приходом хозяев оживет, вольется в движение времени.

В печке с потертой побелкой, с синеньким, намалеванным поверху орнаментом стояли чугунки, пахло дымком, томленой едой. Прислоненная к печке на земле сидела большая кукла. А в углу, накрытый салфеточками, продолжал работать телевизор. Звук был выключен, но экран горел. Какой-то певец беззвучно раскрывал рот, вздымал грудь, протягивал вперед руку, помогая излетавшим звукам. Фотиеву неизвестно зачем захотелось услышать слова. Он усилил громкость.

Друг, нам все по плечу!
Если я захочу,
Если ты захочешь, друг!
В десять рук!
В сотни рук!
И в работе, и в любви!
Я и ты! Я и ты!

Он смотрел на певца. Тот в своей студии еще не ведал о случившемся, пел свою целлулоидную песенку. А оно, случившееся, уже присутствовало в хате. Проносилось смертоносными вихрями над покинутой трапезой, над стеганым смятым одеялом. Пронзало коврик на стене, картинку с изображением кота, бумажную иконку на божнице. И его, Фотиева, стоящего среди разоренного жилища. И он, Фотиев, с этой минуты должен действовать в новом, жестоко изменившемся мире.

Осторожно выключил телевизор. Покинул хату. Затворил дверь, замкнув ее на щеколду. Поискал на земле и, найдя щепочку, вставил ее машинально в запор.

Проходя по деревне, он нашел у калитки маленький светлый цилиндрик с прищепкой, как у авторучки. Такой же дозиметр, что видел недавно у майора. Повторяя жест офицера, поднял трубочку к свету. Посмотрел в торец. В маленьком стеклышке, в прозрачном кружке были нанесены ризки с цифрами. Сверху вниз проходила тонкая, как волосинка, вертикаль. Волосяная линия уже миновала нулевую отметку. Дозиметр уже нес в себе уловленную радиацию.

Фотиев вглядывался в прозрачный окуляр. И вдруг подумал: неужели теперь придется смотреть сквозь это малое разлинованное стеклышко на весь мир божий? На реки, леса и травы? На женские и детские лица?

Защипнул дозиметр в кармане. Вышел из села на шоссе, решив добираться в Чернобыль. Шел, повторяя: «Вектор!.. Века торжество!» И в горле начиналось жжение. Кашлял, повторял: «Века торжество!» Шагал туда, где оставалось его детище.

На трассе его несколько раз обгоняли бронетранспортеры. Закупоренные, с зажженными фарами проносились на бешеных скоростях, окутывали его пылью и дымом. Он и не думал сигналить, не думал их останавливать. Радовался, когда они исчезали.

Несколько раз ему казалось, что он слышит выстрелы. Несколько раз над дорогой пролетали вертолеты. Наконец на шоссе, настигая его, возник грузовик. Фотиев поднял руку, издалека начиная сигналить. Грузовик остановился. Водитель в респираторе отворил дверцу.

— Мне в Чернобыль, — сказал Фотиев. — Подбросишь?

Сосед водителя, тоже в респираторе, осмотрел молча Фотиева — его солдатские сапоги, пилотку, робу, блестевший в кармане карандаш дозиметра. Кивнул. Водитель сказал:

— Лезь в кузов!

Тронул, едва Фотиев вцепился в борт. Перелезая в крытый брезентом кузов, пошатнувшись от резкого набора скорости, Фотиев плюхнулся на скамейку, на которой уже сидели трое, все в респираторах.

Мчались под хлопающим брезентом. Фотиев прислушивался к разговору, к словам, вылетавшим из-под масок.

— Да они, тетери, и не слышали, как рвануло! Уже рвануло, а они все еще управляли потоком. Весь поток-то уже нарушен, а они свои клавиши жмут, пианисты фиговы!

— Уж музыку устроили! Нам теперь под эту музыку плясать не день, не два!

— Лучше скажи — не месяц, не два! Вон пожарные уже отплясались! Сегодня кабели опять загорелись, опять их тушили в зоне четвертого!

— Если он, сука, бетон прожжет и в воду рухнет, это будет взрыв не знаю во сколько мегатонн! Он и третий, и второй, и первый блок разворотит. Это будет не знаю что! Сейчас воду из-под него откачать — первое дело!

— Да мы лазали туда с генералом. Задвижки искали. Он сам под воду нырял, задвижки эти нащупывал. Завтра начнем откачку!

— Если он, сука, ночью не рванет второй раз! Тогда откачивать будет нечего!

— И некому!

— Не бойсь, будет кому! Ты же и пойдешь, если прикажут!

— Крепко надо будет приказывать!

— Крепко и прикажут!

— Очень крепко!

— Не бойсь, крепко тебе и прикажут!

Фотиев слушал, жадно ловил слова. Даже не столько их смысл, сколько их интонацию. В этой интонации была тревога, раздражение, злость, но не было паники. Не было той покорной беспомощности, которую он видел у жителей, покидавших село.

Там, на станции, в зоне взрыва, уже начиналась работа. Не все бежали в панике. Кто-то остался и шел навстречу взрыву. Кто-то стремился на взрыв. Эти трое уже побывали там, укрощая огромную вспышку встречными вспышками своей отваги. И ему, Фотиеву, тоже нужно туда. Он не знает законы физики, незнаком с теплотехникой, с устройством огромной станции. Он знает законы осмысленной человеческой деятельности, стократ увеличивающие полезный ее результат. Он знает «Вектор». И место его — на станции. Там, на взорвавшейся станции, его рабочее место.

— А что же вы без респиратора? — обратился к Фотиеву один из попутчиков. — Здесь пыль самая злая. Надышитесь, потом всю жизнь выдыхать будете! Надо респиратор носить.

— Да я потерял, — сказал Фотиев, боясь, чтобы в нем не распознали постороннего и ненужного. — Обронил, а теперь не найду.

— Я вам дам, у меня есть, — сказал попутчик. Полез в карман и вынул скомканный респиратор. — Пыль здесь самая злая!

Фотиев благодарно принял защитную маску. Надел на лицо, задышал. Было душно в этом зеленом наморднике, и он подумал, что теперь всю остальную жизнь придется сквозь эту маску нюхать цветы, вдыхать ветер, говорить, петь песни. Процеживать звуки, слова сквозь защитные фильтры.

Машина затормозила и встала. Снаружи раздались голоса.

— Дозиметрический пост, — сказал сосед Фотиева. — Опять наши рентгены ловить станут!

— Ты свои схватил и носи. Держи крепче, а то разбегутся! — отозвался второй.

— Теперь не разбегутся. В костях сидеть будут, — устало сказал третий.

Фотиев выглянул из кузова. У обочины стоял тент. Под ним стол. На нем какие-то тетради, бумаги. Толпились военные в респираторах. Один с красным от солнца лбом подносил к колесам грузовика прибор,

похожий на хоккейную клюшку. Смотрел на циферблат пластмассового ящичка, висевшего у него на груди. Стрелка колебалась, а он водил металлическим прибором у резиновых шин, прокатившихся по пыльным дорогам в районе станции. Колеса испускали незримое излучение, шевелившее стрелку прибора.

— Сколько? — спросил шофер.

— Двадцать два миллирентгена, — ответил радиометрист.

— Может, проеду?

— Нет, много набрал. Мыться езжай.

Шофер послушно кивнул. Съехал с шоссе на обочину, сквозь кусты на лужайку, мимо транспаранта с надписью «Пункт специальной обработки».

— Ну теперь будем душ принимать! Давай сюда глубже садись, а то в пене будешь, — сказал сосед Фотиеву.

Машина въехала на бетонные плиты, встала рядом с другой. В два ряда стояли военные грузовики с цистернами. Около них люди в резиновых плащах, колпаках, в очкастых противогазах. Держали шланги с металлическими штырями. Направляли бьющую из шланга струю на запыленные кабины, колеса. Хлестали, омывали белой пеной. Машины вскипали в этой клубящейся жиже, блестели стеклами, а в них под разными углами били брандспойты.

Фотиев смотрел на островерхие, болотного цвета балахоны, на круглые очки противогазов, на перчатки, превратившие пальцы людей в перепонки. Люди были похожи на земноводных, на тритонов.

«Атомный век! — подумал Фотиев. — Вот он, атомный век!»

Почти год он работал на атомной станции среди реакторов, урановых стержней, графитовых замедлителей. Но об этом почти не задумывался. Все это было скрыто за бетонные стены, за стеклянные плоскости, за плановые показатели, за планерки и штабы, за месячную зарплату, за мýку и мелочность людских отношений, за обыденность устоявшейся жизни. Он слышал про взрыв Хиросимы. Знал, что земля источена шахтами, в которых дремлют ракеты. А в Мировом океане от полюса к полюсу шныряют подводные лодки, набитые боеголовками. И все это грозит разрушением, грозит мировой катастрофой. Но это уже стало привычно, выражалось в привычных блеклых словах, в набивших оскомину газетных статьях, бесстрастных речах комментаторов, десятилетиями не менявших свою унылую лексику. Никто не верил в саму катастрофу. Все устали, соскучились о ней говорить. Говорят о ней поневоле. Но вот, прожигая бумагу газет, истребляя оболочку бетона, рванул уран. Вышло наружу чудище, всплыло из обыденности, показало свою башку на поверхности, и все изменилось. Полетели по небу красные жестокие нити. Понеслись опаленные звери. Побежали потрясенные люди. И очкастые тритоньи лица — лица мутантов, родившихся из облученных утроб.

«Атомный век!» — думал он. Струя из брандспойта, залетев под брезентовый кузов, обдала его пеной.

Райцентр Чернобыль, куда он приезжал иногда для встречи с секретарем райкома, был тот же, что и обычно, но и не тот. Те же чистые зеленые улицы, аккуратные знакомые домики, вывески учреждений, афиша кино с аншлагом «Россия молодая». И отсутствие коренных обитателей — торопливых, свежих, громкоголосых женщин, загорелых крепких мужчин, деятельных, общительных старух, детей, сновавших в сквериках, у школ и детских садов. Вместо этого привычного народа видны были только военные. Группами, строем проходили торопливым шагом. Грузились в автобусы. Вылезали из-под брезентовых наверший грузовиков.

Улицы были влажные, как после дождя. За угол сворачивала поливочная машина, распуская водяные усы, прибивая пыль на асфальте.

Он шел к райкому, надеясь на встречу с секретарем. Хотел узнать от него истинную картину случившегося, получить указания, занять свое место среди общих работ.

Навстречу, разбрызгивая лужи, грозно и мощно, с воем сирены, расшвыривая над кабинами фиолетовые слепящие вспышки, вынеслись

красные пожарные машины. Промчались по улицам, расталкивая домишки, оставляя разорванную пустоту, вихри опасности и тревоги.

Появились два «бэтээра». Одна машина поверх брони была обшита листами свинца: башня, борта, подбрюшье — все было в мятых свинцовых листах. Из люка вылез солдат. Фотиев успел разглядеть его лицо — молодое, измученное, в морщинах и складках. Отпечаток аварии был на этом усталом лице.

Он проходил мимо районной больницы. У входа увидел знакомого врача, того, с кем иногда встречался на вечеринках в кругу приятелей. Любили уединиться, обсудить политические и научные новости, пофантазировать, поразить друг друга каламбуром, экспромтом, невычитанным оригинальным суждением. Того самого, о ком думал недавно в лесу, хотел рассказать о пришествии на землю инопланетного разума, крылатых прозрачных нейронов.

Врач стоял в белом халате, шапочке, с болтавшейся на груди марлевой маской. Всматривался, кого-то поджидал. Фотиев устремился к нему.

— Ну вот, как я рад! Наконец-то первый знакомый! Можешь мне точно объяснить, что случилось? Точно обрисовать обстановку?

— А, это ты! — рассеянно, не удивляясь, ответил врач, почти не замечая его, продолжая всматриваться. Лицо его, серое и измученное, несло в себе тот же оттиск, чертеж катастрофы. — Обстановка остается тяжелой...

Вдалеке возникли лиловые вспышки, раздалось завывание. К больнице подкатила «скорая помощь». Встала, будто вырвалась из чьих-то когтей. Горели фары, крутилась мигалка. Торец отворился, и из него санитары вынесли носилки.

Врач отмахнулся от Фотиева, устремился к носилкам. На продавленном брезенте лежал человек в солдатских штанах, голый по пояс, страшно обожженный. С обугленной живой головой, на которой сквозь пузыри и коросту открывался дышащий рот, выталкивая сиплые стоны, вялую малиновую пену. Грудь и плечи были в волдырях, больших и малых, словно тело кипело. Носилки повлекли на крыльцо при свете мигалки. И казалось, кто-то торопливо много раз фотографирует обожженного, стараясь запечатлеть навсегда его облик.

Выдвинули вторые носилки. Лежащий в них человек был тоже военный, в лейтенантских погонах. Его форма была мокрой и грязной, в какой-то спекшейся гуще. Глаза и рот широко открыты. Во рту блестела золотая коронка. Тело мелко содрогалось в непрерывной пробегавшей судороге. Казалось, из раскрытого рта, из золотой коронки излетает свечение — он весь охвачен пульсирующим лиловатым свечением.

— Этих кладем в процедурную! — крикнул врач кому-то, появившемуся на крыльце. — И сразу под капельницы!.. Не звонили с аэропорта? Когда вертолеты на Киев...

И ушел в глубь больницы, даже не оглянувшись на Фотиева. А тот смотрел на открытый торец «скорой помощи», чувствуя близкий, за лесами и пашнями, огнедышащий зев, из которого вырвались эти двое. Зев, куда стремились грузовики с солдатами, — в оскаленную, чадную пасть, опалявшую, сжигавшую, изрыгавшую назад измятые, изглоданные тела.

«А я? А я?» — думал Фотиев, торопясь по улицам, стремясь поскорее найти то место, откуда исходили приказы, посылались пожарные машины, роты солдат, чтобы и ему, Фотиеву, поставили цель, послали вместе с другими.

У райкома партии стояли грузовики. В них заскакивали солдаты, затаскивали лопаты, багры. Машина ГАИ возглавляла еще не тронувшуюся колонну, мигала вспышкой. Весь Чернобыль был в этих лиловых мерцаниях.

Перед входом в райком генерал в полевой форме с зелеными погонами, сбросив на грудь мешавший говорить респиратор, давал указания немолодому подполковнику.

— Ты в Припять с колонной войдешь и сам сразу вперед — разведай! Пусть фон меряют на стенах. Там фон везде очень высок. Сначала померь фон, а потом посылай людей. Без промеров никуда не суйся. Замеряйся чаще. Он у тебя в одном месте будет нормальный, а через десять шагов подскочит. Понял?

— Так точно, товарищ генерал, — отвечал подполковник, поглядывая на погрузку солдат. — Будем замеряться чаще!

Из дверей, надевая на ходу маску, вышел секретарь, следом маленький, толстый, небритый человек. Оба подошли к генералу.

— Вот, я с вами посылаю завторга, — сказал секретарь генералу, представляя ему толстяка. — Он вам все точки покажет. Все холодильники, где продукты лежат. В продмагах, в ресторане, в столовой. Чтоб ваши люди зря не тыкались, он покажет, тогда и вывозите.

Генерал кивнул:

— Возьми его с собой, подполковник!

— Теперь вот еще что! — продолжал секретарь. — Припять нельзя обесточивать. Воду нельзя отключать. Если пожар, насосы должны работать. В домах, в личных холодильниках остались продукты. Если отключат электричество, начнут разлагаться.

— Это понятно! — раздраженно сказал генерал. — Никто не собирается обесточивать город. Мы действуем по малой схеме. — И пошел к колонне. Вместе с ним толстяк с подполковником.

Фотиев, здороваясь, шагнул к секретарю, боясь, чтоб тот снова не скрылся.

— Я тоже могу быть полезным!.. В этих условиях!

— Вы кто? — спросил секретарь, вглядываясь в Фотиева, в его занавешенное маской лицо. Тот снял респиратор. — Фотиев?

— Я понимаю, я опоздал! Опоздал с внедрением «Вектора»! На несколько дней опоздал!.. Но, уверяю вас, «Вектор» и сейчас может быть полезен!.. В условиях чрезвычайных! «Вектор» универсален!

— Вздор! — сердито сказал секретарь. — Сейчас не время с «Вектором»! Другие методы... Методы военного положения! Вы почему не уехали?

— Я вам говорил и теперь говорю: «Вектор» универсален! — Фотиев торопился, взывая к секретарю, который еще недавно был сторонником метода, ратовал за внедрение. — Он может действовать в любой обстановке! Его можно внедрить в бригады, внедрить в батальоны!

— Вздор! Сейчас другие задачи! Другие методы руководства! Вы куда и откуда?

— Я в Припять. Там мои документы. Там «Вектор». Все разработки! Теория развития «Вектора». Перспективы на годы вперед.

— Вздор! — опять сказал секретарь. — Припять пустая. Эвакуирована до последнего жителя. Там высокий фон радиации. Здесь везде фон высокий. Вам следует покинуть зону. Через десять минут отсюда пойдет машина на Киев. В ней есть одно место. Я оставляю его за вами. Через десять минут! — И пошел к дверям, а навстречу ему, подзывая, торопя, выходил работник райкома:

— Москва на проводе!

Фотиев оглянулся, не преследуют ли его, не покушаются ли на его свободу. Быстро нырнул в соседнюю улицу. Прошел мимо дома с высоким забором, за которым могуче и бело зацветали яблони. На калитке висел замок. В ящике торчала газета. Сзади, на перекрестке, мигая фиолетовым светом, завывая, прошла колонна. Фотиев юркнул в проулок, выбирая путь покороче. И путь его был в Припять.

Он шел окольными проселками, боясь, чтобы его не вернули. Прятался в кусты, падал в молодую пшеницу, едва раздавался вдали рокот мотора. Скрывался, прижимался к земле, когда возникал вертолет, быть может, посланный специально за ним, отыскать его и вернуть с полдороги.

Он шел и знал: кругом радиация. Ее не было видно, не было слышно, она не ощущалась на вкус. Были все те же кусты, пшеничные нивы, зеленые холмы, на которых стояли прозрачные высоковольтные вышки с провисшими дугами проводов. Но реяла, неслась, пронизывала все радиация. Беззвучно, безгласно проносилась сквозь него, разрушала его, расщепляла. Свертывала кровяные тельца, умертвляла нервные волокна, плющила клетки мозга, колбочки и хрусталики глаза — превращала во что-

то другое. И он шел, превращаясь во что-то другое, теряя свои прежние свойства.

Те двое, на брезентовых носилках, были пропитаны радиацией. Он думал о них постоянно, словно их несли перед ним по полям. Он чувствовал, откуда бьют в него эти истребляющие смертоносные стрелы. Ребрами, виском, глазницами чувствовал дыхание станции. К ней, невидимой, шли через холмы линии передач. Провода, обесточенные, лишенные энергии, бессильно провисли. Казались пустыми, безжизненными. Энергия, покинув провода, вырвалась на свободу, летала под солнцем, разила и жгла.

Но он шел ей навстречу, одолевая свой страх.

«Вектор», его творение, был сейчас никому не нужен. Его отвергли, отринули. В случившейся беде и несчастье люди от него отвернулись. Его затопчут, забудут в надрывной непосильной работе, в бросках на ядерный зев, на жгучее дыхание реактора. Туда, в это пекло, людей поведут не стремление к гармонии, счастью, а жертва, надрыв, угрюмые, на последнем пределе усилия, чувство всеобщей погибели. Но когда-нибудь после, в другое время, после всех ожогов и взрывов, быть может, через тысячу лет, о нем должны вспомнить. Его станут искать, как ищут папирусы, древние пергаменты, свитки. И найдут, и узнают.

Так думал Фотиев, пробираясь в покинутый город. Шел спасать свое детище. Он, мужчина, был движим материнским инстинктом. Сам погибал, разрушался, но шел спасать свое детище.

Он увидел станцию с моста при съезде в Припять. В вечернем солнце мерцали под мостом железнодорожные рельсы. Краснели товарные вагоны. Далеко, сквозь пространство полей, белела, туманилась станция. Он вглядывался в ее очертания, в неясные контуры труб и блоков, стремясь разглядеть разрушения. Не мог. Туманились бруски корпусов. Но сам туман казался ядовитым. Стоя на мосту, он смотрел на станцию, а она на него своей далекой воспаленной глазницей.

Город в вечернем солнце выглядел пустым и умытым. Блестели окна домов, чеканные барельефы, асфальт. Ярко, нарядно краснели флаги, транспаранты. Казалось, сейчас на улицы высыпят нарядные толпы, начнется праздник, гуляние. Но было тихо. Лишь перемигивались на пустых перекрестках светофоры. Выбежала на осевую испуганная горбатая кошка, посмотрела на Фотиева сумасшедшими, горящими против солнца глазами.

Он шел к своему дому, озираясь на знакомые фасады, где в лоджиях висело белье. На вывески кафе, магазинов. Все было живое, предполагало толпу, многолюдье. Казалось, люди были здесь, где-то рядом. Не ушли, не уехали, а просто стали невидимыми. И он на мгновение поверил в это. Замедлил шаг, боясь столкнуться с кем-то невидимым.

Подошел к своему дому, двенадцатиэтажной башне. Перед домом зеленели газоны. Цвели два белых деревца. Свежей краской пестрели песочницы, качели и лесенки в детском городке. Плоды их совместных, всем домом, усилий, когда неделю назад на субботнике благоустраивали двор.

Хотел войти в парадное, но навстречу с лаем, счастливым визгом кинулась собака. Крупный гладкошерстный дог, принадлежавший соседу по лестнице. Сосед, плановик, большой любитель собак, гордился своим породистым псом. Выходил с ним гулять, повесив на собаку ошейник с медалями. Оба они, дог и хозяин, важно ступали, не замечая встречных.

Теперь собака кинулась к Фотиеву, по-щенячьи скуля. Терлась о ноги, лизала руки, ликуя при виде человека. Видно, хозяевам в спешке, в панике, когда эвакуировали город, не удалось захватить собаку.

— Ну подожди, я сейчас! — говорил догу Фотиев. — Сейчас принесу тебе что-нибудь. В холодильнике что-то осталось... Эх ты, медалист!

Во двор урча въезжал грузовик. За рулем сидел шофер в респираторе. В кузове с откинутыми бортами, держась за кабину, стояли двое в масках. В руках у них были охотничьи ружья. Грузовик медленно двигался меж песочниц и лесенок, огибая цветущие деревца. Двое, спрыгнув на землю, тяжело приближались, неся на весу двухстволки. Дог, увидев их, оставил Фотиева, кинулся им навстречу все с тем же ликующим лаем, приветствуя возвращение людей. И один из идущих поднял ружье

и в упор выстрелил догу в грудь. Опрокинутый огнем и ударом, дог отлетел, упал. Пытался подняться на передние лапы. Из проломленной груди толсто хлестала кровь. Человек, подняв ружье, приближался. Дог смотрел на него, вывалив длинный язык, часто и сипло дыша. Собачьи глаза дергались лиловыми горячими вспышками, казалось, освещали занавешенное лицо человека.

Снова выстрел в упор. Собачья голова, отброшенная, ткнулась в песок рядом с крашеной лесенкой. И в этой изуродованной голове одного глаза не было, сияла хлюпающая дыра. А другой глаз страшно выпучился — черный зрачок в огромном кровавом белке.

— Что?.. Почему? — спросил, задыхаясь, Фотиев.

Тот, что стрелял, не ответил. Перезаряжал ружье. Ответил другой:

— Радиоактивные... Отстрел радиоактивных собак...

И оба они устало подняли мертвого дога, раскачали и кинули в кузов подъехавшего грузовика, где уже валялось несколько пестрых неживых собачонок.

Лифт работал. Фотиев поднялся к себе наверх. Отомкнул ключом дверь. Сразу кинулся к полке, где среди небогатой библиотеки, журналов и технических справочников стояла тоненькая папка с «Вектором». Выхватил ее, проверяя. Вытряхивал на стол листочки и кальки, убеждаясь, что все на месте, все записи видны и отчетливы. Их не коснулась радиация, не засветила, не обесцветила, не лишила смысла формулы и графики.

И вдруг успокоился. Сделал то, что хотел. Соединился с «Вектором». Они снова были едины. Спасали и защищали друг друга.

Ему захотелось пить. Он вспомнил, что оставалась бутылка пива. Жажда его была так велика и внезапна, что он почти подбежал к холодильнику. Достал бутылку, тут же откупорил ее и первый стакан выпил залпом, остужая свое обожженное, пересохшее горло холодной пеной и горечью пива. Второй поднес к столу, сел, глядя на разложенные листочки.

Он чувствовал к ним нежность, как к живым. Воспринимал их как законченное, выраженное в образе совершенство. То, таящееся в каждом стремление к красоте и познанию, что раскрывается в творчестве, ведет через хаос к гармонии. Он, Фотиев, одолевая хаос и тьму, животный страх и неверие, добывал по крохам в явлениях, в людях, в себе самом это драгоценное знание.

Быстро темнело. В окне, среди черноты, все отчетливей проступала станция. Розовая, окруженная прозрачным заревом. Он достал свой дозиметр. Заглянул в него, повернул к окну. И в последних отсветах, в круглом расчерченном глазке увидел, что волосяная линия прошла все отметки. Остановилась справа зашкаленная. Дозиметр, набрав предельную реакцию, захлебнулся. И Фотиев отложил его в сторону.

Отпивал из стакана пиво, чувствовал легчайший хмель. Листочки белели на столе. В них языком формул было написано о победе, которую он одержит вместе со всем народом, через все катастрофы и горечи, неумение жить, через боль и уныние. О победе, которую добывали во все века в великих ратях, в великих трудах, в великом терпении, не давая пропасть земле, подымая ее из пожаров, украшая хлебами и храмами. И он, Фотиев, был один из этих творцов. Он это знал. И был горд. Был спокоен. Смотрел на свой «Вектор», на «Века торжество».

В черном окне над станцией колыхалось высокое зарево, не огня, а другого, не имевшего плоти свечения. Там накалялась и плавилась сталь, кипел бетон. Обнажилось, вышло на поверхность само земное ядро. И на этот пламень и яд кидались люди. Гибли и снова бросались. Не пускали на землю смерть. И он, беспомощный, страшно усталый, бессловесно посылал им в подмогу свой «Вектор». Свое боевое копье, вонзал его в раскаленную драконью пасть, вгонял ее назад в преисподнюю.

Наутро он собрал листки в старый, потертый портфель с медными замочками. Закрыл квартиру и вышел.

На улице ему стало плохо. Он почувствовал озноб и удушье. Его стало колотить. Теряя сознание, падая на асфальт, он успел разглядеть приближавшийся бронетранспортер, его ромбы, его блестящие в утреннем солнце углы.

Очнулся внутри транспортера, на его железном трясущемся днище. Увидел склоненное над собой солдатское молодое лицо. Два пыльных, солнечных, падающих из бойниц луча. И в этих лучах — старый портфель, медные поблескивающие замочки. И снова потерял сознание.

И уже без него, пока лежал в больнице, — стерильный, застекленный аквариум бокса, капельница то с черным, то с белым флаконом, каталка в операционной, кварцевые слепящие солнца, гаснущие, меркнущие в безвоздушном безжизненном космосе, куда отлетала его душа в то время, когда хирурги вводили ему сталь в позвоночник, — все это было уже без него: вертолетные бомбардировки реактора, машины одна за другой влетали в радиоактивное облако, сбрасывая свинцовые чушки, мешки с песком, с глиноземом. И бросок под реактор шахтеров, где в подбрюшье аварийного блока клали бетонный фундамент, монтировали холодильник, остужавший раскаленную топку. Работа военных частей, отмывавших промзону, погребавших в могильник осколки урана. Труд инженеров, строивших саркофаг над реактором, закрывших ядовитую пасть огромным стальным намордником. Все это было после: и похороны погибших пожарников, кары и суд над виновными, поэмы во славу героев, сборы поминальных пожертвований.

Он медленно выздоравливал. И все это время, читая газеты и слушая радио, следя за борьбой в Чернобыле, думал о «Векторе». Ждал, когда выпустят его из больницы и он снова, в который уж раз, пройдя через неудачи, обожженный радиацией, отринутый непониманием, возьмется за дело. За сотворение разумной и праведной жизни, в которой ему, Фотиеву, отведено рабочее место.

Ночь. Газетный абажур. Спящее, в тени, молодое лицо. Листочки на клеенке. Он, Фотиев, сидит в своей новой обители. Как он в ней заживет? Как примут его в новом месте?

Аккуратно собрал листки, спрятал в портфель. Надел пальто, шапку. Выключил свет. Повинуясь неясному чувству, вышел в ночь, в город.

Редкие фонари были похожи на глубоководных рыб. Круглые, в радужных плавниках, качались в прозрачной толще, распуская вокруг сияние. Дома спали. Все окна были погашены. Только вдали освещала снег витрина магазина. Туда он и шел, оглядывая здания, думая о тех, кто спал, не ведал о его появлении. Желал им блага. Им и этому городу, в котором начиналось новое его житие. «И пусть, — думал он, — оно будет без бед. Пусть оно будет безбедным».

Подойдя к магазину, увидел, что кто-то стоит. Женская, укутанная в платок фигура в неловко надетой фуфайке стояла лицом к витрине. Там, за стеклом, на нарядном диване, под торшером, у журнального столика, сидела другая, златоликая женщина. Они смотрели одна на другую. И та, что была в фуфайке, опиралась на железный лом, говорила:

— Ты все сидишь и сиди, а мне не мешай! У меня тут дело. Мне завмаг что сказал? Ты, говорит, Катюха, пока лед не сколешь, спать домой не пойдешь! Бери, говорит, Катюха, лом и ступай лед обкалывать!.. А ты вон сидишь в тепле и смотришь, как другие работают. А то давай поменяемся? Я вместо тебя на диван, а ты бери лом, рукавицы — и давай лед обкалывай!..Хочешь, тебе говорю?

Златоликая женщина смотрела на нее бесстрастно. Фотиев, вглядываясь в женщину с ломом, вслушиваясь в ее бормотания, понял, что она пьяна. Она была молодая, но большие сапоги, брезентовые рукавицы, нелепая фуфайка, комом сидящий платок делали ее старухой. Лом был тяжелый, валился из рук. Она удерживала его, колыхалась.

— Мы с Чесноком бутылку портвейна распили, теперь и работать можно! А без портвейна нельзя — холодрыга! Разве можно без портвейна работать?.. А Чеснок, он гад, вот он кто! Его бы к тебе подпустить, он бы тебе золотишко со щек пообкалывал! Жадный он, Чеснок, а бутылку принес! Я к завмагу завтра приду, скажу: принимайте работу! Где он, лед-то? Сколола!

Она подняла лом и тяжело, издавая ломом тупой каменный звук, а грудью тихие, похожие на стоны выдохи, стала долбить лед, разбрызги-

вая синеватые осколки. Женщина с золотым лицом смотрела, как другая, в платке, работает.

Фотиев шагнул в свет, взялся за лом.

— Ой, кто ты? Чего пристаешь? — Женщина испугалась, не отдавала лом. Смотрела на него. Лицо ее, бледное, с синяком под глазом, выглядывало из платка, готовое снести и брань, и побои. Фотиеву стало больно. Он осторожно потянул к себе лом.

— Не бойся. Я просто прохожий. Дай помогу. Что ты надрываешься с ломом?

— Мне завмаг велел, — отдавала она железо. — Говорит, не сколешь, спать не ложись!

Фотиев, напрягая мускулы, бил. Подымал и опускал лом. Смотрел на болезненное, замершее и такое родное лицо. И было ему больно в душе. Но было и загадочно-сладко. Он был у себя, со своими, начинал свою новую жизнь.

Женщина что-то бормотала, рассказывала. Сквозь морозную черную ночь станция, озаренная ртутью, смотрела, как он работает.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава седьмая

Фотиев работал в диспетчерской среди телефонов, селекторов, хрипа и бульканья рации. В окне по измызганной, раздавленной трассе катили самосвалы. Краны заслоняли окно железными телами. Бульдозеры сотрясали стол с аппаратами. А когда проползали, станция возносила в серое дымное небо свои вершины и кручи. Клубилась, искрила, содрогалась непрерывным трясением. Хотела ожить — не могла. Еще не хватало ей вещества, не хватало дыхания. Словно жизнь залетала в нее на мгновение, наполняла недостроенный остов, пыталась угнездиться, зацепиться за железные крепи — и вновь покидала. В морозное небо излетал невоссозданный дух.

Трещали телефоны. Он хватал то одну, то другую трубку. Иногда обе сразу. Принимал информацию. Рассылал команды. Связывал воедино рвущиеся, требующие, ищущие друг друга голоса. Не давал им промахнуться. Замыкал на стройку, на станцию. И она, громадная, вылепленная из бетона, была в бесчисленных мельчайших вспышках от этих мгновенных контактов.

В оконце его диспетчерской заглядывали водители в замасленных робах. Рабочие с лиловыми от мороза щеками. Прорабы с охрипшими от крика голосами. Подсовывали на подпись путевки, заявки на механизмы и топливо. Мимо по трассе шли на стройку бригады, расконвоированные, отбывшие срок колонисты. Стройка проглатывала их без следа своим черным зевом, ненасытная, непомерная.

Фотиев чувствовал биологию рождавшейся стройки. Она жадно усваивала сталь и бетон. Запивала водой. Сжигала электричество, топливо. Исходила испариной, жаром. И он, поставляя материю на создание ее мускулов, на строительство ее тканей, костей, знал ее страдания, муки, сопровождавшие рождение органов.

Стройка жила по законам инженерной науки. Людскими страстями, стремлениями. И среди этих законов, среди их нарушений и срывов, влияя на них, действовал еще один, новый, — закон его «Вектора». Его управленческий метод. Был введен как неявная сила в движение машин, в поступление и ход материалов. Влиял на работу бригад, на решения мастеров и прорабов. Присутствовал среди гулов и рокотов, горения газа и сварки. И треск телефонных звонков, позывные и клекоты рации были вестью о «Векторе». Стройка напрягала железные жилы, выпрямлялась, пружинила — подчинялась воздействию «Вектора».

Прошла неделя, как он запустил свой метод. На штабе руководители подразделений неохотно, с ворчанием, с шуточками заполняли рабочие карты. Недовольные, что их отвлекают от дела, косясь на секретаря райкома Кострова, на Горностаева, прилежно заполнявшего те же бумаги.

Фотиев, взволнованный, торопливо переходил от стола к столу, заглядывал в формуляры через головы пишущих, подсказывал, помогал. И когда заполнили, подписали, соединились друг с другом в невидимую цепь отношений, почти эфемерную, готовую разорваться, исчезнуть, когда тут же, забывая о «Векторе», нахлобучили полушубки и шапки и гурьбой, расходясь, рассаживались по «уазикам», возвращались на стройку, в ее неразбериху и хаос, в ее неуправляемый рост, — они унесли с собой «Вектор». Ввели его в кровь строительства. И он, незримый, начал в ней прорастать.

Он внедрил свой «Вектор» в самый верхний и тонкий — командный слой, в круг управленцев, штабистов. Со временем «Вектор» спустится вниз, к рабочим бригадам. Пропитает стройку, как пролившийся сверху дождь, проникая, опускаясь к глубинам и толщам. К рабочим, сотворяющим станцию.

Сегодня, неделю спустя, опять состоится штаб. «Вектор» себя обнаружит. Фотиев смотрел на часы, отбивался от телефонных звонков и ждал открытия штаба. Всю неделю он следил за развитием «Вектора», за ростом его грибницы. В маленьком помятом вагончике рядом с помещением штаба он развешивал свои диаграммы. Вычислял и высчитывал. Готовил экраны оценок. Иногда среди ночи, когда смыкались глаза, экраны начинали светиться, увеличивались, становились огромными. И в них, как кубическая разноцветная живопись, возникала все та же станция. Сегодня он ждал, когда окончится смена, сойдутся на штаб инженеры и метод впервые себя обнаружит.

Звонили со склада металлоконструкций, отправляли арматуру на блок. И он связывался с монтажниками, обеспечивал приемку металла. Десять миксеров вышли на линию, везли раствор под фундаменты. И он сносился с бетонным заводом, чтобы не было простоя машин. У «швингеров» кончилось топливо, и они просили о помощи. И он посылал им заправщик, чтобы техника не прерывала работ. Из профкома женский голос просил обеспечить к вечеру «рафик» для поездки в окрестное село. Голос показался знакомым, но он тут же о нем забыл.

Ступеньки вагончика забренчали, и вошел Михаил Вагапов, сосед по общежитию, в белой робе и каске. Его лицо с мороза не было румяным. Бледное, усталое. Заиндевело топорщились усики. Ворот свитера терся о плохо выбритый подбородок. С порога, закрывая дверь, он стал кашлять, жадно потянулся к накаленной печке. Растопырил над ней темные узловатые пальцы.

— Я к вам на полминуты, Николай Савельевич. Дома вас не застать. Которую ночь не ночуете. — Он сел у печки, наслаждаясь теплом, оглядывая стены в разрисованных листах. — Чертово начальство! Калорифер не могут поставить! Один калорифер сгорел, другой чуть теплый. Новый не ставят. Вот мы и колотимся в холодрыге! Реактор монтируем, как эскимосы!.. Я-то ладно, стерплю. А там девки молодые кабель тянут, концы распаивают, — они застудятся. Бетон ледяной!

— А вы пойдите в профком всей бригадой. Пусть составят акт, надавят на начальство. Оно обязано обеспечить тепло.

— Бесполезно! Его не достанешь, начальство! Оно в коттеджах живет, за елками. Что у них там, в коттеджах, какие напитки пьют, какие разговоры разговаривают, — нам не видно, не слышно. Утром на остановке мерзнем, этот чертов автобус ждем не дождемся, человек триста, толпа! А они мимо нас на машинах — вжиг, вжиг — и только видели! Начальство в кабинеты поехало!

— Действительно, — согласился Фотиев. — Последнее время перебои с автобусами.

— Во всем у нас перебои в последнее время! Кто-то где-то сидит и перебои нам делает! В тепле перебои. В воде перебои. В электродах перебои. В абразивных кругах перебои. Во фронте работ перебои. Кто-то где-то сидит и перебои нам делает, чтоб мы на этих перебоях сдохли! Кислород нам перекрывает, и мы, как рыбы, рты раскрываем, глаза пучим, задыхаемся, а сказать ничего не можем! Рыб-то не слышно! Но я не рыба, я птица! Мы птицы, не рыбы!

— Что ты имеешь в виду? — Фотиев видел, как в Вагапове разрастается разрушительное, гневное чувство. Лицо его все больше бледнеет, в нем прорезаются под острыми углами черты, проведенные ненавистью.

— А то и имею в виду! Кому-то это специально надо! Кто-то вредит! Посмотрите, мы все с утра до ночи работаем, а на выходе круглый ноль. По полям поезжайте — один василек да сурепка. В очередях у пустых прилавков грыземся друг с другом из-за мослов обглоданных, а после этой грызни бери нас поодиночке голыми руками: никто не придет на помощь — ненавидим! Мы тут соревнуемся, как дурни, за досрочный пуск блока, всякие вымпелы, флажки получаем, а потом все это взрывается к чертовой матери и на месте наших флажков мертвая зона на тысячу лет. Кто-то где-то специально сидит и все проводки у нас путает. Ничего не поймешь, хаос! А я бы хотел разобраться!

— Хаос первородный. — Фотиев пытался перенять, перехватить разговор, отвлечь Михаила, погасить раздражение. — Но не следует думать, что кто-то этот хаос нарочно устраивает. Многие руки себе на нем греют, это верно. Но чтоб умышленно этот хаос устраивать, это, поверь мне, заблуждение.

— Кто руки греет, тот и устраивает! — упрямо утверждал Вагапов. — Разве они в кабинетах своих знают, как народ живет?! Разве им есть дело до нас? В столовке три ассортимента, три разных меню. Самое плохое — для рабочих! Получше что ни на есть — для служащих! А самое сладкое — для начальства... Замминистра к нам приезжал, они для показухи в столовку квас привезли, день проторговали, потом увезли... В бытовках грязь, холодина!.. Сколько без квартир, без крыши над головой ютится?.. Молят, на приемы ходят, как царям в ножки кланяются! Где жить? Где семью заводить?.. Я квартиру нахрапом выбил, горлом, кулаками, по-афгански! Я зубы скалил, чтоб эту квартиру добыть для Ленки, для семьи! Я слово дал: горло перегрызу начальству, а квартиру для семьи добуду! Не за этим я два года в горы ходил, на минах рвался, свою и чужую кровь проливал, чтоб моя жена, мой сын, как нищие, жили, кому-то здесь в ножки кланялись!.. Я-то добыл, а другие?.. Почему, скажите, так тяжело у нас народ живет, почему?

— Все так, Михаил, очень трудно живем. Все трудно живут. Родина трудно живет. — Фотиев смотрел в близкое белое, прочерченное складками лицо, в котором вскипала ненависть, выплескивалась синевой в глазах.

— Нет, не все, не все! Кабы все, так и ладно!.. Когда мы в горы шли, все тяжело несли. А командир тяжелее всех! Он еще у салаги, который задыхается, падает, он его вещмешок подхватит, подсумок. Идет в гору, скрипит, смотреть страшно!.. Вот командир, вот начальство!.. Поэтому мы их собой заслоняли. С минных полей вытаскивали. Над убитыми командирами плакали... А над этим я не заплачу! Этих с минных полей не вытащу! Да они и не пойдут по минным полям! Они живут в свое удовольствие. Они же богачи, богатые люди! Гребут под себя!.. Раньше народ не видел, а теперь все видит. Раньше народ за высокие заборы не заглядывал, за елки-палки не засматривал, а теперь засматривает! Раньше он вранью верил, а теперь не верит! Знаем, как богатые люди у нас живут, как они врать умеют! Вы бы слышали, что рабочий класс им вслед говорит, когда они по утрам мимо остановки на машинах своих проезжают. Каких чертей вслед пускают. Ненавидит народ!

Фотиев чувствовал исходящую от него энергию ненависти. Пугался не этой энергии, а разрушения самого человека. Недавно, в первый день их знакомства, тот сидел за столом просветленный, благодушный и бодрый, обнародовал свой кодекс правды, основанный на добре и свете. Но свет погас, и он ненавидел. Эта двойственность всегда поражала Фотиева. Сидящий перед ним человек был расщеплен. В нем жили два человека, менялись местами, менялись энергиями, то любили, то ненавидели.

— Пора самим разбираться! Они из нас врагов государству делают! Вот их вред! Одной рукой хозяйство страны разоряют, а другой из народа врага государства делают... Пора самим разбираться! Пора народу вновь власть брать!

Фотиеву казалось: за стеной вагончика сипло дышала станция, хрипела и кашляла стройка. Громадная, в машинах, поршнях, была переполнена ненавистью. В урановой топке шел распад здоровой материи, омертвление здоровых энергий, сотворяющих жизнь. Вырабатывались ядовитые силы, творившие разрушение. «Вектор», введенный в станцию,

действовал, как вакцина. Ловил и извлекал эти яды. Отфильтровывал их от здоровых, не затронутых распадом потоков. Целил, изгонял болезнь, восстанавливал здоровье. Среди болезней и социальных страданий надлежало ему работать.

Михаил сдержал кашель, закрывая кулаком рот. Железный звук катался, ходил ходуном в его груди. Бился о ребра, как стучащий, готовый заклинить мотор. И казалось, что Вагапов рыдает.

— Ну я пойду, Николай Савельевич, — сказал он, словно выдохся, сразу лишился сил. — А то опоздаю... Я вас хотел попросить... — Его лицо, недавно ненавидящее, обрело беспомощное, умоляющее выражение. — Вы сегодня ночуете дома? Мы с Сережкой оба — в ночную смену. Вы уж за Еленой присматривайте, прислушивайтесь... Она вот-вот родит. Боится! Врачи ее напугали, сказали — резать придется! Плачет, когда я ухожу! Уж вы прислушивайтесь. Если что, в больницу...

Он поднялся, поправил пластмассовую каску, черкнул белой робой по развешанным экранам и графикам и вышел, открыв на мгновение дверь, где в снежном парном проеме возникла и скрылась станция.

Фотиев недолго оставался один. Опять загремели ступеньки, и в вагончик вошел Менько. Осторожно, оглядываясь, находя безошибочно источник тепла, словно инфракрасная ракета. Помещался возле него так, чтобы спираль согревала его радикулитную спину. И уж после этого, встав на безопасное место, обратился к Фотиеву:

— Извините... Шел мимо. Решил заглянуть. Я — Менько Валентин Кириллович. Мы встречались в штабе.

— Конечно... Встречались. — Фотиев подносил ему колченогий стул, смущенный его появлением. — Вы задавали мне интересные вопросы по «Вектору».

— Мы и раньше встречались. В Припяти. Вы просто забыли. — Менько уселся на стул, проверяя его устойчивость, стараясь не уклониться от теплового источника. Обувь и брюки его были в грязи, — видно, только что явился со стройки. Шарф торчал комом. На лице, торопливо и плохо выбритом, виднелись два желтых йодных пятна, прижигавших какое-то воспаление. — Там, в Припяти, было столько народу. Всех не упомнишь.

— Да, мы встречались! — обрадовался Фотиев, припоминая это немолодое, одутловатое лицо, мелькавшее на чернобыльской стройке. — Конечно же, мы встречались!

— Видите ли, еще там, в Припяти, я познакомился с вашим «Вектором». Когда вы его внедряли, я специально ходил, изучал, даже, можно сказать, исследовал. Поэтому я и пришел сейчас. Все эти дни я следил за внедрением. Видел, как он начинает работать, как проникает в стройку. Я делал свои собственные выкладки и подсчеты. А когда вы развешивали диаграммы, зажигали свой экран, я убедился, что был прав. Я понял несравненное значение «Вектора».

— Вы приняли мой «Вектор»? Вы первый, кто его оценил! — Фотиев, волнуясь, вставал и снова садился, любил этого случайно зашедшего, едва знакомого человека, ставшего вдруг дорогим. Немолодой, некрасивый, неопрятно одетый, он был вестник его успеха и вестник победы. Был умный, прозорливый, сумевший разглядеть красоту «Вектора». Был единомышленник, друг. — И как вы оцениваете первое действие «Вектора»?

— Ваши экраны — рентгеноскопия! Они высвечивают болезнь, высвечивают опухоль. Не все, уверяю вас, пожелают записаться в больные. Иногда легче жить, не ведая, что у тебя разлагаются органы.

— Нет, вы не правы. Болезнь надо видеть. Надо точно увидеть конфигурацию темных пятен, прежде чем начать курс лечения.

— В том-то и дело! — скрипуче засмеялся Менько. Одновременно смеялся и мучился, несколько раз коснулся измазанной йодом щеки. — В том-то и дело, те, кто высвечен на вашем экране, как опухоль, взбунтуются, потребуют погасить экраны, демонтировать рентгеновский аппарат. Они поймут, что им грозит ампутация! Их удалят в процессе лечения, выскоблят, выжгут, вышвырнут из организма. Опухоль взбунтуется! Она не пожелает быть обнаруженной! Ополчится на ваш «Вектор». Вы должны ожидать атаки на «Вектор»! Опухолевой атаки!

Менько наклонился к нему, переходя на шепот, оглядываясь на дверь. Его лицо помертвело, потускнело, а в глазах, маленьких, серых, мелькнуло что-то белое и слепое.

— Вы не знаете, какие силы вы трогаете! Вас сомнут, а «Вектор» расплющат. Если он заработает, в него положат динамит и взорвут. Иногда я думаю... я понимаю, что это затмение... Думаю, там, в Чернобыле, где вы зарядили свой «Вектор», нашлись люди, которые его раскусили! Понимаете — опухоль!.. Боялись экранов. И взорвали!.. «Вектор» надо охранять, как военный объект величайшей важности!.. Поставить охрану, сигнализацию, проволоку под током, минными полями окружить, как ракетную шахту! Иначе могут взорвать!

Фотиев на миг испугался. Бред колыхнулся, бред четвертого блока, окруженного в темноте красным туманным заревом. От этого видения кровь его стала свертываться, гибли кровяные тельца, а в спине, в костях, в наполненных мозгом каналах больно набухло. Это продолжалось мгновение.

— Нет, не так, все не так,— прогнал он безумие, свое и чужое.— Все вовсе не так.

Но Менько, соглашаясь, слишком поспешно уступая ему, возбуждался все больше.

— Вы гений, не боюсь вам это сказать!.. Я скептик, брюзга, во всем изверился, на все махнул рукой, меня не обмануть, не удивить. Но здесь, в вашем случае, я говорю: вы гений! Вы открыли закон энергии, действующей в человеческом обществе. И воспользовались этим законом. Сознательно, на его основе спроектировали механизм. И не просто спроектировали — сконструировали. И создали в натуре, воплотили. И внедрили. Вы действуете как открыватель, изобретатель, строитель и эксплуатационник. И как герой, запуская его во взрывоопасной среде. Вы гений трижды, четырежды!.. Ибо Кюри только открыл энергию. Эйнштейн и Бор — ее закон. Оппенгеймер сконструировал бомбу. Пилот «летающей крепости» сбросил ее. Их было много, а вы — один. Повторяю, вы гений!

— Мой «Вектор» не бомба! Он не губит, не испепеляет, а порождает цепную реакцию творчества! — Фотиев был ошеломлен этим воспаленным, непомерным восторгом, абсолютным принятием его метода.— Но если вы правы и «Вектору» угрожает опасность, вы-то, вы-то будете его защищать? Вы будете со мной? Я нуждаюсь в союзниках, нуждаюсь в друзьях!.. Вы меня понимаете?

— Я-то вас понимаю! Прекрасно понимаю!

— Так будьте со мной! Сражайтесь со мной за «Вектор»!

— Я очень слаб. Я надломлен. Меня много били, топтали. У меня переломаны кости. Я не смогу быть вам опорой. Я и себе-то не могу быть опорой! Очень много переломов! Не срослись...

— «Вектор» вас исцелит, срастит переломы! Вы станете крепким, здоровым. Поверьте в него! Произнесите за него свое слово!

— Я бит много раз! В моем роду многие биты. По головам, железными палками!.. И от этого никуда не уйти. Это в подкорке на многие поколения... Социальный страх — я поражен социальным страхом! Я управляем. Мной управляют с помощью социального страха. Нужна огромная программа для общества по преодолению социального страха! Социальное бесстрашие — это ресурс, который копится медленно, веками. Но он драгоценный, он дает невиданную свободу, бесстрашное действие в мироздании. Без него бы мы пропали. Нам нужен национальный ресурс социального бесстрашия!

— «Вектор» на это направлен! Он избавляет нас от социального страха, социального одиночества, от социальной ненависти и агрессии. В «Векторе» торжествует не удар, а рукопожатие! Не насилие, а добровольное совместное творчество!..

Фотиев дарил свое детище, отказывался от авторства, делал его безымянным. Звал в него всех, готовых поверить, принять. Делал его всеобщим, всенародным творением. Он, его «Вектор», был создан лучшим, что пребывало в народе. Трудолюбие. Украшение земли изделиями рук своих. Справедливое, основанное на добре бытие. Стремление к благу. Стремление к высшему идеалу, связанному с цветением Родины, цветением мира, цветением всего мироздания. Так понимал он свой «Вектор», свою икону, на которой подобно древним мастерам не ставил свою подпись. Икона писалась не им, одиночкой. Писалась народным духом и мудростью, стремлением к истине, красоте.

— Я уже сказал вам, вы гений,— повторил Менько, стихая, утомляясь, не выдерживая бурных излияний.— А я больной, социально больной! И мой удел — болеть. Я и буду болеть. Буду болеть за вас!

С этой невеселой шуткой Менько поднялся. Вышел, открыв в клубящемся проеме дверей бетонный многоугольник станции.

И опять прозвенели ступеньки. В дверях растворился сияющий белый квадрат. Появилась женщина. И он сразу ее узнал. Коротенький, в курчавой овчине тулупчик. Цветастый, повязанный туго платок. Она, с кем ехал в медлительном скрипучем автобусе, в сумеречных полях, с кем въехал впервые в город. Антонина — так, кажется, звали ее — стояла сейчас на пороге. И ее появление было в момент, когда покинул его едва обретенный друг. В момент одиночества и душевной тревоги.

— Не помешаю? — Она улыбалась, еще неуверенная, кстати ли ее посещение. Всматривалась, убеждалась, что кстати, он рад, улыбается тоже.— Мимо прохожу, дай, думаю, зайду. Еще раз заявку проверю. Ведь это я вам в диспетчерскую по телефону звонила, «рафик» заказывала. В Троицу ехать. Голос мой не узнали?

— Не узнал,— ответил он, усаживая ее все на тот же колченогий стул. Она села, распахнула тулупчик, выпустила наружу край платка.— По телефону разве можно узнать?

— А я ваш узнаю. Когда в диспетчерскую звоню, вас узнаю.

Сидели, улыбались, всматривались друг в друга. За эти недели несколько раз встречались, то в управлении на ходу, на бегу, то в автобусе, разделенные тесной толпой. Все мельком, едва успевая раскланяться, не сумев и слова сказать. Но оба помнили те сумерки в холодном автобусе, глумливого «бича», обиженного им дурачка, долгое за морозными окнами течение полей и опушек.

— Последние дни много говорят о вашем методе. Слышу: «Вектор» да «Вектор»! Какой-то, говорят, пришелец появился на стройке, какой-то «Вектор» в портфеле привез. И теперь, говорят, всем будет указывать, в каком направлении счастье искать. Эти — ступай налево! Эти — направо! Такой, говорят, пришелец. А я помалкиваю, никому не говорю, что с этим пришельцем в Броды добиралась и портфель видела. Так вот вы что, оказывается, везли в своем портфеле! А говорили, что чуть ли не скатерть-самобранку, ковер-самолет!

— А оказался «Вектор»! Что-то вроде стрелы или дротика. Еще помните, кончик торчал! Не заметили?

Они рассмеялись громко, долго. Совсем как тогда, в автобусе. Уже забыли, что их тогда рассмешило. Но запомнили, смех был таким же.

— Вы мне тогда говорили про какую-то орду, про какую-то сечу. Я даже в учебник истории заглянула. Ничего не нашла. Вот вы теперь привезли к нам дротик, стрелу. Значит, опять будет сеча?

— Наоборот, мир и дружба! — Он шутил. Ему хотелось шутить. Хотелось, чтоб она сняла платок, потянула его за бахрому долгим, медленным жестом, как стягивали его женщины в их уральском поселке. И она, словно угадала его желание, потянула платок. Он скользнул, будто пролился с ее головы, лег пестрым ворохом на колени. Она сидела перед ним с непокрытой головой, с милым, свежим лицом.

— А вы так и не зашли ко мне. Ведь я приглашала. Сижу в профкоме, а вы не зашли.

— Стеснялся...— Он смутился своего быстрого, страстного взгляда, которым ее оглядел: ее брови, губы, глаза, платок на коленях, ноги в сапожках, на которых таял занесенный снаружи снег.— Я был очень занят, все ночи работал. Вы такая молодая, красивая, милая! — вырвалось у него. Он снова смутился, побоялся показаться бестактным.— Куда это ваш «рафик» поедет? В какую Троицу?

— Тут неподалеку сельцо. Церковь за озером. Там дома под снос. Когда весной уровень в озере повысится, дома под воду уйдут. Жителям в Бродах целый дом отдают, самый лучший. Все согласились, взяли орде-

ра. А два старика упрямятся. «Не поедем, говорят, заливайте!» Ну я сегодня буду их уговаривать, ордера на квартиры вручать.

— Возьмите меня с собой. Хочу посмотреть Троицу. Окрестностей никаких не знаю. Только город и станция.

— Поедем. Вдвоем веселее.

— Сейчас мой «Вектор» будут судить. Примут, отвергнут? Очень волнуюсь. Если отвергнут, соберу свои вещички, свой старый портфель — и обратно, той же дорогой. И никто не придет провожать! — Он шутил, но с тревогой, с предчувствием.

— Вы ведь за людей. «Вектор» ваш за людей! Значит, будет удача.

— Можно, я трону ваш платок? Загадаю, чтоб все было хорошо, как вы сказали?

Он приблизился, тронул тонкую цветастую ткань. Накрыл ладонью, чувствуя теплый отпечаток красных роз, зеленых резных листьев. Бережно опустил на ее колени край платка.

Она ушла. А он все держал на весу ладонь, слыша, как слабо горят на ней отпечатки цветов и листьев.

Глава восьмая

Входили в помещение штаба. Секретарь райкома Костров, начальник строительства Дронов, его заместитель Горностаев, руководители подразделений и служб. Оглядывали стены, где поверх привычных фотографий ударников пестрели таблицы и графики, висели экраны. Каждый вошедший был отмечен на них. Введен в эти схемы по неясному, до конца непонятому ими закону. На этих зажженных экранах, на расчерченном ватмане «высвечивались» их успехи и срывы, отставание, опережение графика, причины удач, огрехов, невыполненные виды работ, стоимость, зарплата рабочих. И в конечной ячейке каждый получал завершающий балл. Цену своим управленческим качествам, инженерным умениям.

Так выглядел «Вектор», игра, в которой они неделю назад согласились участвовать, неохотно, со скрипом, под давлением начальства. Ворча и поругиваясь, заполняли бланки, которые им подкладывал незнакомый, терпеливо приветливый человек в поношенном тесном костюме, объяснявший суть системы. Они, видавшие на своем веку множество начинаний, умиравших через день или два, небрежно заполняли листки, считая все это заумью, «филькиной грамотой», блажью начальства. Поглядывали нетерпеливо на близкую стройку, выкликавшую их, манившую голосами и гулом.

Теперь они входили, вертели головами. Стягивали шапки. Кто раздевался, вешал полушубки на гвозди. А кто прямо в робах плюхался за столы, ставил на них замусоленные, с металлическим отливом локти. Зыркали на экраны и графики. Посмеивались. Почти не замечали Фотиева, «рисовальных дел инженера», как окрестил его кто-то на стройке. А Фотиев чутко слушал и ждал: сработает ли горючая смесь, наполнившая камеры двигателя, будет ли вспышка, поворот рабочего вала? Или в схеме допущен просчет, стенки прогорят и разрушатся, энергия, столь трудно добытая, бессмысленно уйдет на свободу, вернется в первозданный хаос, покинет ненужные, остывающие обломки машины.

— Итак, товарищи, — взял слово Горностаев, чуть поклонившись Кострову и Дронову, молчаливо уступившим ему ведение штаба. — Мы собрались, оторвавшись от наших дел насущных, чтобы проверить возможности нового управленческого принципа, предложенного нам Николаем Савельевичем Фотиевым. — Легкий поклон в его сторону, то ли насмешливый, то ли любезный. — Попрошу руководителей подразделений подойти к наглядным пособиям, — так назвал он экраны и графики, — и ознакомиться с результатами первой экспериментальной недели.

Сказал, пошел к развешанным таблицам. Вслед за ним шумно, шаркая стульями, поднимались, подходили к стене инженеры. Вглядывались, толкались, тянули шеи. Разбирались в схемах, пытались понять и вспомнить те немногие, небрежно усвоенные уроки, что преподал им Фотиев.

А он ждал и смотрел. На наладчика с малиновыми щеками в меховой безрукавке: хлопал рыжеватыми ресницами, что-то шептал и высчитывал. На пожарного в серой шинели с потертыми майорскими погонами: морщился как от боли, вставал на цыпочки, заглядывал через головы. На лысоватого чернявого турбиниста: приоткрыл рот, в котором поблескивали коронки. На электрика, молодого, вихрастого: достал растрепанный блокнотик, заносил на странички цифирь. Все молчали. Было так тихо, что слышался мотор «Камацу», раздиравший льдистый грунт.

Фотиев слушал это молчание. Чувствовал охвативший их всех процесс. «Вектор» пропитывал их сознание, перестраивал в новую форму. Шло преодоление хаоса, распутывание клубков. Рассасывание тромбов. Словно спадали бельма и возвращалось зрение. Открывалась истинная картина строительства. И в этой картине уяснялась роль и участие каждого. Обнажалась истина. Они стояли перед экранами, застывшие, напряженные, и он чувствовал, как они пропитывались истиной.

Когда неделю назад они вяло, неохотно заполняли формуляры, расписывались, устанавливали цепь отношений, договорным пером закрепленные связи, эти связи ненатянуто, вяло болтались. Были связями на бумаге. Но, когда рванулись в работу, каждый в меру своих сил и возможностей, в меру удачи и промаха, ярости или здравого смысла, связи вдруг натянулись, лязгнули, как сцепка состава. И там, где они были непрочны, возникли разрывы. Возникли нарушения и сбои. А там, где они уцелели, появилась двойная тяга, сложение коллективных усилий, толкающих дело вперед. И теперь, наблюдая таблицы, они видели стройку как систему разрывов и сжатий, центров наивысшей активности и мертвых зон. Эта ясность картины, этот обнаженный ландшафт ошеломил их. Стройка словно сбросила маску, открыла свой угрюмый, перекошенный, в буграх и порезах лик.

И это зрелище вызвало взрыв. Истина сверкнула и вызвала взрыв. Энергия прошла сквозь каналы и клапаны, плотно наполнила камеры сгорания и от искры и вспышки ударила взрывом.

Кто-то первый вскрикнул:

— Ну вы даете, друзья! Эдак вы нам башку проклюете!

Это выкрикнул по-петушиному тонко и радостно маленький курносый строитель, чьи бетонные работы, выполненные в срок, открыли дорогу идущим следом монтажникам, и те уложили свои трубы, врезали в них задвижки, давая возможность электрикам приступить к установке двигателей. Этот изумленный, радостный вскрик сдетонировал бестолковый, сумбурный гвалт.

— Да это все липа! Не точно! За что мне пару влепили? Я и не мог их наладить, приборы! Где их взять, если нету?

— А там и взять, где дают! Вот вам поставка приборов! Все валите на отдел комплектации! Вот моя подпись — давал! Вы их сами не взяли, приборы!

— Да ну, да не может быть, мужики! В кои века раз нас здесь похвалили! А то все кроют да кроют! Сколько ни вынешь грунта, все мало, все виноват. А тут и мы на коне! Не землерои проклятые, а производители земляных работ!

— Я с вами стыкуюсь, Иван Гаврилович, а вы мой стык поломали! Вы мне фронт работ обещали и не дали! И всю цепочку порвали. Вы мне всю картину испортили!

— А как я мог не испортить! Мне электрики кабель протянуть обещали, а сами по сей день тянут, не вытянут! Не буду я без кабеля пустой канал засыпать!

— Нет уж, позвольте! Электриков вы не путайте! Вот моя подпись, смотрите! Кабель вам через неделю проложим, как договаривались! На хитрость нас не берите! А вот ваша подпись, ваша козюля рогатая!

— Нет, черт побери! Здесь надо еще разобраться! Здесь нам мозги пудрят, люди добрые!

Бурлили, клокотали и ссорились. Замахивались один на другого. Обнимались, хлопали друг друга по спинам. Усталые, видавшие виды, язвительные, себе на уме, готовые к циничной шутке, к демагогии и лукавству, они вдруг очнулись. Одни разозлились, гневно срывались в брань, в сквернословие. Другие гоготали и радовались, поздравляли друг друга.

Наладчик с малиновыми щеками в мохнатой безрукавке яростно

тыкал пальцем в экран. Казалось, шерсть на его безрукавке встала дыбом:

— Меня начальство с объекта снимало! Делай то, делай се! А теперь пусть само отвечает! Пусть само репей в хвосте носит! Ему прокол, а не мне!

Майор-пожарный взбодрился, тонко похохатывал, прихлопывал в ладоши:

— Говорил вам, сдавайте по акту насосную! Не хотели. Так вот и держите! Мы свою службу знаем, а вы почему не знаете?

Лысоватый чернявый турбинист с золотыми коронками страстно выговаривал:

— Не согласен! Мне трояк? Не согласен! У меня электрик всю неделю в ногах путался! Ему и втыкайте!

Молоденький вихрастый электрик наскакивал на него, махал блокнотом:

— Неправда! На нас не валите! Здесь картина видна, абсолютно! Здесь документы! Хватит нам туфту подносить! Здесь все нарисовано, абсолютно!

Люди, впервые вкусившие истину, откликались на нее громогласно, проверяли ее и судили, отрицали, настаивали. Казалось, все в ссоре со всеми. Истина, пройдя через каждого, в каждом прожив отдельную яркую жизнь, снова сливалась, становилась всеобщей. Эта истина могла быть трагической. Могла говорить о крушении. Но она была истиной. Те, кто ее познал, получали возможность действовать. Возможность спасать и бороться. Возможность избежать катастрофы. Иллюзия, заслонявшая истину, и была катастрофой. Ложь управления сводилась к тому, что управлялся мнимый объект, мнимый, склеенный из картона реактор, расцвеченный гуашью и темперой. А истинный, из урана и стали, отключенный от рычагов управления, уже сжигал замедлители, взрывал оболочку, крушил трубопровод с паром — подымал на дыбы всю громаду атомной станции, громаду государства и общества. Изрыгал в небеса раскаленное ядовитое зарево.

Фотиев наблюдал и фиксировал. В нем все напряглось, обострилось. Мысли, зрение, слух. Сбывались его предсказания. Доказывались его теоремы. Оживали его чертежи. Действовал, работал его социальный двигатель. Два этих хора, враждебный и дружественный, два расчлененных потока, циркулировали в ожившей машине. Были задуманы при ее проектировании, двигали ее и крутили.

Среди недовольных шел процесс разрушения. Распадались репутации и ронялись престижи, добытые в неразберихе и хаосе с помощью трескучих слов, потаенного лукавства, сговора и протекции, открытого давления и силы. Непомерно высокие оклады и легко приобретенные премии. Скорое продвижение по службе, ордена и значки депутатов. Льготы на квартиры, дачи и поездки за границу. Устройство детей в институт и почетные пенсии. Накопленное, передаваемое по наследству богатство. Вот над чем нависла опасность, что осветили экраны. И оттуда — Фотиев это чувствовал — ему угрожали, хотели его изгнать.

В другой половине, там, где его принимали, — там были изнуренные люди, запутанные и сбитые с толку, век тянувшие лямку, отупевшие от выговоров и взысканий, всегда на третьих ролях. От стройки к стройке, от пуска к пуску делали свое дело, кто по совести, кто по привычке, забыв о постах и наградах. Просто кормили семью и одновременно пускали станции. Среди этих людей вдруг возникло прозрение. На экранах, как в зеркалах, они себя увидали. Умелыми, смышлеными, дельными, достойными первых ролей, достойными благ и наград, которые у них отбирали другие.

Стройка была упрощенной моделью общества, в котором начиналась реформа. «Вектор» для этой стройки был началом реформы. Началом той революции, совершаемой не через восстание народа, а сверху, из центров власти, внедрением новых идей.

Его «Вектор» был революцией. Крохотной каплей, сохранявшей закон океана.

— Ну нет, друзья, так дальше не пойдет! Вы нам башку проклюете! — опять, как в начале, раздался тонкий, петушино-радостный возглас.

И все вдруг умолкли. Перенасытились, перегрузились страстями. Молча смотрели один на другого, стремясь угадать — кто свой, кто чужой. Хотели понять то новое, незнакомое качество, в котором вдруг все оказались.

— Товарищи, — нарушил тишину Горностаев. И Фотиев, как ни был взволнован, уловил волнение другого. — Теперь, когда мы ознакомились с методом, попробовали его, так сказать, на вкус и на цвет, нам надлежит подумать и высказаться.

Фотиев слушал стук своего сердца. Ждал приговора. Обоим — себе и «Вектору».

Он думал: если «Вектор» отвергнут, будет отвергнут не только он, Фотиев, но надежда и труд друзей, снарядивших его в дорогу, оснастивших «Вектор» теорией, системой глубоких знаний, связавших его с экономикой, социальной наукой, политикой. С пробудившимся в народном сознании творчеством, в котором рождались открытия, одолевались заблуждения, прокалывались застарелые тромбы. Огромная, утомленная, нуждавшаяся в новом дыхании страна рассылала весть о своем пробуждении. Он, Фотиев, и был тем гонцом, что пробрел сквозь туманы и бури, добрался сюда, к этим усталым, жаждущим истины людям, донес до них свою весть, свой «Вектор».

— Итак, товарищи, кто хочет выступить? Вы, Виктор Андреевич? Пожалуйста, слово Лазареву!

Лазарев выступил взвешенно. Гладко. Выбирал выражения так, чтобы не задеть Фотиева, а напротив, подчеркнуть к нему уважение.

— Мы все истосковались по новому, — говорил он. — Устали от рутины. Ждем новинки. В управлении нам, как воздух, необходимы новые принципы. Предлагаемый нам метод весьма интересен. Но в данном случае нам следует воздержаться от внедрения предлагаемого метода. Он недостаточно проработан и, пожалуй, слишком наивен. К тому же вносит в нашу запутанную деятельность дополнительную путаницу. Согласитесь, мы едва сейчас не перессорились! Мы все окажемся в ссоре, считая свои пятерки и двойки. Я бы предлагал воздержаться от внедрения, а, несомненно, одаренному автору опубликовать свой принцип в виде статьи в «Вопросах экономики», например. Сослаться, в частности, и на наш опыт, который, как мне кажется, был ему полезен.

Сел, довольный собой, веря в неотразимость своих аргументов. А Фотиев опустил глаза, боялся обнаружить их выражение. Думал: это противник, утонченный, умный, схвативший на лету суть «Вектора», пробитый его стрелой, выдирающий из себя его острие, его молнию, отводящий ее в землю.

Фотиеву казалось: если «Вектор» будет отвергнут, будут отвергнуты все работники, дарившие ему крупицы своих озарений, желавшие устроить свой труд по правде, во благо себе и другим, всей бессчетной артели, работающей на заводах и стройках. Как на той буровой, где бригада бурильщиков среди слепящих снегов, черня их гарью и копотью, шла к нефтяным пластам. То опаздывали вертолеты со сменной вахтой, то не хватало корундов, то кончалась солярка. Он занимался расчетами, появлялся у грохочущей башни, красной от полярного солнца, тусклой и синей от звезд. Она, буровая, яростные лица бурильщиков глядели сюда, в эту комнату, ждали, что станется с «Вектором».

— Вам, кажется, пять баллов поставили! Вы у нас отличник, паймальчик! — Горностаев приглашал Накипелова. — Прошу вас, Анатолий Никанорович!

— Ну что здесь много разглагольствовать! — Накипелов в своем обычном грубо вязанном свитере, напоминавшем кольчугу, топтался, недовольный тем, что приходится отвлекаться на пустяки. — Мы не дурни, все понимаем! Если сегодня рабочему человеку дать, что он требует, если не дергать его по мелочам, то он выполнит любую работу, японскую, американскую. По-моему, все эти заумные методы при скверной базе — одна болтовня! Я лично против этого самого «Вектора»!

«А вот это друг, — думал Фотиев, не обижаясь, доверяя большому, похожему на лесоруба человеку, отринувшему его. — Он-то не знает, что друг, а я знаю! Поймет мой «Вектор» — и станем друзьями!»

И тут же испугался этого второго, сложившегося с первым отрицания. Мучился, ждал приговора. А вместе с ним ждали его и те давнишние мужики-комбайнеры, с которыми работал на целинной жатве, худые, черные от усталости, от неразберихи, от райкомовских директив и накачек, от позднего, огромного, уходящего под снег урожая. Колотились днем и ночью на мостике, ворочали штурвалы, добывая из метели пшеницу. И он, Фотиев, трясся в кабине хлебовоза, глядел, как из переднего самосвала сквозь щели льется на дорогу зерно. Страдал от бессилия, от окружавших его повсюду прорех, сквозь которые утекали человеческий труд и богатство. Теперь, в этот час, комбайнеры смотрели на него, здесь сидящего.

— Давайте, Менько! Вас послушаем! — покровительственно, с неуловимым оттенком господства приглашал и одновременно приказывал Горностаев.

— Оригинально... Несомненно... Но, конечно, нужно еще проверять... Однако я усматриваю возможность пользы. Конечно, любая идея при встрече с реальностью искажается, деформируется. Но не следует сплеча отвергать! Нам нужны идеи! Как воздух!.. Иначе задохнемся! — И он сел, красный, задыхающийся, с выпученными глазами, похожий на глубоководную рыбу. Будто и впрямь не хватало ему здесь кислорода и он был не в своей стихии, не в своей воде.

«Друг, но робкий, слабый», — жалел и прощал его Фотиев. Помнил его утреннее появление в вагончике, его восторг, признание в любви. Не мог понять природу поразившей Менько болезни, природу его робости, страха.

Те несколько месяцев, что пришлось проработать на оборонном авиационном заводе. В просторном цеху под лучистыми перекрестьями свода стояли перехватчики. Один зарождался, сшивался из продольных и поперечных шпангоутов, был не самолетом, а набором колец и линий, контуром, намеком на самолет. Другой обрастал обшивкой, в визге алюминия, в стуке заклепочных аппаратов, с жерлами черных сопел, еще пустой, без начинки — легкая оболочка машины. Третий, утяжеленный двигателями, топливными баками, приборами, в мерцании стекол, в шевелении рулей и закрылков был самолетом. И последний, сияющий, белый, как кусок драгоценного льда, ждал, когда раскроются ворота цеха, он вырвется на свободу, и небеса, океаны, кромки континентов возьмут его к себе, впишут в грозную борьбу, развернувшуюся в мировом пространстве.

Он, Фотиев, работал с конструкторами, стремясь организовать их труд в КБ, на заводе. Чувствовал, какое страшное давление испытывают они от тех, невидимых, заокеанских соперников, работающих на полигонах и в центрах, где пускались в небо новейшие боевые машины. Давление их умов, технологий, их организационного совершенства, научного и управленческого потенциала их фирм и концернов. Как мог, старался внести в борьбу свою посильную лепту. Теперь сюда, в эту комнату штаба, смотрели те инженеры, те белоснежные самолеты с ромбовидным мерцанием кабин.

— Пожалуйста, Язвин!.. Только, если можно, анализируйте... На инженерном уровне. Все «за» и «против»!

Язвин встал, крепкий, уверенный, ироничный, поблескивая на запястье наборной цепочкой, поглядывая по обыкновению в свой перстень «вороний глаз».

— Ну что анализировать, Лев Дмитриевич! Метод как метод. Без него мы работали. С ним тоже будем работать. Если нам прикажут, будем работать с методом. Если это нужно руководству, нужно станции, нужно району, будем жить по «Вектору». Держать нос по «Вектору»! — сострил он. — А Лазарева будем звать не Виктор Андреевич, а Вектор Андреевич!

— Ну, ладно, ладно, здесь не место остротам! — оборвал его Горностаев, но не резко, чуть усмехнувшись, одними глазами. И Язвин сел, не обидевшись, а весьма довольный собой.

«А этот ни друг, ни противник!» — следил за ним Фотиев, испытывая недоверие к его наборному браслету, к щегольскому перстню, к его легкомысленному остроумию.

Работал на металлургическом комбинате по договору, внедрял элементы управления, стремясь сочетать компьютер с традиционными планерками, штабами. Чавкали стальным кипятком с набрякшими раскаленными глазищами печи; ковши чугуна проливали на бетонный пол колючие вороха звезд, словно в ковшах раскрывали хвосты ослепительные павлины. Сталь бесцветная, как солнце. Составы с платформами тащили потускневшие, серые, но еще горячие, обдававшие жаром слитки. Прокатный стан, где алый подобный снаряду брусок летел сквозь цех, плющился, мялся, раскатывался, превращался в малиновый дребезжащий лист. Те металлурги, те слюдяные глазницы мартена заглядывали сюда, на экраны, смотрели, как судят «Вектор».

Начальник строительства Дронов выступал раздраженно, резко. Его раздражение было против всех собравшихся и против себя самого. Против котлованов, в которых вяло колыхались ковши экскаваторов, вываливали в «БелАЗы» грохочущие глыбы. Против реакторного зала, где медлили со сборкой реактора, подгоняли последние микроны на легированных литых оболочках. Против насосной станции, где тянули с пуском насосов, откладывали прокачку труб, уложенных, но не засыпанных грунтом.

— Мы все здесь тертые люди! Пускали не одну станцию! Знаем философию стройки. Стройка — жестокое дело. Она проваливала и не такие начинания. Академики именитые бежали со стройки, захватив с собой свои методы, не вписывались в ее философию. Что нам, к примеру, поделать, если ФРГ отказала нам в своих превосходных задвижках и мы будем колупаться недели, покуда добудем у Госснаба свои собственные, третьесортные! Или кладовщик напился, забросил ключ в сугроб, и пять бригад матерятся, не могут получить инструмент! Но я не об этом!.. Я не успел разобраться с «Вектором», не уверен, что это манна небесная, посланная нам, чтобы сдать второй блок к весне! Но мне нравится, что появилась хоть какая-то наглядность процесса. Я вижу, кто меня надул со своими обещаниями, а кто нет. И кому и куда мне сделать втык, чтобы я попал, а не промахнулся или, чего доброго, не уколол невиновного! Уже за это спасибо! Я не стал бы отметать от порога. Пусть еще поработает метод, проявит себя!

«Этот может быть другом, — думал о Дронове Фотиев. — Резок, крут, утомлен. Надо найти момент и подробней рассказать ему о «Векторе». Он поймет, станет союзником».

Трубный завод на Урале. Черные цилиндры, крутя боками, ревут, как стадо железных быков, валят валом. Попадают под струю плазмотрона. Синий раскаленный язык погружается в сталь, выплавляет в ней острый круглый надрез. И труба, остывая, несет в своих черных боках красные ожоги и метины. Готова уйти в далекие тундры, лечь в ледяные болота, пропустить сквозь себя огненное дыхание земли.

Говорил секретарь парткома Евлампиев, доброжелательно, убедительно:

— Вообще, товарищи, мы иногда напоминаем догматиков. Пристрастимся к чему-нибудь раз и навсегда и не можем никак отойти. Нам сейчас предлагают новшество. Мы видим — оно действует, оно задевает. Обещает принести пользу. Так давайте возьмем его на вооружение! Сейчас такое время, когда во всем требуется новизна. Почему бы нам не распространить «Вектор» не только на управленческий аппарат, но и на бригадиров, рабочих? Пусть бригады попробуют «Вектор»!

«Ну, конечно! — ликовал Фотиев. — Так и будет! Там, в бригадах, он еще совершеннее! Еще народнее!.. Как он все точно постиг, Евлампиев! Сразу! С лета!.. Это союзник, друг! Станем вместе работать!»

Та московская бойня, бетонная, окутанная розовым паром, словно в серое, закопченное небо вырываются бессчетные души убитых коров. Там, внутри, — чавканье, хруст. Текут на цепях по конвейеру висящие жаркие туши. Блеск глаз, вывороченные языки, взмахи ножей, черные струи крови, алые сжимающие сталь кулаки. На белый кафель валятся горы кишок. Огромные, как булыжники, сердца. Треск сдираемых шкур. Пилы — по хребтам и по ребрам. В центре Москвы — непрерывное убийство. Город возносит свои храмы, библиотеки, музеи на коровьей крови.

Говорил Горностаев:

— Если так можно выразиться, я являюсь «крестным отцом» этого управленческого метода. Я первый познакомился с Николаем Савельеви-

чем Фотиевым, дал «зеленую улицу» «Вектору». И теперь вижу: «Вектор» будет полезен. Уже полезен.

«Вот настоящий друг!.. Почему же я ошибался? Не верил ему... Он ведь принял меня и поддержал. И сейчас, и сейчас столь блестяще!»

Последним говорил секретарь райкома Костров:

— Я не управленец, и предлагаемый метод мне мало понятен. И это, разумеется, плохо, что я его не успел понять. Плохо, что мы, хозяйственники и партийные работники, так мало понимаем в науке. Страной надо управлять по-новому... Вы, управленческий персонал, на своих оперативках спорите до хрипоты, доводите себя до инфарктов, а рядом на стройке простаивают бригады, рабочие спокойно, неторопливо перекладывают инструмент с места на место. Там тишь, благодать. Как замкнуть ваши штабы на реальное строительство? Как нам, руководителям, сомкнуться с народом? Вот какой ответ мы ждем от научного управления... Я предлагаю принять к внедрению «Вектор»!

«Конечно, прав во всем! Он соратник, друг! Он честно признался в незнании. Я объясню, научу. Лишь бы слушал! А он хочет слушать! Партия хочет слушать, хочет учиться!.. А ведь «Вектор»-то мой победил!»

Так думал Фотиев, понимая, что случилось долгожданное чудо. Его «Вектор» запустился, работает. Его не отключили. Не вырвали из него зажигание. Не перекрыли подачу топлива. А напротив, он начал набирать обороты.

И все, кто сейчас говорил, кто был «за» и «против», все они были в «Векторе», его частями, его элементами.

И Фотиев ликовал. И ему казалось: вместе с ним ликует вся огромная, работающая между трех океанов индустрия, погрузившая свой железный сосущий корень в земные угрюмые толщи, а свою летучую прозрачную крону — в звездный дышащий космос.

Все расходились. Помещение штаба пустело. Экраны, испещренные цветными пометками, смотрели вслед уходящим.

Фотиев прощался со всеми. Был окрылен, вдохновлен. Когда его плотная, в тесном пальто фигура мелькнула за окнами, Горностаев обратился к начальнику строительства Дронову:

— Ну вот и прекрасно, не правда ли? Спектакль вполне удался. Костров доволен. Мы показали ему этого Фотиева. Райком хотя бы на время оставит нас в покое...

Глава девятая

Рабочий бригады монтажников Михаил Вагапов трогал шлифовальной машиной корпус реактора, огромный литой стакан из белой нержавеющей стали. Абразивный круг начинал звенеть, высекал из стали рыжие космы огня. Вагапов удерживал в кулаках тяжелую вырывающуюся комету, прижимал ее к зеркальной поверхности. А когда отпускал и комета улетала и гасла, под руками открывалось драгоценное льдистое мерцание безупречно отшлифованной стали. В реакторе туманился, отражался весь просторный реакторный зал. Недвижные желтоватые прожекторы. Голубоватые молниеносные вспышки. Гулкий ярко-красный полярный кран, скользящий под куполом. Светлые тени пробегавших, одетых в белые робы монтажников. Вагапов, не оглядываясь, видел в выпуклом зеркале весь зал с высокими, как горы льда, элементами реактора, разрозненного, еще не смонтированного, не опущенного в черную глубокую шахту, где в бетонной и металлической тьме ухало и звенело.

Вагапов зачищал отмеченную мелом поверхность, на которой, словно темная пудра, выступала окись — след неосторожной транспортировки по железной дороге. Устранял эту легкую копоть, превращал ее в чистый стеклянный блеск. Работал непрерывно и сильно, но не мог согреться. Калорифер не действовал. Из круглого люка в стене дул плотный ровный сквозняк. Второй калорифер в другой половине зала согревал наладчиков, тянувших кабель к щитам, и его тепла не хватало на всех. Вагапов работал мускулами, сжимал шлифмашинку и не мог согреться.

Это ощущение холода, тяжелого, вырывавшегося из рук инструмента, гулкая вибрация, отдававшая в плечо слабой ноющей болью, вид близкого огня и металла порождали в нем неясное тревожное сходство. Видения, которые он не пускал, отводил назад, за спину, в прошлое. Но они из-за спины, из прошлого, возвращались. В туманной стальной поверхности начинала проступать зеленая бегущая по ущелью река, барашки на камнях переката, несжатая, поломанная гусеницами нива, зазубренные обломки глинобитной стены и лицо новобранца Еремина, худое и серое, под стать обветренной глине. Это видение выступало. Но Вагапов стирал его жужжащим огнем абразива, отстранял напряжением мышц, заслонялся иными мыслями.

Ему хотелось думать о красоте и совершенстве изделия, к которому он прикасался. Он знал: реактор был отлит и выточен в Ленинграде, привезен на открытой платформе, укутанный в белые холсты. Он, Михаил, однажды был в Ленинграде. Запомнил дворцы и церкви, золоченые купола и шпили, статуи и гранитные набережные. Весь город был наполнен бесценными твореннями рук человеческих, оставшихся от прошлых времен. Теперь в Ленинграде не строили дворцов и церквей, а создавали реакторы. Но стальное диво было так же красиво, собрало в себя столько же умения, мастерства, людского труда и терпения, как и те золоченые башни, сияющие купола, отраженные в серой реке. И мысль, что его руки тоже участвуют в создании реактора, — эта мысль волновала его. Он думал о заработках, премиях, о поломанном калорифере, о спорах с кладовщицей, но одновременно и о драгоценном изделии, к которому его допустили. О других неведомых людях, создавших сияющее льдистое чудо.

Приблизил к реактору лицо, увидел свое отражение. Его дыхание затуманило сталь, а когда облачко тумана рассеялось, опять в глубине проступила зеленая река с перекатом, белая, измятая танками пшеница, голова новобранца Еремина, прижатая к глинобитной стене.

Река, зеленая, быстрая, бежала по ущелью в мелких проблесках солнца. Сворачивала за сыпучий откос, и там, у поворота, словно застывала на белых гребешках переката. Кишлак, нежилой, с проломами в стенах, с серыми глыбами разрушенных саманных домов, хранил на себе следы огня, спалившего солому и ветошь, деревянные надстройки и двери. На глиняных выступах чернела копоть. Сквозь дыру в дувале виднелось близкое пшеничное поле, седое, бесцветное, с неубранными обвисшими колосьями, среди которых стояли зеленые фургоны военных машин, крытые брезентом грузовики, и солдаты-афганцы набрасывали на зарядные ящики негнущийся полог.

Вперед по ущелью уходила каменистая, жаркая на солнце дорога, и там, где она достигала моста, темнела и бугрилась осыпь, сорванная взрывом с кручи, завалившая подходы к мосту. Виднелась подорванная саперная машина. За выступом к дороге выходило другое ущелье, и в нем редко и вяло ухало. Звук, отраженный от склонов, достигал кишлака ослабленный, утративший твердость, с бархатными рокотаниями. Иногда сквозь рокоты тоньше и резче звучали пулеметные очереди.

На перекрестке ущелий шел бой. Душманы фугасом взорвали уступ горы, остановив продвижение колонны. Заминировали дорогу, не пуская на минное поле саперов. Обстреливали их из пулеметов — из темных высоких пещер, скрывавших пулеметные вспышки. Саперная машина с ножом и скрепером напоролась на фугас, дернулась бледным взрывом и, расколотая, сползла на обочину. Сейчас к перекрестку выдвинулись танки, ушли за уступ и, невидимые, прямой наводкой вели огонь по пещерам, стараясь подавить пулеметы. Пушечные выстрелы танков, работу душманских пулеметов слышали солдаты, прижавшись к глинобитным дувалам, укрываясь в короткую жидкую тень.

Михаил Вагапов, сержант мотострелковой роты, сопровождавшей грузовую колонну афганцев, смотрел узкими, засыпанными пылью глазами в пролом стены, где неубранная осыпалась пшеница и тонкая вереница саперов осторожно пригибалась, боясь попасть под огонь. Продвигалась к мосту, застывала, разрывалась. Передние, бывалые, побывавшие под обстрелом, начинали двигаться, а замыкающие, новобранцы, робея, продолжали лежать. Потом и они вставали, догоняли «стариков» и плотной горсткой шли на минное поле.

— Да ударить самолетами по норам! Чтоб клочки полетели! Не руками же их выгребать оттуда! — Взводный, лейтенант, взвинченный, неутомимый, не измученный солнцем и пылью, поднимался из-за дувала, провожая саперов, остро, жадно смотрел им вслед, ловил звуки залпов, нетерпеливо поправлял «лифчик» с боекомплектом, оглаживал короткий, ловко висящий на боку автомат.— Управляемые ракеты им в пасть, и пушечкой поработать как следует! А то топчемся третий час, только людей кладем!

Все это он говорил никому. Офицеров поблизости не было. Взвод, утомленный, лежал в тени. Никто из солдат не откликнулся. Взводного недолюбливали. Он недавно принял командование, сменил на должности прежнего, умного, умелого, храброго любимца солдат, отслужившего срок, вернувшегося в Союз. Этот новый казался слишком шумным. Слишком резко и парадно командовал. Еще ни разу не водил солдат в бой. Старослужащие, среди них и Вагапов, с недоверием поглядывали на лейтенанта, на его щегольские усики, осуждали в своем кругу его вечную взвинченность, ненужную, не дававшую им покоя активность.

— Сабиров, ну что ты все пьешь да пьешь? Огурцов, что ли, соленых объелся? — оборвал лейтенант пившего из фляги солдата. И тот, не допив, завинтил флягу, отвернулся к стене, почти прижался к ней своим смуглым азиатским лицом.

Вагапов смотрел, как сидящий рядом Еремин, рядовой, новобранец, очень худой и бледный, не успевший посмуглеть, прокалиться под горным солнцем, подбирал на земле цветные осколки и крошки глины, складывал из них узор. На стене саманного дома был нарисован павлин. Взрыв мины отломал кусок стены, осыпал павлиний хвост. Бесхвостая птица, исцарапанная осколками, парила над их головами. Еремин подбирал с земли цветные крупицы, бережно складывал из них павлинье перо.

— Вот, возьми-ка! Вот это, кажись, сюда! — Вагапов протянул ему маленький красный обломок. Еремин взял осторожно. Помедлил, уложил рядом с зеленым.

Вагапов смотрел на худое с тонкими бровями лицо Еремина, на глиняное перо, возникавшее у него под руками. На далекую подорванную машину и вереницу саперов, прижатых к земле пулеметом. Испытал больное, похожее на нежность сострадание к этому немощному новобранцу, впервые попавшему под обстрел. Еремин, горожанин, слабак, задыхался на подъемах, неловко взбирался на броню, не успевал со всеми помыться, поесть, не умел ловко и плотно пристегнуть патронташ, который и теперь съехал набок, топорщился автоматными рожками.

Еремин, ленинградец, учился на реставратора. Выкладывал в какой-то беседке наборные цветные полы. Сейчас в разрушенном кишлаке руки его, черные от железа, ружейной смазки и копоти, бережно и привычно выискивали на земле цветные осколки, восстанавливали растерзанное изображение птицы.

Вагапов испытывал к нему сострадание. Старался представить город, в котором жил Еремин, его отца, мать, красивое городское убранство их квартиры, беседку с узорным полом. И тут же — свою деревню, избу, мать и младшего брата, верхушки леса за полем, пруд с гусями и утками. Здесь, в разоренном горном селении, с остывшими очагами, пустыми стойлами, пахло так же, как в родной деревне,— дымом, навозом, теплой сухой соломой.

— Посмотрел бы я, как ты дома живешь, Еремин. Вот приеду к тебе в Ленинград, примешь? — спросил он Еремина, отвлекая его и себя в другое, для обоих желанное время.

— Приезжай, конечно, приму! — ответил Еремин, благодарный ему. Побывал на мгновение в недоступном, далеком, любимом городе. Принимал у себя в гостях Вагапова.

— Ну вот, отстрелялся один! Толку-то что? Никакого! — Взводный смотрел против солнца на перекресток ущелий, где появился танк. Выполз из-за склона кормой, развернулся и стал приближаться, качая пушкой, подымая гусеницами солнечную пыль.— Все равно пулеметы работают!

Длинная очередь простучала по ущелью, и саперы, поднявшиеся было навстречу танку, снова слились с дорогой.

Танк приблизился, залязгал, зачавкал, проскрипел тяжело вдоль дувала, натолкав в проломы запах горячей пыли и чадной солярки.

Его броня была серой от пыли, с заляпанным неразличимым башенным номером. Танк встал, заглушив мотор, и из люка вылез закопченный, очумелый танкист. Стянул шлем, закрутил спиной и плечами, словно распихивал в стороны тесноту брони, стряхивал оглушающие грохоты взрывов.

Солдаты привстали, потянулись к танку. Но взводный прикрикнул на них:

— Оставаться на месте! — И легким скоком, одолев дувал, сам пошел к танку, где танкист размахивал руками, указывал замполиту роты на перекресток, на белесые, розоватые скалы. Внедрял в них ладони — имитировал удары пушки прямой наводкой. Замполит и подошедший взводный слушали танкиста. К запыленной машине подъехал бензозаправщик, начал качать горючее. Солдаты подтаскивали ящики со снарядами, пополняли боекомплект. Готовили танк к бою, туда, к перекрестку, где продолжало стрелять и ухать. Сражался второй невидимый танк.

— Надо бы сверху, с вершины взять! — Взводный вернулся. Оглядывался на танк, опять обращаясь ко всем и никому: — «Вэдэвэшники» зашли бы с вершины и взяли пещеры. А то снарядами лупим, а они пулеметы вглубь откатывают, пережидают спокойно. Чуть танк умолк, опять косят. Надо «вэдэвэшников» вызывать!

Ему опять никто не ответил. Светилась на глине нарисованная разноцветная птица, уронив на землю перо. Еремин разглаживал его худыми грязными пальцами.

В свисте лопастей снижался, зависал вертолет. Наполнял ущелье сорным горячим вихрем. Гнал над дувалами, над пшеничным полем, над рекой острую душную пыль, хлестнуло по лицам солдат, залепило глаза и губы. Вертолет приземлил пятнистый фюзеляж. Стоял, крутя винты, блестел кабиной. На обшивке среди зеленых и серых клякс виднелся номер «76».

— За ранеными прилетел,— сказал Сабиров.— На этом, «семьдесят шестом», хороший летчик. Я помню, он нам на гору, на пост воду и патроны таскал. Сесть негде, он одним колесом зацепился и держался над пропастью, пока мы воду сгружали.

Вертолет гудел, мерцал кабиной, подвесками, барабанами, в которых торчали клювы снарядов. А мимо стены из соседнего дома, где размещался медпункт, несли к вертолету раненых — трех саперов и водителя головной афганской машины. Еремин с испугом следил за ними. В проем было видно, как их проносили. Над одними носилками держали капельницу. Стеклянный флакон тускло блеснул. На брезенте носилок мелькнуло белое, без единой кровинки лицо.

Их поднесли к вертолету, проталкивали в фюзеляж под работающими винтами. Дверь в борту затворилась. Вертолет громогласно, со свистом взмыл. Снова прогнал над солдатами сорную бурю. Затихая, ушел над рекой. Было видно, как по воде, раздуваемая винтами, мчится за ним рябь солнца.

Подошел замполит, высокий, прямой, в сетчатой маскировочной куртке, с белесыми, наполненными пылью усами.

— Что, гвардейцы, испеклись, как картофелины? — Он сказал это насмешливо-бодро, поддразнивая, поддерживая солдат, а сам внимательно, зорко пробегал глазами по лицам мотострелков, читал на них усталость, тревогу. Солдаты любили замполита — его грубовато-насмешливые, никогда не оскорбительные шуточки, его постоянное присутствие в роте: на отдыхе, на марше, в бою.

— Ничего, сейчас их танки подавят! — сказал он вслед уходящей, лязгающей и скрипящей машине.— Танкист говорит, еще две точки остались. Сейчас их закупорят. Разминируем путь и пойдем. Потащим колонну — и через сутки обратно в часть. Баньку устроим, кино покрутим. Какую-нибудь картину про любовь. Правда, Вагапов?

— Так точно, товарищ старший лейтенант! — Вагапов через силу, откликаясь на невысказанную просьбу замполита, взбодрился, встряхнулся, одернул на себе пыльную, скомканную под «лифчиком» рубаху.— Сначала баньку, а потом про любовь!

И от этой мелочи, от пустяковой шуточки все ободрились, заулыбались. На измученном лице Еремина тоже промелькнула улыбка.

За низким дувалом, где прежде была хлебная нива и тянулся пересохший арык, собрались шоферы-афганцы. Расстелили платки на остатках колосьев. Выкладывали плоский хлеб, горстки кишмиша. Ставили фляги с водой. Поворачивали к мотострелкам смуглые, синеватые от проросшей щетины лица. Словно хотели пригласить их к трапезе, но не решались.

На дороге заурчал мотор. «Бэтээр» выруливал, объезжая грузовики, подставляя солнцу тусклые ромбы брони. На броне, опустив ноги в люки, держась за ствол пулемета, сидели двое. Командир роты, черноусый длиннорукий капитан, чей планшет, замотанный синей изоляцией, плоская расколотая рация, автомат со спаренными рожками, долгоносое, с провалившимися щеками лицо были хорошо известны солдатам. И второй, незнакомый. Пожилой, с седыми висками, с дряблыми щеками, с морщинами у глаз и у губ. Этот второй был одет в маскировку, погон его не было видно. Но в том, как он сидел, властно, вполоборота обращался к ротному, и в том, как сидел рядом с ним ротный, в неуловимой позе подчинения, угадывался в пожилом человеке начальник. Солдаты разглядывали его, прислушивались к рокоту «бэтээра».

— Лейтенант! — крикнул ротный. — Давай двух бойцов в прикрытие! И сам подсаживайся! Сбегаем на передовую!.. Гвардейцы, не унывать! — подмигнул он солдатам. — Скоро пойдем вперед!.. Товарищ полковник, — он обернулся к сидевшему на броне пожилому, — прикажите продолжить движение!

Эти бравые нарочитые интонации и тревожные усталые глаза, черные обвислые усы, наполненные белой пылью, — все говорило солдатам: дело неважно. Ротный их просит взбодриться перед лицом прибывшего начальника, а полковника просит верить, что солдаты в хорошей форме, рады появлению его, командира роты. Ценят прибытие на передовую, в зону стрельбы и опасности высокого начальства.

— Вперед! — негромко сказал полковник.

Лейтенант оглядел взвод. Быстро ткнул пальцем в Еремина и Вагапова:

— Ты! И ты!.. Оба за мной! — Цепко, ловко вскочил на броню. И оба, Вагапов и Еремин, один привычным упругим броском, другой неуклюже, цепляясь за скобу автоматом, сели на корму «бэтээра». Машина пошла, и Вагапов видел, как уменьшается, исчезает в пыли намалеванный разноцветный павлин.

Выехали из селения. Катили по узкой белой дороге. И Вагапову после тесноты кишлака, многолюдья, скопища машин и моторов ущелье казалось просторным. Откосы гор свободно сбегали к реке. Вершины, волнуясь, уходили одна за другой, окруженные синью. Но этот простор и открытость не радовали, а пугали. Все они на броне, открытые солнцу, вершинам, невидимым, за ними следящим глазам, были беззащитны перед чужим прицелом и выстрелом. Звуки пулеметов и пушек приближались, прокатывались по горам, будто кручи передавали их друг другу на своих огромных ладонях через реку много раз, туда и обратно.

Миновали саперов. Те лежали, сидели, схоронясь за малые бугорки и выступы. Уложили рядом с собой свои щупы и миноискатели. Потеснились, пропуская «бэтээр». И Вагапов видел, как один из них, маленький узкоглазый казах, отпрянул от колеса, заслонился от пыли и камней, брызнувших из-под толстого ската.

— Прикажете дальше, товарищ полковник? — спросил ротный, не уверенный в том, что следует двигаться дальше, готовый в любой момент скомандовать вниз водителю — повернуть «бетээр» обратно.

Полковник колебался. Было видно, что ему не хочется ехать. Не хочется поворачивать туда, за уступ ущелья, где, невидимые, близкие, стояли танки и работали пулеметы противника. Но он преодолевал нежелание. Он и ехал на передовую, чтобы преодолеть нежелание. Показать себе и другим, что он, доживший до седых волос, прослуживший долгую безупречную службу в нестреляющих тыловых гарнизонах, не страшится стрельбы. Что он, боевой командир, командуя другими, молодыми, годными ему в сыновья, посылая их на мины и пули, — он и сам не боится этих мин и пуль, вправе посылать их в бой. Все это чувствовал в нем Вагапов. Не умел себе объяснить и чувствовал. В этом близком к пониманию чувстве была неловкость за пожилого, годившегося ему в отцы человека, который выставил на броню его, Вагапова, рискует им, чтобы самому укрепиться, набраться силы и твердости.

— Вперед! — скомандовал полковник сурово. — Надо посмотреть, почему эти коробки замешкались!

Они приблизились к подорванной саперной машине, завалившейся набок. Там, где она косо сидела с проломленным днищем, начиналось минное поле.

— Держи по танковой колее! — приказал ротный водителю. — Вперед не суйся! Налево!

«Бэтээр» колыхнулся, отвернул от машины, вцепился в ребристый, намятый танками след. Двинулся на перекресток ущелий. Вагапов успел разглядеть обугленные, в легких дымках голые обода машины. Дохнуло жженой резиной, окисленной сталью. Сочно, ярко сверкнула река. Мелькнула каменная кладка моста. Мост не был взорван, но, должно быть, в его старых, грубо отесанных камнях, пропускавших по себе верблюжьи караваны, вереницы горных легконогих лошадей, путников, крестьян, богомольцев, — в черной добротной кладке таился фугас. На этот фугас стремились притаившиеся за бугорками саперы. К этому фугасу не дошла, раскололась подорванная машина. У этого моста были иссечены и побиты солдаты, которых унес вертолет. Обо всем этом молниеносно подумал Вагапов, удерживаясь за скобу, втягиваясь вместе с «бэтээром» в другую, выходившую на перекресток расщелину.

Узкое извилистое ущелье уходило вдаль. Голое сухое русло ручья было завалено камнями. Черная, с выступами, с пятнистым гранитом гора господствовала над ущельем. В стороне возвышалась светлая, белесая, похожая на огромную груду муки другая гора. Дальше чуть зеленела покрытая робкой растительностью третья. И за ней, удаляясь, становясь все более синими, тянулись горы, превращались в хребет с ледниковой поднебесной кромкой, прозрачной и недвижной, как облако.

В русле ручья под углом друг к другу стояли два танка. Вели огонь по черной горе. У ближнего танка дернулась пушка. Просверкал у дула огонь. Танк осел на гусеницах, и горячий грохот толкнул транспортер, наполнил ущелье плотной материей звука. У темной горы, на высоком выступе рванул взрыв, красное короткое пламя, длинные брызги осколков. Дым округло и медленно стал оседать по склону. И в ответ, прорываясь сквозь эхо, простучал пулемет.

— Пулеметчик! — наклонился в «бэтээр» ротный. — По взрыву! Правее!.. Да вон, по кромке уступа!.. Короткими!.. Огонь!

Башенный пулемет покачал раструбом, словно обнюхал гору, и вдруг прогрохотал раз, другой. Послал на гору длинную, как красная проволока, трассу. И все сидящие на броне отшатнулись от плотно трепещущего огня. А ствол продолжал подвигаться, выцеливать, щупать черный гранит.

— По вспышке, если увидишь!.. Короткими... — повторил приказание полковник, откачнувшись от пулемета. Тревожно, быстро оглядел соседей, выпрямился в люке. — Стой! Дальше не надо! — остановил он водителя. «Бэтээр» уперся скатами в ноздреватый, похожий на метеорит камень. Редко стрелял вслед за ухающими танками. С горы не часто из невидимых пещер и промоин стучали два пулемета — по танкам, по перекрестку с мостом, и одна короткая очередь прошла вблизи «бэтээра», вскипятила песок и щебень в пересохшем русле ручья.

Вагапов чувствовал и понимал всех, сидящих на ромбах брони. Полковник, попавший в первый раз под обстрел, мучился, нервничал, одолевал свою слабость. Улыбался, поводил плечами, старался выглядеть бесстрашным. Неестественно подмигивал солдатам:

— Ну как, бойцы, настроение? Ничего! Держись!

Обращался к ротному с видом умудренного, понимающего обстановку командира:

— Танки с полчасика поработают, и начнем потихоньку продергивать колонну!

Успевал подшутить над взводным, повернувшимся спиной к горе, презиравшим стреляющие пулеметные точки:

— У тебя, лейтенант, должно быть, глаза на затылке!

Командир взвода, тоже впервые переживавший обстрел, считал необходимым перед старшим командиром и подчиненными выказывать презре-

ние к опасности. Вытянул ноги из люка, положил на корму автомат, зашнуровывал развязавшийся шнурок на ботинке. Вагапов понимал его молодую отважную игру. Смотрел на его шнурок, сделанный взамен порвавшегося из желтой хлорвиниловой изоляции. И прощал его.

— У меня, товарищ полковник, как у камбалы, глаза на одной стороне! — Взводный слишком свободно и дерзко ответил на шутку полковника, опасность сближала их и равняла.

Ротный, умудренный и опытный, недовольный всей это ненужной затеей, желал нырнуть в открытый люк, загнать под броню солдат. Но оставался снаружи, сжимал глаза при каждом ударе пушки. Старался разглядеть на склоне проблеск чужого пулемета. Наклонялся в люк, отдавая приказы стрелку.

Еремин откровенно боялся. Бледный, вздрагивающий при каждом выстреле, поджимал под себя ноги. Вцепившись в автомат, нагибался, прижимался к броне, укрывался за башней. Хотел стать меньше. Хотел убежать от этих приседающих, вздрагивающих танков, копотных взрывов. Исчезнуть из этих бескрайних стреляющих гор.

Сам же Вагапов, завершавший второй год службы, познавший обстрелы, взрывы мин и гранат, раны и гибель товарищей, научился во время опасности, не переставая бояться, выносить свой страх за пределы себя самого. Усилием воли помещал его в другое, близкое, соседнее «я», страшащееся, готовое упасть, убежать. А сам, освобожденный на время от страха, мог действовать в бою, вести прицельный огонь, прикрывать отступление, шагать по горной тропе с замурованными вживленными минами. Он и теперь словно раздвоился: один, испуганный, со стиснутым, ожидающим пулю сердцем, был где-то рядом, тут же, на голой броне. А другой, спокойный, всевидящий, сжимал автомат, терпеливо ожидал приказаний, готовый подчиниться команде.

— Давай сюда! Здесь удобнее! — Он подвинулся, уступая место Еремину, касаясь мимолетно его плеча, поправляя сбившийся «лифчик». Еремин, откликаясь на это участие, прижался не к броне, а к Вагапову. В нем, в Вагапове, искал и находил спасение.

— Хорош, — сказал полковник, — возвращаемся!

Он полагал, что выполнил обе задачи. Узнал обстановку на месте, возможность проведения колонны. И прошел боевое крещение, стал настоящим боевым командиром, под стать своим подчиненным. Это чувство переполнило его, изменило, омолодило. Оживило румянцем лицо, расправило складки у рта. Его движения, жесты стали свободны, уверенны. Он больше не вздрагивал при выстрелах пушек, своих и чужих пулеметов. Был весел, возбужден. Знал, что справился с труднейшим делом, — заслужил уважение этих молодых офицеров, этих юных солдат.

— Сейчас начнем проводить, — сказал он ротному. — Пусть танки работают, а саперов двинем на мост!.. Что, гвардейцы, прорвемся? — Он повернул к солдатам властно-веселое лицо. Не дожидаясь ответа, скомандовал в люк: — Разворачивайся!.. Обратно!.. Вперед!

Транспортер обогнул черный, похожий на метеорит камень. Резко разминулся с двумя запыленными танками. Оставил сзади два взрыва, висящие над скалами, далекую в синеве ледяную кромку. И пошел к перекрестку. Взводный, не оглядываясь, все зашнуровывал свой хлорвиниловый желтый шнурок.

Миновали мост с подбитой, курящейся гарью машиной. Лежащих за бугорками саперов, которым еще не был отдан приказ идти на мост, и они слушали перекаты близкой пальбы, очереди опасных для них пулеметов. И снова маленький узкоглазый казах потеснился, пропустил «бэтээр», загораживаясь локтем от пыли.

Они вернулись в кишлак, остановились у развалин дувала. Вагапов увидел возникающее из пыльного облака изображение павлина.

Спрыгнули на землю. Шоферы-афганцы за соседней стенкой заканчивали трапезу. Убирали остатки хлеба, фляги с водой, садились тесно в кружок, довольные затянувшейся передышкой, возможностью побыть всем вместе за тихой беседой, а не трястись по камням, ожидая взрыва под колесами, пулю сквозь дверцу машины.

— Ну вот и смотались! — сказал Вагапов Еремину. — Давай, реставрируй!

Михаил Вагапов смотрел на зеркальную поверхность реактора. Видел, как тает в нем бледное лицо ленинградца Еремина, разноцветный, намалеванный на глине павлин.

Работал, касаясь нержавеющего зеркала жужжащей машинкой. Снимал легчайший темный налет, а вместе с ним невесомые оболочки, в которых исчезали видения — отражения его собственных мыслей.

Он не мог согреться в работе. Иногда принимался кашлять. Откладывал шлифмашинку, пока дыхание не восстанавливалось, не исчезало жжение в горле. Опять запускал инструмент.

Элемент реактора, над которым работал, был понятен ему. Он знал, как этот гладкий стальной цилиндр войдет в сочетание с металлическим белым конусом, с оболочкой, с верхним завершающим блоком. Собранный воедино реактор будет опущен в бетонное чрево шахты. В него загрузят стержни урана. В накаленный урановый тигель хлынет по трубам вода, омывая могучую угрюмую топку. Вся машина, созданная из электроники, стали, из подземной расплавленной магмы, раскаленного пара и газа, из слепой непомерной мощи, почерпнутой из центра земли, — машина реактора, рукотворная, хитроумная, будет работать здесь, под куполом зала. И далекие города и заводы станут жадно сосать стальное раскаленное вымя. Пить и глотать электричество. И его, Вагапова, дело, рокот шлифовальной машинки отзовутся взлетом истребителей, ходом кораблей в океане, огнями в новых домах.

Он чувствовал свое место среди людей, сотворивших реактор. Чувствовал его красоту, совершенство. И одновременно — мысль об урановой мощи, о незримых ядовитых потоках, о возможном взрыве и пламени, о слепящем облаке газа, в котором растает сталь, электроника и его, Вагапова, жизнь. Эта мысль угнетала его. Мысль, что он, малый, слабый, строит машину, способную опалить и разрушить весь окрестный, засыпанный снегом мир, где деревни, проселки, стога, где близкий соседний город, в котором жена Елена, его нерожденный сын. Эта мысль казалась ужасной, до конца не додуманной. Он думал о брате Сергее, пережившем Чернобыль. Искал его среди вспышек и лязга. Находил далеко в другом конце зала, где работали сварщики, и брат, закрывшись маской, вонзал в трубопровод звезду электрода. Он чувствовал к брату нежность и боль, как к тому ленинградцу Еремину. Непонимание — как жить в этом мире, где строят реакторы, пишут умные книги, взрывают в горах мосты, грузят в вертолет раненых, и Лена, жена, ее большой дышащий живот — как жить в этом мире?

Снова работал. Снова смотрел в металлическое туманное зеркало.

Горный, накаленный солнцем кишлак. Запыленная корма «бэтээра». Павлинье перо, собранное из расколотой глины. Сочная зелень реки. Полковник с командиром роты склонились над картой, прижатой к броне. Шоферы-афганцы за соседним дувалом окончили трапезу, складывали платки и накидки. И длинный, свистящий, нависающий звук, падающий из-за ближней горы. И там, куда он упал, на берег реки, в горячую гальку и щебень, — чмокающий, хрустящий удар, дымный упругий взрыв, короткий бледный огонь и курчавое облако.

Вторая мина вслед за первой, просвистев по дуге, ударила ближе, в хлебное поле, пухло и мягко. Рванула огнем белизну пшеницы, потянула над ней черный косматый дым.

Третья мина прочертила, углубила неисчезнувшую свистящую из-за горы траекторию и шлепнулась за дувал в скопление афганцев. И звук был, как падение камня в чмокающую мокрую глину, и короткий треснувший взрыв. Вагапов рухнул на землю, пропустил над собой вихрь осколков, ожидая четвертого удара, сюда, в стену, где лежали мотострелки. Но четвертого не было. А вместо него из-за дувала раздался истошный многоголосый вопль. Вагапов выглянул: там, где только что лежали платки, остатки изюма и хлеба и сидели кружком шоферы, — там лежали четыре тела. Два из них плашмя, а два шевелились и дергались. Другие афганцы с криком разбегались в разные стороны, продолжая взрывную волну, спотыкались, падали, ползли на четвереньках, снова бежали вслe-

пую, натыкаясь на глинобитные стены. Сквозь пролом в дувале выбежал шофер, держась за лицо руками, и сквозь скрюченные пальцы чернел орущий с выбитыми зубами рот, торчали кровавые ошметки щек, вращались огромные, белые от ужаса и боли глаза.

Вопли и стоны разлетелись в стороны, по кишлаку, звучали отовсюду. Один из водителей продолжал бежать по хлебному полю к реке, удаляясь, тонко и жалобно вскрикивая.

— Рассредоточьтесь!.. Рассредоточьтесь!.. Живо! — Ротный разгонял мотострелков, махал над ними руками. Солдаты послушно, споро, быстро покинули тень. Рассыпались кто куда, подальше от груженых машин, от брезента, под которым таились снаряды. — Санинструктор!.. Сабиров!.. Ну, возьми ты его! — кивнул он на афганца, уткнувшегося в стену окровавленной черной головой.

Сабиров был уже рядом. Что-то делал с водителем. Отдирал от его лица скрюченные пальцы. Доставал бинт, бинтовал. Вагапов издали, распластавшись на солнцепеке, видел, как чернеет макушка афганца, белеет бинт, светится на стене разноцветный павлин.

Полковник и ротный, прижавшись к транспортеру, выглядывали на высокий, освещенный солнцем конус горы. Оттуда просвистели, упали взрывы. Оттуда, из-за лысой вершины, навесом прилетели мины. Где-то там, невидимый, стоял миномет.

— Наверное, за кромкой, товарищ полковник!.. Или чуть дальше, на соседней горе! — Ротный запрокидывал худое лицо, в катышках пыли, скопившейся у глаз и у рта. — Пристреляли ущелье, вот и попадание!

— Да они всех нас перебьют! — Полковник, вжав голову в плечи, смотрел на вершину. — Закидают! В снаряды жахнут, такое начнется!.. Такой хлопок будет, что одни угольки останутся!

— Надо или назад отходить, или прорываться, товарищ полковник, — советовал ротный, косясь на близкие зачехленные грузовики, на рассыпанных, притаившихся у дувалов солдат. На Вагапова, присевшего рядом на солнцепеке, не решавшегося войти в прямоугольную тень транспортера. — Надо прорываться!

— Приказываю! — Полковник оправился от минутной растерянности, уже оценил обстановку, снова был боевой командир, действовал твердо и точно. — Рассредоточьте колонну!.. Направьте взвод на ликвидацию минометной позиции!.. Сбить позицию и перекрыть прохождение сверху!

— Я думаю, они уже сменили позицию, товарищ полковник, — возразил неуверенно ротный. — Очень быстро меняют позицию. Место за горой неизвестное, взвод станет плутать. Стоит ли его посылать?

— Выполняйте, — повторил полковник, не строго, но резко и бодро, стремясь передать утомленному растерянному ротному свою командирскую твердость. Ибо он понимал обстановку. Был знающий боевой командир, только что дважды обстрелянный в этих жарких горах. — Выполняйте!

— Есть выполнять!

Ротный шагнул к лейтенанту, издали, от стены наблюдавшему их разговор. Тот поднялся навстречу, упругий, гибкий, понимая все с полуслова. Заглянул мельком в карту, поддерживая на боку автомат. Все его жилы и мускулы напряглись от силы и ловкости. Он щурился на ближнюю гору, промерял дугу траектории, от места падения мин обратно к лысой вершине. И за нее, к незримой площадке, где стоял миномет и люди в долгополых одеждах разматывали из пыльных материй глазированные хвостатые мины.

— Взвод! Ко мне!

Выбрал десяток солдат. Построил в цепь, оглядел. Повел скорым шуршащим шагом вдоль знойного склона, огибая гору, в распадок. И Вагапов, оглядываясь, мимо близкого, дышащего, серого под панамой лица Еремина, видел: колонна распадается, грузовики осторожно выруливают, въезжают во дворы, на белое хлебное поле, покидают дорогу. По кишлаку ведут перевязанных, с забинтованными головами. И мерно, глухо, ослабленная гранитным уступом, ухает танковая пушка.

Они шли плотной гибкой цепочкой — вещмешки, подсумки, фляги с водой, автоматы. Огибали гору, ожидая увидеть обратный пологий склон, спускавшихся, покидавших позицию минометчиков. И сразу, отрезая отступление, бить из многих стволов, истребляя душманский расчет.

Но пологого склона не было. Сразу за белесой горой открывалась другая, выраставшая из нее, бледно-розовая, охваченная тусклым розовым жаром. Изменив маршрут, они огибали ее, трассируя склон, хрустящий, запекшийся, без единой былинки, словно шли по остывающей лаве. Задыхались, потные, горячие, торопливые. Готовились к бою, к падению на колючую землю и сверху, настигая противника длинными очередями, — истреблять засаду. Но розовая гора кончилась, и за ней вознеслась зеленая. Но зелень была не от трав, а от горных проступавших пород — неживая минеральная зелень.

— Не могу больше... — задыхался Еремин. — Не могу...

Он отставал, пропуская вперед других, и солдаты, жарко, громко дыша, обгоняли его, вращая молча белками. Вагапов отставал вместе с ним, медленно сдвигаясь к хвосту, отдаляясь от головы, поблескивал черным коротким автоматом. Взмахивал им, словно подгребал к себе остальных солдат.

— Не могу больше!.. Пить!.. — тянулся к фляге Еремин, взглядывая умоляюще на Вагапова.

— Нет, погоди, не пей! — запрещал ему Вагапов. — Совсем упадешь!.. Не пей, говорю...

— Я и так упаду! — задыхался Еремин. Его лицо под панамой было белым. Рот, не закрываясь, дышал. Губы, глотавшие сухой, жаркий воздух, казались костяными.

— Ты о воде-то не думай, — учил Вагапов, пропуская мимо себя торопящихся в гору солдат. — Ты о другом!.. О матери думай... О девушке, если есть... О беседке своей, которую камушками цветными выкладываешь... А о воде не думай! Выпьешь глоток — запалишься... Перетерпи, перемучься!

Они были теперь в самом хвосте цепи. Расстояние между последним солдатом и ими увеличивалось. Вагапов, замыкая движение, смотрел, как вяло, слабо упираются в гору ботинки Еремина, как гора не пускает его, хватает за ноги, втягивает в себя. Еремин борется с притяжением горы, топчется почти на одном месте. Вот-вот останется, и гора увлечет его в свою глубину, сомкнет над ним свой горячий свод.

— Ты склон трассируешь, вниз не сползай!.. Набрал высоту — и держи! Ногам охота вниз идти, а ты не пускай!.. Не теряй высоту! — учил Вагапов. Сам задыхался, вбирал ртом горячий воздух, не охлаждавший легких. Выбрасывал из ноздрей две шумные раскаленные струи.

Он жалел Еремина, этого щуплого новобранца, впервые попавшего в горы, в разреженный воздух хребта. Помогал ему, вдохновлял, хотел поделиться силами. И пусть было ему самому тяжело и его самого тянула гора в гранитную сердцевину. Пусть шли они в бой отягченные гранатами, набитыми до отказа рожками, готовыми к стрельбе автоматами, в нем, Вагапове, оставалось место для сострадания и заботы, для неясной из нежности и боли мечты: после службы они станут дружить с Ереминым, не разлучатся, не потеряют друг друга из вида, а Еремин приедет к нему в деревню, познакомится с матерью, братом, и он, Вагапов, покажет ему все родные места — речку с деревянным мостом, ключик в овраге, остатки старинной барской усадьбы, где аллеи огромных лип и берез, белокаменный щербатый фундамент, заросший лопухами и одуванчиками, на которых пасутся деревенские козы. А он, Вагапов, приедет к Еремину в Ленинград, поживет в его городской квартире, среди дорогих красивых вещей, познакомится с его родными, обходительными, приветливыми. Они станут гулять с Ереминым по городу, по музеям и паркам, и Еремин в одном из парков покажет свою беседку, белую, с колоннами, с разноцветным из наборных камушков полом. Так думал он, замыкая цепь, ставя подошвы на горячую гору, видя, как трепыхается вещмешок на худых плечах Еремина, как сгибается тот под тяжестью автомата, фляги, боекомплекта.

— Ты думай о беседке своей, тебе легче станет!

Они одолели гору, и за ней был легкий спуск в седловину, за которой снова начинался подъем.

Лейтенант собрал солдат, подождал отставших Еремина и Вагапова. Жаркий, блестящий, потный, с яростными, бегающими по вершинам глазами, с черными мокрыми подмышками.

— Ну что вы там скисли? — накинулся он на обоих. — Еремин, что ты тянешься, как сопля?.. Идут же в армию доходяги!.. Ты стометровку бегал? На перекладине подтягивался? Посмотри, на кого ты похож! Людей держишь!.. А ты, Вагапов, подгоняй его хорошенько!

Он был раздражен. Проделав бросок по горам, не нашел противника. Можно было повернуть обратно, возвращаться в кишлак. Или продолжить поиск, спуститься в ложбину.

— Внимание всем! — принял решение. — Идем вперед! Пойдем перекатом!.. Ты, ты и ты! — Он ткнул пальцем в троих, в том числе в Еремина и Вагапова. — Останьтесь здесь, прикроете!.. Следите за нашим продвижением, пока мы не займем высоту, вон ту!.. Тогда вы идите, а мы прикроем! Понятно?.. Ложись! — приказал он прикрывающей группе. — Остальные за мной! — И ловко, осыпая камушки, кинулся вниз, утягивая цепочку солдат. А трое остались, прижимаясь животами к вершине, расставив оружие во все стороны, разведя его по пустым окрестным вершинам.

— Ну вот, отдыхай! — подбадривал Вагапов Еремина, который лежал без сил, вялый, словно лишенный мускулов. Не видя, слепо, не слушая Вагапова, нащупал флягу. Отвинтил. Прижал к губам. Жадно, долго пил, глотал, двигал худым, острым горлом, роняя мелкие капли, наслаждаясь, оживая, исходя мгновенным мелким бисером.

— Зря! — осуждая сказал Вагапов.

— Вот теперь хорошо! — виновато улыбнулся Еремин.

Они лежали, наблюдая, как остальные солдаты, уменьшаясь, спустились в низину. Сливались своей пропыленной формой с бесцветным, без теней, без оттенков камнем. И только вспыхивали иногда металлические детали оружия. Цепь пересекла седловину, замедляя движение. Потянулась в гору, скапливалась на противоположной вершине — чуть заметные подвижные бусины на кромке шершавой горы.

— Можно идти!.. Вперед! — Вагапов, сержант, старший из всех троих, приказал и поднялся. Неся автоматы, они устремились вниз, зная, что с соседней вершины за ними следят, защищают, прикрывают их продвижение.

Третий из них, маленький киргиз, ловко, извилисто петляя по склону, обогнал их на спуске. Увеличил разрыв у подножия и уже карабкался на противоположную гору, юркий, легкий, как ящерица, в то время как Вагапов то и дело натыкался на спину Еремина, начинавшего одолевать подъем.

Вода, выпитая Ереминым, выступила серыми пятнами на одежде. Лицо ярко блестело, словно таяло. Становилось все меньше и меньше, и на этом лице страдали, сжимались, плакали глаза, и рот, оскалясь, часто, мелко дышал.

— Не могу!.. Минутку! — умолял он.

— Давай-давай! Напрягайся! — подталкивал его сзади Вагапов. — А ну, давай сюда! — И он сдернул с плеч Еремина вещмешок, в котором звякнули консервы сухого пайка. — Давай, давай!

Мешок был тяжелый. Он почувствовал прибавление тяжести в этом разреженном горном воздухе. Услышал, как сильнее забилось сердце, как натянулись усталые мышцы. Но одновременно увидел, какое облегчение испытал Еремин, как распрямилась его спина, стал виден из-под панамы мокрый белесый затылок.

Медленно, с остановками они достигли вершины. И первое, что увидели, — было злое глазастое лицо лейтенанта. Язвительный, резкий, он притоптывал ботинком с желтым хлорвиниловым шнурком. Накинулся на Еремина:

— Почему плетешься? Все тебя ждем! Один вахлак всех держит!.. На себе тебя тащить или как?.. Черт побери!

Так велико было его раздражение и презрение к Еремину, так не терпелось ему кинуться дальше в преследование, в следующую низину, не столь безжизненную, как предыдущая, — она слегка зеленела, и на ней светлели и петляли протоптанные стадами тропинки, — что взводный сделал движение ногой, не ударил, а выразил свое негодование. Но ботинок ткнул носком камень, на котором стоял Еремин. Камень выскочил, и Еремин, не имея сил удержаться, упал плоско, длинно, даже не вытянув руки, не защищаясь в падении. Стукнулся головой о землю и замер, потеряв сознание. Панама его отлетела, и он лежал со стриженой макушкой, закрыв глаза, растворив слабо губы.

— За что, товарищ лейтенант? — шагнул на взводного Вагапов, чувствуя, как взбухло горло и глаза начинает заливать красный безудержный гнев. Боролся с ним, не пускал, страшился его в себе. Ненавидел лейтенанта с его выпученными яростными глазами, сильным, тренированным телом. — За что ударили?

Руки его машинально повели оружие. Другие солдаты молча надвинулись на лейтенанта, стали теснить. Тот отступал. В глазах пробежали неуверенность и тревога. Еремин очнулся, открыл глаза. Стал подниматься, отталкиваясь ладонями. Солдаты в несколько рук поставили его на ноги.

— Отставить разговоры! — оборвал лейтенант, своей волей, упорством, командирским натиском побеждая в шатком, возникшем на миг противоборстве. — Еремин, бодрись!.. Ты, ты и ты! Остаетесь в прикрытии!.. Остальные за мной! — И, повернувшись спиной к солдатам, зная, что приказ его будет выполнен, легко и упруго скользнул по склону. Выбрал на нем тропу и уже удалялся вниз легким скоком.

Вагапов колебался мгновение. Оглянулся на Еремина, которому надевали панаму, и шагнул за взводным. Перед ним мелькали спина лейтенанта с ремнями «лифчика», засученные по локоть руки и легкий, сжатый в кулаке автомат.

Он провел шлифмашинкой, срезая видение, свертывая его в маленький огненный вихрь. Кругом рокотала станция. Мерно, колокольно ухал металл. Визжали, скрипели сверла. Трещала сварка. Шипели языки автогена. Урчали моторы поворотного крана. И среди множества режущих, долбящих и плавящих звуков, неразличимые в огне и железе, звучали голоса людей.

Михаил пустил шлифмашинку. Приблизил к стенке реактора. Сияющая стальная поверхность была той прозрачной преградой, что отделяла сегодняшний день от другого, давнишнего. Шагни вперед, сквозь прозрачный блеск — и ты снова там, в тех горах.

Лейтенант удалялся, сбегал с горы по бледной извилистой тропке. Спина с вещмешком, закатанные рукава, маленький в руке автомат, сильные, гибкие ноги, мелькавшие на тропе. Он сбегал, удалялся, не оглядываясь, подставляя спину солдатским глазам. Вовлекал их в движение. Одолевал их протест. Подчинял своей командирской воле. Продолжал изнурительную жаркую гонку в каменных желобах и откосах.

Солдаты топтались, поглядывали на сержанта, словно выбирали между ним и сбегавшим вниз лейтенантом. А он, Вагапов, знал, что сейчас шагнет, побежит по тропе, ссыпая с нее мелкие камушки. Мучился невозможностью поступить иначе, а только бежать, задыхаясь, повинуясь команде, в невидимой связке, проглотив все обиды, свои и чужие. Ибо все они — лейтенант, пихнувший ногой Еремина, и бледный белогубый Еремин, приходящий в себя от ушиба, и чернявый, с желтоватыми белками Сабиров, и другие солдаты, мокрые, запаленные, обессиленные гонкой в горах, — все они были стянуты одной невидимой связкой, и их тянуло, влекло на тропу, протоптанную горными овцами.

Вагапов смотрел на удалявшегося лейтенанта длинным, долгим тоскливым взглядом, не любя командира, не желая ему добра. И тот на расстоянии длинного взгляда будто почувствовал эту неприязнь. Дернулся, подпрыгнул. Под ним возник, поднимая его, круглый короткий взрыв, и сбоку, поодаль, второй. Лейтенант мгновение находился в воздухе верхом на взрыве: круглый бледный шар света, расставленные темные ноги. И упал, шмякнулся, покатился клубком, и рядом, отдаляясь от него, тянулись по склону два облачка гари. Растягивались, рассасывались вместе с затихавшим двойным ударом. А лейтенант катался беззвучно, перевертывался со спины на грудь, отжимался на голых, закатанных по локоть руках.

— Подрыв!.. Подорвался! — крикнул Сабиров и кинулся, устремился с горы, замирая вдруг на тропе, удерживаясь на ней, напрягаясь, словно в постромках. — Мины!.. Минное поле!

И все они, наклонившись, будто на старте, замерли, не решались бежать. Удерживались невидимой, давившей из-под горы силой.

— Стоять! — Он, Вагапов, сержант, смотревший секунду назад на бегущего лейтенанта, подорвавший его своим взглядом, ужаснулся содеянному — два зрачка, два луча, выбившие из горы два коротких огненных взрыва. — Стоять! — Он, сержант, был теперь командиром. Хриплым окриком останавливал их на тропе.

Горячая, глубокая, наполненная духотой ложбина. Размытые жаром вершины. Извилистая легкая тропка. Шевелящийся на земле лейтенант. И все это вместе — туманный далекий жар, висящие недвижные кручи, склон горы и тропа, — все это минное поле. Все заминировано. В камень, в пыль, в мельчайший прах вмурованы мины, и каждый шаг может превратиться в короткий красный удар, в комок зловонного дыма.

Вагапов застыл у начала тропы, у невидимой линии, за которую убежал лейтенант. Был опрокинут ударом, полз, извивался. Карабкался назад, на тропу. Отползал от своей лежавшей отдельно ноги. Волочил другую, непомерно длинную. И эта черта, эта линия не пускала. Удерживала их всех на горе. Они смотрели, как корчится внизу лейтенант.

— Всем стоять! — сипло, хрипло повторил Вагапов. — Еремин! Аккуратно! За мной!.. Да оставь ты свой «акаэс»! — И сам, изгибаясь плечами, скинул вещмешок, отложил автомат и подсумок, чтобы быть невесомей и легче. Забыв отстегнуть две зеленые ручные гранаты, первым ступил на тропу.

Он шагал медленным, пружинистым, парящим шагом, вглядываясь в грунт, в мелкий сыпучий порошок, истолченный раздвоенными копытами овец, чувяками горных пастухов. Готов был отдернуть стопу, отпрыгнуть, откатиться клубком от тугого, мгновенного взрыва. Видел затылком Еремина, громко дышавшего, ступавшего, как по канату, боящегося оступиться. Видел впереди лейтенанта, слышал его ругань и оханье, звуки его плевков. И так напряглись его зрачки и глазницы, так усилилось и расширилось зрение, будто весь он покрылся глазами. На подошвах, в груди, животе — повсюду были глаза. Вся его жизнь, все дыхание превратилось в единое зрение. И вдруг, поднимая ногу, задерживая ее на весу, он увидел разом все мины, лежащие вокруг на горе.

Две «итальянки» в круглых пластмассовых корпусах, припорошенные гравием, — гравий с одной осыпался, и торчали ребристые грани. Три самоделки, мелко углубленные в склон, с контактными дощечками, с медными, разведенными врозь лепестками. Фугас, упрятанный в орудийную гильзу, невидимый, замаскированный плоским камнем, над которым осторожные ловкие руки рассеяли пепельную мягкую пыль. Две растяжки — тончайшие серебристые струнки, паутинно натянутые, соединявшие воедино заряды.

Он увидел их разом в своем ясновидении, словно зрение проникло под землю, и мины обнаружились в прозрачной горе. Мертвенно, ртутно просияли среди выжженных склонов. Это длилось мгновение. Прозрачность горы исчезла. Мины погасли. И глаза, потеряв ориентиры, шарили и плутали. Пугались любого бугорка и морщинки. Весь склон казался набитым взрывчаткой.

— Не приближаться!.. Держи дистанцию!.. Шаг в шаг! — Не оборачиваясь, он хрипел на Еремина. Подходил к лейтенанту, выбирая путь своим страхом, своим звериным чутьем, своим ясновидением.

Лейтенант лежал на груди, упав щекой на тропу, зацепившись за камень, словно за борт лодки. Подтягивался, стремился перевалиться через борт, выдрать себя из бездны, которая тянула его обратно. Этой бездной был склон, в котором темнели наполненные тенью две лунки от взрывов и лежала оторванная нога. В ботинке ярко желтел хлорвиниловый шнурок. Вторая нога, непомерно длинная, тянулась на лоскуте черной, обугленной тряпки. А сам лейтенант, оставив от лунок мокрую черную полосу, начинавшую сохнуть на солнце, содрогался, колотился щекой о гору, высвистывая сквозь слюни.

— Пристрелите меня!.. Пристрелите!.. Не могу!.. Пристрелите!..

Звук этого хлюпающего, свистящего голоса. Рука, шарящая у пояса кобуру. Бугрящийся, как горб, вещмешок. Две лунки от взрыва и лежащий на камнях автомат. Рядом отдельная, нелепая, ужасная нога с желтым шнурком. И другая — на обугленном лоскуте с красно-белой зыбкой начинкой. Булькающее, толчками, извержение крови, будто прорвался бурдюк. И лейтенант уменьшается, опадает на глазах, становится плоским. Все это увидел Вагапов, пробуждаясь для стремительного, молниеносного действия.

— Стой, командир, не дам! — перехватил он руку взводного, нащупавшего наконец кобуру. — Не дам, говорю! — Он выдрал из кобуры пистолет, сунул себе на грудь. — Еремин, быстро, накидку!..

Тот уже был рядом. Слепо, послушно отдергивал ремешки на вещмешке. Извлекал со спины лейтенанта плащ-палатку. Разворачивал. Стелил ее тут же, на тропе. Глаза его были выпучены. Он ужасался крови. Вот-вот рухнет в обморок. Но руки действовали цепко и точно.

— Застрелите меня! — умолял лейтенант.

— Давай его повернем! — командовал Вагапов. В четыре руки они затолкали, перевернули с живота на спину, закатили на брезент лейтенанта. Тот лег на мешок, обнажив худой незагорелый кадык, рваные, из гари, из костей и ошметок обрубки, из которых сильнее забила кровь. — Давай сюда ногу, тащи!

Еремин, как по воде, высоко подымая колени, прошел к ноге. Поднял ее и нес, отстранив от себя. Нога, недавно ударившая его, желтела шнурком, светлела стертой, обитой о камни подошвой.

— Сюда ее, на брезент!.. Берись за концы!.. Не за эти! Черт, автомат не забрал! — Вагапов в два длинных скачка, туда и обратно, подобрал автомат, кинул его на брезент. И оба они подняли тяжелого, продавившего ткань лейтенанта. Понесли его в гору, где, недвижные, стояли солдаты. Смотрели, как они приближаются.

Вагапов чувствовал тяжесть живого расчлененного тела, сотрясаемого судорогами. Чувствовал его нестерпимую боль. Слышал скрежет зубов, нарастающий горловой клекот, готовый перейти в непрерывный крик. Перебивал этот крик, грубо, хрипло матерился, не давая кричать лейтенанту, не давая ему погибнуть от боли.

— Молчи, командир, молчи!.. А я тебе говорю, молчи!.. А ну молчи, говорю!

Он клял эти горы, и минное поле, и ребристые итальянские мины, и Италию, где никогда не бывал. Он клял лейтенанта за то, что тот подорвался, и одновременно спасал его, не давал умереть. Отгонял сквернословием смерть, отшвыривал от своего командира.

Они достигли вершины и опустили живой окровавленный куль, из которого сочилось и капало и неслись бессвязные бормотания и стоны. Солдаты отбросили полы накидки. Сабиров, санинструктор, на корточках, отдаляя лицо от красных, как фонари, обрубков, накладывал на раны жгуты, стискивал, стягивал, брызгая красной жижей. Солдаты с силой тянули узлы. Вкалывали в голую руку шприц с дурманным наркотиком. А взводный крутил головой, водил безумно глазами, сквозь слюни и кровь выговаривал:

— Ой, мамочка, не могу!.. Ой, мамочка моя, не могу!..

Вагапов панамой стирал пот с лица. Смотрел, как бинтует Сабиров, и красное пятно мгновенно прожигает бинты, и они горят, болят, пламенеют.

— Ой, не могу больше, мамочка!

Лейтенант затихал, забывался. То ли жизнь его покидала. То ли действовал парамидол. Вагапов, сжимая панаму, знал, что теперь он, сержант, — командир. На него неотрывно смотрят солдаты, ждут его приказа и слова.

— Уходим!.. Конец!.. Отвоевались!.. Вы, четверо, берите взводного, и бегом! — сказал он, вытаскивая из-за пазухи пистолет, кладя его к лейтенанту. — И двое еще — ты и ты — несите его и меняйтесь!.. Бегом, что есть мочи, иначе не донесете!.. А мы чуток приотстанем, прикроем вас!.. Вперед!

Четверо подхватили брезент и бегом, сначала путаясь, не попадая в ногу, встряхивая тяжкий тюк, побежали. Двое налегке кинулись следом.

А он, сержант, махнул троим оставшимся, этим взмахом подгребая их поближе к себе, указывая кивком на ближнюю кромку.

— Еремин, сотри кровь с лица! Вот тут, на скуле и на шее!

Оглядываясь, видел, как быстро удаляются с ношей солдаты. Задержался глазами на мокром липком пятне, где только что лежал лейтенант. Оросил афганскую гору своей горячей неистовой кровью. И кровь теперь быстро испарялась на солнце. И в нем, в Вагапове, бог знает откуда видение: у их деревенского дома, у сарая, старый, без донца чугунок, и сквозь него сочно и зелено проросла молодая крапива. Видение зеленого, милого, свежего на окровавленной жаркой горе.

— За мной! — Он пошел по склону, по круче, туда, где не было троп, не было мин.

Достиг каменного гребня, за которым снижалась ложбина, колючий, долгий откос. И увидел внизу людей. Вереница стрелков с мерцавшей винтовочной сталью одолевала подъем. Ступали медленно, плавно, белея, голубея одеждами. И Вагапов задохнулся от бесцветного солнца, от соседства удаленного на выстрел врага.

— Ложись! — беззвучно приказал он солдатам, падая больно на камни. — Плотнее, заметят! — придавил он к земле Еремина.

Выглянул. Внизу приближалась, колебалась вереница стрелков, тускло вспыхивало оружие. Под повязками виднелись смуглые капельки лиц.

Люди поднимались на гору неторопливо и слаженно, повторяли очертания тропки. Уверенно выбирали маршрут. Вагапов считал. Насчитал семерых. Его мысли бегали вслед за зрачками от душманских стрелков до автоматного дула и дальше, к соседней горе, за которую унесли лейтенанта, и дальше, к далеким пепельно-белым откосам, где, невидимое, проходило ущелье, и текла река, и валялась подорванная машина, и танки, приседая на траки, стреляли прямой наводкой. Его мысли пробегали по окрестным горам, разлетались и сталкивались.

Можно молча, одним свистящим дыханием, движением губ и бровей, приказать отход. Быстро, ловко, хоронясь за гребнем, отбежать в распадок. Переждать движение стрелков. Те, достигнув вершины, спустятся вниз, в седловину, и так же ходко, спокойно исчезнут в туманном жаре. А они вчетвером догонят своих, прикрывая их, защищая с высот, вынося израненного лейтенанта.

И бог с ними, с этими худыми, в балахонах, в повязках горцами. Пусть идут, куда знают, — в своих горах, по своим тропинкам, в свои кишлаки, в которые пришла война, разорила жилища, смяла рожь, раздробила на осколки пестрого нарисованного павлина.

Эта мысль пробежала и канула. Позабылась, сменившись другой.

Нет, они останутся здесь, на вершине, на удобной закрытой позиции, и вступят с душманами в бой. Не пропустят к ущельям, где попала в засаду колонна и саперы, страшась стрельбы, залегли у обочины. Эти стрелки торопятся на помощь своим, и бой уже начат, они все в бою, и сейчас они станут стрелять по душманам, отвлекая их на себя, облегчая участь колонны.

И он смотрел, как близится цепочка людей, повторяя изгибы тропы. То скрываются все за передним. То вытягиваются косой вереницей. Семеро в чалмах, шароварах, с вороненными вспышками стали.

— Слушать меня! — зашептал он солдатам. — Передние двое — мои!.. Двое других — твои!.. Еще одна пара — твоя!.. Твой, Еремин, последний!.. Длинными! Добивать на земле! Стрелять за мной! Когда подставят бока!

Душманы шли теперь прямо на них. Задние скрылись за первым. И этот передний, в светлых шароварах, в синеватом балахоне, в белой чалме, подымался, выставляя колени, сильно, крепко ставил на камни подошву. Были видны черные усы, темноватый, поросший щетиной подбородок, перекрестье патронташа на груди, медные мелкие блестки, то ли от торчащих в патронташе пуль, то ли от ременных заклепок и бляшек. Винтовка его была на плече, и кулак недвижно сжимал ремеиь.

Вагапов целил в него, держал на мушке, дожидаясь, когда тропинка вильнет и они, повторяя изгиб, изменят направление, станут возникать один из другого, вытягиваться в вереницу. А пока передний колыхался над стволом автомата своей чалмой, черноусым лицом, ставил ногу на автоматную мушку.

Вагапов скосил глаза — двое солдат лежали рядом. Маленький киргиз старался поудобнее ухватить цевье, покрепче угнездить автомат. Второй, долговязый, худой белорус, сбил на затылок панаму, ерзал ботинками по мелкому щебню, пытаясь найти опору. Его большая грязная кисть лежала на вороненой щеке «акаэса», указательный палец щупал крючок. Еремин поодаль, топорщась мешком, держал перед собой оружие, слишком далеко от лица, и лицо его, наполовину освещенное солнцем, было несчастным. Вагапов успел почувствовать это несчастье, этот страх перед выстрелом, перед первым, в живую близкую цель, в живого, ни о чем не подозревавшего человека. И этот страх, вид несчастного, страдающего лица вдруг вызвал в Вагапове ярость, презрение к Еремину и то ли тоску, то ли предчувствие беды.

«Дохляк! Боится оружия! Салага!»

Но некогда было раздумывать. Передний душман стал разворачиваться, все больше и больше втягиваясь в чуть заметный извив протоптанной овечьей тропы. Из-за него возникла вторая фигура, второй стрелок в таких же шароварах, в чалме, в расстегнутой на груди безрукавке. На плече стволом вниз висел автомат, за спиной виднелся мешок. Из-за этого мешка возникла третья фигура, третья чалма. Душманы вытягивались в цепочку, колеблемую, трепещущую, с одинаковыми разделявшими ее интервалами. И когда появился последний, без чалмы, в малиновой шапочке, — нес на плече длинный свернутый тюк, придерживая его руками, как несут рулоны ковров, — когда все они вытянулись на тропе, Вагапов тихо, медленно выдохнул воздух, задержал в опустевшей груди переставшее биться сердце, повел стволом чуть вперед, опережая идущих. И, когда передний надвинулся, запузырил одеждой, наполняя собою прорезь, Вагапов нажал на спуск.

Он почувствовал два удара — приклада в плечо и излетевшего тугого огня в чужое далекое тело. Грохот и блеск, длинные струи пульсировали между этими двумя ударами. Заваливали того, на тропе, опрокидывали, пролетали мимо над его головой. И Вагапов возвращал подскочившую мушку на второго, идущего следом, неточно, промахиваясь, попадая, снова промахиваясь и опять вонзая огонь и грохот в падающего человека. Стрелял, окруженный грохотом трех других автоматов, брызгами гильз, дымным пламенем.

На тропе валялись и прыгали люди. Визжали, катались клубками. Застывали, распластывались. Начинали шевелиться, вставать. Бугрились спинами. И в эти бугрящиеся спины, в мешки, в ворохи одежд, в упавшее, не успевшее огрызнуться оружие продолжали врываться очереди — истреблять, добивать, подымая на камнях солнечную курчавую пыль. И только один, последний, в малиновой шапочке, сбросив тюк, с долгим непрерывно-тоскливым криком, напоминавшим предсмертный вопль зайца, кинулся вниз по тропе. Прыжками, бросками, падая, скользя на ногах, на спине, подымаясь, неся обратно вниз, наполняя воздух ложбины предсмертным заячьим криком.

«Промазал Еремин!» — со злобой подумал Вагапов, ведя автомат за бегущим, посылая в малиновую горящую шапочку остатки пуль.

Промахнулся, видя, как киргиз меняет рожок, а белорус, подымаясь, с колена стреляет и тоже промахивается, разгоряченный, сотрясенный, с выпученными глазами, с яркой, стриженой, без панамы макушкой.

Умолкнувшие, переставшие стрелять стволы, груда тел на тропе, долгий удаляющийся крик, мельканье малиновой шапочки — все это, вместе взятое, не давая проснуться ужасу, переводило этот близкий ужас от содеянного убийства в другое, яростное, безумное, звериное чувство — в желание погони. Вид убегающего безоружного врага поднял его с земли.

— Не стрелять!.. Живьем!.. Обходи его с той стороны! — И, толкнувшись о гору, вытягивая за собой автомат, метнулся вниз.

Промчался короткий отрезок, отшатнулся от лежащих тел, под разными углами пересекающих тропу. Комья тряпья, торчащие черные бороды, оскал зубов, вцепившиеся в камни ногти, липкое, мокрое, еще не отлетевшая, горячая, убитая жизнь клубилась здесь, на тропе. Оттолкнула его, и он огибал ее, скакал вниз, слыша, как бегут за ним следом сол-

даты. Душман, работая часто лопатками, развевая шаровары, продолжал кричать, словно в нем был бесконечный запас воздуха, бесконечный запас страха, гнавший его вперед.

Вагапов видел, что догоняет его, что тому не уйти, что он, Вагапов, сильнее, быстрее. В гудении ветра, в коротких шуршащих осыпях, в твердых толчках он приближался к душману. Скатывался за ним в низину, где мелко струилось сухое русло ручья в неглубоких высохших рытвинах. В погоне его была не ненависть, не желание убить, а безумное стремление догнать, изловить, заглянуть в испуганное под малиновой шапкой лицо.

Душман перепрыгнул русло. Поскользнулся на сыпучей гривке. Упал. Прокарабкался на четвереньках. Вскочил и стал подыматься на склон, на пологий, идущий кверху откос. Вагапов, приближаясь к руслу, уже знал и угадывал, где на склоне он догонит душмана. Схватит его за трепещущую полу, рванет с треском, опрокинет, собьет с головы красный колпак, встанет над ним, задыхаясь, поджидая солдат.

Он спрыгнул в неглубокую запекшуюся промоину с желтым песком, на котором отпечатался след душманского чувяка. Рванулся вперед, зная, что не повторит ошибку душмана, не соскользнет, не сорвется. И в прыжке, пробегая гривку песка, услышал долбящую очередь. Пули прошли над его головой и во множестве крепко углубились в песок, оставив длинный от многих попаданий рубец. Снова задолбило с горы, двойным пробегающим стуком. И снова пули взрыхлили промоину, ту ее сторону, где только что находился Вагапов. А сам он, остановленный, прижимался к противоположному скату, как к брустверу окопа. Слушал работу двух пулеметов, там, в высоте, куда убегал афганец. Уже не видел его, сгибался, скрывался за гривкой, запаленно дышал.

Обернулся. Пулеметы продолжали стрелять, но уже не в него, а выше, через всю седловину, по пологой тусклой горе, с которой он только что сбежал и скатился, а теперь сбегали солдаты. Белорус и киргиз почти рядом, почти достигнув подножия. Приотстав от них, косо, неровно, не сбегая, а волочась, спускался Еремин. И по ним, открытым, работали два пулемета.

Все случилось мгновенно, у него на виду. Он лежал, обернувшись, прикрытый песчаной гривкой, лицом к солдатам и видел, как их убивают.

Первым был убит белорус. Он подпрыгнул, когда под ноги ему ударили пули, словно стремился перепрыгнуть высотную планку. Перепрыгнул, но планку подняли выше, метнули ему под ноги очередь, и он нелепо, расставив в разные стороны руки, упал плоско, головой вниз. Прилип к горе, лицом в землю, разметался крестом. Пулеметы с горы продолжали в него стрелять, попадали, но он не двигался.

Вторым был убит киргиз. Он начал вилять, устремляясь обратно к вершине, а его настигали, не пускали, обхлестывали с двух сторон, заставляли выделывать вензеля. А потом опрокинули, закудрявили вокруг него пыль. Пробивали его многократно. Он лежал убитый, как маленький серый комочек, и его автомат, отброшенный, темнел на камнях.

Потом подстрелили Еремина, сразу, короткой очередью. Попали в него, и он жалобно вскрикнул какое-то слово и упал. Не шевелился, пули крутились вокруг него, а он не двигался, головой вниз, длинный, руки вперед, словно нырял.

Это случилось так быстро, так страшно. Было продолжением недавнего истребления, продолжением погони, будто все пронеслось сквозь игольное ушко и вырвалось с другой стороны, расширилось ужасом в этот воздух и свет. Он, Вагапов, задыхающийся, живой, лежит, прижавшись к камням. Солнечная седая гора, и на ней разбросаны трупы в линялых восточных одеждах и в пыльной солдатской форме.

Пулеметы молчали, и Вагапов сквозь ужас начинал постигать случившееся.

Истребленная шестерка душманов была передовым, продвигавшимся к ущелью дозором, за которым следовала главная группа. Эта главная группа заняла высоту и сверху расстреляла солдат. Он, Вагапов, оставил позицию, покинул высотный гребень, кинулся без прикрытия вниз. В азарте нарушил непреложную заповедь: ушел с высоты — отдал высо-

ту противнику. Проиграл, погубил солдат. Он, Вагапов, сержант, командир, погубил тех троих, что лежали сейчас на склоне. А сам, с единственным автоматным рожком, прижатый к земле, втиснутый в мелкую рытвину, обречен на скорую гибель.

Он увидел, как лежащий на горе Еремин подтянул к себе руку, вторую. Попытался упереться. Приподнял голову. И сразу же задолбил пулемет. Протянулась над низиной рвущаяся красная проволока. Пули окружали Еремина, затуманили вокруг него воздух. И Вагапов, видя, что Еремин жив, шевелится, громко, истошно крикнул:

— Сюда, Еремин! Ко мне!.. Кувырком! — Продолжая кричать, выставил автомат и вслепую, против солнца, стал бить по невидимому пулемету, прикрывая Еремина. И в ответ режущая, долбящая очередь вогнала его в промоину. Пули рубанули песок.

Еремин опять зашевелился, слабо, бессильно царапая гору. А в нем, Вагапове, порыв — подняться, вскочить, побежать. Подхватить худое раненое тело. Стащить сюда, в эту щель. Спасти, заслонить. Но пулеметы заработали, один — по нему, Вагапову, окружая свистящей грохочущей смертью, а другой — по откосу, по Еремину. И тот вдруг дернулся, выгибаясь спиной, а Вагапов почувствовал сквозь пустое пространство, как вошли в него пули, изогнули его и убили, и, чувствуя это разрывающее проникновение пуль в худое тело Еремина, он заорал звериным криком. Развернул автомат и бил в слепящую, оплавленную кромку, где невидимо стреляли пулеметы, пока не опустошил рожок. Автомат, беззвучный, бессильный, смотрел вверх. И оттуда после молчания шарахнуло по нему молниеносно и страшно.

Он сполз, вжался в земляную щель. Пустой автомат соскользнул и упал рядом, ненужно звякнул. Больше не стреляли. Было тихо.

Он сжался, скрючился, втиснулся в малый проем земли. Поджимая к подбородку колени. Уменьшился, сморщился. Стал эмбрионом, свернувшимся в каменной матке. Малая промоина, оставленная горным потоком, была как раз по нему. Горный поток надрезал здесь землю, унес мягкий грунт как раз для того, чтобы он, Вагапов, уместил свое изломанное, страшащееся тело, лег в эту малую щель земли. И он лежал в тишине под солнцем, без воли, без сил, без патронов.

Он знал, что он беззащитен. Знал, что он обречен. Враги, легконогие, гибкие, ведающие каждую тропку, каждый подъем и камень, уже движутся к нему. Не с горы, а в обход, по невидимым гребням. Перескакивают трещины и провалы, обходят его и скоро появятся сзади, на склоне, где он только что был, откуда он виден, жалкий, скрюченный, как улитка в ракушке. И они с горы неторопливо и точно прицелятся и короткими выстрелами убьют его здесь, в этой тесной норе, придуманной для него природой.

Или поймут, что он безоружен, и возьмут живьем. Скрутят, свяжут, погонят по горам в свое логово. В какой-нибудь пещере, в каком-нибудь кишлаке станут мучить, терзать. Жечь железом, разрезать по кускам. И пощады ему не ждать. Потому что он убил тех шестерых, что лежат сейчас на тропе. А те шестеро разорвали на клочки лейтенанта. А лейтенант с брони стрелял вслед за танками по пещерам с пулеметными гнездами. А пулеметы в пещерах ранили и убили саперов. И так бесконечно все убивают друг друга, и он, Вагапов, включен в эту цепь убийств. И вот настало время убить его самого.

Он лежал, ожидая своей доли. Было тихо. Светлели на склоне убитые. Солнце жалило сквозь одежду плечи.

Он увидел на земле рядом с собой маленькую белую кость. Выпуклый птичий череп с глазницами, с известковым клювом. Видно, здесь было место гибели птицы. То ли ее расклевал другой, более сильный соперник. То ли она сама, чувствуя смерть, забилась в расщелину. Вид этого полого птичьего черепа изумил его. Здесь уже умирали. Здесь уже завершалась однажды жизнь. Это место, где завершаются жизни. Он, Вагапов, родился в деревне, рос, мужал, работал на огороде, садился на школьный трактор, ловил рыбу с братом, помогал матери ставить в палисаднике изгородь, танцевал в клубе со смешливой соседкой, просыпался в ночи под тиканье часов с неясным сладким предчувствием, глядел, как

синеет в окошке раннее утро, вырисовывается листьями тонкий плакучий цветок — все это было с ним для того, чтобы теперь оказаться в тесной горячей промоине, в чужих горах, где кончаются жизни.

И возникла такая тоска, такое желание жить! Можно выскочить сейчас из норы и сильным звериным скоком помчаться по руслу, уклоняясь от огня пулеметов, виляя и падая, укрываясь за бугорки и морщины.

Или встать, поднять руки, медленно, умоляя, пойти на гору. Сдаться, просить о пощаде. И, может быть, его пощадят.

Он лежал неподвижно в каменном лоне, оцепенев, глядя на малую белую кость с роговым шелушившимся клювом. И вдруг увидел гранаты — две зеленые литые картофелины, прикрепленные к его солдатскому поясу. Гранаты, о которых забыл в стрельбе и погоне, висели у него на ремне, запыленные, с прижатыми аккуратно колечками. И он понял, что будет делать.

Об этом ему говорили не раз. Об этом он читал в «боевом листке», о подвиге рядового Садыкова. Об этом во время бесед рассказывал ему замполит. Об этом он смотрел кинофильмы — про другую, большую войну. Об этом молчали окрестные бесцветные горы, заглядывая на него с высоты. Об этом молчали солдаты, которых он погубил и которые белесо и плоско лежали на жарком откосе. Все молчало и говорило об этом. И он кивал, соглашался.

Отцепил гранаты, положил их рядом с собой. Осматривал окрестные кромки, пытаясь заметить движение, появление людей в чалмах. Как только они появятся, запестреют на горе их одежды, заблестит оружейная сталь, он зажмет в кулаках гранаты, выдернет кольца зубами, одно и второе, станет ждать, спрятав гранаты за спину, прижавшись к камням.

Он смотрел с тоской на гранаты. И снова возник и пропал старый, без дна, чугунок, проросший зеленой крапивой.

Небо над ним было бесцветно, безвоздушно, бессолнечно. Он смотрел в это небо, превращаясь в него, и оно, бестелесное, слабо колыхнулось и дрогнуло. Будто в нем открылись и закрылись глаза.

Он услышал стрекот, вначале едва различимый, потом все сильней и громче. Вытянул шею, почти привстал, желая захватить как можно больше звука. Забегал, зашарил, заметался глазами по ожившему небу, натыкаясь на солнце, обжигаясь. Звук скапливался за соседней горой, и к стрекоту примешивались стуки, вялые, ослабленные, умягченные.

Он слушал эти стуки и стрекоты с ликованием и одновременно со страхом: вдруг удалятся, исчезнут, оставят его опять одного под прицелами чужих пулеметов.

Из-за серой горы вылетел вертолет, медленный, легкий, почти прозрачный, с чуть заметным отливом винта. Показался ненадолго, разворачиваясь, описывая над низиной короткую дугу. Устремился, снижаясь к горе. Стал быстрым, узким и хищным. Скрылся за гребнем, как стремительная, сложившая крылья птица. И оттуда проскрежетало, будто крючьями драли металл.

Другой вертолет появился, внезапный и низкий. Пошел над низиной в рокоте, блеске винтов, хвостатый, пятнистый, с застекленной кабиной, с поджатыми, словно лапы, подвесками. Его тень метнулась, прочертила низину, прошла по лицу Вагапова. И вслед за тенью знакомо, твердо застучал пулемет душманов. Но бил не сюда, по Вагапову, а в небо, в грохот и вой вертолета.

Еще одна машина, неся длиннохвостую тень, вынырнула из-за горы. Быстро, страшно, убыстряясь, ринулась на стук пулемета. Из-под брюха ударило черным. Множество копотных трасс, продлеваясь огнем, врезалось в гору, перетряхивая ее и круша. Треск разбитых камней, жар сотрясенного воздуха достиг Вагапова, поднял с земли.

— Э-э-э! — закричал он. — Я живой!

Он размахивал руками, бежал по руслу ручья, стремясь догнать вертолет. Но машина появилась с другой стороны и низко пошла над горой, сверкая подбрюшьем, молотя вершину из пушки, покрывая ее маленькими плотными взрывами. Словно железный костыль вбивали в гору, драли и рушили скалы.

— Я живой! — кричал Вагапов. — Я — здесь!

Один вертолет медленно кружил над низиной, набирая высоту, словно разматывал тончайший блестящий моток. А другой, близкий, огромный, раздувая воздух, изгоняя из низины скопившийся жар, опускался, свистел, рассекал лопастями солнце. Вагапов видел: на его борту номер «76». Из открытой двери, нагибаясь под давлением винтов, выпрыгивали солдаты. Держа автоматы, неслись веером в разные стороны, словно их разбрызгивало. Вагапов бежал им навстречу, размахивая руками, громко, бессвязно кричал.

Ротный, худой, черноусый, в «лифчике», с «акаэсом», схватил его крепко в объятия.

— Вагапов!.. Живой!..

— Там Еремин! — указывал Вагапов на гору. — Там трое все...

Солдаты стаскивали с горы троих убитых. Подавали их в проем вертолета. Другие поднялись по тропе, подбирали оружие душманов. Несли под мышкой длинные винтовки и автоматы. Летчики в шлемофонах, размытые блеском кабин, смотрели, как подносят оружие. Второй вертолет плавно парил в вышине.

И когда машина с потными солдатами и тремя лежащими на днище убитыми, с грудой расколотого, посыпанного пылью оружия взмыла и ротный облизывал грязный, сбитый до крови кулак, Вагапов прижался к стеклу и увидел: в стеклянном круге мелькнуло русло ручья и малая рытвина, его страшная лежка. И он повторил: «Я живой!»

Он работал у реактора, сметая с него темную пудру, возвращая блеск и сияние. И думал, как ему жить. Что ему делать, чтобы сын, готовый вот-вот родиться, не попал в те горы. Не стрелял, не брал на мушку человека, не падал ниц, не орал, не молил, накрытый тенью винтов. Как ему быть, Михаилу, чтобы сыну не выпал Чернобыль, чтобы он не кидался на страшные осколки урана. Как жить, чтобы сын был здоров и счастлив. Чтоб его не растлили, не сломали, не стерли с земли. Не сбили с толку враньем. Не споили вином и водкой. Не подсунули вместо жизни, вместо настоящей работы, глубоких, истинных мыслей — не подсунули размалеванную побрякушку, карамельку в пестрой обертке.

Он работал шлифмашинкой, отражался в стальных зеркалах. Перед свадьбой он поехал в Ленинград, побывал у Еремина дома. Долгий печальный вечер рассказывал родителям про последний бой, про кишлак, про павлина на глинобитной стене. И Еремин, тонколицый, серьезный, с внимательными большими глазами, смотрел с фотографии. Тоже слушал его.

Он побывал в ленинградском парке, у беседки, над которой работал Еремин. Беседка была нарядная, белая, с узорным каменным полом. Вагапов наклонялся, гладил камни руками.

Он готовил реактор к сборке, а сам тосковал. Не умел понять, как ему жить, как действовать. Думал: дождется отпуска и поедет по адресам всех убитых товарищей. Навестит их отцов, матерей. Расскажет, как вместе служили. Навестит всех увечных и раненых, потолкует, поддержит, обнимет крепко и нежно. Навестит лейтенанта без ног, взводного на протезах — посидят, вспомнят то ущелье, рванувшую взрывом тропу. И, быть может, не теперь, а когда-нибудь после, под старость, он вернется к тем серым горам, к той наполненной жаром ложбине, где плоское русло ручья, мелкая песчаная рытвина, сухой, легкий череп безымянной умершей птицы. Ляжет на горячий песок и один, в тишине, глядя на мягкую седую вершину, вдруг поймет, как жить.

Он тосковал, задыхался от железного воздуха, насыщенного огнем, электричеством. Думал о жене, о том, что ей скоро родить. И что мало бывают вместе. И так ее хотел увидеть. Здесь, сейчас. Посмотреть в ее белое большое лицо. Прижать ладонь к дышащему животу. Так ее хотел увидеть.

И она появилась. Подошла к нему, большая, мягкая. Поверх пальто был наброшен белый стерильный халат. Глаза виноватые, чуткие. Придерживала полы халата.

— Миша, прости, что пришла. Вдруг что-то тревожно стало... Захотела тебя увидеть...

— Да зачем ты? Еще зашибут! — Он оглядывался по сторонам, ту-

да, где двигались сильные, резкие люди. Тащили, тянули тяжести. Действовали острым железом. Полыхали свистящим пламенем. Был готов заслонить, защитить. А сам радовался, ликовал. Гладил ее по плечу. Задевал ненароком волосы под платком, нежно и бережно.— Вот сюда отойди с дороги!

Они стояли перед громадой реактора, готового улечься в глубокое бетонное лоно. Принять в себя огнедышащий груз. Вагапов глядел на жену, на ее накрытый руками живот. На близкого, не рожденного, но уже живого, желанного сына. Чувствовал, что слепым беспощадным стихиям есть предел. Что в мире присутствуют доброта, красота, тихая женственность. И они не могут погибнуть. Он, Михаил, изведавший смерть, потерю друзей, жестокий, сокрушительный опыт, он, Михаил, не даст им погибнуть.

Глава десятая

В профкоме был час приема по личным вопросам. Антонина поздоровалась со всеми разом, быстро оглядывая лица, стараясь угадать, кто с чем пришел. Угадывала почти безошибочно. Просьбы были все те же, нужды людские все те же. И она, возглавлявшая несколько профсоюзных комиссий, собирала просьбы и жалобы. Готовила их к рассмотрению профкома.

Проходя в свой маленький кабинет, она надеялась минуту-другую побыть одна перед началом приема. Обрести способность терпеливо, внимательно слушать. Вошла, на ходу снимая платок. В комнате сидел Горностаев.

— Ты? Здесь?.. Зачем?— Она остановилась, неприятно пораженная, будто пойманная. Одна перед ним, в пустой комнате, за порогом которой ждали люди. Не пускали, не давали уйти.— Зачем ты пришел? Мне некогда!

— Пришел тебе помогать. Будем вместе работать. Я — администрация, ты — профсоюз. Обычное дело!— Он усмехался, легкомысленный, милый. Стоял в потоках дымного зимнего солнца. С легким дружелюбным над ней превосходством, с легкой дружелюбной иронией. Как бывало и прежде, до недавней пустячной размолвки, после которой вспылила, ушла.— Или мне не будет позволено?— шутил он.— Какие-нибудь тайны? Тайны исповеди?

— Сиди, если хочешь.— Ей были неприятны эти насмешки, ирония, почти неприятно его красивое лицо у солнечного морозного окна. А ведь недавно было приятно...

— Мы целую неделю не виделись. Я скучаю. Ты обиделась в прошлый раз. Но ведь это шутка была. Сознаюсь, не слишком остроумная, даже бестактная. Уж ты прости!.. Приходи сегодня. Я постараюсь загладить вину.

— Не приду.

— Да перестань!.. Прошу, приходи!.. У меня появились новые диски. Замечательные блюзы. Вместе послушаем... Всю эту неделю дом мой пуст. Я тебя жду, приходи!— Он потянулся к ней, пытаясь коснуться. Его лицо побледнело, дрогнуло. Она почувствовала, как вся отразилась в нем, как жадно, быстро он оглядел ее всю. Отступила к дверям, готовая выйти.

— Мне нужно работать!

— Работай.

— Заходите!— Она отворила дверь в приемную.

И, пока возвращалась к столу, уклоняясь от его упорного жадного взгляда, успела снова подумать: он стал ей совсем чужой. В нем враз исчезли привлекательные, милые, недавно волновавшие ее черты. Появились другие, враждебные. Будто у нее самой открылось иное зрение.

— Пожалуйста, заходите!— повторила она приглашение.

Первой вошла женщина, затопталась, замялась у порога, пугаясь кабинета, устремленных на нее глаз. Потеряла дар речи. Высокая, худая, изможденная, с некрасивым, болезненным, мужеподобным лицом. Руки жилистые, со вздутыми венами. Распухшие пальцы с заплывшим, въевшимся, вросшим алюминиевым колечком. Торчащие из-под платка

белесые, бесцветные волосы. Скомканная, кое-как напяленная одежда, будто хватала ее впопыхах в потемках, без зеркала. Все комом, все не по ней, ношеное-переношенное, стираное-перестиранное. На шее, на вздувшейся, пульсирующей от волнения жиле,— голубые бусы-стекляшки, дешевые, как леденцы.

Она стояла, не смея ступить и сказать, готовая исчезнуть, не проронив ни слова. Антонина испытывала к ней сострадание, вину перед ней за свою молодость, свежесть, за теплый маленький кабинет. Чувствовала измученную, изведенную душу. Все знала о ней наперед.

— Проходите, садитесь,— пригласила она женщину, успев заметить на лице Горностаева отчужденность и скуку.— Что вы хотели?

— Мы хотели... Мы думали, если придем... Я-то сама не хотела... Мне самой все равно... Я-то чего хотела,— лепетала она, пристраиваясь неловко на стуле, шаркая под стулом большими ногами.

— В чем помощь?— прервал ее Горностаев. Он хотел ее побудить и направить, а испугал еще больше Она совсем умолкла. Шевелила растерянно губами, моргала, лепетала беззвучно.

— Да вы не волнуйтесь, успокойтесь!— Антонина, недовольная вмешательством Горностаева, отвлекала ее на себя, заглядывала ей мягко в лицо. И та услышала эту мягкость Широко и слезно расширила бледно-синие глаза, прижала руки к груди, запричитала:

— Квартиру надо! Квартиру мне дайте, вот что!.. Сдаете дом новый, дайте квартиру!.. «Иди, говорят мне, проси, Евдокия, пусть квартиру дадут! Не пойдешь, другие пойдут, расхватают!» Мне квартира нужна, а то мы помрем, померзнем!.. Я год живу по углам, с четырьмя детьми мотаюсь, не знаю, где ночь ночевать Как волчат к себе прижимаю, грею их, а сама замерзаю. Четверо у меня, как волчата живут, ни дома, ни угла! Сколько можно мыкаться? За что нам такая судьба? Дайте нам жилье хоть какое, мы будем вас благодарить, всю жизнь не забудем! А то у меня больше нету сил! Выведу их в поле, посажу в сугроб, и лучше нам в чистом поле от мороза пропасть, чем такая жизнь И зачем меня только мать родила? А я, дура, зачем на свет четырех народнла, на такую беду!

Она причитала без устали, глядя мимо Антонины, в какое-то метельное чистое поле, куда поведет своих четверых детей, усадит в сугроб, сама сядет рядом, и все они станут коченеть, леденеть, становиться прозрачными, ломкими, как голубые стеклышки у нее на шее. И от этого зрелища, от жалобного, не имеющего окончания стона Антонине стало страшно.

— Подождите! Расскажите толком!.. Где живете? Почему по углам?.. Где ваш муж? Кем работаете?

Та, захватывая в свое голошение ее вопросы, продолжала причитать:

— Где муж? Нету мужа! Муж бросил!.. Один муж бросил! Другой муж бросил! Я мужа найду, а он бросает!.. Один муж на лесопилке работал, двойню от него родила. Он пальцы пилой отпилил, пить начал. Бить нас начал! Из окошка девочку выкинул, ножки себе поломала. А потом пропал. С моста, говорят, кинулся и утоп. Водолазами по реке искали, не нашли... Второй муж истопником работал Тоже двойню ему родила! «Поехали, говорит, Дуська, в Броды Там истопники нужны». Сюда приехали, месяц пожили, и он сбег, куда, сами не знаем! Одно письмо прислал. «Ждите»,— говорит. Вот и ждем год целый! Ни слуху ни духу!.. В сарае в Старых Бродах живем. Сарай летом теплый, перебивались. А зимой ничего не греет, в кастрюле щи замерзают Детишки кашляют, гнойниками покрылись. Умрем мы все!.. Чем так жить, лучше в поле идти замерзнуть! Чтобы людям глаза не мозолить!. Если жилье не дадите, пропадем!

— А где работаете?— Антонина смотрела на нее, большую, костяную, жилистую, надорванную в работах и тягостях. Старалась представить ее молодой, улыбающейся, нарядной, без темных морщин, без вздувшихся вен. В моменты материнства, любви, в уютном нарядном доме, полном гостей и соседей. Не могла. Изможденное, без кровинки лицо. Слезные, обведенные красным глаза. Похожее на непрерывный плач причитание.

— В кубовой работаю, прачкой. Через день, на второй работаю. Когда работаю, детишек с собой беру, они в тепле, в кубовой сидят. А когда другая смена, куда их девать, не знаю! В магазин идем, греемся... В детский садик не берут. Подбрасываю их кому придется... Дайте нам хоть какое жилье! Я вас буду весь век вспоминать! Я вашу карточку в доме на стенку повешу, будем на нее молиться. Не дайте нам всем пропасть!

Горе ее было велико. Горе ее гуляло по свету. Горе ее было здесь, перед ней, Антониной. И она, встречавшаяся постоянно с людским неустройством и горем, не могла к ним привыкнуть. Чувствовала постоянно свою вину. Как могла, старалась помочь.

— Что-нибудь сделаем, может быть... Хотя, вы знаете, жилья не хватает. Дом, который сдается, уже весь распределен... Есть один список, резервный, для самых остронуждающихся. Попробую вас в него занести... Как фамилия ваша?

— Лукашина Евдокия Ильинична! Лукашины мы все с ребятишками!

Антонина записала ее фамилию, имя и отчество, надеясь втиснуть ее в заветный резервный список, сохраняемый на самый крайний, последний случай. Это и был самый крайний, последний случай, случай предельного горя.

Женщина встала, пятилась к дверям, кланялась, не зная, куда деть руки; хватая свои голубые стекляшки, вышла.

— Я тебя понимаю, действительно больно слушать.— Горностаев, когда женщина вышла, мягко порицал Антонину.— Но ты напрасно ее обнадежила. Мне сварщиков некуда селить, бульдозеристов, драгоценных для стройки людей. А ты прачке из кубовой обещаешь квартиру дать. Ведь не будет этого, ты же знаешь!

— Что же ей, и впрямь в сугроб детишек вести? Ведь она поведет. Она как безумная от своего несчастья!

— О чем она думала, когда четверых родила? Ты ей квартиру дашь, а она еще четверых наплодит. Мы ведь стройка, а не инкубатор, не звероферма!

— Отвратительно то, что ты говоришь!— Она повела плечами, заслоняясь от него. И он был уязвлен и испуган. Испугался ее возмущения. Не за этим пришел, а за тем, чтобы преодолеть отчуждение, помириться. И сегодня, когда кончится этот ледяной оглушительный день, она придет в его дом, будет доступной, милой, как прежде.

— Ты права, ты права! Мы все очерствели, одичали с этой работой. По-нашему, драгоценные люди те, что полезны стройке. Будто есть недрагоценные люди!.. Удивительно, что ты сохранила сердце. Я так дорожу твоим чутким, готовым к состраданию сердцем... Всю неделю ждал тебя. Ты не шла. Мне очень тебя не хватало.

Он говорил глубоко, искренно. Она вслушивалась, пыталась себе объяснить: почему этот достойный, привлекательный, стремящийся к ней человек, умный, тонкий, еще недавно казавшийся близким, стал вдруг чужим и далеким? Что его отдалило? Какой перед ней проступок? Какое неосторожное слово? Почему в ее сердце, где были постоянно мысли о нем, интерес к нему, желание видеть его,— теперь пустота? Кончилось почти в один миг очарование и влюбленность. Что-то не сбылось, не свершилось. В чем-то она обманулась. Он был не ее. Был обращен к ней лишь малой частью души, а другая, главная, сокровенная часть была для нее закрыта. Он не пускал в нее, своей мягкой иронией, осторожной сдержанностью держал ее в стороне. Словно боялся, что она его разгадает, будет мешать ему, станет помехой. В этой неведомой, скрытой части души угадывалось что-то чужое, тяжелое, обращенное против нее, Антонины. Так она объясняла свое охлаждение. И винила себя. Была перед ним виновата. В нем, не в себе искала дурное. И в этом ощущала обман.

Нет, не обман!

Всматривалась в его лицо, освещенное солнцем, и ей казалось — от него исходит плотная, темная, едва уловимая сила. На нем сквозь янтарный свет лежала легчайшая тень.

— Ты так смотришь,— сказал он.

— Мне нужно работать.

— Работай!— И сам позвал:— Следующий!

Вошел Язвин, высокий, бравый, благодушный. Глаза его, умные и веселые, оглядели их понимающе. Он все о них знал, радовался их близости и соседству.

— Здравствуйте, Антонина Ивановна! Еще раз здравствуйте, Лев Дмитриевич!.. Я ненадолго, простите. В роли, так сказать, просителя.

Уселся, положил перед собой плоский, в розовой бумаге сверток.

— Я пришел, Антонина Ивановна, напомнить вам о моей нижайшей просьбе. Помните, когда мы сидели в гостях у Льва Дмитриевича, я к вам обращался?

— Признаться, забыла.— Антонине не нравился Язвин. Не нравились его перстень, умные глаза, открытый, веселый нрав.— С чем вы ко мне обращались?

— Вы сказали, что в профкоме есть две путевки, круиз вокруг Европы. Вы намекнули, что я — жена и я,— мы сможем ими воспользоваться.

— Действительно, есть две путевки. Вряд ли на них будет много претендентов. Очень дорогие. Так что если вы не раздумали, то берите!

— Не раздумал,— заверил ее Язвин.— Я вам уже объяснял.— Он обращался и к ней, и к Горностаеву, не сомневаясь, что они заодно.— Давно хочу побывать в настоящей Европе. Вся моя жизнь, вы знаете, то в тайге, то в тундре, то в чуме, то в медвежьей берлоге. Деньги меня давно не волнуют. Машина есть. Квартира, дача есть. Дети, слава богу, устроены. Кубышку заводить не собираюсь. И вот мы решили с женой прокатиться вокруг Европы. На Босфор посмотреть голубой! На Святую Софию! На Афинский акрополь! На Неаполь с Везувием! На Испанию с Алькасаром!.. Я понимаю, все это бегло, наскоро. Но мы с женой уже начали книги читать по архитектуре, по живописи. Когда попадем в Амстердам, посмотрим на картины фламандцев... Так что уж, если возможно, я бы приобрел эти две путевки!

Антонина обещала. Это было понятно, достойно. Работник, профессионал, энергетик, весь век скитавшийся по медвежьим углам, возводивший плотины, станции, в своих трудах и скитаниях заработавший большие деньги, хотел их разумно истратить. И она бы должна была радоваться. Если б не недавнее посещение Лукашиной, ее беда, ее бедность, ее беспросветность. И тот и другая жили в одно время, на одном месте, одновременно протекали их жизни. Но у одного осмысленно, достойно, богато, а у другой — в нужде и несчастье. Они были одним народом, рассеченным надвое. Отброшены друг от друга на расстояние его достатка и ее беды. Антонина чувствовала этот непреодолимый разрыв как собственное страдание и опять как вину.

— Антонина Ивановна,— Язвин разворачивал розовый сверток.— Я все время любуюсь вами, вашей энергией, вашей красотой. Мне все время хотелось сделать вам что-нибудь приятное. И вот теперь, пользуясь случаем, пусть Лев Дмитриевич мне простит.— Язвин развернул сверток, извлекая книгу.— Где сыщешь в наших снегах цветы? Но вместо цветов — Цветаева! Сборник стихов! Жена достала у знакомых книголюбов по случаю. Прошу вас, примите. Красивые стихи — красивой женщине!

Он протянул ей томик, улыбаясь радушно, от всего сердца.

— Да ну что вы, не надо! Не возьму!— смутилась она.— Я же обещала: вам будет круиз.

— Да ну, о чем вы говорите, Антонина Ивановна? Одно с другим никак не связано. Это просто дар, от души! Ну пусть не вам, а профкому! Не так ли, Лев Дмитриевич?

— Вот я и отдам этот дар в библиотеку профкома.

— Как вам заблагорассудится, Антонина Ивановна. Но это от сердца дар!

Он поднялся, плотный, уверенный, являя собой образ благополучия и достатка. Вышел. А в ней продолжала оставаться мучительная, неразрешимая двойственность — от неправедного, несовершенного устройства жизни.

— Ты не должна была принимать этот дар,— мягко укорял ее Гор-

ностаев.— Это, конечно, пустяк, но не следовало брать эту книгу во время служебного приема. Хорошо, что мы все свои. Другие могли бы этим воспользоваться. В наше время, когда все ищут пятна на солнце... Вот видишь,— продолжал он,— какие открываются чувства.— Горностаев усмехался, но не язвительно, а печально.— А мы все — работа, работа! А в одно прекрасное утро проснешься, на горизонте дымят твои станции, рокочут запущенные тобою турбины, а ты одинок, никому не нужен. Усталый, старый...

— Ну нет! — почти развеселилась она.— Это ты не о себе, не выдумывай! Ты — всеобщий любимец. Всегда вокруг тебя хоровод.

— Это так кажется. Я одинок, очень! Поверь... Я нуждаюсь в тебе. За эту неделю, пока тебя не было, вдруг поиял — ты мне очень нужна. Приходи сегодня, буду ждать. Очень!

— Не смогу.— Ей опять стало неловко. В этой неловкости чувствовала вину, недоверие, обиду и что-то еще — не против него, а против себя самой.— Сегодня к тебе не приду. И, наверное, вообще не приду.

— Вздор! Тебе нужен советчик,— мягко сказал он.— Тебе нужен дом, куда бы ты могла приходить советоваться. Это мой дом. Приходи сегодня. У меня есть красивая музыка, вкусное вино. Затопим камин, посидим, как бывало.

— Не могу. Повидаюсь с тобой, обещаю, и мы объяснимся. Но сегодня я не готова.

— Да в чем же дело? Что стряслось с тобой? — теряя терпение, уязвленный, воскликнул он.

Но овладел собой, опять смотрел на нее с нежностью и насмешкой. Поднялся, шагнул к ней, собираясь обнять. Она, уловив в его лице мгновенную рябь нетерпения и гнева, пугаясь его, своей резкой к нему неприязни, отшатнулась.

— Не подходи, или я закричу!.. Пожалуйста, следующий! — позвала она, как на помощь.

Вошли двое. Один был прораб, худой, темнолицый, с пролысинами, с колючим кадыком, чем-то похожий на кованый мятый гвоздь — своей усталостью, зазубренностью всех черт и движений. Другого Антонина сразу узнала: ощеренный, с желтыми резцами рот, потасканное, нечистое лицо в красных, воспаленных пятнах, прямые немытые волосы, что-то крысиное, хищное и одновременно трусливое, жалкое. Он был тем самым пассажиром автобуса, что неделю назад измывался над убогим, дразнил его и глумился, а потом ударил по щеке. Появление возмутило ее, мгновенно ожесточило.

Прораб пришел в профком утвердить увольнение Чеснокова — так звали парня. Дело, решенное на совете бригадиров, нуждалось в одобрении профкома.

— Этот Чесноков — навязался он на нашу голову — был предупрежден не раз! — Прораб заглядывал в маленький синий блокнотик, что-то вычитывал в нем, должно быть, бессчетные прегрешения Чеснокова.— Мы его предупреждали: «Кончай! Хочешь работать, работай! Нет — выметайся!» Сколько он давал обещаний, сколько раз клялся! Прогуливать прогуливал — предупреждали. Пьяный на работу являлся — предупреждали. Инструмент по пьянке губил — предупреждали. Чуть дело до аварии не довел — предупреждали. За руку его ловили, когда со стройки материалы тащил,— предупреждали. В драках замешан — приводы были в милицию. Как говорится, чаша терпения до краев! Пытался во время смены вино распивать, спаивал молодых пэтэушников, зеленых, как говорится, юнцов. Мы его засекли. Кончено! С треском гоним! Он всю бригаду разложит, развратит! Поэтому мы просим профком утвердить приказ!

— Мне тоже известен этот человек,— сказала Антонина.— Верю, что он мог растлевать юнцов. Верю, что способен отравить коллектив. Есть такие ядовитые люди.

Чесноков взглянул на нее быстро, трусливо, не узнавая, но сжимаясь, словно ожидая удара. И при этом улыбался, шевелил короткой верхней губой, выставляя резцы.

— Ну просто какое-то исчадие ада! — Горностаев приглядывался к Чеснокову брезгливо и с любопытством.— Ты что, действительно такая ужасная птица?

Чесноков почувствовал в этом вопросе презрение к себе, но и интерес. Устремился к Горностаеву, уповая на него, впиваясь в этот к себе интерес, карабкаясь по нему и спасаясь.

— Правду обо мне говорит Николай Николаевич, все правда! — Чесноков кивал на прораба, а сам жадно заглядывал в глаза Горностаева.— Говорят в народе: «Подонок!» Я и есть подонок! И пью, и вру, и воровать пытался, и малолеток спаивал, и еще такое делал, что Николай Николаевич не знает, а я и признаться боюсь!.. Жить мне не хочется, сам себе в тягость! «Чего живешь? — себя спрашиваю.— Повесься! Удавись! Все вздохнут, все рады будут. Ну сделай людям приятное. Никто о тебе не вспомнит, не пожалеет!» Да тот же Николай Николаевич, правильно он меня гонит! От меня только вред один. Но вы поверьте, сам-то я тоже мучаюсь. Ох как мучаюсь! Как мне тошно! Никому не нужен, никто не спросит: что с тобой, Чесноков? Почему ты как пес бешеный? Никто никогда не спросил!

— Так почему же? — спросил Горностаев.— Почему?

Антонине казалось, Горностаев играет, как кошка с мышкой, стараясь продлить игру, натешиться, рассмотреть получше добычу перед тем, как ее придушить. Что-то еще, непонятное ей, было в глазах Горностаева, делавшее его красивое, тонкое лицо неуловимо похожим на лицо Чеснокова,— так напряженно были обращены они один на другого, словно отражались друг в друге.

— Так что с тобой происходит? Почему ты такой нехороший?

— Судьба! Беспризорник! Детдомовец!.. Говорили: мать меня родила, в занавеску завернула, к яслям принесла и в грязь подкинула. Вот я и лежу в грязи по сей день, никак не отмоюсь! Только хочу отмыться, встать, и снова — хлоп в грязь!.. Чего я только не пробовал, не поверите! В студии играл самодеятельной, в театральной. Хороших людей хотел играть, благородных. Думал, войду в роль и стану человеком. Не вышло! Внешность-то у меня какая, видите? Все заставляли играть предателей, преступников, фашистов... Жениться решил на одной доброй девчонке. Думал, она меня спасет, человеком сделает. А я ей на третий день опротивел. «Ты, говорит, на крысу похож!» И сбежала... Жить не хотелось!.. «Ладно, думаю, помирать, так с музыкой!» Поехал в Чернобыль, в самое, что называется, пекло, на четвертый блок. Чего там только не делал! В воду под реактор лазил. Пыль руками сгребал. Все лицо ураном обжег, до сих пор дымится! Думал, хватану рентгены, загнусь, и ладно, дело с концом!.. Рентгены хватанул, лучей понабрал, в госпитале лежал, да живой вышел. Кровь ни к черту, а жить-то надо! Мне один медик еще в больнице сказал: «Пей понемногу, но каждый день, кровь восстановишь!» Вот и пью. И кровь не восстановил, и себя погубил, и людям как бельмо на глазу! Правильно говорит Николай Николаевич!

Он каялся, исповедовался, не слагал с себя вину, а брал даже бóльшую. Антонине вдруг стало жаль его. Она устыдилась своей к нему неприязни.

— Что будешь делать, когда тебя со стройки прогонят? — Горностаев чуть улыбался, видно, не верил покаянию, усматривал в нем лукавство, но продолжал с Чесноковым играть в неясную Антонине игру, доставлявшую ему наслаждение.— Какими путями дальше пойдешь?

— А никакими... Устал... Прогонят, и впрямь повешусь. Устал жить. Не хочу больше жить. Зачем мне небо коптить? Повешусь, как «зэки» вешаются. Потому что мне жизнь как тюрьма.

— Ну, а если не прогоним? Поверим в последний раз? — спросил Горностаев, серьезный, строгий, со смеющимися глазами.— Николай Николаевич, если мы поверим ему?

Темнолицый усталый прораб не понимал, что происходит. Почему у высокого начальства такой интерес к этому пропащему злостному разгильдяю и пьянице. Ответил, ворочая угрюмо белками:

— Да не повесится он! Магазин обворует или квартиру и будет жить. Мы с вами помрем, а он будет жить!

— Если мы поверим тебе в последний раз? — не обращая внимания на прораба, говорил Чеснокову Горностаев.— Ты можешь дать честное слово? Мне лично, Антонине Ивановне?

— Вы мне поверите? — Верхняя губа Чеснокова задрожала сильнее,

глаза заморгали, наполнились слезами, готовыми вот-вот пролиться.— Вы можете мне поверить?

Казалось, он был потрясен, в лице его пропало трусливо-жесткое выражение. Оно стало беззащитным.

— Вы не станете меня увольнять?

— Мы поверим тебе в последний раз, не станем тебя увольнять, чтобы ты не пропал окончательно. Мы оставим тебя под честное слово. До первого твоего прегрешения.

— Да я!..— Чесноков поднялся, протянул Горностаеву длинные руки, испугался этого жеста, быстро спрятал руки за спину.— Да я для вас! За то, что вы сделали!.. До гроба, до смерти!.. Только скажите — Чеснок! Я для вас в огонь, в реактор!.. Спасибо вам!.. Пить брошу! Хоть в ночную, хоть в две смены!.. Вы поверили Чесноку, а он не подведет!— Он кланялся, сидя, почти касаясь лбом стола. Кланялся Горностаеву, кланялся ей, Антонине, кланялся прорабу.

И оба они, Чесноков и прораб, поднялись и вышли. Горностаев, что-то обдумывая, чему-то улыбаясь, смотрел им вслед.

— Почему ты так сделал?— спросила она.— Ведь этот Чесноков, должно быть, отпетый, если его сами рабочие выставили. А ты один, своей властью...

— Власть по-разному должна себя проявлять,— сказал Горностаев.— Она иногда должна проявлять себя в милосердии. Вот я и проявил себя в милосердии. Может, я и сделал-то это, чтобы угодить тебе. Ты ведь ценишь милосердие, верно?

— Мне действительно стало его вдруг жаль.

— Ну вот, видишь, я сделал приятное тебе, ты сделай мне. Приходи сегодня.

— Нет.

— Ну вот что!— сказал он, вставая.— Власть должна проявлять себя в милосердии, но должна проявлять и в строгости. Своей властью я встречу тебя сегодня у Троицы и увезу к себе!.. Все! Ничего не желаю слушать!— и ушел. А она осталась недовольная собой, будто совершила проступок, сама не знала какой.

Горностаев спустился вниз, на мороз, где стояла на площадке его новая белая «Волга», толпились люди, поджидая автобус, чтобы ехать в город.

Он сел в машину, завел. Пытался тронуться с места, но «Волга» буксовала, брызгала льдом, зарывалась в снег. Он нервничал, видя, как наблюдает народ и никто из толпы не приходит на помощь.

Вдруг из-за спины выскочил Чесноков в раздрызганном пальто, в красном размотанном шарфе. Кинулся к «Волге», уперся в задний бампер и, подставляя себя под брызги льда, под выхлопную липкую грязь, стал толкать. Машина с визгом вырвалась из снежной ямы, метнулась по площадке. Горностаев затормозил, приоткрыл дверцу.

— В город?— крикнул он Чеснокову.— Садись, подвезу!

На глазах стынущей на морозе толпы, словно мстя ей за равнодушие, посадил Чеснокова в свою белоснежную, с красными сиденьями «Волгу», погнал ее по дороге.

Чуть поворачивал голову, взглядывал на сидящего рядом неопрятного, еще тяжело дышащего парня, на его покрасневшее лицо. Испытывал к нему неясное любопытство.

— Что там такое Антонина Ивановна про тебя говорила? Где ты с ней познакомился?

— Мы как-то в автобусе вместе ехали. И там дурак один, дебил сопливый сидел. Жирный, румяный, во всем новом, как с витрины! И такая меня злость взяла! Тут нормальному человеку житья нет, в обносках ходишь, корку сосешь, а он за мой счет ест, пьет, румяный, как помидор! Ну и двинул его по мозгам легонько! Он после еще румяней стал. Массаж мозгам!

То, что сказал Чесноков, было безобразно и отвратительно. Но в этом безобразном было нечто, что увлекало Горностаева.

— Вы меня сейчас спасли, из ямы за уши вытащили,— продолжал Чесноков.— Не стою я того, чтобы меня спасать. Топить меня надо, топить, как крысу топят! А вы не утопили, спасли. Значит, зачем-то я вам

нужен. Не из жалости меня спасли, жалеть меня невозможно, такой я для всех противный. Я ведь чувствую— вы в машину меня посадили, а я вам противен. Значит, спасли не из жалости, а потому, что нужен для чего-то. Для чего, не знаю и знать не желаю. Но если прикажете: «Чеснок, выбросься из машины!»— выброшусь. «Чеснок, убей того-то»— убью! Я для вас теперь все сделаю, только прикажите!

Горностаев рассмеялся. Они въехали в город, свернули не на главную, застроенную башнями улицу, а в тихий заснеженный ельник, где стояли коттеджи начальства. Подкатили к дому, где жил Горностаев.

— Вы только намекните, что для вас сделать,— повторил Чеснок.

— Снег у гаража почисть.— Горностаев вышел из машины.— Вот гараж! Вот лопата! Почисть!— и пошел в коттедж— немного отдохнуть, полежать, послушать музыку. Во второй половине дня ожидали его кабинетные встречи, совещания, обход строительства. И хотелось выпить чашку крепкого кофе, побыть одному, бодрым и отдохнувшим вернуться на станцию.

Он разделся, с удовольствием оглядел свой уютный дом, приготовленные у камина сухие дрова. Неторопливо сварил себе кофе, наслаждаясь запахом зерен. Полулежал на диване, слушал музыку, размышляя над тем, как следует ему вести себя вечером, когда придет Антонина. Быть ли ему насмешливо-печальным, раскаивающимся или, напротив, блистательно-остроумным, ироничным. Или милым, сердечным, уставшим от людских несуразиц, нуждающимся в человеческой теплоте и участии.

Чеснок в это время чистил на морозе снег.

— Зайди на минуту,— поманил его Горностаев.

Тот вошел в коттедж. Горностаев жестом не пустил его дальше порога. Из прихожей Чесноков разглядывал дорогое убранство дома— африканские скульптуры и маски, решетку камина, пушистый ковер на полу. Горностаев отворил глубокий зеркальный бар. Извлек хрустальную рюмку, бутылку водки. Налил и вынес Чесноку.

— На работу сегодня уже не пойдешь, это ясно. Снег ты расчистил хорошо. Так что на, выпей!

— Премного вам благодарны!

Залпом выпил. Опрокинул донцем вверх рюмку, стряхивая капли.

Горностаев вывел Чеснока наружу. Запер дверь коттеджа и, забывая о нем, сел в машину и укатил.

Чеснок стоял на расчищенном снегу. Ухмылялся, глядя, как исчезает в метели «Волга».

— Сволочь,— сказал он, улыбаясь.— Сволочь какая!

Глава одиннадцатая

Она сидела в кабинете, отпустив последнего посетителя, усталая, опустошенная. Глядела на долгий список требований, жалоб, прошений. В комнате продолжали звучать сердитые, умоляющие, возмущенные голоса. Присутствовали лица, молодые и старые, ожидавшие от нее, Антонины, помощи. Каждый отбирал толику ее сил. Она как могла делилась тем, что имела.

Она чувствовала, как устала, как хорошо ей одной. «Рафик», на котором собиралась ехать в Троицу, задерживался. Шофер позвонил и сообщил о какой-то поломке. Она пользовалась передышкой. Закрыв глаза, слушала шаги в коридоре, отдаленные звонки телефонов, немолкнущий рокот станции.

В дверь постучали. Она решила, что это запоздалый, пытавшийся ее ухватить посетитель. Выпрямилась на стуле, готовая слушать, вникать.

— Войдите!

В дверях стоял Фотиев.

— Победа! — сказал он.— Виктория полная!..

Он улыбался, сиял, вносил в маленькую душную комнатку свежесть, жизнелюбие, бодрость. Его появление было похоже на внезапное освежающее дуновение, возвращало утреннее желтое морозное солнце, когда она входила в вагончик. Те, кто был здесь, требовали, отнимали, уносили. А он принес. Дарил и делился тем, что было у него в избытке,—

своей радостью, своей энергией, вестью о своей победе. Он был вестник победы.

— Представляете, в это трудно поверить, но победа полная! Мой «Вектор» принят! Никто не сопротивлялся, почти никто! Я ждал отпора, неприязни, глумления. Ничего этого не было! Я был встречен друзьями! Значит, и впрямь новые времена наступили. Кончилась слепота, глухота. Люди слышат и видят. Поздравьте меня, мой «Вектор» живет и действует! — Он оглянулся. Нашел в уголке ее висящую шубку, торчащий из рукава цветастый платок. Подошел и стиснул в ладонях его край. Словно вернул на него утренний отпечаток. И ей показалось, что цветы закраснелись сильнее там, где коснулась его рука. Вот таким было его появление. — Мы едем в Троицу? Поездки с вами приносят мне счастье! — Он был возбужден, говорлив, и ей нравилось, как он говорит.

— Автобус скоро подъедет. Присаживайтесь... В чем успех? «Вектор», «Века торжество»... В чем его суть, объясните.

Ей и впрямь было интересно услышать. Не только о «Векторе», но и о нем самом. Понять, что делает его бодрым и радостным, непохожим на всех остальных, утомленных, раздраженных и желчных. В поношенном тесном костюме, в негреющем старом пальто он выглядел ярким, привлекал своей горячей энергией, силой, которую она впервые почувствовала там, в промерзшем автобусе, силой, направленной не на власть и господство, а на какое-то неведомое ей созидание. Вот об этом хотелось узнать.

— Ну что ж, начинайте, я слушаю!

Он улыбался, не решался начать. Оглядывал кабинетик, в беспорядке стоявшие стулья, кипу листков на столе. И вдруг, поймав ее взгляд, увлекся, захотел рассказать, нет, не о «Векторе», а о себе самом, о своих путях и мытарствах, о своем долгом неровном движении на мучительных дорогах, о долгих кругах, по которым шел, приближаясь к сегодняшней счастливой победе.

— Да, я вам расскажу!.. Как открылись глаза! Как я стал понимать! Расскажу вам три случая, три примера, когда я впервые понял, что имею дело с двигателями, работающими на человеческой энергии. Первый пример — это драка. Большущая драка в нашем уральском рабочем поселке!

Плоские бараки поселка, серые и седые в жару, словно их посыпали солью, и черные, скользкие в дождь, похожие на гнилые баржи. Кирпичное здание фабрики с закопченной трубой, с лязгом и громом железа. И глубокий, глухой овраг, разделявший поселок надвое. Здесь, у оврага, случались сражения и битвы — «верховских», из бараков на песчаном бугре, с «низовскими», из бараков у зеленого луга.

Драка зарождалась не сразу, а из малого туманного облачка, набегавшего на яркое солнце. Из молвы, из слуха, из невидимого, проникавшего во всех раздражения. В настроении что-то начинало бродить, вырабатывались тонкие яды. «Низовские» начинали задирать «верховских». Сначала словами, насмешками, напоминая о былых поражениях, обижая кличками их самих, их отцов и дедов. «Верховские» придумывали ответные оскорбительные и злые названия, выкрикивали через овраг глумливые стишки, порочащие честь вожаков.

Постепенно через овраг прекращалось движение. Поселок разваливался на два враждующих стана. На краях выставлялась охрана. Мало кто рисковал в эти дни пересечь пограничную линию, захламленный, протекавший по дну ручей. Даже на фабрику, в магазин ходили в обход. На кромках оврага с обеих сторон двигались сторожевые заставы. Мелюзга, пацаны вглядывались в сопредельную сторону, всякую новость несли своим вожакам.

Начинали готовиться к схватке — запасали оружие. Те, что постарше — некоторые уже побывали в тюрьме, — снимали велосипедные цепи, правили ремни с солдатскими пряжками, вшивали в кожаные мешочки свинчатку, отливали кастеты с шипами — запускали на полную мощь оборонную индустрию. И только ножи не имели хождения, запрещенные давнишним уложением, отмененные старинным, из прежних времен договором.

Мелюзга, к которой принадлежал он, Фотиев, точила и вязала рогатки, собирала камни, круглые разноцветные голыши, удобные для стрельбы. Помнил, как готовился к своему первому бою. Срезал на черемухе прочную, широко расставленную рогульку. Содрал с нее пахнущую зеленую кожицу. Выточил на белых, сочных рожках пазы. Рассек на длинные ленты красную велосипедную камеру. Выдрал из старого отцовского башмака кожаный язычок. И суровыми нитками, оттягивая, скручивал, скреплял узлами, соединял воедино дерево, резину и кожу. Создал боевое оружие. Вложил в кожу камень, и — звук попавшего в тесину заряда. Проблеск красной резины. Твердый удар в забор. Чувство свободы и силы — он вооружен, он боец.

Наконец нараставшее возбуждение, речи вождей, агитаторов, военные советы и сходки выливались в событие. В знак объявления войны. Война объявлялась по-разному. В стан врага проникали лазутчики — и из рогаток, молниеносным налетом, разбивались стекла в доме вождя. Или излавливали на лугу козла из враждебного стада, предпочтительно принадлежащего семье вожака. Козла обливали чернилами, красили, писали на боку похабное слово, и он отсылался хозяину как высший, нестерпимый вид оскорбления. Или устраивали засаду в овраге, брали в плен одинокого легкомысленного путника и, слегка поколотив, лишали одежды, мазали глиной и грязью, отпускали плачущего и стенающего, и он, посрамленный, в слезах, являлся к своим как вестник войны. И война начиналась.

Собирались на выгоне за поселком, где кончался овраг и начинался окруженный буграми луг. На этих буграх клубились две рати, два скопища. Вооруженные, ненавидящие, готовые в схватке разрешить давнишнее, доставшееся от предков соперничество. Былые противники, те, кто состарился, кто уехал из поселка, кто присмирел, обремененный семьей, — прежние бойцы передали свою вражду молодым, и те усвоили ее, продолжали вскармливать и вспаивать в драках, завещая новым, нарождающимся поколениям.

Начинали небыстро сходиться, топтались на месте, подбадривая себя смешками, сквернословием, залихватским свистом. На дальней еще дистанции выпускали вперед мелюзгу, стрелков-рогаточников. Те высыпали навстречу друг другу, упирались в траву ногами, натягивали что есть силы резину, посылали в воздух навесом урчащие, гудящие камни. Шквал камней срывался с рогаток, уносился с воем к противнику. А оттуда, с неба, летели встречные камни. И он, Фотиев, среди мелюзги, расстреляв первый запас снарядов, стоял на лугу, запрокинув лицо, и с ужасом видел, как сверху, деля небо, сыпятся камни. Стучат о луг, подскакивают у ног, попадают в кого-то — в тело, в голову, в кость. Чей-то истошный крик. Кто-то схватился за лоб. Кто-то побежал, пригибаясь, жалобно и трусливо повизгивая. И сзади, приказывая, ободряя, заставляя оставаться на месте, голос вожака — Корявого. Здоровенный, окруженный личной охраной, хрипит, матерится, посылает в бой новую рать — дымокуров.

Дымокуры — парни постарше. Когда два войска начинают сближаться, два зеленых склона стучат и гудят от ног, взмывают ремни и палки, тогда дымокуры мечут в набегающую цепь бутылки с горючей смесью, банки с керосином и сажей, обрезки горящих покрышек. Чадные огненные ракеты, клубы косматого дыма, бледные вспышки. И он, Фотиев, малый мальчишка, отставая, пропуская мимо орущий вал, замирает от восхищения и страха: среди огня и зловонных клубов столкнулись с хряском и стоном две стены, два войска. Сошлись в рукопашной.

Взлетает велосипедная цепь — звук ударяющего в плоть металла. Блеск начищенной пряжки — хлюпанье удара наотмашь. Стук деревянных палиц — хруст костей. Комья сцепившихся тел. Падают, переваливаются. Орущие жаркие рты. Расквашенный нос. Две красные бегущие струи. Выпученный, словно выбитый глаз. Рев, визг, скрежет. Две встречные энергии, две ненависти, две бурлящие, истребляющие друг друга страсти.

И с той и с другой стороны — военные оркестры. Хриплые жестяные дудки. Грохочущие из кровельного железа листы. Бубны из гулких банок. Свистки и сопелки. Грохот самодельных барабанов. Борются, сражаются две музыки, две какофонии. И в переломный, критический миг,

когда противник дрожит и гнется, начинает отступать или, напротив, иссякает энергия собственной рати, вступает в сражение вождь. Размахивая короткой дубинкой, с цепочкой, на которой болтается зашитое в кожу ядро, Корявый кидается в гущу, расталкивая своих и чужих, стремится навстречу чужому вождю Лапше. И их схватка, их страшный, до полусмерти, до проломленных черепов поединок решает судьбу всей баталии.

Он, Фотиев, в детстве участвовал в трех таких драках. Дважды побеждали они, «низовские», и только раз — «верховские».

Противника гонят в поселок, до первых бараков, не преследуя на улицах, где уже полно людей. Причитают истошно женщины, угрюмо набычились и готовы к драке мужчины. Лают и злятся псы.

Победители медленно, оглядываясь, вздымая кулаки, выкрикивая оскорбления и насмешки, уходят. Наградой им — пир в лесу. Жарят яишню, кур. Пьют водку. Тут же кругом девчонки, совсем еще маленькие, босоногие, и те, что стали боевыми подругами, возлюбленные вождей и героев. Смывают с любимых кровь, прикладывают примочки к синякам. Угощают, ублажают, пересказывают подробности сражения, восхваляют героев. Он помнит, как впервые в жизни во время лесного пира подошла к нему Зойка, подруга Корявого. Протянула стакан водки, и он со страхом, погибая, не смея отказаться, выпил жаркую, душную горечь. Мгновенно опьянел, и Зойка поцеловала его красными, мокрыми, хохочущими губами. Награда за храбрость.

Тут же, в лесу, в момент пира состоялась казнь труса. Его, Федюньку Сударова, привязали веревкой к сосне. Не били, а ругали, плевались. Всяк подходил и плевал. И та же красногубая Зойка подошла и метнула горсть горячего пепла в его плачущее, заплеванное лицо.

Фотиев рассказал Антонине, сидящей в вечерних сумерках, о той давнишней драке в поселке. О своем первом, почти детском прозрении. Уже тогда он почувствовал как реальность ту гуляющую, переходящую от человека к человеку энергию, в потоках которой крутился и действовал непонятной конструкции двигатель. Захватывал в свой змеевик людскую страсть, желание отличиться и властвовать. Жители поселка, умельцы, весельчаки, балагуры, любившие посиделки, хождение в гости, поддерживали из поколения в поколение этот сконструированный ими двигатель, превращавший свадьбы в побоища, посиделки — во вражду и насилие.

— Неужели вы дрались? — спросила она недоверчиво. — Эта ужасная драка, казнь, проломленные черепа... Эта тьма, сквернословие... Мне кажется, вы так далеки от этого, это так не вяжется с вами!

— Я произошел оттуда. Там мои родители, соседи, друзья, весь мой поселок. Там жили очень хорошие люди, чистые, готовые последнюю рубаху отдать. Но одновременно сколько из них пропало по тюрьмам, сколько спилось! И свет, и тьма — все там было. Все есть! В народе все есть!

— Ну вы дальше рассказывайте. Вы сказали, еще был случай... — Ей хотелось понять, что для нее в этом знании, непонятном и странном, о котором он говорит. Как оно, это знание, объяснит ей мучительный, непонятный мир, в котором ей так одиноко и тускло. И где она, Антонина, одна среди союзов и распрей, в бессчетном кружении лиц, в муках, в поисках правды, в своем непонимании мира. — Вы хотели еще рассказать. Еще про какой-то случай...

— Еще один случай, из ранних. Когда я жил на разъезде...

Малый разъезд в предгорьях. Голая, лысая степь, и на ней колея. Тонкие стальные паутинки, зацепившиеся за пыльное небо. Пустое русло ручья в серых валунах. Мост через русло, ферма на бетонных опорах.

Он работал на разъезде в ремонтной бригаде. Подваливали щебень в насыпь, трамбовали вибратором. Меняли треснувшие шпалы. Подкручивали гайки на стыках. Окончив дневные работы, бригада уезжала с разъезда, а он оставался на ночь. Тут же, в единственном доме, жили две семьи — обходчика и дорожного мастера. В вечных пререканиях и распрях. Ссорились их жены и дети, их собаки и петухи. Сами они, напившись вина, порознь, каждый на своей половине, сходились с руганью и угрозами. Хватались за грудки, поглядывали дико на ломы и кувалды,

сваленные у барачной стены. Фотиев, глядя на них, тосковал от этой не имевшей причины вражды. И хотелось крикнуть: «Что вы делаете, люди русские, в этой безлюдной азиатской степи? Зачем не разбежитесь от греха? Почему нет у вас для другого доброго слова? В чем ваш бог, ваша правда?» Они были ему чужие, и мужчины, и женщины, и крикливые неумытые дети, и злобные плешивые кобели.

Тот вечер, как многие. Стук товарных составов. Мутное солнце садилось в душную степь. Шли тучи, грязные, пыльные, словно волокли огромные, отягченные ношей носилки. И опять разразилась ссора.

Сначала подрались ребятишки. Сын объездчика расквасил нос сыну дорожного мастера. Окруженные своими братьями, сестрами, они тузили друг друга. Хватали с земли горсти гравия, швыряли, выкрикивали: «Ж... куриная!», «Дерьмо собачье!», и цепные кобели хрипели на привязи, раскрывали слюнявые красные пасти.

Затем из барака, с двух разных концов, выскочили женщины. Обходчица и жена дорожного мастера, обе сухие, простоволосые, пропитанные до черноты креозотом. Растащили дерущихся, а сами заступили на их место. Растрепанно размахивая руками, заходясь клекотом, поносили одна другую:

— А ты воровка, цыганка, мое зерно воровала! Воровка поганая!

— А твой-то, волчище, знаешь мне что говорил? «Надоела, говорит, мне моя кость собачья. Сколько, говорит, мне ее грызть можно? Приходи, говорит, ночью к мосту».

— Потаскуха... Подзаборная...

— А я тебе говорю: если твой щенок еще раз моего Митьку пальцем тронет, я ему кувалдой башку разобью!

Они бранились, злые, худые. Ребятишки вторили им. И рвались на цепях кобели.

Скоро явились мужчины, грязные, потные, изнуренные работой, жарой. Гремели рукомойниками, каждый на своей стороне, голые по пояс, с красными шеями, с буграми мышц, с небритыми колючими лицами. Их жены собирали на стол, продолжая покрикивать, повизгивать, — заводили мужей. Те крепились, угрюмо молчали, утомленные, голодные, не имея для ссоры сил. Но, поужинав, выпив водки, захмелели, вспомнили все обиды, ощутили себя забытыми богом на этом проклятом разъезде и сцепились в тяжелой брани. Стояли у барака в сумерках на сорной сухой земле. Лаялись, пьяные, страшные.

— Я дом спалю, чтобы тебя, суку, сжечь, и ведьму твою, и твоих ведьмежат! Сам сгорю, но и тебя, суку, спеку!

— Я те спеку! Я те костыль в кость забью!

Они орали, сжав кулаки. По небу бежали тучи, словно бегом проволакивали длинные липкие носилки. Мерцало и вспыхивало.

Фотиев укрывался в сарай, слушал брань и первые тяжелые удары дождя о крышу. Чувствовал немощь, тоску. Зачем он здесь, в этой глухой, убивающей душу степи, когда где-то есть большие нарядные города, живые, яркие люди, глубокие мысли и чувства, искренние, чистые дружбы? Зачем в этой тьме кромешной проходят его ночи и дни?

Так думал он, лежа в сарае, глядя в открытую дверь, слушая гул и топот дождя. Словно из степи выбегали, взбирались в предгорья темные сутулые великаны. При вспышках молнии вся степь — в бегущих великанах.

Он проснулся в ночи от рокота земли. Казалось, шел один непрерывный тяжелый состав, сотрясал степь. Кто-то пробежал, прохлюпал мимо сарая. Раздался стук в окно, и женский голос, жены обходчика, дежурившей в будке, пропускавшей ночные товарняки, прокричал:

— Василь, вставай! Беда! Вода моет мост!.. Беда, говорю, потоп!

Зажегся фонарь. Осветил мокрый до пят плащ. Прогрохотали сапоги. Клин света, наполненный блестящими струями, стал удаляться туда, где ревело и выло. Фотиев накинул ветошь, валявшуюся в сарае дерюгу, кинулся следом.

Прибежал к мосту. Не было сухого русла, пыльного жаркого желоба. В тусклых вспышках неба мчался, бурлил, горбился злой поток. Обходчик с лопатой метался у бетонной опоры. Его жена направляла белый

скользящий луч, и в луче кружились воронки, оплывала у опоры земля, словно поток выгрызал и проглатывал сочные мокрые комья, обнажая бетонный столб.

— Щебень, щебень кидай! — крикнул обходчик Фотиеву. — А ты,— приказал он жене,—беги, подымай остальных!

И та, поскальзываясь, путаясь в полах плаща, убежала, толкая перед собой белую лопасть света.

Они работали в дожде, скрежетали лопатами, сыпали щебень в промоину. Поток жадно глотал камень, уносил в глубину, обнажая опору. Над ними, промерцав глазницей, прошел тяжелый состав, напрягая двутавры моста.

Зыркая фонарями, прибежали дорожный мастер с женой, оба без плащей, в белых рубахах. Прямо из постели подняла их обходчица, привела к мосту.

— Не так! — крикнул, набегая, мастер, крутя фонарем, высвечивая мокрую, дикую, растрепанную голову обходчика, его черное, словно в нефти, лицо.—Шпалы надо! Сперва заклинить, а потом засыпать! Айда таскать шпалы!

Таскали старые, сложенные в поленницы шпалы. Мастер, и Фотиев, и обе женщины. Сволакивали тяжелую шпалу, неслн, спотыкаясь, к потоку. Втыкали в промоину, в крутящееся черное жерло, и вода выталкивала шпалу обратно, ставила ее дыбом и уносила. А они опять карабкались по скользкому склону, пропуская двух вымокших простоволосых женщин, волочивших тяжкую ношу. И одна, надрываясь, говорила другой:

— Еще маленько!.. Маленько подыми!

Обходчик поскользнулся, рухнул в поток, как был, в сапогах и плаще. Закричал, забултыхался, и дорожный мастер кинулся следом, сгреб его, поставил на ноги, и оба, обнявшись, шатались в воде. Женщины светили на них фонарями, а они, помогая друг другу, выбредали на берег.

И снова, слепя прожектором, прошел над ними состав. Машинист протянул по мосту бесконечный тяжелый хвост.

Наконец две шпалы уперлись в грунт, зацепились одна за другую, встали колом. Подтаскивали новые крепи, громоздили завал, чувствуя, как он содрогается, шевелится, готовится рухнуть. Сыпали, наносили на лопатах, в брезентовых плащах, валилн щебенку, укреплялн опору, заваливали ее обнаженную стенку.

Прибежали дети, все, даже самые маленькие. Выстроились хрупкой цепочкой, передавая ведра со щебнем. Фотиев, принимая из детских рук ведро, видел, как пылает небо, пробегают по воде ртутные отблески, слышал рев воды, хрипы и крики людей. И ему казалось—здесь, на безымянном разъезде, у готового рухнуть моста, совершается чудо. Сотворяются новые люди, с новым пониманием всего—себя, земли, неба, своей угрюмой работы в угрюмом мире. Сквозь усталость и холод был благодарен, что они, эти люди, приняли его в свой хоровод, в свои стоны и хрипы. Дали ему место в своей кромешной работе.

Над ними с тусклой цепочкой окон прошел пассажирский поезд. Люди в вагонах спали, не ведали о них, у моста.

Наутро, когда дождь поутих и сбегающий с гор поток стал мелеть, со станции подошла дрезина с платформой. С нее спустили бульдозер, сошла бригада ремонтников. А они, измызганные, в изодранной в клочья одежде, с кровавыми волдырями, с занозами в стертых ладонях, женщины, мужчины и дети, вернулись в барак. Не хотели расходиться. Собрались у дорожного мастера. Умытые, в чистых сухих рубахах сидели за общим столом. Хлебали горячую, обжигающую зубы похлебку. Пили водку из маленьких рюмок. Фотиев, не умея себе объяснить, чувствовал—они все провернулись в огромном колесе из бури, потопа, яростной непосильной работы. И в этом деянии, в преодоленной совместно беде, изменились. Исчезла вражда, а вместо нее возникло единство и братство. И все оии, захмелев, пели нестройно и истово про мороз, коня, красавицу жену, про какую-то близкую, возможную, сокрытую в каждом любовь. И Фотиев любил их этой любовью.

— Я понимаю, очень!—Антонина слушала его, слушала себя, свой отзвук, свое собственное знание. Сравнивала с тем, что услышала.— Я ведь жила на границе, на заставе. Знаю, как во время беды люди соединяются, забывают обиды. Всякая ненависть их оставляет.

— Именно это—«ненависть их оставляет»! Я думаю, люди и на земле-то уцелели, не сгинули, потому что «ненависть нх оставляет». Когда-то на планете не было кислорода, одни ядовитые горячие газы. За миллионы лет крохотные зеленые клеточки рождались, и умирали, и надышали для нас кислород. Так же и люди в своих отношениях, чувствах во все века, во все поколения постепенно «надышали» доброту. Шли дикие войны, племена истребляли друг друга, казнили пленных, приносили кровавые жертвы, стиралн с лица земли города и царства. Но одновременио проживались бесчисленные безымянные жизни: матерей, любящих детей, умудренных старцев, и этимн жизнями сотворилась доброта. Ее было больше, чем ненависти, и люди уцелели. Продолжали среди своих боев, насилий накапливать доброту. Вся история человечества, я думаю,—это не строительство храмов, дворцов, не создание государств и империй, а накопление доброты и береженья друг к другу. Главное, что мы строим,—это не машины и станции, не космические корабли, а отношения друг с другом. Главный смысл нашей земной деятельности в этой части Вселенной—увеличение доброты и любви. Вот о чем мой «Вектор». Он стремится соединить людей так, чтобы увеличить их доброту...

Она слушала его внимательно, чутко. Узнавала в нем себя. Свои догадки и мысли, которыми ни с кем не делилась. Боялась показаться смешной и наивной. Просто не было рядом того, с кем бы могла поделиться. А вот с ним бы могла.

— А третий случай из ранних? Какой там двигатель действовал?

— Третий случай, когда двигатель был скверно, ложно построен. Сам сломался и сгубил драгоценное топливо...

Молодежная стройка в тайге. Эшелоны ударников, прибывающих по комсомольским путевкам. Валили тайгу, сжигали гнилые деревья в огромных хрустящих кострах. Рыли парные, отекающие водой котлованы. Вбивали бетонные сваи. Где недавно качались леса, дымились туманом болота, там ровные квадраты свайных полей, бетонки, трассы, фундаменты. И уже приближались по рекам, двигались по железным дорогам на открытых баржах и платформах сияющие цилиндры реакторов, серебряные башни и сферы. Опустятся в тайгу на опорах, замерцают вспышками сварки, и огромный комбинат нефтехимии подымет свои купола и чаши, сделает первый огненный вдох.

Работы проходили по графику, складывались одна за другой. Бригады, управления, тресты ловко хватались за дело. Самый трудный, начальный период, из неразберихи и хаоса, был позади. Люди обжили стройку, ощутили ее своей. И как знак поощрения стройке вручили знамя.

На вручение приехал министр. Народ собрался под небом, тут же, на стройплощадке. Тысячное многолюдье, трнбуна, сияющий медью оркестр. По трассе взад и вперед разъезжали бетоновозы, крутили в квашнях раствор, чтобы вылить его на глазах у министра под первый фундамент реактора. Бригада бетонщиков в новеньких касках, с вибраторами, все молодые и бравые, готовилась встретить этот первый счастливый бетон.

Фотиев со всеми стоял в толпе, смотрел на транспаранты, оркестр. Ждал с нетерпением министра. Слушал вокруг веселые шутки.

— Бетонщики, как хоккеисты! Кинь им шайбу — и начнут гонять вибраторами!

— Хочу на министра взглянуть! Специально в кино не пошел. Никогда не видел министров.

— И он тебя не видел. Вот и познакомитесь!

Поглядывали на дорогу, где должны были показаться машины. Было солнечно, празднично, весело.

Прошел час, а министра все не было. Палило нещадно. Собирались жаркие, душные тучи. Жгло и томило. Люди устали, взмокли. Кто был без шапок, повязали себе на головы носовые платки. Узелок по углам—

и платочек на голову. Роптали, язвили. Кто-то пытался уйти. Главный инженер, испекшийся, раздраженный, выскочил на трибуну, в микрофон крикливо приказал оставаться на месте.

— Комсорги! Парторги! Держите людей на месте! Отвечаете за каждого головой!

В толпе роптали.

— Мы не пленные, чтоб нас не пускать!

— По головам нас считают. Что мы, рогатый скот?

— Пусть сам дожидается министра! Мы не холуи! Хоть бы воды привез!

— Будет тебе вода. Вон туча!

Продолжали стоять тесно, душно. Бетонщики сняли каски, отирали мокрые лбы. По трассе взад и вперед, обреченно крутя квашнями, ездили миксеры. Министра не было.

Хлынул дождь, бурно, хлестко. Накрыл стройплощадку, остатки тайги, трибуну, медные потускневшие трубы оркестра, хлюпающую толпу. Шевелились, давились, бежали, кто к вагончикам, кто в автобусы, набивались в кабины грузовиков и бульдозеров.

Главный инженер, едва различимый в дожде, надрывался в микрофон:

— Товарищи, прошу не расходиться!.. Комсорги! Парторги! Товарищи, призываю вас остаться на месте, проявить сознательность!

Толпа колыхалась в дожде, грозно, недовольно гудела:

— Тысяча одного не ждет!

— Хоть ты министр, а совесть надо иметь!

— Пусть холуи дожидаются, а мы пошли, хлопцы!

— Пошел он знаешь куда, твой министр!

Фотиев видел, как разрушается, гибнет вся сконструированная затея. Обращается в свою противоположность. Улетучивается, пропадает бесследно драгоценное, напрасно откупоренное вещество. Вместо него вырабатываются горькие яды.

Наконец показались машины: «Волга», кортеж «уазиков». Подкатили к толпе. Из «Волги» вышли министр, руководство строительством. Над министром раскрыли зонт, и он, полный, тяжелый, косолапо, понуро пошел к трибуне, прикрытый зонтом от ливня. На мокрых ступеньках поскользнулся, едва не упал, ухватился тяжело за перила.

— Да он, кажись, пьяный! — говорили в толпе.

— Вон лицо-то, как бурак красный!

— А бледных в министры не берут. Ты вон бледный, ну и шофери, пока не покраснеешь!

— Хлопцы, кто бы над нами зонт подержал!

Министр говорил в микрофон что-то долгое, хриплое, заглушаемое ливнем, мембранным гулом. Кончил речь. Ему поднесли развернутое знамя. Он передал его в руки директора. Захлопал. Оркестр грянул марш. Трубы изрыгали медные булькающие водяные ревы. Подкатили бетоновозы. Бетонщики изготовили вибраторы, но раствор из миксеров не пошел — остыл, свернулся. Министр подождал, убедился, что показательной работы не будет, сошел с трибуны, прошествовал под дождем к «Волге» и укатил.

Толпа, кляня все на свете, расходилась. Фотиев знал: свернулся в камень, застыл, закупорил машину не просто бетонный раствор, а летучая энергия людского порыва, стремление к коллективному делу и благу. Отвердели, свернулись в недвижный ком, в котором остановилась, омертвела, замуровала себя стройка.

Позже от шофера директорской «Волги» люди узнали: министр опоздал, потому что стрелял гусей в соседнем заказнике. И это открытие довершило дело. С этого дня что-то сломалось на стройке, все стало валиться и рушиться. Срывались планы, опаздывало оборудование, начались аварии, разбегались люди. Ударная стройка увязала в топях. Вместо пяти плановых лет, отведенных на пуск комбината, потребовалось десять. Да и потом, после первой продукции, продолжались неувязки и сбои.

Спустя много лет, давно покинув стройку, кочуя по городам и весям, Фотиев натыкался в газетах на сообщения о комбинате, все больше

критические. Знал — начало тех неудач крылось в забытом всеми двухчасовом, бессмысленном, оскорбительном для рабочих ожидании, когда настрелявший гусей министр опоздал на вручение знамени. Тогда-то и был погублен и сломан малый, неверно сконструированный двигатель, произошла утечка энергии, породившая другие, невосполнимые утечки и траты.

— Вы сказали, вам удалось понять, удалось совершить открытие. — Антонина стремилась уразуметь, кто он ей, доверчиво излагающий свои сокровенные мысли. Кто для нее этот человек у окна, окруженный красноватыми лучами вечернего солнца. — Вы сделали открытие, глубокое, настоящее, — мне Менько говорил. Но как? Как можно сконструировать счастье? Разве счастье — это машина? По-моему, оно редкое, не для всех чудо. Либо оно есть, либо нет.

Он дорожил ее вниманием, ее интересом. Боялся, чтобы они не исчезли.

— Я предчувствовал — в человеческих отношениях скрывается истина. В столкновениях работающих людей, в их страстях, в жажде денег, славы, в отвращении к труду или упоении заложен чертеж, механизм. Его можно выделить, вырвать из хаоса, начертить на бумаге, усовершенствовать. И возникает знание, открытие! И я чертил, чертил, строил! Не хватало образования, не хватало опыта. Я исписал десятки тетрадей. Построил тысячи схем. «Бреды» — я их так называл. Я ими бредил. Писал во сне. Писал под землей, в шахте. В самолете, когда летел над Сибирью. Мои «бреды» были предчувствием открытия. К тому времени мне удалось понять простые, главные истины.

— Какие?

— Людям свойственно действовать во что бы то ни стало, везде, всегда им свойственно проявляться в действии. Это раз. Люди хотят, чтобы их уважали, выслушивали их мнение, считались с этим мнением. Это два!.. Люди хотят действовать сообща, состязаться, сравнивать свои возможности, умения, свои дарования. Хотят, чтобы честно оценивался вклад каждого в общее дело. Это три!.. Люди хотят, чтобы об их работе, о победах и жертвах знали другие, многие, в идеале — все. Чтоб работа была на виду. Четыре!.. Хотят видеть всякое дело завершенным, доведенным до совершенства. Передать его в руки общества и народа, чтобы им пользовались во благо. Хотят, чтобы личные цели каждого совпадали с целями народа и общества, служили высшим народным целям. Это пять!.. Хотят, чтобы была сверхзадача, пусть отдаленная, почти недоступная, невыполнимая, но была направлена на высшее добро, служила высшему благу. При этом добро понимается не только как выгода и благо себе, своей семье, своим близким, но и дальним, стране, всем людям, всей природе, в идеале — всему мирозданию. Это шесть!.. Вот какие простые истины я открыл, перепробовав массу работ, познакомившись с массой людей. Их, эти истины, я и заложил в мой «Вектор», в мой социальный двигатель.

— И этим достигается счастье? Конструируется счастливая жизнь?

— Счастье, блаженство — это всегда идеал. Это и есть сверхзадача, огромная, удаленная на тысячи лет. Она как синее небо в ветках весенней березы. Светит в душу из бесконечной высоты. Недостижима, прекрасна, желанна. К ней нужно стремиться. Когда-нибудь, быть может, мы достигнем лазури. Станем летать в ней, как ангелы. Познаем бессмертие, воскресим умерших. Но до этого далеко. Я предлагаю сделать малый шаг на огромном пути...

Он умолк, но ей казалось — молчание было продолжением его речи, которую он говорил не вслух, про себя. В этом молчании продолжались неслышные ей слова. Будто он от нее отвернулся, забыл о ней. Говорил кому-то другому, способному его понять и принять. И она испугалась, что это не она. Что он от нее удалится. Кто-то другой, не она, важен ему сейчас.

— И как стремиться к этой лазури, к воскресению мертвых? — Она требовательно возвращала его к себе. — Столько кругом несчастья, бедности, лжи и насилия! Как быть с окружающим нас несчастьем?

— В каком-то смысле мы все есть жертвы неточно сконструированных социальных машин.— Он снова обрел дар речи, а то немногое, с чем он обращался не к ней, так и осталось для нее недоступным.— Ведь наше царство-государство, наше общество, наш социализм были задуманы как огромная, небывалая, разумно спроектированная социальная машина, оптимальная, охватывающая все области человеческого бытия — экономику, культуру, семейную и индивидуальную жизнь. Наш строй заложен как колоссальный, на основе теории и высшего знания, двигатель, исключающий утечки социальной энергии, ускоряющий творчество, приближающий цветение. Так был задуман, но не хватило знаний. Конструирование шло при недостатке знаний, недостатке времени, нехватке конструкторов. Шло наспех, иногда вслепую. Сопровождалось разрушением прежних, уже сконструированных человечеством, хорошо и полезно работающих. Тупик, в котором мы вдруг оказались,— это трагедия неверного, неточного общественного конструирования. Трагедия малого знания, отсутствие теоретиков и теории. Это трагедия произвола, выдавшего себя за разум и творчество. Эту трагедию необходимо теперь одолеть. Необходимо обратиться к теории конструирования социальных машин.

— А разве есть такая теория? Есть теоретики?

— Она создается. Ее можно применять повсеместно. Например, клуб одиноких людей. Или расчет зенитно-ракетного комплекса. Или бригада монтажников. Или спортивная команда. А также целый завод. Или город. Или экономический регион. Вся экономика, все общество в целом. Множество больших и крохотных сконструированных социальных машин. Социальная инженерия — вот что их порождает. Многие из них появляются на свет мертворожденными. Тут же умирают и рассыпаются. А это всегда катастрофа, большая или малая. Всегда есть жертвы таких социальных поломок. Иногда в катастрофе самолета, атомной станции, подводной лодки заложена катастрофа социальная. Чтобы их не было, нужна теория, глубокое, уникальное знание. Вот об этом я и радею!

— Вы владеете этой теорией?

— Есть люди, крупные умы. Я называю их — «Великаны». Теория, которую они создают, позволит конструировать множество больших и малых сообществ, направленных на творчество. Все они, собранные и запущенные, каждый на своем месте, на своем уровне, на своей орбите, сведены в системы, в конечном счете в одну огромную, живую, дышащую жизнь, все они призваны увеличивать в народе социальную энергию творчества, здоровье, благо и мощь, устремление на познание. Только такими, оздоровленными, просветленными, исполненными глубины и добра, установив бесчисленные, не угнетающие, а созидающие связи друг с другом, с природой, с былым и грядущим,— только такими мы выйдем в космос. Такими мы там нужны. Такими он нас и примет, а не испепелит, не превратит в облачко звездного газа, затуманившего малый обезлюдевший участок Вселенной. Вот в чем наш идеал! Вот в чем наша лазурь! Вот что заставляет работать и верить!..

И она верила. Многое осталось для нее непонятным. Многое было внезапным и застало врасплох. Но она верила. Понимала его не умом, а верой. Стремилась к нему. В том, что он ей сказал, в том, что скажет еще, было долгожданное, почти невозможное, что жило в ней как предчувствие.

Она встала, пошла к нему, еще не зная, что скажет, в какие слова облечет свою веру. Но в дверь постучали. Просунулась голова в ушанке. Шофер извещал, что «рафик» готов. Можно было двигаться в Троицу.

Глава двенадцатая

Они катили в маленьком теплом автобусе, она на переднем сиденье, он сзади. Молча смотрели в окно. В легкой синеватой пурге мелькали вечерние ели. Открывалось близкое белое озеро, просторное, чистое. Антонина оглядывалась, и он улыбался. Отворачивалась, тоже начинала улыбаться, зная, что и он улыбается.

Впереди затемнели избы, показалась белая церковь. Они въехали в Троицу. Отпустили на околице машину, а сами направились к церкви.

Церковь была не древняя, поздней постройки, одна из последних, возведенных перед тем, как в России их перестали строить. Приземистая, с большим насупленным куполом, с малыми, похожими на грибки куполочками. Она была несравнима с белокаменными, резными соборами Владимира, с шатровыми, в изразцах и глазурях церквами Ярославля, ампирными, бело-желтыми храмами Москвы. Она не значилась в хрестоматиях, не являлась историческим памятником. Но в ней были своя красота, своя мука и боль.

Снег за оградой убран. На сугробе чернела горстка выброшенных из печки углей, а зеленая дверь, закрытая на щеколду, была не заперта, без замка. В кованые ушки вставлена щепка.

Отворили щеколду, вошли в храм. Здесь было холодно, но все же не так, как снаружи. Черная железная печь продолжала еще остывать, еще присутствовало, не улетело дыхание побывавших здесь недавно людей. Сквозь малое оконце косо и низко проникал луч солнца, горел на полу, как уголь.

Войдя, они тут же разделились, удалились в разные стороны. Антонина сделала шаг и остановилась, оцепенела перед красным упавшим на пол лучом. Следила за его движением, за плавным скольжением в дальний сумрачный угол. Фотиев медленно двинулся вдоль стены, осматривая росписи, вглядываясь в мерцающий иконостас.

Церковь была расписана масляными глянцевитыми красками, плотно, сочно. Повсюду по стенам и сводам были смуглые лики, золотистые нимбы, фигуры святых и ангелов. Высились горы, зеленели долины, синели моря и озера. Овцы, лошади, львы населяли землю. В небе летели гусиные стаи. В озерах плескалась рыба. А в море скалил пасть кит. Все было ярко, нарядно, наивно. Живописец, неумелый, но яростный, не церковный, а народный художник расписал эту церковь, как расписывают сундуки и шкатулки, клеенчатые ковры и лубки.

В этой церкви, думал Фотиев, было нечто от дома, от уютного людского жилища — эти белые рушники и узоры, теплая печь, остатки пирога на столе. Было нечто от кладбища — иконы «Успенье», «Положение во гроб», большое распятие, венчик бумажных цветов, хвойная зеленая веточка. Было нечто от библиотеки — стопа толстых книг в ломаных кожаных переплетах, одна открыта — строчки, как черное, крестами шитье, алая горячая буквица. Другая книга в медном окладе лежит отдельно, тускло сияет, как слиток. Было в этой церкви нечто от театра — иконостас похож на ниспадающий занавес, фигуры святых и ангелов — как хороводы танцующих. Было нечто от магазина, от лавки — захватанная конторка, россыпь монеток, связка свечей на продажу. И все это вместе создавало единство жизни, напоминало ковчег или небесный корабль, устремленный вдоль красного указывающего движения луча.

Он понимал — ему не дано разгадать таинственное устройство машины. Не дано раскрыть золотую в окладе книгу, управлять кораблем.

Антонина стояла одна перед красным отпечатком солнца. Медленно передвигалась за ним, не отпускала. Луч пролетел сквозь мировую пустоту, сквозь воздух земного неба, прошел над ледяными полями, озаренными пустыми лесами, упал ей под ноги в церкви. И она медленно шла за ним.

— Взгляните! — услышала она.— Взгляните! Посмотрите на эту роспись. Вот она, битва с ордой неведомой! Вот она, рать с ордой! — Он был возбужден. Показывал ей стену с мерцавшей в сумерках росписью.

Бревенчатый крепостной частокол. Деревянные, рубленые, медового цвета храм, крепостные башни, княжеский терем. Из ворот истекает конное и пешее войско. Шлемы, доспехи, мечи. Стяги и святые хоругви. На коне восседает князь. Монахи, женщины, дети провожают уходящее воинство.

— Это старые Броды! — Фотиев проводил рукой над кровлями храма и терема, над посадами деревянных домов.— Бродичи уходят на рать!

Войско течет по дороге, верховые, пешие ратники. Бородатые лица под шлемами. Вьется над князем стяг. Светлеет лик Богородицы. Летят

над дорогой птицы. За горами, за реками чуть виден оставленный город, луковка храма с крестом.

Впереди поднимается тьма. Мохнатая угрюмая туча. Из тучи снопы лучей, белые, ядовитые, ртутные. Другое, встречное воинство. Без коней, мечей, кольчуг. Лиц не видно, решетки на лицах. На груди зеркала и чаши. Из каждой вырывается облако пара, излетает отточенный луч.

— Орда неведомая... Что за орда? Может, и впрямь из космоса?.. Битва с ордой неведомой. Лучники князя пустили по воздуху стрелы, но неведомой силой стрелы повернули обратно, жалят воинов князя. Конники помчались вперед, направили копья, но из чаш на груди ордынцев излетели лучи. Падают кони, рассеченные пламенем. Всадники превратились в костры. Все поле в гибнущих воинах, в истерзанных конях и наездниках.

— Побоище страшное!.. Их всех пожгли и спалили... Молниями забросали. Говорят, только один вернулся с побоища. Какой-то Федор-воин...

Возвращается войско из похода. Везут на телегах убитых. Ведут за поводья коней. Седла пустые. Не видно князя. Не многие вернулись с побоища. Вдовьи рыдания и плачи. Звонарь трезвонит в колокол. Вдалеке, над крышами изб, над кровлями храма и терема, — черная туча, ртутные жала лучей.

— Как вы тогда сказали? — Антонина всматривалась в гаснущие, едва различимые росписи, с которых исчезали последние отсветы дня. И только ангел над картиной побоища в синем плаще с белыми крыльями был различимый, сияющий. — Какая строка из летописи?

— «В лета шесть тысяч девятьсот сороковом году от сотворения мира на Бродах сеча велика бысть с неведомой ордой. В той сече погибоша мнози бродичи...»

— Погибоша... — тихо повторила она.

Они уходили из церкви. Она прихватила с собой, сунула в карман малый свечной огарочек.

Дом старика Кострова светился желтым окном. Длинный, покатый, был похож на вмороженный в лед кабель. Тихо скрипел, постанывал, вовлеченный в нескончаемое круженье по безжизненным черным пространствам.

— Кто такие? — спросил из-за двери глухой недовольный голос, когда Антонина и Фотиев поднялись на крыльцо, стукнули железной щеколдой.

— Откройте, Гаврила Васильевич, а то замерзнем! — Антонина, наслышанная про крутой стариковский нрав, не решалась тут же, на крыльце, назваться, поведать о цели их посещения.

Дверь отворилась. В тускло освещенных сенях возник старик — худой, костлявый, в высоких негнущихся валенках, в косматой безрукавке, в очках на голом огромном лбу. Серые глаза смотрели недоверчиво, строго. Брови торчали в разные стороны густыми пучками. Нос нависал над провалившимся узким ртом. В облике его было что-то от худой нелетающей птицы.

— У нас к вам поручение, Гаврила Васильевич.

— Проходите в дом, там расскажете.

В комнате, куда они попали с мороза, было натоплено, и комната эта не походила на деревенскую избу. В углу белела кафельная печь-голландка с медной вьюшкой. На стене висели старинные с эмалевым циферблатом часы, заключенные в хрустальный футляр, в котором раскачивался медный тяжелый маятник. Тут же лежали бумаги, большая раскрытая в клеенчатом переплете тетрадь. Еще один медный предмет, секстант, стоял на письменном столе. В застекленном шкафу было тесно от книг. Над столом три портрета в рамах, из тех, что входят в школьные пособия, — Александр Невский, Шаляпин, академик Вернадский. И рядом большая под стеклом фотография — молодые мужчина и женщина, пышноволосые, ясиолицые, и с ними мальчик с нежным, тонким лицом. Все трое прижались друг к другу, неразлучные, неразделимые, окруженные чуть заметным сиянием.

В этом доме с обилием книг и бумаг, с медным для изучения солнца прибором, жил учитель. В этом доме с немытыми, затоптанными полами, с нечищеной позеленевшей вьюшкой, с флаконами лекарств на столе жил одинокий старик. И его грозный орлиный облик был обликом одинокого, больного, нахохлившегося от обид и огорчений старца. Таким увидела его Антонина.

— Гаврила Васильевич, простите за вторжение, но дело уж очень спешное! — Антонина торопилась сказать, боясь, что старик перебьет и рассердится. — Видите ли, все жители Троицы получили свои ордера, уже посмотрели квартиры. А вы никак не соберетесь. Профком стройки поручил мне навестить вас и поторопить. Уж вы не задерживайте нас, Гаврила Васильевич!

— Поторопить? — Все в лице старика вдруг задрожало — зрачки, мохнатые брови, кончик носа. И Антонина испугалась, не вспышки гнева, а гибельного для старика, непосильного взрыва чувств. Приготовилась его успокаивать. — Поторопить? Мало меня всю жизнь торопили? В атаку бежать — торопили! Заем подписать — торопили! На выборы голосовать — торопили! Митинг проводить — торопили! Кукурузу под снег сажать — торопили! Усадьбу Венецианова на кирпич разобрать — торопили! И теперь торопите? Чтоб быстрей из родного дома съехал и вам его на разоренье отдал? За вашим ордером побежал, за своей похоронкой? За этим пришли?

— Да нет же, Гаврила Васильевич, — мучилась, не умела найти слов Антонина. — Мы просто пришли напомнить. Времени не так уж много осталось, и профком, и администрация стройки напоминают вам. Приглашают приехать. Мы и с сыном вашим, с Владимиром Гавриловичем, говорили. Он обещал вам напомнить.

— Вы — враги! Вы — посланцы властителя!.. Вы — враги и пришли в мой дом! — Старик гневно блистал глазами, грозил им скрюченным пальцем. Антонину поразил этот пророческий жест, старомодное слово «властитель».

— Да никого мы не посланцы, — пробовала она пошутить. — Наш властитель — секретарь профкома, смешной, безобидный, на козлика похож!

— Веселитесь? Смеетесь? Чувствуете свою ненаказуемую власть? — с клекотом обрушился на нее старик, продолжая вонзать свой палец, двигая костлявыми, худыми плечами. — А ведь вас будут потом ненавидеть! Дети ваши и внуки будут ненавидеть. Вас уже теперь ненавидят. Боятся и ненавидят! Неужели вы не чувствуете, как вас все боятся? Зверь в лесу, рыба в реке, трава в лугах? Все чувствуют ваше приближение и замирают в ужасе. Люди, животные, всякая жизнь, всякий камень слушают, как вы приближаетесь, и в страхе бегут или прячутся. Неужели вам не страшно жить среди жизней, которые вы истребляете?.. Вы пришли сюда, в Троицу, полюбоваться на дело рук своих? Полюбоваться на место завтрашней казни? За этим пришли?

— Мы об ордере. Нельзя вам здесь оставаться! — пробовала возражать Антонина, понимая безнадежность своих увещеваний, безнадежность разговора и встречи. — Вам нужно будет уехать, потому что в мае начнут затопление.

— А я не уеду! Останусь! Затопляйте! Останусь и утону! Может, тогда услышат? Я зову, криком кричу, не слышат! Письма пишу, каждый день по письму, не слышат. В район пишу. В область пишу. В Москву, в Кремль. Писателям наиизвестнейшим, ученым наивиднейшим — не слышат! Сыну родному пишу, и он не слышит!.. Зову: спасите, до конца не губите, одумайтесь! Дайте уцелеть тому, что еще уцелело! Нет, никто не слышит. Не хочет слышать! Тогда утону! Вот здесь, в доме, камень на шею привяжу и останусь. Пускайте воду! Живого не хотели слышать, утопленника услышат! На Руси всегда так: пока жив, не желают слышать, а умер — сразу услышат. Голоса мертвых — вот кто у нас говорит! Вот и я решил: мертвым буду услышан!

— Отчего же мертвый? Я хочу вас слушать живого. — Фотиев внимательно, ясно глядел в лицо старика, не заражаясь его горячей клинкушечьей речью, но взволнованный ею, обращенный к страдающему старику своим стремлением понять, пытливым, готовым к отклику взглядом. —

Я с вами согласен. Мы идем и несем впереди себя разрушение. Нас узнают по гулу разрушений. Один священник говорил, на Страшном суде нам предъявят счет за каждое загубленное озерцо и березку. Но счет уже предъявлен. Страшный суд уже наступил. Судят наше общество, строй, государство. Мы предстали перед страшным судом истории. Ждем, страшимся, когда и кто зачитает нам полный список наших смертных грехов!

— Я зачитаю, я! Есть у меня этот список! Вот он, список смертных грехов! — Старик схватил лежащую на столе тетрадь, начал листать, топорща написанные страницы. — «Книга утрат» — вот как она называется! «Книга утрат»! В ней все, что утрачено. Что было здесь, на отчей земле у Бродов, росло, цвело, пело песни, богу молилось, стремилось к свету, к добру — все, что погублено глупыми, злыми властителями. Здесь, в этой книге, «Книге утрат». Я все записал, каждое убитое имя, каждый срубленный ствол и разрушенный терем! Но они боятся взглянуть! Они не хотят взглянуть! Никто, никто!

— Я хочу! Хочу прочитать вашу «Книгу утрат».

— А вы кто такой? — Старик вдруг умолк и как бы очнулся. Его похожие на бред восклицания, дрожание зрачков и губ, трясение рук и плеч — все замерло. Он воззрился на Фотиева, стараясь разглядеть его близкое, ясное, исполненное внимания лицо. И Антонина в который раз изумилась этой способности Фотиева привлекать к себе — не словом, не жестом, не интересной мыслью, а простым выражением лица. — Кто вы такой? — повторил старик.

— Я специалист по теории управления, если вам это что-нибудь скажет. Говоря языком научным, занимаюсь работой по восстановлению целостности. То, что выдается сейчас за целостность — экономики, уклада, культуры, самого человека, — есть на самом деле запутанное сочетание всевозможных обломков, осколков. Мы, если так можно выразиться, клубок ампутированных явлений, результат бессчетных переломов и вывихов. Стараемся этого не замечать, делаем вид, что мы целостны, но ампутированные конечности продолжают кровоточить, переломы и вывихи продолжают болеть. Мы не избавимся от этой боли, от этой непрерывной потери крови, покуда не восстановим все, что бездумно отсекли и сгубили. Ваша «Книга утрат», как я понимаю, перечень этих ампутаций. Ее нужно внимательно прочитать, изучить и вслед за ней на каждую ее страницу, на каждую утрату написать другую книгу — «Книгу обретений».

— «Книга обретений»?.. Кто вы? — снова спросил старик, приближая свое старое, высоколобое, носатое лицо к Фотиеву, как бы разглядывая его частями, отдельно лоб, брови, губы. — Откуда вы?

— Я приехал на станцию. Сейчас работаю там, внедряю мой метод.

— Но почему же на станцию? От нее все беды! Станция — воплощение зла и беды. Она, эта станция, до конца нас погубит! Сначала зальет водой. Потом спалит огнем. Потом засыплет отравленным пеплом. И на этой земле больше никогда не будет живого! Нас, бродичей, не смог сбить отсюда Батый. Не смог сбить Баторий. Не смог согнать Наполеон. Не смог Гитлер. А станция сможет! Выжженная земля — это не та, где прошли каратели, а та, где построили станцию! Так зачем же вы, коли вы в самом деле хотите спасти, возродить, зачем вы поселились в гнезде дракона?

— Ну а где же еще? Если ты врач, иди в очаг заражения. Если ты священник и решил изгнать беса, иди к бесноватым. Если ты захотел остановить потерявший управление поезд, прыгай в кабину тепловоза. А как же иначе? Туда, где болезнь, где источник зла, рассадник заблуждений. Туда надо войти, просветить, исцелить, образумить. Как говорили древние: «Дух дышит, где хочет». Его-то ведь, духа, и в храме может не быть, и в библиотеке, и в лугах зеленых, а в котельной у кочегаров, в рабочем общежитии, в солдатской каптерке — он может поселиться, поселится и на станции. Нужно одухотворить эту слепую, жесткую гору бетона и стали. Одухотворенная, очеловеченная, она прекратит свое разрушение, избежит взрыва, не погубит мир. Поверьте, я это знаю! Я был на взорвавшейся станции. Я был в Чернобыле!

Антонина слушала их, поражалась. В глухой ночи, в старом доме, обреченном на скорый потоп, один человек призывал другого поверить.

И этот второй, старый, больной старик, исстрадавшийся, утративший веру, был готов умереть и пропасть. А первый, узнавший его лишь минуту назад, требовал от него немедленной веры, стремился вселить в него веру, спасти его этой верой. Будто этот растрепанный гневный старик был ему родной. Был дорогой и любимый.

— Станция не должна быть разрушена! Машина не должна быть разрушена! Больше ничего не должно быть разрушено! Все должно быть одухотворено! Все неживое должно стать живым! Машина должна ожить и перестать губить жизнь. Довольно нам разрушать! Довольно нам убивать! Ни одна душа не должна быть оскорблена и обижена. Мы должны воскрешать, возрождать!

— Это так! — воскликнул старик. — И мои это мысли! Вы мне близки.

Антонине казалось, они оба удалились от нее на длину светового луча. Сидят вдалеке, на какой-то горе. От них в ее сторону движутся непрерывные плотные волны света, чуть слышно толкают ее. Она не в силах пошевелиться, оцепенела. Смотрит на них сквозь прозрачную воздушную толщу, слушает о воскрешении мертвых.

— Столько потерь, столько потерь! Слушайте «Книгу утрат»! — Старик перелистывал книгу, заглядывал и словно обжигался, слеп на мгновение. — Здесь, вокруг Бродов, по селам разорили двенадцать усадеб. Библиотеки, ампирные статуи, хрустальные люстры, сервизы! Все пожгли, порушили, на фундаментах бузина и крапива. Зачем?.. Разорили шестнадцать церквей. Иконы порубили, спалили, колокола — в переплав, колокольни взорвали, кирпич — на коровники. А в храмах — картошка, похабщина на стенах. Зачем?.. Две заповедные рощи! Корабельная сосна, значилась в хрестоматиях по русской природе. Прямые, золотые, стройные, от комля до вершины одной толщины, как колонны! Дубрава от Ивана Грозного, четыреста лет, из Европы приезжали взглянуть на среднерусский дуб, желуди увозили, под Брюсселем, Парижем, Лондоном растут дубы из-под Бродов. А здесь все срубили на доски, на гробы, на блиндажи, на лагерные зоны, на опилки. Осинник мелкий шумит, черные пни, и в каждом черная липкая гниль, ночью светятся! Зачем?.. Бобры под самыми Бродами жили, стерлядь в реках, глухари прямо за избами токовали. Сам на озере лебедей пугал. Выйдешь утром, туман, солнце, блеск на воде, и лебедь взлетает. Гул от крыльев!.. Всех перебили, распугали, все гнездовья, все заводи, все луга заливные! Ушла жизнь из лесов, ушла из воды! Больно!.. Сколько было народных хоров! Четыре десятка! Один славнее другого. В Москву ездили петь. Летом выйдешь, над озером далеко слыхать. Поют в Завидове, в Вознесенском, в Маркове. Заря долгая, летняя, и кажется, по всей земле хоры поют. Думаешь, не от этих ли песен заря светится?.. Все замолкло, как в могиле глухо. Только вороны крячат!..

Он листал свою клеенчатую тетрадь, и она была, как кладбищенская книга. Старик вел перечень всему, что погибло. Всякую смерть вносил в свою книгу. Все, что жило когда-то, цвело и кустилось, все превращалось в дым, в гнилушки, в развалины, в стариковские каракули. Ложилось в погребальную книгу. И они исчезнут, погибнут, скроются в поминальной книге. Так отзывались в Антонине стариковские глухие слова, бесконечные поминальные списки.

— А сколько было в Бродах славных на всю Россию имен! Читаю... — Старик читал имена. — Географ, врач, астроном, писатель, генерал, архитектор! Все вышли отсюда, и никто не вернулся. Нет больше в Бродах великих, извелись, перестали родиться!.. Сколько народу жило в Бродах, по слободам, деревням и по селам, в хуторах и лесных кордонах... — Старик читал свои перечни. — Сколько было ярмарок в год, сколько торгов, гуляний! Никого! Пустыня!.. В семьях было столько детей... Во дворах по столько скотины... Ничего не осталось! Детей не родят, хлева забиты, школы пустые. Одни погосты, да и с тех улетают вороны. Некого хоронить на погостах!..

Антонине казалось, она слушает какое-то причитание, о каком-то гладе и море, о великом избиении. Старик написал свою летопись, а в ней рассказ о побоище, об усекновении голов, о разорении царства. Голос ста-

рика рокотал. Улетал, возвращался. Казалось, она слушает хор голосов, отпевающий хор.

— Вот столько было убито на гражданской войне, столько белых и столько красных... Столько простых хлеборобов, которые под шрапнель попадали... Столько убито, когда собирали колхозы. Кулаков поморожено, в одних рубашках — на подводы в мороз. Партийцев из обрезов ночами. Сколько здесь кровушки пролилось! Столько взяли мужиков при Ежове, за тринадцатый колосок засудили, угнали бесследно... Столько при Ягоде — по лесам их ловили с собаками, на канал отправляли... Столько ушло на Отечественную, погибло в походах, в окопах, перемерло в плену, застрелено в партизанах...

Антонина слушала, переставала понимать, погружалась в плачи и стоны, опять не различала слова. Ей читали нараспев историю Родины. Не ту, что была известна, вписана в скрижали и книги, историю славной, цветущей страны, а другую, из непрерывных утрат и скорбей, вписанных рукой старика в клеенчатую тетрадь.

— Столько ушло в тюрьму за воровство и за драки... Столько спилось... Столько сошло с ума... Столько отравилось, повеснлось... разбилось на тракторах, на машинах... Утонуло в озерах и реках... Где они, косточки наших бродичей? На Беломорско-Балтийском, плывут мимо них кораблики!.. На Магнитке и Днепрогэсе, вот она, наша слава!.. На Колыме, на золотом песочке, там они, хлеборобы!.. В Казахстане, на урановых приисках, там крестьянские дети!.. Косточки наших бродичей всю Европу усеяли, до Берлина, до Парижа и Рима... И всю Азию, до Харбина, до Курильской гряды. Вымостили гать на полсвета!

Антонине казалось, в руках старика не книга, а весы с медными чашами и колеблющейся стрелкой. И он, как на фреске, кладет на чашу земные грехи, отягчает ее, клонит к земле. На чаше обгорелые храмы, рухнувшие дворцы и усадьбы. Там стреляют в затылки людей, гонят по этапу в Сибирь. Топят в болотах, забивают до смерти в бараках. Там, в этой чаше, штрафников подымают в атаку. Судят и губят ученых, морят поэтов. Там, на чаше, лежат убитые лоси, сведенные леса и дубравы, отравленные озера и реки. Старик держит весы за кольцо, бормочет:

— Столько снесено деревень... Столько разбито семей... Столько высохло рек и иссякло ключей... Господи, столько утрат!

Антонине было худо. Вторая чаша, где были прежние знания и вера, казалась пустой. Неужели все, что она любила и знала, все добыто неправой ценой? Все на крови, на погибели? Та школьная карта с красной в центре мира страной — неужели огромный, хлюпающий кровью тампон?

— Вы правы, потери огромны.— Фотиев дослушал Кострова, дождался, когда тот умолк, закрыл свою книгу, положил на нее бессильные руки.— Потери страшны. В сердце входит уныние, опускаются руки. Больно, невыносимо печально. Но мы не должны унывать, иначе у нас не останется сил. Остаток сил, остаток здоровья мы изведем на уныние. Или на ненависть. Станем ходить по нашим пепелищам, погостам. Искать виновных, требовать им отмщения. Будем искать их кости, белые кости, красные кости, кости палачей. Превратимся из тех, кто ищет спасения, в тех, кто ищет кости палачей.

— Я не требую мести,— всколыхнулся старик.— Мне не нужны их кости. Все они в этих оврагах, и белые, и красные кости, и те, кто томился в бараках, и те, кто стерег на вышках. И те, кто ходил с обрезом, и те, кто строил коммуны. Но я хочу одного — чтобы кончились списки утрат! Чтобы я не продолжал мою книгу! Чтобы кончились страшные, нескончаемые, длящиеся и поныне списки!

— Мы прервем эти списки, закроем вашу «Книгу утрат».— Фотиев протянул вперед руки, накрыл своими белыми большими ладонями темные стариковские пальцы. Антонине казалось — этим нежным и сильным движением Фотиев хотел передать старику свою веру.— Уже очнулись многие, многие! С каждым днем нас все больше. Не хотим умертвлять. Не хотим разрушать. Не хотим раболепствовать. Не хотим принуждать. Не хотим жить единой минутой, единым рублем и насущным хлебом. Очнулись рабочие в своих цехах и бытовках. Очнулись министры в своих кабинетах. Очнулись художники в своих мастерских. Партийцы на своих партсобраниях. Очнулась власть, и очнулся народ. Все думают общую думу — как исцелиться. Началось великое время, время трудов великих. Мы восстановим в себе свое мироздание, свое чувство добра и света. В работах, в непомерных земных трудах, которые нам предстоят, мы не забудем о правде, о любви и достоинстве нашем. Наш ум, наше сердце, измученные в скорбях, в горчайших, неведомых другим народам утратах, откроют в себе огромный свет и любовь. Мы исцелимся от вражды друг к другу, от недоверия и страха, от сведения давних счетов. Соединимся в братстве, любви и этой любовью примирим весь растерзанный, стремящийся в погибель мир, воюющие, ввергнутые в истребление народы. Мы примирим природу с машиной, грядущее с прошлым, живое с неживым. Мы уже готовы на это, ибо столько вынесли, в стольком ошиблись, столько горечи успели испить. Началось сотворение идей. Их много, их будет больше. И все они двинуты в дело. Если ты патриот, если идея добра стала для тебя идеей Родины, неси ее на общее вече, и ты будешь услышан! Будешь принят в работу, в артель! Для этой работы столько верящих, чистых сердец, любящих, мудрых сердец! И ваше сердце, в котором любовь и боль!

Антонина слушала эти неожиданные, пьянящие, волнующие ее слова, ловила его яркий, верящий взгляд. Ей казалось, весы в переполненной горечью чаше начинают колебаться, восстанавливать свое равновесие. Он, Фотиев, восстанавливает равновесие мира, не дает ему упасть. Не дает погибнуть и ей, Антонине, под обломками упавшего мира. И она была ему благодарна, верила, внимала ему.

— Вы сказали — идеи! — воскликнул старик.— Есть идея! Ее принесу на вече! Вы позвали, ударили в колокол, я откликнулся! Принес идею!

— Что за идея?

— О сутях людских! Я вам расскажу!.. Я прожил жизнь. Видел много людей. Тысячи! Все время стремился к людям. В клубке, в котле!.. Мальчишкой — в первый колхоз! У первой молотилки стоял, снопы подавал. Агитатор — с агитколонной против попов, против бога. Агитировал! Клуб открывал в церкви. Осоавиахим. Стратостаты рисовал на избе. В противогазе кроссы бегал, стрелял, водил мотоцикл. Ворошиловский стрелок... Заработок на танки отдал! В Испанию рвался, в интербригады. Не пустили, сказали: «Жди! Тут нужен»... С пехотой на Волховском фронте. По Ладоге в воде по колено. Дорога жизни... До Кенигсберга дошел! Шесть раз ранен. По кусочкам сшивали... Школу сам строил, бревна с бабами, с калеками катал. Поставили на пепелище. Учил сорок лет, сорок лет с детьми! Леса сажали! Депутат сельсовета. В суде заседатель. Всю жизнь с людьми. Понял сути людские... Людей множество, но в каждом одна из двух сутей. Та или эта. Других не бывает, только две сути! А остальное неважно. Умный ты или глупый. Нелюдим или душа нараспашку. Богатый или бедный. Ученый или невежда. Какую суть носишь — вот что важно! В этом открытие!

— Что за сути? — Фотиев внимательно слушал его возбужденную клокочущую речь, торопливые, налетавшие друг на друга фразы. Будто старик боялся, что гость уйдет, не дослушав. Истина, доставшаяся ему ценой всей прожитой жизни, так и умрет в нем, невысказанная.

— Есть человек, которого суть — властитель! Так я его называю. Но есть человек, которого суть — гармонитель! Других не бывает. Один приходит в народ, чтобы властвовать. Крутит народ и мнет, толкает его и калечит. Пьет его соки. Делает из народа памятник своему господству. Не жалеет народ, не чтит, не считает его слез, глух к его стонам. Он ставит народу свои властительные цели, и народ, погибая, выполняет цели властителя. Там, где воцарился властитель, достигаются цели, но погибают народы. Остаются пирамиды, колонны, крепостные стены через полконтинента, каналы на Марсе. Но исчезают народы, исчезают планеты. Марс превратился в пустыню, потому что там воцарился марсианский Пол Пот, погнал марсиан строить каналы... Но есть гармонитель! Есть такой человек удивительный! Он может быть яркий и цветастый, как шелк, а может быть серый и незаметный, как холст. Он приходит в мир, и все вокруг расцветает. На его поле овес самый лучший, в его семье полно детей, и сре-

ди них мир да любовь. В его полку у солдат всегда горячая пища, теплая землянка, а в бою меньше всего потерь. Он строит дом, в котором хорошо человеку. Приходит работать в клуб, и там начинают петь песни. Ему дают колхоз, и в деревне молодежь остается. Дают в управление город, и на улицах чисто, меньше пьяных, короче очереди, не так ворует торговля, транспорт ходит по графику. Ему дают в управление государство, и у людей появляется вера, не страшен завтрашний день, не страшен могучий враг, суды судят по правде, озера и реки чище, книги, как исповеди, учат добру, народ говорит, что думает, а думает он о благе своего государства. Вот он каков, гармонитель!.. Они всюду присутствуют, и те, и другие! Я их видел повсюду. Один является, и все губит, и последним сам гибнет... Помню комбата, который дуром, из-за каприза и чванства, погубил батальон. Весь его положил у высотки. А когда сам побежал назад, его разорвало миной. Лежал с кишками наружу среди своих погибших солдат... И другой комбат — выдержал страшный бой, который и полку не под силу, а выдержал. Солдаты несли его раненого по болотам, бегом, менялись, только бы успеть донести, только бы не умер комбат!.. Мы все бы давно погибли под гнетом властителей, если бы не было среди нас гармонителей. Они спасают, они возрождают. Жертвуют собой, оберегают. В них материнская сила самой земли и природы, кормящая, рождающая... Вот мои мысли о сутях! Вы позвонили в колокол — я отозвался! Берите мои мысли для дела, несите на вече! Они пригодятся!

— То, что вы сказали, так важно! Так просто и истинно! Две вечные, действующие в человечестве силы — властитель и гармонитель.

Глухая ночь. Деревенский дом. Надвинулись сугробы и льды. Звездное дикое небо. А в доме два человека, их озаренные пониманием лица, громкие, как вспышки, слова. Она, Антонина, ловит в себя эти вспышки, и ей горячо, ей просторно. Она их любит обоих.

— Продолжайте, продолжайте, я слушаю!

— Нас разорил властитель. Большой, малый, средний. Он захватил нас, взял в полон. Он погубил великое дело! И он же теперь сам у нас на глазах умирает. Он больше не может властвовать. Он упускает власть. Настала пора его удалить! Не убить, не свергнуть, не поставить к стенке, не поднять на дыбу, не погнать по этапу, не утопить на барже в Белом море, не расстрелять на колымских снегах. Просто за рукав взять и увести со сцены. И он послушно уйдет, потому что пьеса его кончена, власть его зачахла, а настала пора гармонителя. Его, его пригласить на сцену! Его поставить во главе дела! И дело оживится повсюду. Все оживет, все украсится. Рядом с ним возникнут таланты. Вокруг него родятся прекрасные мысли. На его зов явятся умельцы и умницы во всех областях. И мы расцветем! Люди поймут и поверят... Вот вам пример — я был слеп и прозрел! Прежде я действовал, как властитель. Я был его тенью! Подгонял подводы, на которые сажали крестьян, «раскулаченных», как их тогда называли. Стон и плач стоял по дворам, а я подгонял подводы... Я разрушал колокольню в Никольском. Долбили зубилами стену и нишу подпирали поленом. Опять долбили и опять подпирали. Облили керосином, подожгли, и, когда выгорела крепь, колокольня накренилась и рухнула. Я, я долбил колокольню! В войну перед строем расстреливал дезертира, мальчишку, крестьянского сына, как щенка! Затюканный, оглушенный, стоял босиком без ремня, а мы его строем расстреливали. Я нажимал на спуск! В хрущевское время я заседал в сельсовете, сводил коров со двора, не давал пасти скотину, запахивал заливные луга, сажал под снег кукурузу. Я, я сажал! Я действовал, как властитель! И прозрел! Слишком поздно. Но прозрел и сделал открытие о сутях! Я говорю: настало время увести со сцены властителя и возвести гармонителя. Вот в чем смысл предстоящей нам бескровной, бесслезной революции! Вот в чем наше современное слово!

— Нет, не напрасно мы сюда ехали! — Фотиев повернулся к Антонине, улыбался, ликовал. — Спасибо, что взяли с собой, Антонина Ивановна! Много раз смотрел через озеро, видел колокольню, село. Думал: «Надо мне там побывать. Что-то важное меня там поджидает». А это вы, оказывается, Гаврила Васильевич, вы меня здесь поджидали!.. Ведь «Вектор»-то мой о том же! «Века торжество» — об этом самом, о ваших сутях, о гармонителе. Он должен выйти на сцену, а властитель — уйти. Мы с вами каждый шли своим путем, своей жизнью, а пришли к одному. И сколько есть еще разных путей, разных жизней, а ведут к одному. Нет, мы не можем погибнуть! Мы возродимся, одолеем болезни! В этом наша современная мысль и слово!

— Как долго я ждал вас! Знал, что придете! Звал, голосил, трубил, стоном стонал — никто не услышал. А вы услыхали! Писал, рассылал телеграммы, статьи во все газеты — не услышали. А до вас дошли мои письма! Сын родной, Володя, моя кровь, моя плоть. Сколько с ним было говорено, сколько читано! Нет, не пошел за мной. Пошел дорогой властителя. А вы откликнулись. Вы — гармонители! Вы мне как сын. Вам завещаю мои мысли и заповеди. Вам отдаю мою «Книгу утрат». Скоро ее закончу, позову вас и вам передам. Вы, я уверен, ее сохраните и строка за строкой, беда за бедой выпишете новую книгу. «Книгу обретений», как вы ее назвали. Не сыну, а вам завещаю!

Он умолк. Было видно, что он устал. Стал путать слова, сбиваться.

— Спасибо, что посетили... Мне еще поработать... Запись в «Книгу утрат»... Про усадьбу в селе Богородском...

Фотиев и Антонина простились. Старик, не вставая, кивнул. Вышли, спустились с крыльца. Ночь была звездной. Над сугробом слабо желтело окно.

За озером, как ртутная, вонзившаяся в ночь пятерня, шарила лучами станция.

«Фреска, — думала Антонина. — Орда неведомая...»

(Продолжение следует).

Семен ЛИПКИН

Новые стихи

Освещенные окна

Поздней ночью проснусь-ужаснусь:
Тьму в окне быстрый ветер косматит,
Все, чего я душой ни коснусь,
Однотонно меня виноватит.

То ли речи дождя мне слышны
В шуме желтых осенних лохмотьев?
Два окна, как две жгучих вины,
Зажигаются в доме напротив.

Выше — юности глупой вина,
Ниже — та, что пришла с лихолетьем,
И горят в черноте два окна
На шестом этаже и на третьем.

Отражение

Вовек не ведавшая груза,
Чуть холодна, но не строга,
Как властно и спокойно Руза
Разъединяет берега.

Стоят колодезные срубы,
С ней не забывшие родства,
Над ней — столетних фабрик трубы,
Тысячелетние слова.

Ее обманчивая милость
Есть в ощущении моем,
Что ничего не изменилось
В краю негромком и родном,

Что я, сегодня отраженный,
В ней вижу гордое вчера,
Что я стою над ней, рожденный
Для битвы, жертвы и добра.

* * *

Как видно, иду на поправку
И мне не нужны доктора.
С самим собой очную ставку
Теперь мне устроить пора.

Пора моей мысли и плоти
Друг другу в глаза посмотреть,
К тебе устремившись в полете,
Совместно с мирами сгореть.

Позволь мне себе же открыться
И тут же забыть этот взгляд,
Позволь мне в тебе раствориться
И в плоть не вернуться назад.

* * *

Когда мы заново родились,
Со срама прячась за кусты,

Не наготы мы устыдились,
А нашей мнимой красоты,

А нашего лжепониманья,
Что каждому сужден черед.
Но смерть есть только вид познанья,
Тот, кто родился, не умрет.

И вельзевуловы солдаты
Не побеждают никогда
Молящихся: мы виноваты,
Вкусивших счастия стыда.

В поле за лесом

Иду в поля, со мной травинушка
Или цветочный стебелек?
«Нет, не цветок я, а княгинюшка,
На мне венец, а не венок.

Внесла я вклад в казну обители,
Уединясь от дел мирских.
Нас превратили погубители
В существ лесных и полевых.

Мы жили в кельях, но с веселостью,
Светло на родине рослось.
Но мир дохнул чумною хворостью,
Мы были близко, — нынче врозь.

Одним путем пошла Маринушка,
Другой для Аннушки пролег.
А где ж монахиня-княгинюшка?
Я — только тонкий лепесток.

Но верю: мы друг друга вылечим,
Вода пасхальная близка.
Мы сорок жаворонков выпечем
Для мучеников сорока!

И пусть я даже стала травушкой,
Но вы со мной, опять со мной.
Не погубили нас отравушкой,
Спаслись от хворости чумной.

Зову я: «Это ты, Маринушка?
Ты, Аннушка, цела, жива?»
Лишь плачет надо мной осинушка,
Кругом — земля, цветы, трава».

Ирисы

Деревня длится над оврагом,
Нет на пути помех,
Но вверх взбираюсь тихим шагом,
Мешает рыхлый снег.

Зимою жителей немного,
Стучишь — безмолвен дом,
И даже ирисы Ван-Гога
Замерзли над прудом.

А летом долго не темнело,
Все пело допоздна,
Все зеленело, все звенело,
Пьянело без вина.

Вновь будет зимняя дорога,
Но в снежной тишине
Все ж будут ирисы Ван-Гога
Цвести на полотне.

* * *

Вспоминаются финские скалы
У холодных и медленных вод,
А над ними от ветра усталый
И от северных битв небосвод.

Вспоминаются финские храмы
С зимним садом, с стеклянной стеной,
Чтобы сосны, как чинные дамы,
В храм входили из чащи лесной.

Вспоминается порту причастных
Грузных чаек настойчивый крик
И с огромным количеством гласных
Неуступчивый финский язык.

Январь, ночь

Тяжелые белые шубы медвежьи
На елях развесил Январь,
И звездочка в небе, в бездонном безбрежье,
Горит, как на барже фонарь.

Я чужд этой ночи, и логову елей,
И тропке, ползущей в снегу,
И лишь фонарю, что горит еле-еле,
Открыть свою тайну могу.

Не знает зима, как ей быть с посторонним —
Со мной, с огоньком надо мной.
Мы вместе угаснем, мы вместе утонем
В безбрежной пучине ночной.

●

Светозар БАРЧЕНКО

Семь недель до рассвета

РАССКАЗ

1

Сушнов стоял в коридоре вагона у окна и, придерживаясь за расхлябанный поручень, поглядывал на проносящиеся мимо него желтовато-бурые, поросшие ягодником и увядающими травами заболоченные равнины, на лежащие посреди них гладкие, словно заполненные вровень с берегами полированным черным стеклом проплешины озер и на ржаво-коричневые каменистые кручи, кое-где утыканные чахлыми северными сосенками и хлипкими березками. Покореженные ветрами и морозами, мучечески изогнутые деревья эти, что карабкались по склонам к застывшим над ними угрюмым снеговым тучам, казалось, из последних сил цепляются обнаженными корнями своими за скользкие спины валунов, которые были подернуты едва различимым синевато-белым налетом: не то лишайником, не то подтаявшим инеем.

Вагон покачивало и трясло. А Сушнов, притерпевшийся за долгую дорогу к тряской этой зыбкости, к бесконечному заоконному мельтешенью и уже вроде бы не замечавший их, теперь, к концу пути, снова ощущал неудержимую стремительность движения и собственную беспомощность перед захватившей его сокрушительной скоростью. Когда вагон угрожающе кренился на поворотах и затоптанная ковровая дорожка как бы уплывала из-под ног, он невольно еще крепче хватался за прилаженный под окном ненадежный поручень и с опаской думал, что не ровен час выдернет его или сломает — тогда ведь неприятностей, конечно, не миновать. Обе проводницы в вагоне как нарочно подобрались какие-то угрюмые, неряшливые и, как думалось Сушнову, только и ждущие повода, чтобы придраться к любому пустяку и затеять скандал.

Сейчас они уже собирали постели и, волоча за собой длинно свисающие мятые простыни и роняя полотенца, таскали их охапками в служебное купе. Намеренно не замечая Сушнова, проводницы толкали его локтями, оступаясь, грузно приваливались к нему, обдавая запахом лежалого белья, и, откачнувшись, бормотали что-то неразборчивое: то ли просили прощения, то ли ругали вполголоса. Он с готовностью сторонился, прижимаясь к подрагивающей вагонной стене, сознавая, что и впрямь мешает этим давно поблекшим, невзрачным женщинам, которые в нескончаемых поездках не сумели, наверное, обзавестись семьями и неприметно для себя порастеряли, как полотенца вот эти, и женственность свою, и молодость, и здоровье, и теперь на женщин-то были похожи разве только потому, что носили темные форменные платья, а по говору, по ухваткам, по привычной грубости своей вполне могли бы сойти за мужиков. К Сушнову, да и к остальным попутчикам его относились они с одинаковым пренебрежением, как будто едущие в вагоне люди заняли эти жесткие купейные места, не уплатив за них в кассу сполна, а исключительно по милости самих же проводниц, пользуясь их неосмотрительностью либо извечной бабьей добротой.

Мысленно Сушнов посмеивался над нелепостью подобного допущения, хотя замечал, что и другие пассажиры тоже избегают без крайней нужды обращаться к проводницам, очевидно, чтобы не раздражать их лишний раз своими просьбами. Сам он и от чая отказывался, есть ходил в вагон-ресторан, но все же испытывал неловкость и даже некую виноватость перед этими проводницами, быть может, из-за временной праздности своей, а возможно, и потому, что всегда старался доставлять окружающим поменьше хлопот...

«Хотя почему, собственно, я должен чувствовать себя обязанным, как будто они делают мне личное одолжение? — неприязненно думал Сушнов, глядя на однообразные камни, озера и болота. — Ведь они за эту работу деньги получают. Да и вообще какое мне до них дело? Ну, попались две грубые, неопрятные бабы, ну и черт с ними, в конце-то концов! Стоит ли обращать внимание? Ерунда все это, мелочи...» Однако, думая так и досадуя на себя за то, что не в силах отрешиться от случайных дорожных неурядиц, он в то же время сознавал, что волнуют его не случайные дорожные неурядицы, которых хватает повсюду, а нечто совсем иное, от чего не отмахнешься, как от ерунды, раз оно столь неотвязно преследует, заставляя испытывать эту угнетающую и унижающую его виноватость.

Сушнов был историком. Ехал он сюда, в этот северный портовый город, чтобы ознакомиться в местном архиве с необходимыми ему для монографии материалами более чем полувековой давности.

И теперь, стоя в коридоре, он заранее по привычке как бы настраивал себя на восприятие минувших событий, внутренне подготавливался к тому, чтобы не просто что-то там прочесть, записать и осмыслить, но и попытаться понять людей, умерших задолго до его рождения. Их надо было понять, не зная, каковыми были они при жизни, не слыша голосов их, не представляя себе ни лиц, ни жестов, а лишь прочтя то, что сообщалось о них во всевозможных официальных бумагах, которые не отличались к тому же обилием конкретных деталей, подробностью изложения, а скорее наоборот — предельной краткостью и деловитой сухостью. И, постепенно отвлекаясь от беспокоивших его мелочей, Сушнов уже и о себе размышлял, словно о каком-то едва знакомом или даже вовсе постороннем человеке, стараясь отыскать в далеком прошлом этого постороннего человека некие причины, хоть как-то объясняющие нынешнее его состояние и невесть отчего привязавшееся ощущение непонятной вины.

Порой ему казалось, что он, то есть не сам он, конечно, а тот человек, которого он теперь себе воображал, унаследовал вечную виноватость от неизвестных прапрадедов своих — кабальных холопов, которые были, разумеется, совестливыми, робкими людьми, никогда и не помышлявшими чему-либо противиться, требовать чего-либо или же, на худой конец, просить. Где уж там было им, смиренным да сирым, требовать!

Всячески унижая и уничижая себя, они в рабской покорности своей решались разве что бить челом, и ежели надобно было при этом упоминать имена, то называли они себя опять же уничижительно — Степками, Ивашками, Федотками, — не забывая присовокупить для пущей убедительности что-нибудь слезное, вроде: аз есмь человечишко скудный, беззаступный и должный.

Правда, Сушнов, в общем-то, никогда не был склонен усматривать влияние наследственности или обязательных пережитков во всевозможных теперешних несообразностях, и сейчас ему думалось, что все происходящее с ним можно было бы объяснить, например, совсем иными причинами.

Ну, скажем, хотя бы тем, что на протяжении всей его жизни ему с неутомимой настойчивостью внушали, что сам-то он еще по себе совершенно никто и ничто — одинок, ничтожен и слаб. Абсолютный, можно сказать, ноль. А можно сказать, и величина мнимая. Ведь не зря же неукротимый духом, жизнелюбивый и знаменитейший в те годы поэт, почему-то, однако, покончивший с собою впоследствии, бодро предрекал всякому, кто покуда пытался еще оставаться сам по себе, что его, одинокого, собственная жена не услышит и в любой момент могут больно поколотить «даже слабые, если двое».

Потом раз и навсегда было провозглашено, что все, чем отныне живет он на земле и чем дышит, с неслыханной доселе щедростью даровано ему свыше. Хотя, вернее, не совсем так, чтобы уж просто свыше — и все тут. Нет, конечно, не так. А даровано все это тем, высшим, кому выпало на данном историческом этапе олицетворять народ и страну. За это он, разумеется, оказывался теперь по гроб жизни в неоплатном долгу как перед высшим, так и перед страной и народом. И, что любопытно, долг этот год от года не уменьшался, а рос, поскольку сам-то он по-прежнему оставался никем и ничем — гроша ломаного не стоил.

И постепенно, вытравив столь нехитрым образом в сознании каждого ощущение себя как неповторимой и самоценной личности, в нем принялись не менее усердно истреблять уважение не только к себе самому, но и уважение к себе подобному, особенно ежели тот, подобный, по каким-то там причинам оставался, вроде него самого, вне сегодняшних практических интересов общей жизнеутверждающей массы.

Ну какой, скажем, прок имели его изыскания? По несчастливому, должно быть, стечению обстоятельств ни один из тех временных отрезков, коими доводилось ему заниматься в разные годы, он никак не мог с чистым сердцем соотнести — как того требовала методология — с каким-нибудь вполне определенным историческим периодом, когда осуществлялось, допустим, «решающее» либо, например, «полное», не говоря уже о том, чтобы отождествить его с периодом «окончательного» торжества и так далее. Точнее будет заметить, что злополучные эти временные отрезки никак не хотели у него ни с чем соотноситься, ни с чем отождествляться, да и просто совпадать с тем или иным торжеством.

И, как он понимал, происходило все это потому, что при более глубоком изучении источников, объективном сопоставлении многих материалов неизменно выяснялось, что громогласно объявленное некогда самое что ни на есть подлинно всенародное торжество вскоре оборачивалось на поверку и не торжеством вовсе, а только лишь заурядным промежуточным этапом, к тому же еще основательно подмоченным различными ошибками, перегибами, раздуванием культов, волюнтаристскими вывертами, «чуждыми нашей системе» случаями экономического застоя, беззастенчивого взяточничества, коррупции и прочими нехорошими явлениями.

Кроме того, помимо подлинных патриотических починов, грандиозных преобразований, трудового героизма и комсомольского энтузиазма, непременно сопутствовавших в действительности каждому периоду, в чем ему, историку щепетильному и дотошному, сомневаться не было ни малейших причин, общим для большинства всех этих временных отрезков оказывалось еще столько насилия, несправедливости, ложных обвинений, напрасной крови и слез, что не замечать всего этого было просто невозможно, а говорить об этом — страшно.

А уж если открываться до донышка, то вот именно отсюда-то все у него и начиналось.

И непреходящая виноватость его, но не перед какими-то отвлеченными рабочими людьми вообще или же перед такими вот, как эти, к примеру сказать, грудастые и грубые проводницы, которые относились к нему, впрочем, как и к любому другому интеллигентного вида человеку, с откровенным презрением, загодя считая занятия его делом пустячным, праздным и даже, пожалуй, вредным, — а перед теми, исчезнувшими бесследно, потому как даже в справках о реабилитации ввиду отсутствия состава преступления места захоронения их не значились и оставалось только предполагать, что в наше цивилизованное время их на манер древних индейцев заживо положили в основание будущих великих строек, и о них ему теперь приходилось молчать.

И ощущение неоплатного долга, угнетавшее его, было также далеко не отвлеченным, не перед кем-то или чем-то там высшим, а вполне конкретным — и опять же перед теми, которые давным-давно истлели в солончаковых буранных степях, сгинули в тайге или, быть может, наподобие допотопных чудищ все еще покоились, как живые, в вечной мерзлоте по поймам северных рек, в бескрайней тундре, по берегам студеного моря. И об этом тоже приходилось молчать...

И, разумеется, не имело никакого смысла приплетать ко всему этому неведомых предков своих, которые если и впрямь были кабальными холопами, то наверняка они меньше тяготились бессловесным холопством своим, чем тяготился он сейчас собственным молчаливым малодушием и бессилием изменить что-либо в сложившейся десятилетиями практике выборочной подачи исторического материала.

Мысли эти были слишком тягостны. И Сушнов, стремясь невольно избавиться от них, пытался думать о том, что ехать ему осталось совсем ничего и что, покинув вагон, он тотчас же освободится и от странных размышлений своих и, конечно же, напрочь позабудет обо всем, в том числе и о грубых и неопрятных проводницах, с которыми не приведи господи встретиться на обратном пути. Тогда от них совсем никакого житья не будет.

«Ладно, проводницы эти стервозные — еще не самое худшее. Обойдется как-нибудь, — стараясь окончательно отвлечься, думал Сушнов. — Вот только бы с гостиницей повезло, а остальное перемелется...»

Наконец вдалеке мелькнул отливающий тусклой слюдяной матовостью окраек холодного безрадостного моря, зажатый между вздыбленными отвесными берегами.

Потом берега постепенно раздвинулись. Левый поднялся еще выше, обнажив первобытное нагромождение диких лиловых скал, нависших над пустынной водой, и белые легкие домишки, лепившиеся в расщелинах между скалами, а правый сделался пологим и ровным. Вскоре открылся между ними узкий залив, сизая поверхность которого была неподвижна и мертва.

Затем справа, на каменистой равнине, обозначились плоские кирпичные строения, вдоль разветвляющихся железнодорожных путей потянулись штабеля бревен, горы бочек и прикрытых брезентом мешков, появились шеренги хищно застывших на своих кривых крабьих ногах портовых кранов.

А когда Сушнов разглядел едва заметно покачивающиеся черные корпуса траулеров у пирсов рыбного порта, он торопливо надел пальто, достал с полки потрепанный чемоданчик и, не обращая больше внимания на недовольных проводниц, вышел в промозглый и громыхающий тамбур.

2

Вечером Сушнов спустился из своего номера, чтобы поужинать в ресторане.

Гостиница, в которой он жил, находилась в центре города. Размещалась она в нелепо разлатом, многоугольном здании, как бы составленном из наспех подогнанных друг к другу квадратных коробок, крашенных в легкомысленный розоватый колер, — должно быть, творение местного поклонника Корбюзье.

Поселили Сушнова на втором этаже, как раз над рестораном, но догадался он об этом лишь вечером, услыхав вдруг донесшуюся откуда-то снизу, словно бы из подпола, приглушенную музыку — протяжные всхлипы саксофона и ритмичное постукивание ударника.

Сперва Сушнова раздражали эти разрозненные, назойливые звуки. И еще хуже сделалось ему, когда он подумал, что так будет каждый вечер, пока он отсюда не уедет. Но деться ему все равно было некуда, и Сушнов невольно прислушивался к то прерывающемуся, то вновь возникающему глухому ропоту саксофона, пока не уловил в этом ропоте незнакомую мелодию, задумчивую и тягучую. Он внезапно представил сидящих за столами празднично одетых людей, еще не осовелых от еды и питья, а предупредительных и неловких в своей ресторанной церемонности; и красивых женщин представил — их улыбчивые, милые лица и загадочно-обещающие взгляды, — и ему стало совсем невмоготу оставаться в пустом, унылом номере с овальным зеркалом на стене и раковиной умывальника в нише, за шторкой. У него даже в груди заныло от внезапно накатившей едкой какой-то тоски. И, понимая, что ему теперь не совладать уже с этой тоской и не избавиться от нее, Сушнов снял наброшенный на спинку стула пиджак, искоса взглядывая в зеркало возбужденно блестевшими глазами, пригладил седеющие на висках волосы и вышел из номера.

Ресторанный зал показался ему каким-то слишком уж узким и длинным, к тому же словно придавленным дощатым «русским» потолком, с которого на витых бронзовых цепочках свешивались разновеликие полосатые плафоны. В дальнем конце зала, сгрудившись на полукруглой эстраде, наигрывал, посверкивая никелем труб и гитарным лаком, разбитной оркестрик: четверо ли там, пятеро ли молодых, бледных, поджарых, в долгополых кафтанцах с галунами.

Но когда Сушнов вступил в этот зал, влажно и горячо пахнувший на него кухней, вином и табачным дымом, то не увидел ничего, кроме занятых ближних столов, загроможденных бутылками и посудой, неподвижных сутулых спин и расплывчатых силуэтов в проходах между столами.

И в то же время он увидел сразу весь зал, не заполненный еще до сутолочной тесноты и не утративший окончательно своей первозданной салфеточной чопорности.

Он разглядел напряженно-сосредоточенные и от этого по-птичьему заострившиеся лица музыкантов и прилизанные прически их, рассеченные сбоку белыми шрамами проборов; увидел, как музыканты, играя, раскачиваются слегка и притопывают, полуоборачиваясь один к другому с заученно бесшабашными улыбками; и официанток увидел — дородных и величавых, в накрахмаленных кружевных кокошниках, и как официантки эти с утиной неспешностью передвигаются от стола к столу, изредка склоняя свои кокошники и царапая карандашами в растрепанных блокнотах.

Сушнов задержался у входа, пропуская некрасивую пожилую официантку с тяжело заставленным подносом на вытянутых напряженно руках. И, пока он стоял, растерянно оглядывая занятые столы, ему казалось, что все замечают его нерешительность и стесненность, а те, кому посчастливилось занять места, посмеиваются над ним в душе и чувствуют себя здесь по-хозяйски уверенно.

Ощущение это сковывало Сушнова, когда он пробирался чуть ли не через весь зал к столу, за которым сидели трое парней в широких и пестрых галстуках. Он двигался словно на ощупь, пригнув голову, чтобы не зацепить ненароком какой-нибудь слишком низко подвешенный плафон, слепо глядя перед собой и все же различая по бокам — справа и слева от себя — тоже как бы незрячие пятна лиц, и нельзя было понять, кому они принадлежат — будто бы и не человеческие уже эти лица, — мужчинам или женщинам.

А подвыпившие парни в широких галстуках, когда Сушнов приблизился к ним и спросил, не помешает ли он им, лишь безучастно посмотрели на него, тоже, наверное, не разглядев толком его лица, да и не интересуясь им вовсе, торопливо покивали в ответ, выпили и уже больше не обращали на него внимания, увлеченные своим разговором.

— Сначала я ему по-хорошему: мол, так и так — визу, говорю, тебе, дураку, на год закроют, это как минимум. Из-за тряпок этих, говорю, ты и совсем можешь сгореть, подонок. Мягко я ему так говорю, спокойно. А он смотрит на меня, как младенец, — баран бараном... Ну тут я ему, значит, и врезал!

— Это само собой... Но ведь и полярка у него теперь накроется, и диплом...

— А кто виноват? Раньше надо было соображать...

Сушнов не знал, о ком и о чем говорят эти парни, которым было, конечно, наплевать на то, что он слушает их разговор. Им было вообще наплевать на всех сидящих в этом зале, потому что они были молоды и, возможно, пришли из «загранки» или же собирались уходить в море и в последний раз сидели в дымном и неуютном ресторане, посматривая рассеянно и прощально на крашеных девочек в коротких юбках, покуривающих за соседним столом, на царственно медлительных официанток, но никого не замечали вокруг, так как виделись им, наверное, нездешние земли и далекие города — какие-нибудь там гавры, сиднеи или ванкуверы...

Будь Сушнов помоложе, он непременно позавидовал бы этим крепким парням, их беспечной самоуверенности и той нарочитой небрежности,

с какою бросали они деньги на заляпанную вином скатерть, а потом, придавив десятки и пятерки надколотой стеклянной пепельницей, разом поднялись и пошли к выходу, тесня друг друга плечами, а лица их настороженно поугрюмели, словно шагали они по кренящейся палубе или по незнакомому ночному переулку, где за каждым углом, в каждой подворотне могла таиться опасность. Сушнов смотрел им вслед, в широкие их спины, за которыми маячило нечто бесформенное, блинообразное, покуда не догадался, что это улыбающаяся физиономия швейцара — обрюзгшего, мордастого, лысого, услужливо юлящего перед парнями и держащего фуражку свою с золотым околышем наотлет. И, когда парни эти ушли, Сушнову вновь стало тоскливо и грустно.

А подле эстрады, на «пятачке», давно уже толпились какие-то безликие мальчики с женскими прическами, приятельски заговаривали с музыкантами, которые, возвратившись после перекура, опять настраивали свои инструменты, подходили к краю эстрады, наклонялись, терпеливо выслушивали, что им говорят те, снизу, и обещающе кивали. Потом и певица появилась откуда-то — худая, мосластая, в открытом платье с блестками, — но как только запела она, раскинув перед собой тонкие руки и задрожав горлом, Сушнов отвернулся и больше не смотрел на эстраду, боясь, что вдруг голос у нее сорвется или кто-нибудь пьяно захохочет ей в лицо.

Он жалел эту худую молодящуюся певицу, которая пела что-то веселое, разухабистое и даже лихо так вскрикивала иногда, должно быть, улыбаясь и поводя плечами, однако Сушнов был уверен, что ей нисколько не весело, а грустно оттого, что никто ее не слушает, а все жадно едят и пьют и она им совершенно безразлична. И, сознавая это, испытывал он мучительную, вяжущую горечь, и на душе у него было скверно, когда думал он об этой певице, о незадавшейся жизни ее — однообразной, тусклой и, в общем-то, потраченной попусту.

«А девчонкой, небось, в музыкальную школу бегала, о консерватории мечтала, о театре, о славе... Бархатный занавес, цветы к ногам... А жизнь-то к тебе, моя милая, вон как обернулась! — с неотвязным желчным раздражением размышлял он, морщась и наливая себе водки. — Неужели она не понимает, что унизительно все это, черт возьми? Неужели до нее не доходит?..»

И только когда он выпил и дождался, покуда разошлось внутри приятное тепло, и в ноги отдалось, и щеки будто задеревенели, на сердце у него полегчало, и Сушнов как бы другими глазами окинул зал, музыкантов, певицу у микрофона — и все вокруг представилось ему уже не столь убогим и жалким.

Певица раскланивалась, прижимая к вырезу платья анемичный, будто восковой, букетик. За ближними столами аплодировали, а какой-то моряк в расстегнутом кителе и съехавшей на затылок фуражке, приподнявшись на цыпочки, тянулся к ней, норовя подержать за локоток, что-то вкрадчиво говорил, и певица, отстраняясь, кокетливо улыбалась ему.

Сушнов посмотрел в зал и заметил поодаль женщину в сером костюме, сидевшую за угловым столиком у окна, и женщина эта показалась ему недоступно красивой и строгой. Сушнов взглянул в ее сторону еще раз, и она посмотрела на него слегка удивленно и в то же время, как подумалось ему, с потаенной надеждой, что вот сейчас он подойдет к ней, заговорит, пригласит танцевать, и ей будет уже не так одиноко среди шумных, пьянеющих моряков, длинноволосых мальчиков и вертлявых девиц.

Оркестр снова заиграл, певица запела. И Сушнов, ощущая во всем теле хмельную легкость и непринужденность, направился прямо к женщине в сером костюме, а та поднялась ему навстречу и спросила с улыбкой:

— Ну что, наконец-то решились?

Не отвечая, Сушнов тоже улыбнулся ей, спохватившись, пробормотал: «Разрешите?» — женщина подала ему руку, и он бережно повел ее к эстраде, обходя танцующих, которые уже ни на что и ни на кого не обращали внимания, а самозабвенно толкались на «пятачке», отплясывая каждый на свой манер.

— Знаете что, — сказал он женщине, когда музыка кончилась, — давайте уйдем отсюда. Ну, пожалуйста... Я вас очень прошу. Вы не возражаете?

— И куда же это мы с вами пойдем? — с отчуждением в голосе спросила она.

Ему почудилось, что на лице ее промелькнула та всепонимающая и снисходительная усмешка, с какою смотрят на людей, которым приходится растолковывать то, что не нуждается в особых объяснениях. Она, эта женщина, лицо которой было сейчас некрасивым, потому что он разглядел его вблизи и не в ресторанном дыму — увидел морщинки у висков, тщательно припудренные дряблые щеки и черные крапинки на них и нижних веках от краски, осыпавшейся с ресниц, — словно бы подсказывала ему, что все последующее ей известно заранее, да и не только ей, но и ему самому. В ожидании ответа она смотрела на него с таким видом, будто не сомневалась в том, что сейчас он непременно предложит ей подняться к нему в номер.

А там, в номере, станет обнимать ее, говорить, что любит, хотя не испытывает ни любви, ни даже особого желания обнимать ее, лишь выполняя некий обязательный в подобных случаях ритуал, одновременно прислушиваясь к шагам горничной в коридоре, опасаясь внезапного стука в дверь или звонка дежурной по этажу... Потом он возненавидит ее, постарается выпроводить поскорее и, выпроводив, еще несколько дней будет торжествовать сомнительную победу свою и трусливо ждать ее звонков, а если она не позвонит, — обрадуется и больше уже никогда не вспомнит о ней...

Сушнов уверял себя, что все это, конечно, только почудилось ему, а на самом деле за вопросом этой женщины и за насмешливой отчужденностью ее не таится никакого скрытого смысла, и то, что он сейчас вообразил о ней, недостойно ее, гнусно и грязно.

— Нет-нет... Что вы? — смущаясь под ее взглядом, поспешно проговорил Сушнов. — Здесь очень уж шумно... Да и закрывать, наверное, скоро будут. Я просто вас провожу немножко... Вы согласны?

— Ну что ж, проводите, — сказала она и вновь посмотрела на него со всепонимающей своей отчужденностью.

Они вышли из ресторана. Приняв из рук подоспевшего швейцара пальто женщины и подержав, пока она поправляла у зеркала прическу, Сушнов помог ей одеться и, попросив минутку подождать его здесь, в холле, заторопился к себе в номер.

«А не зря ли я затеял это провожание? — думал он, спускаясь по лестнице и застегивая на ходу пальто. — Живет она, чего доброго, в каком-нибудь новом микрорайоне, которые обычно строятся у черта на куличках. Может быть, муж у нее дома, ребятишек куча... Хотя вряд ли, конечно... А вдруг она уже ушла?..»

Он нисколько не огорчился от этой мысли, надеясь в душе, что так оно и есть, что женщина эта и сама уже раскаялась и пожалела о своем опрометчивом согласии, чтобы он ее провожал, — и если это так, то дожидаться его она наверняка не будет. Да и чего ради ей торчать сейчас в холле на виду у всех?

Однако женщина терпеливо ждала его, стоя у расписания рейсов Аэрофлота, но смотрела она не на приклеенный к стене лист, а в зашторенное окно, и лицо ее снова показалось Сушнову молодым и красивым в той отрешенной задумчивости, с какой поглядывала она изредка на лестничный пролет из-под пушистой своей, похожей на кавказскую папаху, круглой меховой шапки. Было в облике этой женщины что-то зябкое, подорожному бесприютное, быть может, оттого, что стояла она, нахохлившись, привалившись плечом к стене и уткнув в воротник подбородок. Когда же Сушнов приблизился к ней, она мельком взглянула на него, как показалось ему, со все еще не угасшей надеждой, что он пригласит ее к себе, а затем, вздохнув, медленно пошла к выходу мимо пожилой администраторши, которая вязала, сидя за конторкой под щитом с ключами. И администраторша, оторвавшись на миг от вязанья своего, недобро посмотрела на женщину поверх очков.

На улице было пустынно, безветренно, и падающий снег плавно кружился в свете фонарей и реклам. Иногда вплотную к тротуару проноси-

лись, взвихривая снежную пыль, незанятые такси и погромыхивающие полупустые троллейбусы, через просторные окна которых были видны потолки и узкие простенки салонов, окрашенные в голубовато-белый, водянистый цвет, и казалось, что салоны эти промерзли насквозь и покрылись изнутри блестящей ледяной коркой. Троллейбусы, время от времени накатывающиеся из заснеженной уличной глубины, уже не задерживались на безлюдных остановках, а только сбавляли ход, подруливали к ним и снова, дребезжа расхлябанными дверцами и с хрустом давя рубчатыми шинами мелкие сугробы, с шелестящим каким-то свистом и завыванием пропадали во тьме.

Сушнов взял женщину под руку, и они пошли сначала по широкому проспекту, а потом свернули с него и начали подниматься по темному извилистому переулку, оскальзываясь на затоптанных деревянных мостках и осторожно поддерживая друг друга.

— Вы случайно не в новостройке живете? — спросил Сушнов как можно беспечнее, чтобы не выдать голосом своей озабоченности. — Не лучше ли нам поискать такси?

— Да нет, зачем же? — с грустным каким-то недоумением тихо сказала женщина и медленно высвободила руку. — Мы ведь уже почти пришли. Спасибо...

Они остановились возле двухэтажного бревенчатого дома, во дворе которого за покосившимися оградками палисадников лепились один к другому приземистые сараюшки, наглухо, до самых крыш, обложенные белеющими поленницами. Снег прекратился, и отсюда, с высоты, можно было разглядеть помигивающие, лучистые строчки огней на городских улицах и как бы наполненное клубящимися дымами электрическое зарево над причалами рыбацкого порта.

А за ним, за этим будто распухающим прозрачным облаком, в той стороне, где, по представлениям Сушнова, находился противоположный скалистый берег залива, простиралась непроглядная зияющая пустота, в которой не угадывалось ни единого живого проблеска, словно как раз там и лежала аспидно-черная, кромешная тьма, некогда отделенная богом от света и с тех пор уже навсегда позабытая им.

— Вот здесь я и живу, — опять со вздохом сказала женщина и посмотрела на Сушнова сбоку, с мимолетной какой-то лукаво-сочувствующей улыбкой. — Вы меня простите, но я должна вас оставить. Мой муж, наверное, давно уже домой вернулся, а я все еще с вами гуляю...

И хотя совсем недавно Сушнов чуть ли не с радостью надеялся на то, что женщина эта даже ждать его не станет, сочувствующая улыбка ее, спокойный голос и упоминание о муже отозвались в нем внезапной болью. Он вдруг почувствовал себя не то чтобы обманутым, а зло и несправедливо униженным этими ее словами, будто оттолкнули его походя или же просто выбросили за ненадобностью, как ничего не значащую, ненужную вещь.

— А почему же это вы раньше о муже-то своем не вспоминали? — грубо спросил Сушнов, не скрывая обиды и желая, чтобы она заметила его обиду. — Почему вы из гостиницы не ушли, из холла?

— Вы напрасно на меня сердитесь, — с ласковой укоризной сказала женщина, по-прежнему глядя на него сбоку из-под пушистой своей шапки, на ворсинках которой серебрились звездочки снега. — Разве я сделала вам что-нибудь плохое?

Он стоял молча, пытаясь преодолеть в себе ощущение какой-то мальчишеской уязвленности и обезоруживающей беспомощности перед этой странной женщиной, которая и впрямь не сделала ему ничего плохого, а просто сказала, что у нее есть муж. Правда, в сочувственном тоне ее и в той спокойной, естественной манере, с какою она держалась, угадывалось, что, сказав ему об этом, она как бы сознательно навсегда отделяла его от себя и смотрела на Сушнова уже из этой воображаемой отделенности своей сострадательно и печально.

В душе Сушнов понимал эту женщину и сознавал, что сам повинен во всем. И что правильнее всего было бы сейчас ни о чем ее больше не спрашивать, а поскорее попрощаться и уйти. Но, понимая это в душе, он не мог умом примириться со своей уязвленностью и потому спросил с прежней упрямой и грубой настойчивостью:

— А зачем же вы в ресторан ходили? И почему сидели весь вечер одна?

— Вы слишком любопытный человек. — Женщина пожала плечами и нахмурилась. — Хорошо, я скажу, хотя знать это вам вовсе не обязательно. В ресторане я ждала мужа. Мы с ним там обычно встречаемся, потому что ему туда гораздо ближе ехать от порта, чем домой. Муж у меня лоцман. Сегодня он как раз возвращается, но, видимо, задержался и поехал прямиком домой, решив, что я его не дождусь... А мы, женщины, наверное, так уж устроены, что всегда ждем до самого последнего момента...

— И откуда же это он у вас возвращается? — с надтреснутой, крохоборческой мстительностью в голосе спросил Сушнов и покашлял.

— Так я же вам только что объяснила, что он лоцман. Проводит корабли по заливу. Это очень опасно. Там скалы кругом и всегда холодно, ветер... — Женщина, словно не замечая мелочной мстительности его, с тревогой посмотрела в темноту, как будто надеялась увидеть там, среди непроглядного мрака, обросший льдом, похожий на айсберг, корабль и своего мужа, стоящего рядом с капитаном в ходовой рубке, и серые, тяжелые, как расплавленный свинец, волны, с размаха бьющие в борт и захлестывающие толстые, будто бронированные, покатые стекла. — Мне пора идти... Да и вам следовало бы лучше поторопиться. Ведь уже поздно, не успеете на троллейбус... До свидания...

Она протянула Сушнову руку, и он, безотчетно повинуясь вдруг вспыхнувшему в нем чувству благодарности к этой женщине, которая, быть может, тоже была готова поддаться минутному влечению, но все же пересилила себя, — взял ее руку, неловко наклонился, поцеловал слабо пахнувшую духами перчатку и, ощутив, как вздрогнула рука женщины, боясь взглянуть ей в лицо, молча повернулся и зашагал прочь, в темноту, по крутому и бесконечному спуску.

Сейчас он не усматривал ничего предосудительного в необычном поведении этой женщины, а собственная его реакция на ее опрометчивое, конечно же, согласие, чтобы он ее провожал, и неубедительное, в общем-то, объяснение ресторанных встреч с мужем представлялась ему вполне естественной.

— Ерунда, ерунда... Все нормально, — повторял он вполголоса в такт шагам. — Все нормально...

3

Утром, собираясь идти в архив, Сушнов думал о том, что день ему предстоит нелегкий и хлопотный. Надо будет завязывать знакомства с какими-то людьми, приноравливаться к ним, налаживая, так сказать, атмосферу доверия и дружеского взаимопонимания, а это всегда тяготило его и бывало самым трудным.

Сушнов не умел завязывать скорых знакомств, и, возможно, это было не последней причиной, почему оставался он в холостяках, хотя ему уже давненько перевалило за сорок. Молодые сотрудницы НИИ, в котором он работал, посмеивались над ним, говорили, что ему мешает его «некоммуникабельность», а Сушнов сторонился их и ненавидел самое это словечко, представлявшееся ему в виде чего-то скользкого и холодного, как щупальца.

Вчерашний вечер в ресторане и женщина, какую он провожал и у которой не догадался даже имени спросить, существовали в его памяти как нечто случившееся давным-давно, уже перемучившее его и почти забытое. И лишь то, как наклонялся он неумело и по-старомодному как-то, вернее, по-киношному неуклюже — черт бы его побрал! — целовал этой женщине руку, виделось ему едва ли не с осязаемой ясностью, и никак не мог он отделаться от неловкости и простить себе этого дурацкого поцелуя.

«Ай-я-яй! Кретинище-то какой, а? — засовывая в портфель необходимые бумаги, бормотал себе под нос Сушнов, криво усмехаясь. — Ведь расскажи кому-нибудь под сурдинку — потом стыда не оберешься. Да и не поверит же никто! Муж, видишь ли ты, у нее вдруг отыскался... Ха-ха, лоц-

ман, видишь ли, корабли какие-то там проводит... Да у таких и мужей-то не бывает. А если у этой и выискался, то тоже, наверное, из тех ребят, которые чужого не упустят! Надо тебе было сразу ее в номер волочь, а не устраивать идиотские провожания да еще и ручки ей на улице целовать... Кретин!»

Ему сейчас даже и в голову не приходило, что вчерашняя встреча его с женщиной и все, что затем произошло между ними, ни в коей мере не заслуживают ни стыдливой насмешки, ни запоздалого раскаяния. И, напрасно казня себя за наивную свою, как ему теперь представлялось, глупость по отношению к несомненно доступной той женщине, Сушнов нисколько не задумывался над тем, почему в повседневной его жизни всегда получается так, что столь необходимые, казалось бы, каждому человеку качества, как честность, благородство, умение считаться с достоинством собрата своего, чаще всего воспринимаются окружающими как нечто предосудительное либо заслуживающее сожаления: слабость, например, неумение приспособиться к жизни, использовать благоприятные обстоятельства, откровенно порицаются или в лучшем случае вызывают скептическое к себе отношение.

«Тюфяк, тряпка,— пренебрежительно говорят обычно добрые люди о таком непрактичном человеке.— Дурачина набитый! Тут на части разрываешься, а ему само все в руки валится. Так он еще и морду воротит, губу оттопыривает... Хочет, чтобы и его за порядочного принимали...»

А то, что, по их понятию, быть в наше время по-настоящему порядочным — предел человеческой никчемности, так это как бы подразумевается само собой.

Сушнову не хотелось выходить из унылого своего номера, спускаться в холл, где могла встретиться та самая пожилая администраторша в очках, которая накануне видела его с женщиной и думала о нем, конечно же, так, как и все остальные. Он загодя предчувствовал, как неловко будет ему отдавать этой немолодой и, разумеется, добропорядочной администраторше ключ, и Сушнов медлил уходить, стоя посреди комнаты уже одетый, и прислушивался к тугим порывам ветра, швыряющего в погукивающие оконные стекла дробные капли дождя вперемешку со снегом.

Стены домов на другой стороне улицы, исхлестанные дождем и полосатые от темных потеков, казались закамуфлированными. И Сушнову припомнилось, как в незапамятные времена, в первые месяцы войны, белый южный городишко, в котором он тогда жил, постепенно сделался таким же грязно-полосатым, хотя наивная маскировка эта не уберегла впоследствии здания от жестоких бомбежек, при одной из которых и погибли его родители...

Неожиданные воспоминания эти отвлекли Сушнова, и, лишь выйдя из гостиницы, он спохватился, что даже не заметил, кто принимал у него ключ, и сидела ли за конторкой пожилая администраторша в очках или какая-то другая.

«Впрочем, сидела она там или не сидела — бог с ней,— с примирительным облегчением думал он.— Меня это ни с какой стороны не касается...»

И, постепенно освобождаясь от тяготивших его с утра размышлений и воспоминаний, он перешел через улицу и направился к остановке. Вскоре подкатил, разбрызгивая бурое снежное месиво, битком набитый троллейбус, Сушнов привычно втиснулся в него и, сдавленный со всех сторон влажными куртками, плащами и пальто, почувствовал себя окончательно успокоенным.

Ехать ему было далеко, и он, передавая мелочь на билет, оглядывал пассажиров, стараясь приметить среди них молодое приятное женское лицо, чтобы потом украдкой поглядывать на него, как делал это всегда, когда ехал на работу из дому. А если та женщина, на которую он посматривал, выходила на одной с ним остановке, Сушнов считал, что день ему предстоит удачный. Однако сейчас он не видел вокруг себя молодых женских лиц, да и не особо приглядывался к попутчицам своим, все же опасаясь в душе увидеть вдруг среди них женщину, которую провожал вчера.

Архив находился в полуподвальном этаже большого каменного дома. Вход был со двора. И Сушнов, миновав переплетение бельевых веревок, отыскал обитую крашеной жестью дверь с табличкой, на которой были обозначены часы работы и приема граждан.

По обе стороны архивной двери высились тумбообразные круглые мусорные баки с откинутыми крышками. Баки эти, должно быть, олицетворяли полное пренебрежение жэковского начальства к невесть как оказавшемуся в черте его владений безобидному учреждению, не способному к тому же надлежащим образом постоять за себя.

Приняла Сушнова заведующая архивом, невысокая полнеющая дама, с миловидным, хотя уже пожухлым и одутловатым лицом. И покуда он объяснял, какие документы его интересуют, она смотрела на негаданного посетителя с непреходящим испуганным выражением в глазах, словно ей предлагали немедленно освободить помещение.

— Хорошо, я поняла и постараюсь подобрать все, что вам необходимо,— выслушав Сушнова и подавляя вздох, сказала заведующая, и в голосе ее прозвучала обреченная покорность судьбе.— А вы пройдите, пожалуйста, вот в эту комнату. Там у нас и приемная, и читальный зал, и все наши отделы... И еще необходимо заполнить требования...

Ее тон еще больше утвердил Сушнова в своей догадке, что заведующая ведет долгую и бесплодную борьбу с домовыми властями за место, если уж и не под солнцем, то, во всяком случае, хотя бы под квартирами жильцов.

Заведующая подала ему разграфленный листок, а Сушнов, беря его, глянул на ее ухоженные пальцы с длинными перламутрово отполированными ногтями. Только ноготь на большом пальце был у нее коротенький, плоский и вроде бы обкусанный, хотя тоже тщательно отполирован. Она перехватила его взгляд, чуть покраснела и тотчас поджала пальцы, собрав их горсточкой и упрятав большой палец в середину, отчего рука ее внезапно как бы ссохлась, уменьшилась и стала похожей на согнутую куриную лапу.

«Ну вот, мы уже и смущаемся! — насмешливо подумал Сушнов, стараясь сдержать улыбку.— Ноготочки свои прячем! С изъянчиком, видишь ли, ноготочки-то оказались... Да ведь какими бы они у тебя ни были, их надо не прятать, а всегда наготове держать! Неужто ты, моя милая, до сих пор понять этого не сумела?»

Но едва он уселся за стол, как сразу же позабыл и о заведующей, и обо всем на свете, принявшись неторопливо перекладывать рыхлые картонные папки, шелестя подшитыми в них документами, еще не вчитываясь в содержание бумаг, а лишь мельком пробегая выцветшие строчки.

И хотя протоколы бесконечных заседаний, не выполнимые в своей категоричности приказы и постановления, волисполкомовские сводки и отчеты сами по себе, в общем-то, не представляли для него особого интереса, но все-таки Сушнов чувствовал, как постепенно им овладевает странное ощущение некой сопричастности к тому, что происходило в здешних краях много лет назад.

Временами ему даже начинало казаться, что он когда-то уже бывал в этом городе. Ходил по обезлюдевшим, скованным полярной стужей улицам, видел россыпь покосившихся избушек, бараков и времянок вокруг заваленной сугробами площади, где возвышалась почерневшая, словно обугленная, колокольня, от которой расходились в разные стороны накатанные до блеска санные колеи, усыпанные затвердевшими катышами лошадиного навоза. Город был пуст, как будто все жители вдруг покинули его и ушли бог весть куда, затерялись среди бескрайней тундры и не могли уже вернуться обратно, потому что единственный в городе вокзал был разрушен, пути взорваны и изогнутые, вырванные вместе со шпалами рельсы свисали с железнодорожной насыпи, едва слышно позванивая от секущей по ним ледяной крупы, которую шквалами наносило с залива.

А над всем этим запустением, безлюдьем и стужей на высоком каменистом берегу, среди диких валунов, были совсем по-дачному аккуратно расставлены сборные домики из гофрированного железа с полукруглыми, как у вагонов, крышами и приставными деревянными крылечками. Называли их в ту далекую пору «домами-чемоданами», должно быть, потому, что невиданные дикими северянами сооружения эти были доставлены сюда

из дальних стран на чужих кораблях, обшитых толстой броней и вооруженных тяжелыми пушками.

Веселые сухопарые матросы в белых гетрах и лихо заломленных беретах с помпонами, закинув за плечи на всякий случай короткие карабины, сноровисто выгрузили эти «чемоданы» на пирс из бездонных трюмов угрожающе безмолвных своих кораблей. А затем из корабельных же утроб вышли на берег солдаты. Наспех заверив простодушных рыбаков и молчаливых грузчиков в полном своем дружелюбии и неизменном к ним уважении, они захватили город и двинулись вдоль железной дороги на юг, вылавливая и без лишних разговоров расстреливая по пути подвернувшихся под руку партийцев, комитетчиков, да и вообще всех тех, кому негаданный приход заморских поборников справедливости казался ненужным...

И, сидя теперь за столом в тесной комнатенке архива, Сушнов словно бы видел перед собой суровые лица неведомых ему людей, чьей несгибаемой волей отдавались приказы, вершились судьбы, даровались и отнимались жизни. Представлял он себе и тех, кого убивали чужие солдаты только за то, что любили эти люди свою скудную северную землю и хотели жить на ней так, как, по их разумению, было правильно.

Виделись ему и серые громады кораблей на рейде, жидко дымящие в нависшее над мачтами небо; видел он и теряющуюся вдали нитку еще не взорванного железнодорожного полотна, рассекающую угрюмые сопки, заболоченные чахлые леса, и всю неохватную безбрежность этих болот, сопок и лесов, какую и представить себе было невозможно; и он почти физически ощущал ту безнадежность и тот непреодолимый страх, которые испытывали чужеземные солдаты, сознававшие в душе свою неправоту и чувствующие, что не суждено им выбраться живыми из ужасных этих болот и лесов, и еще более ожесточающихся от безнадежной обреченности своей и от той ненависти, с какою смотрели на них уже мертвыми глазами стоявшие под дулами винтовок полуживые от голода и цинги непреклонные комитетчики, которых они расстреливали.

«А ведь каким поистине высочайшим благородством, каким несгибаемым мужеством должны были обладать эти полуграмотные мужики, свято поверившие однажды, что завтра наступит обещанное счастье для всех и ради завтрашнего — но уже для других — этого всеобщего счастья готовые тут же умереть! Ты только попробуй вдуматься во все это: ведь не выговор там какой-то с занесением им грозил, не отстранение от престижной номенклатурной должности и как следствие отлучение от «кормушки» с прочими негласными льготами, и не суд даже, который — они могли надеяться — вдруг сохранил бы им жизнь, а немедленная и неумолимая смерть! И хорошо еще, если ждала их мгновенная смерть, а не долгие муки из-за дрогнувшей солдатской руки, пославшей несмертельную пулю... Можешь ли ты сейчас это понять и представить себе, как умирали они в бездонной вонючей болотной жиже, в непролазных лесных завалах подобно дикому, затравленному зверью?.. Нет-нет!.. Как же такое представишь?.. Да и понять все это невозможно... Хотя, если и можно было бы все это представить и понять, то они все равно бы этого не поняли», — продолжал думать он, подразумевая под пренебрежительным они волосатых ресторанных мальчиков, музыкантов с птичьими лицами, жалкую эстрадную певичку, грубых проводниц и испуганную заведующую архивом, неспособную постоять не только за неприметных своих сослуживиц и богоспасаемое учреждение, но и за себя самое.

А служительницы архива уже успели тем временем сбегать в соседний магазин и обедали теперь за просторным столом у окна, передвинув бумаги на подоконник и разложив перед собой белый хлеб, творожные сырки, печенье и расставив вощеные пирамидки молочных пакетов.

Женщины беседовали между собой вполголоса, чтобы не мешать ему работать. Говорили они о домашних заботах, о погоде, о вечно простуженных детях своих и о каком-то вновь затеваемом жилищном кооперативе, будто бы необыкновенно высокой категории, и сокрушались, что пролезть в этот кооператив нету никакой возможности, потому что все будущие его квартиры уже давным-давно поделены между городскими начальниками и их родственниками.

Ничего особенного не крылось за их словами — так, треп как треп. Но Сушнову почему-то казались неприятными и даже, пожалуй, оскорбительными эти будничные разговоры и то, что женщины эти спокойно обедают, не стесняясь постороннего человека, как бы нарочно не замечают его и вообще болтают о разных пустяках в этой комнате, где на неструганых стеллажах в рыхлых конторских папках покоится столько страданий людских, столько горя и смертей, что их хватило бы не на один городской погост, а на погосте, как известно, заниматься праздной трепотней не принято.

«Ну, а ты что хотел? Чтобы они тут перед тобой по стойке «смирно» стояли? И вместо печений с молоком жевали бы неоспоримые прописные истины? Они ничем не хуже других людей, и нечего тебе вязаться к ним с самому еще себе неясными претензиями, — отвлекшись от папок и краем глаза наблюдая за женщинами, прощенчески думал Сушнов. — А может, в здешних краях попросту и не было тех страдальцев, которых расстреливали у железнодорожного полотна?.. И никто не падал окровавленным лицом в сырую, изрыхленную сапогами балластную щебенку». Возможно, он просто вообразил себе неких бесстрашных и самоотверженных борцов, а при жизни были они обычными, вполне заурядными людьми и вовсе не думали ни о завтрашнем счастье для всех, ни о захваченной врагами земле. Уж так сложились обстоятельства, что не оставалось у них иного выхода, кроме как умереть. Вот они и умирали, кому как пришлось... А рвали они у себя на груди рубахи перед смертью или нет — это, как говорится, дело десятое... Да и что там толковать, есть же множество примеров тому, как, по сути дела, из ничего, на пустом месте начинает постепенно твориться исторический миф. Сперва он обрастает внешне достоверными подробностями, затем услужливо подкрепляется слегка скорректированными подлинными документами и в конце концов приобретает вид самой что ни на есть реальной реальности. Уж кому-кому, а тебе-то, историку, это известно, пожалуй, лучше, чем кому бы то ни было. Впрочем, тут и удивляться нечему, подобное происходило во все времена, начиная от сотворения мира, происходит успешно и сегодня. И не зря скептики утверждают, что самое достоверное в человеческой истории то, чего никогда в ней не случалось...

Прислушиваясь к тихим голосам женщин, но уже не разбирая их слов, Сушнов продолжал думать о том, что главное, конечно, не в творящихся постоянно мифах, без которых человечество, наверное, никак не в состоянии обойтись, а в том, кто и какие творит мифы, во имя чего они творятся... Кому и какая роль уготована в этих мифах, что иногда всего лишь на десятилетия овладевают умами людей, но тем не менее в беспощадности своей становятся непререкаемыми символами веры для современников, а случается и так, что существуют они долгие сотни и даже тысячи лет, утрачивая со временем первобытную свою варварскую жестокость, делаясь мягче, человечнее, однако оставаясь все же незыблемыми в основе своей для сменяющих друг друга бесчисленных поколений.

«Хотя, постой, о каких тут мифах может быть речь? Все здесь ясно. И никто не собирается, конечно, сомневаться в очевидном, оспаривать, например, достоверность и величие подвига тех, убежденных в единственной своей правоте мужиков, твердо поверивших в то, что их кровь, пролитая на мазутные шпалы безвестного заполярного железнодорожного перегона, приблизит установление справедливости и счастья на всей земле. Вряд ли кто усомнится в их личном мужестве, бескорыстной самоотверженности и в непреходящем высоком смысле их наивной мечты. Точно так же, как никто и никогда не посягнет на трагическую память защитников Отечества, отдавших свои жизни в последней великой войне...

Да, все это стало для нас священным и воспринимается любым здравомыслящим и честным человеком как само собой разумеющееся. Да-да, все это так...

Ну и пусть... Хорошо, хорошо... А как же все-таки быть с памятью о тех, кого немногие годы спустя после гибели местных комитетчиков, во имя торжества тех же идеалов привезли сюда под конвоем на верную смерть и через несколько лет неимоверно тяжкого, каторжного труда коекак закидали комьями вечно мерзлого грунта здешней тундры, столь богатой всяческими полезными для человека ископаемыми? Но ведь и они, привезенные сюда под конвоем, в подавляющем большинстве своем были столь же самоотверженны, бескорыстны и тверды в праведной вере своей,

как и расстрелянные некогда чужеземцами комитетчики. Иначе как же понять такое, что они самн, хотя, вернее сказать, те из них, единицы, которые выжили, сочли потом возможным объяснить содеянное с ними — и не заморским врагом-захватчиком, а своим же братом-единоверцем — исторической неизбежностью.

Наверное, потому-то и гробили они себя беспощадно непосильной работой в сырых угольных шахтах, мрачных молибденовых рудниках. И, должно быть, умирая уже в насквозь промерзлых бараках, они думали не о том, почему и за что, а о том, что могут еще хоть на малую малость обогатить этот суровый край, удобрить скудную почву его истлевшими своими костями.

Однако равнодушная полярная стужа отказалась принять от них эту последнюю страшную жертву, которую в исступленной вере своей они, быть может, считали необходимым принести для пользы народной и окончательной победы самого справедливого строя в родной стране.

Недаром же в те далекие времена местная газета — да вот же, вот он, аккуратно подшитый в папочку пожелтевший ее номер: непривычный глазу шрифт, старомодная верстка полос — в юбилейной статье, посвященной памяти героев революции, писала, что «до светлых вершин самого справедливого на земле общественного строя, в борьбе за который сложили свои славные головы наши борцы, у нас в стране осталось, как говорится, только рукой подать. Но и сейчас мы не должны почивать на лаврах достигнутого, а трудиться с еще большим энтузиазмом и постоянно зорко следить за происками международного капитала, разоблачать его подлых агентов, засылаемых к нам из-за кордона, предотвращать вредительские акции их гнусных наймитов и акты саботажа злобно затаившихся внутри страны недобитых контрреволюционеров и белогвардейцев...»

Ага-ага... Ну вот и ясненько... Оказывается, что и здесь тогда все было далеко не таким монолитно-монументальным, каким представляется это сегодня по небогатым публикациям. И агенты, стало быть, тут попадались, и гнусные наймиты, и вредители... Все, как и положено было в те времена по всей стране. А ты чего ожидал здесь найти? Этаких плакатно-несгибаемых борцов, с одной стороны, а с другой — тихую благостность скитских обителей? Нет, дорогой мой, все было гораздо сложнее. Ну разве ты можешь сейчас поручиться за то, что их, агентов тех подлых, не существовало в природе вовсе? И никого к нам не засылали, никогда и никого не нанимали для совершения подлинных диверсий и организованного саботажа?

Да нет же, нет! Но ты сам-то хоть на минутку задумайся, прикинь, пусть приблизительно, ну сколько их могло бы набраться, скажем, в среднем на каждую сотню тысяч — этих наймитов, этих засланных, этих врагов-саботажников, злобных белогвардейцев и прочих отщепенцев — из многих и многих сотен тысяч безропотно тянувших заведомо невытягиваемые сроки дармовых работяг, одетых в серые казенные бушлаты с нашитыми номерами и без номеров? Прикинул? Вот то-то и оно...

И для того, наверное, чтобы хоть каким-то образом оправдать перед своим народом и соседями эту чудовищную историческую неизбежность, в чью-то служивую, разумеется, голову взбрела шальная идея разделить живущих в стране людей, не всех, понятно, но весьма значительную их часть, на неслыханные и невиданные доселе ни в одной ближней и дальней земле гражданские сословия, правда, в смысле классификационном, отдающие при ближайшем рассмотрении некоторым зоологизмом, что ли: социально чуждые, социально опасные, социально вредные...

Государственным же умам, когда дело попало к ним на утверждение, должно быть, недосуг было слишком вникать во все тонкости с ходу понравившейся им, правильной по общему замыслу идеи. И никто из них, конечно, не обратил внимания на то, что в докладной записке служивого того негодяя получалось нечто вроде определения свойств какого-нибудь, допустим, подотряда хищников либо, к примеру сказать, семейства насекомых, коих по самой их чуждой человеку сущности, крайне опасной и вредной, следовало бы немедленно отловить, на первый случай хотя бы понадежнее изолировать, а кое-кого постараться безотлагательно

извести совсем, под самый что ни на есть их вредоносный корень — как класс...

Чего уж там было после этого особо миндальничать со всякими разоблаченными и тут же во всем сознавшимися врагами народа, изменниками Родины и даже с членами семей этих самых сознавшихся лютых врагов да подлых изменников, то есть с женами их, которые, быть может, и духом ни о чем таком не ведали, с близкими родственниками, с детьми...»

И сейчас, сидя, сгорбившись, за конторским архивным столом и с мучительной горечью размышляя над всем этим, Сушнов опять и опять возвращался мысленно к тем расстрелянным у железнодорожного полотна комитетчикам, которые, конечно же, тоже не ведали, за что они умирают на самом деле, — и были святы этим своим неведением.

«Голод, говорят, тогда в этих краях страшенный был. Хвою варили, чуть ли не кору с елок обгладывали, — продолжал вяло думать Сушнов, не в силах отделаться от мысли, что если те комитетчики могли бы предположить, что вскоре неподалеку от места их гибели поставят в тундре бараки, обнесут в несколько рядов колючей проволокой и что проволока эта, пушисто заиндевев на морском, влажном морозе, будет алмазно сиять посреди бескрайней полярной ночи в резком свете негасимых прожекторов на угловых вышках, то мужички эти, пожалуй, были бы не столь твердо уверены в неотвратимом завтрашнем счастье для всех. — Вот и слава богу, хоть в этом-то им повезло, что не предполагали... Да и не могли они ни о чем таком думать в то время. Тогда по их земле расхаживали чужеземные солдаты, враги, которых надо было как можно быстрее изгнать отсюда. А потом попытаться ценою неимоверных усилий обеспечить каждого выжившего куском хлеба. Пускай наполовину с мякиной, с опилками либо с корьём — однако хлеба... Ну, а более отдаленное будущее — светлое ли, не совсем светлое, или и вовсе темное — вряд ли их интересовало. Вот так же, например, как здешних архивных дамочек не интересует решительно ничего, кроме здоровья собственных ребятишек да возможности получения кооперативной квартиры в престижном районе...»

Но, раздумывая так, он все же не чувствовал полной своей правоты, сознавая, что как бы умышленно умаляет величие подвига, равняя возвышенные устремления погибших комитетчиков с ничтожными несчастьями и мелочными радостями ныне живущих...

«Ну зачем же ты так? Только потому, что сами онн погибли, а в их приказах, декретах, постановлениях и прочих непреклонно-наивных сочинениях ты, как полагаешь, сумел обнаружить зерна того, что затем проросло колючей проволокой вокруг бараков? Хотя на мертвых, как известно, легче всего свалить все, что угодно, — укорял он себя. — Нет, не о бараках за колючкой они тогда думали. Им вся земля была нужна для общего счастья. На меньшее они бы не согласились. Это дамочкам местным вполне достаточно кооперативного сортира в доме энной категории! А они о другом счастье мечтали... Бараки — это не их рук дело...»

И Сушнов сожалел, что в память о себе те мужики оставили только полуграмотные казенные фразы на пожелтевшей бумаге. А вот главное — о чем мечтали они, находясь в подполье, на что надеялись, захватив власть в этом скудном северном краю, где остатки и без того редкого населения дружно вымирали от цинги, холода и голода, и что испытывали они, наконец, в свой последний час, глядя в слепые зрачки вскинутых винтовочных стволов, — обо всем этом уже не узнает никто. И ни один человек на свете, как бы он ни исхитрялся, не сумеет поведать об этом так, как рассказали бы они сами. И простая исповедь их была бы страшна безыскусной правдой своей, которую не всякому дано понять. Ведь каждый из них без всякой гордыни мог сказать о себе словами вечной книги: «Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».

К своей работе Сушнов относился с неизменной добросовестностью, обладая упорством исследователя. И сейчас он чувствовал, что, вернувшись из этой командировки и привезя с собой несколько нсписанных листков, которые, вполне возможно, когда-нибудь в дальнейшем окажутся необходимы ему — и как он был уверен сейчас — для его первой по-настоящему серьезной работы, у него тем не менее снова не будет в ду-

ше успокаивающего ощущения исполненного долга. Нет, конечно же, не будет...

«Да разве столь уж существенно, о чем они помышляли в те или иные времена? Обо всем этом ты можешь прочесть даже в «Кратком курсе»... Их самих понять надо. Вот что важно. Просто понять по-человечески, без ставшего обязательным для нас идеализирования или же, наоборот, — непременного растаптывания», — думал Сушнов.

Он уже как бы заранее смирялся с очередной своей грядущей неудачей и смутно догадывался, что причина этой будущей неудачи, как и всех прошлых его неудач, в нем же самом. Нет, никто из непредвзятых коллег, разумеется, не станет упрекать его в поверхностном подходе к материалу. Быть может, на сей раз ему повезет опубликоваться без соавторства, но все равно и в таком случае это будет его очередное не то... И одновременно где-то в глубине его сознания зарождалась странная мысль о том, что та женщина, которую он провожал вчера, была бы на его месте, пожалуй, счастливее, чем он.

«Вот она, несомненно, поняла бы их, — продолжал раздумывать Сушнов. — Но отнюдь не потому, что женщины вообще тоньше чувствуют и все воспринимают острее, что ли... Чепуха это! И среди них такие бесчувственные тупицы попадаются, что не дай бог! А может быть, ей легче было бы понять их потому, что она оказалась попросту честнее и порядочнее меня? Да-да... Конечно... Ведь я сразу же и ее черт знает за кого принял... Ну ладно, пусть в отношении к ней я проявил себя не лучшим образом, пусть... Но почему я вдруг решил, что она поняла бы тех мужиков? Не только лишь в честности да порядочности тут дело... Тогда в чем же? И почему?..» И, не находя ответов на свои «в чем» и «почему», он еще думал о том, что, вернувшись домой, в спокойную и привычную обстановку, ему будет легче разобраться во всем.

От долгого и неподвижного сидения у него заныла поясница. Забывшись, Сушнов раскинул руки и с удовольствием потянулся, как после сна. Однако, вспомнив, где он находится, смущенно ссутулился и исподлобья глянул в сторону стола, за которым обедали сотрудницы архива. Но никто на него не обращал внимания, а стол пообедавших женщин был уже снова завален бумагами.

Напротив спиной к Сушнову у стола заведующей притулился на стуле какой-то сгорбленный дедок в потертом пальто и валенках. Ушастая шапка его лежала на краю стола, и заведующая архивом брезгливо косилась на ее облезлый мех. Дедок был пепельно сед, и сквозь коротко стриженные редкие волосы его просвечивал розоватый младенческий затылок.

— Мы, к сожалению, не можем выдать вам справку, — ровным голосом говорила заведующая, слегка наклоняя голову к старику, а тот, наваливаясь локтями на бумаги, с готовностью тянулся ей навстречу, приставляя ладонь к уху, — наверное, был глуховат. — В списках рабочих леспромхоза за указанный вами год вашей фамилии нет.

— Во-во!.. Ты, значит, у списках погляди! — Старик обрадованно тряс головой. — У войну, после ранения, значит, у сорок третьем я тама робил. Поперву-то с бабой своей уместе, покуда ноги у ей не простыли... Дак опосля-то я уже один тама робил, один...

— Но в списках за сорок третий год вашей фамилии нет.

— Это как же так, нету? — В голосе старика слышалось изумленное недоверие. — Ты получше-то погляди-ко! У конце она, может, или где поистерлась. Я, значит, Сомов Егор Василич. Усе знают, что я тама робил... А может, у сорок втором годе, а?.. Ты погляди-ко, дочка, погляди...

— Я, к сожалению, ничем не могу вам помочь, — с привычной участливостью говорила заведующая. — Леспромхоз давно ликвидирован, а списками рабочих за сорок второй год мы не располагаем. Не сохранились они, понимаете? Как же я могу дать вам справку? Согласно инструкции я не имею права подтверждать трудовой стаж на основании устных заявлений самого же заявителя. Вот если бы те, кто с вами тогда работал, засвидетельствовали ваши слова...

— Дак нету их нынче, свидетелев-то этих... Нету ни единого, — сокрушенно вздыхая, проговорил старик.

— А где же они?

— Дак померли, должно... На том свете... — Старик начал торопливо шарить по карманам пальто, доставая и засовывая обратно какие-то смятые клочки бумаги. — Где ж им еще быть-то? Коли усе померли... А ты мне, слышь, дочка, справку, значит, напиши. Мне она для пенсии требуется, а не для чего худого. Я уж тебя отблагодарю... Сомов я, Егор Василич, меня усе знают... А ты уж погляди-ко там получше, у списках. Погляди, слышь?

Заведующая архивом вновь принялась перелистывать лежащую на столе папку, медленно водя лакированным ноготком по строчкам, а лицо ее выражало снисходительность и досаду оттого, что приходится тратить столько времени на бестолкового просителя, объясняя ему то, что заведомо не нуждается ни в каких объяснениях. И во взгляде заведующей, когда она поднимала голову и мельком смотрела на терпеливо сидящего перед ней старика, не было ни настороженной покорности, ни испуга, от которых, как казалось Сушнову утром, она уже никогда не избавится. По всему было заметно, что старик этот глубоко ей безразличен, надоел своими посулами и заведующая не чает от него отделаться.

Наскоро засунув свои бумаги в портфель и щелкнув застежкой, Сушнов поднялся из-за стола. Стараясь не смотреть на согбенную спину старика, на его беспомощный, младенческий затылок и на лакированные ноготки заведующей, он подошел к стоявшей в углу рогатой вешалке, надел пальто и, не попрощавшись ни с кем, направился к выходу.

4

Небо над городом было по-северному выцветшим, блеклым. Заволоченное сплошными облаками, оно словно бы опускалось на подступающие к городу сопки, стекало по их склонам, и, должно быть, поэтому казалось, что дома, улицы, черные бока траулеров у причалов и даже далекие лиловые скалы на другой стороне залива — все это окутано расплывчатой прозрачной пеленой, скрадывающей расстояния и придающей всему вокруг мягкую округлость и неопределенность. Было еще светло, но кое-где окна домов уже теплились электрической желтизной. И там, где желтизна эта была ярче, явственно намечались косо струящиеся на тротуар туманные прямоугольники, перечеркнутые изнутри темными крестовинами оконных переплетов.

Сушнов шел быстро, но всякий раз, приближаясь к этим призрачным преградам, невольно придерживал шаг, будто опасался споткнуться об их зыбкую туманность, а торопящиеся по своим делам люди с ходу наталкивались на него, некоторые недоуменно оглядывались и, тут же позабыв о нем, спешили дальше.

На улице похолодало. Громко хрустел под ногами посыпанный солью грязный ноздреватый снег, но в хрусте этом не было свежей, бодрящей звонкости, радующего капустного скрипа, а только слякотное чмоканье и скрежетание, тотчас же глохнущее в знобком, влажном воздухе. Неприятная эта морозная сырость колко холодила лицо, проникала за воротник, и Сушнов то и дело поеживался, поправлял сбивающийся шарф, придерживая его рукой у подбородка.

Он миновал перекресток и вышел на проспект, где было многолюдно и шумно. В предвечернем сумраке, в сиянии магазинных витрин, в людской толчее, в неумолчном гуле проезжающих мимо машин и троллейбусов было что-то возбужденно-праздничное и вместе с тем бездумно неотвратимое, как будто и люди, и машины с необъяснимой какой-то одержимостью устремлялись прочь из города вслед за бегущим по карнизу крыши универмага неоновым рекламным оленем.

Ничто не могло противиться этому безудержному и бесконечному потоку. И лишь приземистый мусороуборочный фургон с крутящейся металлической щеткой, похожий на хлопотливого жука-навозника, прижимаясь к бровке тротуара и слепя вспыхивающим дальним светом фар, с равнодушным упорством полз навстречу движению, приближаясь неумолимо, как танк. Из-под его громыхающего железного брюха вылетали комья бурого снега, выскакивали голубоватые искры, когда жесткая проволочная щетина начинала с визгом скрести голый асфальт.

Опасаясь, чтобы не обдало грязью пальто, Сушнов свернул в первый попавшийся магазин и очутился в ювелирном отделе, где на прилавках покоились под стеклом на вороненом бархате пухлые мельхиоровые ножи, золоченые подстаканники, разрисованные купеческими вензелями вилки и прочая столовая дребедень. Покупатели здесь особо не задерживались, а только, скользнув взглядом по открытым коробочкам, в которых тесно, как патроны в обойме, поблескивали вставленные на ребро чайные ложки, спешили дальше, в просторный зал, где и застревали у прилавков в немом, почтительном восхищении, как бы завороженные богатством выбора и чековой недоступностью.

Сперва и Сушнова поразило это невероятное богатство. И он тоже стал суетливо протискиваться поближе к прилавку, к двум молоденьким продавщицам, что с нарочитой леностью, словно не замечая никого вокруг, переговаривались с кассиршей, скучающей в узкой своей будочке, огороженной низким стеклом, удивляясь, почему никто не спрашивает их ни о чем и ничего здесь не покупает. Но, лишь протиснувшись к самому прилавку и разглядев укрепленную над окошком кассы табличку, извещавшую посетителей магазина о том, что в здешнем мире изобилия самая неколебимая на земле валюта — полновесный советский рубль — совершенно несостоятельна, он понял наконец, отчего продавщицы не обращают внимания на покупателей, а те стоят смирно, не кочевряжась и не требуя, как обычно, показать им ту или иную вещь либо разрешить ее примерить. Местному торговому начальству было, наверное, глубоко безразлично, что, после того как покупатели побывают в сказочном этом салоне, у них, у несостоятельных этих покупателей, или, по более точному определению издевательской таблички, посетителей магазина, могут возникнуть всякие нездоровые мысли и сопоставления.

Ощущая, как ему становится нестерпимо стыдно из-за охватившей его нелепой суетливости, с какою только что пробивался он сквозь толпу, Сушнов, наступая на чьи-то ноги, заторопился на улицу.

Он убеждал себя, что ничего страшного с ним не произошло, а просто занесло его, как говорится, не в ту дверь. Однако же он испытывал такое чувство, словно, пообедав в ресторане, вдруг обнаружил, что ему нечем расплатиться. И пусть денег с него не потребовали, милицию не вызывали, а отпустили с добром, — как раз это-то и казалось ему сейчас самым оскорбительным. Во всяком случае, как совершенно ясно осознавал теперь Сушнов, молоденькие продавщицы с кукольными прическами и подведенными глазками, которые хозяйничали в том чековом раю, смотрели на него, пока он с идиотским упорством лез к прилавку, с вежливым презрением и превосходством. Они, конечно же, сразу определили, что он тоже ничего не сможет здесь купить, и как бы заранее прощали ему и суетливость его, и недогадливость, понимая, что забрел он сюда по ошибке, случайно.

А когда Сушнову уже на улице припомнилось еще, как насмешливо переглянулись продавщицы, стоило лишь ему повернуться к ним спиной, — это он успел заметить в зеркале на противоположной стене, — когда полностью осознал всю унизительную пренебрежительность этой немой насмешки, он вновь ощутил обескураживающий, какой-то расслабляющий стыд и запоздалую острую обиду, но уже не только за себя, но и за тех, кто все еще топтался в том салоне у прилавка. Тягостным от сознания абсолютной своей беспомощности, невозможности изменить что-либо в случившемся, постыдно унизительным и каким-то уничтожающе-оскорбительным было это испытанное им чувство! Не дай бог!..

Сушнову не хотелось в таком состоянии возвращаться в гостиницу. И, уже подойдя к ней, он вспомнил, что так и не побывал в порту, хотя еще в поезде намеревался в первый же день сходить на пристань.

Он повернул обратно, обогнул сводчатое застекленное здание плавательного бассейна, напоминавшее крытый рынок, и, пройдя по задворкам вдоль какой-то обшарпанной низкой кирпичной стены с зияющим в ней проломом, сквозь который видны были железнодорожные пути, вышел к перекинутому через них надземному переходу.

С высоты его далеко просматривались синие, красные и зеленые блокировочные огни, елочной гирляндой рассыпанные по путям внизу. Поблескивали подернутые легким инеем крыши пассажирских вагонов, над которыми кое-где курились слабые дымки, чернели плоские прямоугольники груженных углем полувагонов. За жирными от мазутной копоти заградительными сетками отливала медью паутина контактных проводов. И когда откуда-то доносилось хриплое взрыкивание электровоза, провода свистяще пощелкивали, отзываясь на нетерпеливый этот рык басовым рокотом гитарных струн.

А за переходом, по другую сторону путей, стояли закрытые деревянными щитами ларьки. Под их козырьками тускло горели лампочки, высвечивая разбросанные по земле обрывки газет, сухие рыбьи головы, яичную скорлупу. Между ларьками бродила вислоухая собака, пугливо шарахаясь и приседая, когда газетные обрывки начинали шевелиться и шуршать от ветерка. Собака эта, как и глухие ларьки, была, наверное, приписана уже к морскому ведомству, отделенному от всего сухопутного, словно пограничной контрольно-следовой полосой, широким пространством мерцающих в электрическом свете железнодорожных путей.

Пустынно было вокруг. И Сушнов, шагая через площадь к освещенному фонарями фасаду морского вокзала, дивился этой пустынности и припоминал шумные порты южных курортных городов, где довелось ему побывать, сравнивая их сутолочную неразбериху с царящими здесь безлюдьем и спокойствием.

«Пожалуй, они тут все уже на зимнюю спячку завалились. Дверь, конечно, на крюк заперли, — улыбчиво, но все же с некоторой опаской думал Сушнов. — Настучишься, пока откроют. А то и совсем не пустят...» Но вход был не заперт. В кассовом зале полукруглые окошки были прикрыты фанерными заслонками, перечеркнутыми чернильными надписями «Перерыв», а кое-где в мягких креслах подремывали притомившиеся пассажиры.

И в зале ожидания тоже было много свободных мест. Свет люстр водянисто отражался в намалеванной во всю стену схематической карте местных и заграничных линий, обозначенных, как на ученическом глобусе, пунктирными штрихами, то петляющими вблизи молочно-белых берегов, то уходящими в безмятежную тропическую голубизну.

Напротив этой карты, у высокого окна, к стеклам которого уже приникла плотная полярная темень, сидела на узлах нестарая еще женщина, одетая по-крестьянски — в теплую плюшевую жакетку, подпоясанную толстым шерстяным платком. Рядом с ней пристроился в кресле обросший волосами, бородатый парень в старой, порыжелой ушанке и грязном плаще. Был он из портовых бичей, должно быть, давно не мылся и вид имел диковатый.

Парень жевал колбасу, обдирая черными ногтями потрескивающую кожицу, и простуженно пошмыгивал носом. Женщина, склонив набок голову, смотрела на него участливо, по-матерински пригорюнившись, — наверное, она и угостила его колбасой.

— Да ты, мать, не беспокойся. К завтраму ты домой доберешься — это точно, — говорил он женщине, торопливо жуя, роняя на колени себе хлебные крошки из щербатого рта, словно опасался, как бы не отняли у него остатки еды. — Я тут всех знаю, как облупленных. И меня тут все знают... Ты, мать, в общем, не беспокойся...

— А я и не беспокоюсь, — отвечала женщина, затуманенно глядя поверх его головы на те молочные, намалеванные на стене берега. — У меня сын на пароходе матросом работает и невестка есть. Карточку давеча прислали, дак он тоже вроде тебя, с бородищей.

— Ты погоди, мать, он у тебя не на «Канине»?

— Чегой-то?

— Не на «Канине», спрашиваю, плавает сын-то твой? Нет? А то кореш там у меня стармехом. Ну, дедом, по-нашему... Куров Николай Кузьмич. Не слыхала? Нет? Ну ничего... Он меня к себе в помощники зовет. Как прибегим, говорит, из Иоконьги, так сразу приходи... Я же их тут всех знаю, как облупленных...

— Оно и видно, что знаешь, — без осуждения, со вздохом сказала женщина. — Выпиваешь ты, чебось, потому и шустрый такой. А мой вот раньше дак совсем ее, проклятую, не пил... И как только люди-то ночью

по морю плавают? Не видать же тама ничегошеньки, спаси их господи. Одна вода холодющая кругом... Страшно им там, поди, ночью-то?

Женщина повернулась к окну, вглядываясь в темень, а парень отломил щепку от спичечного коробка, ковырнул ею в зубах, сплюнул и радостно усмехнулся щербатым ртом.

— Не-е-е, мать, не-е-е... В море-то не страшно. Там тебе и радио, и приборы всякие, и маяки. На берегу страшно, мать, меж людьми. Во страшно дак страшно. Ходишь по конторам всяким, на коленки едва не становишься, а тебя вроде для них и нету вовсе. Место ты для них пустое, они сквозь тебя глядят, а упадешь, дак перешагнет и не оглянется никто из них, дальше пойдет, в начальники... Как же тут не выпивать-то, мать, а? — Он потряс бородой, будто хотел вытрясти из нее застрявшие крошки. — Все тут пьют, но ты не беспокойся... Я как сюда попал в первый-то раз, тоже, значит, боялся. Зимой здесь и днем темно. Как уйдет солнышко за сопки — так и темно... Недель семь тебе подряд все ночь да ночь... Круглые сутки. Потом уже помаленьку к обеду светать начинает. Ребятишки, дак те в сопки бегают, чтобы поскорее солнышко увидеть. В первый раз я бы тоже побег, да конвой не отпускал... Шаг вправо, шаг влево...

Говорил он, слегка пришепетывая, из-за щербинки своей, должно быть; толстые губы его были мокры, а в припухших глазах проскальзывало недоверчивое изумление оттого, наверное, что вспоминались ему вдруг такие давным-давно позабытые за выпивками да похмельями странные штуки, как ребятишки, солнышко, сопки... И все лицо его, грязное, обросшее неопрятной щетиной, заметно тронутой ранней сединой, с лохматыми бровями, из-под которых поблескивали маленькие слезящиеся глазки, будто смягчилось, оттаяло...

Сушнов не стал рассиживаться в зале ожидания и, пройдя через лабиринт багажных автоматов с пустыми сотами ячеек, над которыми светились зеленые, как у таксистов, огоньки, направился к двери, где значилось: «Выход к причалам». И эта дверь оказалась незапертой, а когда Сушнов на всякий случай толкнул ее легонько плечом, дверь сразу же подалась.

Доски причалов, покрытые ледком, казались выпуклыми и отлакированными. Снег на них не задерживался, его сдувало ветром. И только в пазах между досками белели узкие прерывистые полоски, как будто пазы эти были наспех неаккуратно законопачены ватой.

Покачиваясь, со скрипом терлись о стенку причала серебристые «Метеоры». А с моря, из таинственного и зыбкого мрака его, ослепляя глаза, мощно ударял прожектор, который двигался, наверное, потому, что тени от переносных барьерчиков, укорачиваясь, сползали в сторону.

Сушнов решил было, что это подходит какой-нибудь океанский лайнер, и даже хмыкнул разочарованно, когда прожектор погас и к причалу мягко приткнулся небольшой кораблик, увешанный по бортам баранками стертых автомобильных покрышек.

Не дожидаясь, покуда с кораблика перекинут трап, на причал прыгнул высокий мужчина в расстегнутой меховой куртке. И, едва лишь прыгнул он, судорожно взмахнув руками, и полы его распахнутой куртки крыльями трепыхнулись над ним, когда, бухнув резиновыми сапогами и оскользнувшись, но все же сохранив равновесие, зашагал он вдоль жиденьких этих барьерчиков к сияющим окнам вокзала, навстречу ему заспешила какая-то женщина. Она почти бежала, отворачивая от ветра лицо.

Мужчина в куртке приостановился, бережно обнял женщину, и они, постояв так, не обращая внимания на Сушнова, двинулись дальше, в обход вокзала. Шли они медленно, и женщина, прижимаясь к жесткой куртке своего спутника, что-то безумолчно говорила ему и смеялась, как всхлипывала. Сушнов не заметил, откуда она появилась на причале, не разглядел он и ее лица, хотя прошли они рядом, но ему почему-то показалось, что это та самая женщина, какую он провожал вчера.

Сушнов запоздало подумал, что она, конечно, узнала его, но просто не подала виду, чтобы не вызвать у мужа подозрений. А может, и не она это была вовсе, а какая-нибудь другая женщина?.. Может, и не мужа она здесь встречала?.. Впрочем, теперь это мало его трогало...

Он внезапно почувствовал, как холодно и одиноко ему на заледенелом, пустом причале. Он услышал гул ветра и хлюпающие всплески волн, ощутил на своих губах солоноватые брызги, их освежающую горечь и, тоже отворачиваясь от ветра, увидел в мертвенном свете вновь вспыхнувшего прожектора свою уродливо огромную тень на стене морского вокзала. И, как только тень эта, как стрелка часов, заскользила вниз, он догадался, что буксир отвалил, и, испытывая лишь усталость и желание поскорее попасть в гостиницу, в сухое ее тепло, поспешно направился за скрывшимися в завокзальной ночной темноте мужчиной и женщиной в белой шапке...

Когда Сушнов поднялся на второй этаж, по длинному гостиничному коридору слонялись какие-то долговязые белобрысые иностранцы, очевидно, туристы. Они зычно перекликались, курили, стряхивали пепел прямо на вычищенные дорожки, и дежурная по этажу осуждающе поглядывала на них, однако помалкивала, хотя было видно, что большинство туристов пьяны, и что ей не по душе бестолковая суетня, шум, и она еле сдерживается, чтобы не прикрикнуть на нетрезвых своих постояльцев.

«Уж с нашим-то братом ты бы, конечно, не церемонилась. Милицию бы вызвала, чтобы в вытрезвитель пристроить, — усмехаясь, подумал Сушнов, проходя мимо столика дежурной по этажу. — А тут, милая, ничего не попишешь — за все валютой заплачено, терпи!»

Он устал за день, проголодался, но в ресторан все же не пошел, а купил в буфете лежалых бутербродов с сыром и, попросив у дежурной чаю, заперся у себя в номере.

Ресторанный джаз, должно быть, сегодня отдыхал, потому что снизу не долетало ни звука, и только из коридора по-прежнему доносились громкие голоса и лошадиное топанье неугомонных туристов. Выпив чаю, Сушнов решил посмотреть сделанные в архиве выписки. Он разложил бумаги, зажег настольную лампу и выключил верхний свет.

Черный мрак за окном сгустился еще более. А Сушнов, заглядевшись на расплывчатые пятна уличных фонарей, подумал, что скоро здесь наступит настоящая полярная ночь и что хорошо бы приехать сюда еще раз, чтобы в спокойной обстановке, ничем не отвлекаясь, — не вечно же будут по коридорам туристы валандаться! — основательно поработать над своей монографией: ведь куда, например, пойдешь, если на дворе ночь круглые сутки? Никуда, конечно... Вот и сиди себе смирненько, занимайся делом...

И, подумав об этой вечной холодной тьме, он представил свой гостиничный номер затерянным в ней крохотным освещенным островком и о самом себе подумал, как о комочке жизни на этом островке.

Сушнову сначала приятно было думать так о себе и воображать этот неосязаемый окружающий холод, который не мог вторгнуться в его комнатный теплый мирок, потому что он был надежно защищен от всего внешнего, враждебного прочными каменными стенами. Но постепенно им начало овладевать сомнение, словно добротной кирпичной кладки гостиничные стены на самом деле были не столь уж надежными и имелась в них какая-то не видимая глазом щелочка, сквозь которую в любую минуту могло проникнуть к нему нечто необъяснимое, страшное, способное совсем уничтожить его.

От сознания собственной беззащитности и бессилия перед непонятно откуда грозящей ему опасностью все тело его сотряс мгновенный озноб. Сушнов сжал зубы и напрягся, чтобы преодолеть эту дрожь, пугаясь ее всерьез и чувствуя, как по плечам и груди прокатывается уже не воображаемый, а вполне реальный холод.

«Да что же это такое со мною творится? Не хватает еще заболеть тут гриппом... Намаешься потом в дороге. Неужто все-таки простыл? — спрашивал он себя, невидяще глядя на разложенные по столу листки и постепенно осознавая, что вместо этих белеющих под лампой листков перед глазами его возникают приземистые бараки посреди темных ночных снегов, резко освещенные негасимыми прожекторами с угловых вышек, отчего беспредельные эти ночные снега кажутся как бы разрезанными на равные прямоугольники гирляндами сверкающих алмазных блесток от наросшего на острые завитки колючей проволоки пушистого, игольчатого инея. — Ну вот, так ты бог знает до чего можешь досидеться... Еще и не то тебе привидится... Нет, надо ложиться спать. Завтра снова идти в архив. И там наверняка опять будет торчать этот глуховатый дедок, справку у заведующей канючить, сулить ей что-то... А заведующая, чтобы отвязаться от него хоть на денек, пошлет его, конечно, в какую-нибудь другую контору.

Дескать, ступай туда, милый человек, там тебе обязательно помогут. Почему-то в наших присутственных местах укоренился своеобразный стиль. Здесь теперь вообще не принято просто отказывать просителю в чем-либо, мотивируя сей отказ конкретно тем-то и тем-то, а надобно непременно надежду в человека заронить, наобещать ему с три короба, чтобы, как только он за порог ступит, позабыть о нем навсегда! Называется это бережным отношением к ближнему... Все это прекрасно видят, понимают, и никого это не трогает. Люди давно притерпелись ко всеобщему равнодушию, приспособились к обязательной взаимной лжи... Ну, а сам-то ты разве не собираешься вот сейчас, сидя за этим столом, лгать себе и другим? Вернее, не откровенно лгать, а деликатно не говорить всей известной тебе правды, что, по сути, является той же самой ложью?.. А что если ты рискнешь несколько расширить тему? Скажем, сосредоточишься не только на расстрелянных комитетчиках, но и попытаешься развернуть, как говорится, сопутствующие проблемы? Ведь на основании многих известных тебе документов ты мог бы спокойно доказать, что для достижения провозглашенных некогда возвышенных и гуманных целей применялись далеко не возвышенные и не гуманные методы, исторические аналоги которых проще всего найти, пожалуй, в великих индейских цивилизациях Южной Америки или же в раннединастическом Египте: обожествление владыки, применение в огромных масштабах рабского труда на строительстве объектов государственной важности, жесточайшее подавление любого протеста, чиновничье всевластие, абсолютизация коллектива и полное ничтожество отдельно взятой личности... Ну, и так далее... Ведь надо же когда-то кому-то прямо сказать об этом... Но почему кому-то? Почему ты, именно ты не хочешь или боишься развернуть эту тему в своей монографии? Ты чувствуешь себя в и н о в а т ы м? Ты в д о л г у перед памятью погибших? Так не пора ли попытаться искупить свою в и н у и вернуть хоть ничтожную часть своего д о л г а?..»

Сушнов лишь сейчас заметил, что шум в коридоре утих и полуночная тишина сонно заполонила все вокруг. Голова у него болела, суставы поламывало, и, поднимаясь из-за стола, чтобы наконец-то улечься в постель, он чувствовал себя измотанным и разбитым, словно пришлось ему сегодня не просидеть целый день в архиве, а отшагать, как в молодости, по меньшей мере десятка два километров с рюкзаком за плечами.

Он был не в состоянии сейчас убедительно объяснить себе, почему все-таки размышления эти, весьма и весьма далекие от того, ради чего, собственно, он и приехал в этот город, так неотступно преследуют его и почему он сам все время возвращается к ним. Неужели только потому, что не хочет выглядеть окончательным подонком в глазах той случайной женщины, которую провожал вчера? Или потому, что ему надоело смиряться со своими неудачами?.. Ну что ж, дерзай, попытайся разогнуться, встать во весь рост. Попытайся один-единственный раз.

Сушнов выключил настольную лампу. И, когда, нащупав во тьме кровать, сел на скрипнувший поролоновый матрац, ему подумалось вдруг, что полярная ночь уже наступила. И наступила она не только здесь, в этом северном городе, где к ней привыкли и воспринимают ее, как, допустим, воспринимают белые ночи в Ленинграде, где никто этому не удивляется, — а и в тех местах, где о ней и слыхом не слыхивали. И будет длиться эта ночь долгие семь недель, о которых толковал в зале ожидания морского вокзала бородатый портовый бич.

От не задернутого шторами окна тянуло холодом. И Сушнов, закутываясь в казенное гостиничное одеяло, подумал о том, что семь недель — это еще не бесконечность. Всего-то около двух месяцев. И нечего драматизировать ситуацию. Ну, решил писать, так сказать, «расширенный вариант» монографии — и пиши себе на здоровье. Никого это не касается, кроме тебя самого. Правда, еще и начальство прочтет твое творение... И, подумав об этом, Сушнов не удержался от саркастической улыбки: «Уж оно-то прочтет, надеюсь, с удовольствием...»

И, уже засыпая, он все еще продолжал улыбаться. Вернее, ему мнилось, что он улыбается, а на самом деле губы его лишь слегка подрагивали и лицо болезненно кривилось...

●

Наум КОРЖАВИН

«Верность себе самому»

Стихи, вошедшие в эту подборку, печатаются по рукописям, хранящимся у меня. (Кроме одного — «Была эпоха денег...», строка из которого дала название всему циклу: оно сохранилось в моей памяти.)

Сказать об авторе этих стихов, что он всю жизнь следовал известному завету Пастернака («Не надо заводить архива, над рукописями трястись»), значило бы сказать слишком мало. Во-первых, потому, что он только так и жил еще задолго до того, как эти строки Пастернака были написаны. А во-вторых, потому что он не то что не заводил архива и не трясся над рукописями, но сплошь и рядом просто т е р я л свои стихи, почти никогда даже не перебелял их. Все, что он написал, не пропало благодаря друзьям поэта и многочисленным его поклонникам, которые перепечатывали и переписывали от руки его стихи задолго до возникновения самиздата.

Лишь накануне своего отъезда из СССР Н. Коржавин попытался собрать хотя бы главное из всего сочиненного им за 30 лет, перепечатал этот самодельный «однотомник» в четырех экземплярах и роздал машинописные копии нескольким друзьям, одним из которых был я.

В 60-е годы он был известным советским поэтом, хотя вышла у него к тому времени только одна — первая и последняя в нашей стране — небольшая книжечка («Годы», М., «Советский писатель», 1963.) Известность его началась задолго до этой книжки. Задолго даже до появления нашумевшего альманаха «Тарусские страницы» (1961), в котором впервые был напечатан его большой цикл.

Уже в первые послевоенные годы мне часто приходилось слышать на разных поэтических вечерах стихи Коржавина.

Они потрясали своей обнаженной правдой. Ошарашивали тем, что в них прямо и открыто называлось то, о чем в те годы не то что говорить вслух, но даже думать — и то было страшно.

Во многих строчках поэта мы, его сверстники, узнавали свои тайные мысли, свои смутные чувства, в которых мы сами боялись себе признаться.

...И в их сердцах почти что с детских лет
Повальный страх тридцать седьмого года
Оставил свой неизгладимый след.

Это было — п р о **нас.**
И это тоже:

Мы родились в большой стране — России.
Как механизм, губами шевеля,
Нам толковали мысли неплохие
Не верившие в них учители...

И вот это:

И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...

В 1947 году Коржавин — в то время студент Литературного института —

был арестован (вряд ли сегодня надо объяснять, что поводом для этого послужили его стихи) и, проведя восемь месяцев в Лубянской тюрьме, выслан в Новосибирскую область — на поселение. С первыми же лучами хрущевской оттепели вернулся в Москву. Закончил институт, начал печататься, впервые в жизни обзавелся собственной жилплощадью. И тут грянули новые заморозки, новые холода... Писать и открыто читать стихи, сочиненные без «внутреннего редактора» (а он только такие и умел сочинять), вновь стало небезопасно.

В 1972 году Н. Коржавин вынужден был покинуть Родину. С тех пор он живет в Бостоне (США).

Давным-давно, лет уже, наверное, тридцать тому назад, он написал:

Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне.
Я не был сроду слишком смелым,
Или орудьем высших сил.
Я просто знал, что делать. Делал.
А было трудно — выносил.

Нелепо и чудовищно, что человек, который всю свою сознательную жизнь так ощущал себя и свое место в мире, этот до мозга костей русский интеллигент, не мыслящий себя и свою жизнь вне России, вне ее культуры и ее исторической судьбы, вынужден теперь жить вдали от родины.

Бенедикт САРНОВ

Стихи о детстве и романтике

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И дети просыпались,
И вскрикивали женщины со сна.
А город спал. И наплевать влюбленным
На яркий свет автомобильных фар,
Пока цветут акации и клены,
Роняя аромат на тротуар.
Я о себе рассказывать не стану —
У всех поэтов ведь судьба одна...
Меня везде считали хулиганом,
Хоть я за жизнь не выбил ни окна...
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник,
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.

1944

Зависть

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

Мы не будем увенчаны...
И в кибитках,
снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

1944

* * *

Была эпоха денег,
Был девятнадцатый век,
И жил в Германии Гейне —
Невыдержанный человек.

В партиях не состоявший,
Он как обыватель жил.
Служил и нашим и вашим,
И — никому не служил.

Был острой солью просолен
Его язвительный стих,
Династии Гогенцоллернов
Он страшен был как бунтовщик.

А в эмиграции серой
Ругали его не раз
Отпетые революционеры —
Любители громких фраз.

Но Маркс был мудрец и гений,
И его не смущал ничуть
Проделываемый Гейне
Зигзагообразный путь.

Он лишь усмехался на это
И даже любил:
потому,
Что высшая верность поэта —
Верность себе самому.

1946

* * *

В наши трудные времена
Человеку нужна жена,
Нерушимый уютный дом,
Чтоб от грязи укрыться в нем.
Прочный труд и зеленый сад,
И детей доверчивый взгляд,
Вера робкая в их пути
И душа, чтоб в нее уйти.

В наши подлые времена
Человеку совесть нужна,
Мысли те, что в делах ни к чему,
Друг, чтоб их доверять ему.
Чтоб в неделю хоть час один
Быть свободным и молодым.
Солнце, воздух, вода, еда —
Все, что нужно всем и всегда.

И тогда уже может он
Дожидаться иных времен.

1956

Вступление в поэму

Ни к чему,
ни к чему,
ни к чему полуночные бденья

И мечты, что проснешься
в каком-нибудь веке другом.
Время?
Время дано.
Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсужденью ты,
разместившийся в нем.
Ты не верь,
что грядущее вскрикнет,
всплеснувши руками:
«Вот какой тогда жил,
да бедняга от века зачах».
Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.
Мне молчать надоело.
Проходят тяжелые числа,
Страх тюрьмы и ошибок
И скрытая тайна причин...
Перепутано — все.
Все слова получили сто смыслов.
Только смысл существа
остается, как прежде,
один.
Вот такими словами
начать бы хорошую повесть,—
Из тоски отупенья
в широкую жизнь переход...
Да! Мы в Бога не верим,
но полностью веруем в совесть,
В ту, что раньше Христа родилась
и не с нами умрет.
Если мелкие люди
ползут на поверхность
и давят,
Если шабаш из мелких страстей
называется страсть,
Лучше встать и сказать,
даже если тебя обезглавят,
Лучше пасть самому,
чем душе твоей в мизерность впасть.
Я не знаю,
что надо творить
для спасения века,
Не хочу оправданий,
снисхожденья к себе —
не прошу...
Чтобы жить и любить,
быть простым,
но простым ч е л о в е к о м —
Я иду на тяжелый,
бессмысленный риск —
и пишу.

1952

На смерть Сталина

Все, с чем Россия
в старый мир ворвалась,
Так что казалось, что ему пропасть,—
Все было смято... И одно осталось:
Его
неограниченная
власть.
Ведь он считал,
что к правде путь —
тяжелый,
А власть его
сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он — мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Соратники,
на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться,
все забрать
и наказать.
Холодный траур,
стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил,
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах —
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?

А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо.
И к правде ложь
не может привести.

1953

* * *

Я пью за свою Россию,
С простыми людьми я пью.
Они ничего не знают
Про страшную жизнь мою.
Про то, что рожден на гибель
Каждый мой лучший стих...
Они ничего не знают,
А эти стихи для них.

1959

Отрывки из цикла стихотворений «Наивность»

Наивность!
Хватит умиленья!
Она совсем не благодать.
Наивность может быть от лени,
От нежеланья понимать.

От равнодушия к потерям.
К любви... А это тоже лень.
Куда спокойней раз поверить,
Чем жить и мыслить каждый день.

Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь.
В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть.
Таким ничто печальный опыт.
Их лозунг — «вера, как гранит!»
Такой весь мир в крови утопит,
Но только цельность сохранит.
Он духом нищ, но в нем — идея,
Высокий долг вести вперед.
Ведет!
Не может... Не умеет...
Куда — не знает... Но ведет.
Он даже сам не различает,
Где в нем корысть, а где — любовь.
Пусть так.
Но это не смягчает
Вины за пролитую кровь.
. . . .

Все для тебя. Гордись, Отчизна.
Пойми, прости им эту прыть:
Идиотизм крестьянской жизни
Хотелось им искоренить.
Покончить силой — с древней властью

Вещей — чтоб выделить свою.
И с ней вести дорогой к счастью
Колонны в сомкнутом строю.
. . . .

Не мстить зову — довольно мстили,
Уймись, страна! Устройся, быт.
Мы все друг другу заплатили
За все давно,—
и счет закрыт.

Ну что с них взять —
с больных и старых,
Уж было все на их веку.
Я с ними сам на тесных нарах
Делил баланду и тоску.
Они считали, что безвинны,
Что их судьба,— как с неба гром.

Но нет! Тому была причина —
Звалась: великий перелом.

Предмет их гордости... Едва ли
Поймут когда-нибудь они,
Что всей стране хребет сломали
И душу смяли ей — в те дни,—
Когда из верности науке,
Всем судьбам стоя поперек,
Отдали сами — властно — в руки
Тем, кто не может,
тех, кто мог,
Чтоб завязалась счастья завязь,
Они — в сознанье вещих прав,—
Себе внушили веру в Зависть,
Ей смело руки развязав.
В деревне только лишь...
Конечно!
Что ж в город хлынула волна?
Потоп!
Ах, где им знать, сердечным,
Что все вокруг — одна страна.
Что в ней — не в тюрьмах,
в славе, в силе,
Они — войдя в азарт борьбы,
Спокойно сами предрешили
Извивы собственной судьбы.
Кто б встал за них — от них же зная,
Что совесть гибкой быть должна,
Живой страны душа живая
Молчала в обмороке сна.
Не от побед бывают беды,
От поражений... Мысль проста.
Но их бедой была победа.—
За ней открылась — пустота.
. . . .

Прости меня, прости, Отчизна,
Что я не там тебя искал.

Когда их выперло из жизни,
Я только думать привыкал.
Немного было мне известно,
Но все ж казалось — я постиг.
Их выпирали так нечестно,
Что было ясно — честность в них.
За ними виделись мне грозы,
Любовь... И где тут видеть мне
За их бедой — другие слезы,
Те, что отлились всей стране.
Пред их судьбой я не виновен.
Я ею жил, о ней — кричал.
А вот об этой — главной — крови
Всегда молчал. Ее — прощал.
За тех юнцов я всей душою
Болел... В их шкуру телом влез.
А эта кровь была чужою,
И мне дороже был прогресс.
Гнев на себя — он не напрасен.
Я шел на ложные огни.
А впрочем,что ж тут? Выбор ясен.
Хотя б взглянуть на наши дни:
У тех трагедии, удары,
Судьба... Мужик не так богат:
Причин — не ищет. Мемуаров —
Не пишет... Выжил — ну и рад.
Грех — кровь пролить из веры в чудо.
А кровь чужую — грех вдвойне.
А я молчал...
Но впредь — не буду:
Пока молчу — та кровь на мне.

1963

Отрывок из поэмы «Сплетения»

...Не странно ль? Сбежав за границу,
Держась за последний причал,
Я рад, что мне вышло родиться
В стране, из которой сбежал.

Но все — и причастие к небу,
И к правде пристрастье мое
(За что и гоним был нелепо,
И изгнан) — во мне от нее.

И счастлив я,— даже тоскуя,—
Что я не менял, как во сне,
Отчизны — одну на другую,
Равно безразличную мне.

А жил, как положено,— дома,
На родине, с нею не врозь,
И резал ножом по живому,
Когда расставаться пришлось.

. . . .

Но зная о будущем мало
И веря не слишком в зарю,
За то, что ты жизнью мне стала,
«Спасибо судьбе!» — говорю.

За бледные тропки в тумане,
Паденья, которых не счесть,
За ту остроту пониманья,
С которой не просто и здесь.

Где радостно пляшут у края,
Не веря глазам и тоске,
Где медленно я подыхаю
В прекрасном своем далеке.

1980

Публикация Бенедикта САРНОВА с согласия автора.

Константин ВАНШЕНКИН

Из «Книги воспоминаний»

Ведь я знал его

О Викторе Некрасове

Летом 1987 года среди писателей прошел слух: возвращается Некрасов. Это известие вызвало интерес и оживление — и у тех, кто знал его прежде, и у тех, кто хотел, даже мечтал познакомиться.

Но почему? Думается, главная причина в одном: Виктор Некрасов — автор книги, которую невозможно замолчать или отодвинуть в сторону. Это давно уже очевидно. Вот мы часто повторяем: «Тут ни убавить, ни прибавить», но произносим эту формулу чисто теоретически, а ведь так оно и есть. Без преувеличения; из этой книги вышла вся последующая пронзительная литература о войне, та самая «проза лейтенантов», да и рядовых тоже. Так, по слову Достоевского, «все мы вышли из гоголевской «Шинели». Так наша послевоенная «деревенская проза» произошла от яшинских «Рычагов» и «Вологодской свадьбы».

До «Окопов» я успел прочитать несколько книг о войне — и никудышных (не хочется называть авторов), и хороших, как мне тогда казалось (потом я их не перечитывал). Но если те книги были хорошие, то в этой была правда. Помню, демобилизовавшись, читал ее в журнале «Знамя», в старом еще «Знамени» небольшого формата. Если не ошибаюсь, повесть называлась поначалу «Сталинград».

Разговоры о возвращении Некрасова не подтвердились, заглохли — вряд ли за ними было что-нибудь реальное,— зато в сентябре пришла вполне точная весть о его кончине.

И захотелось написать о нем, ведь я знал его, встречался с ним, общался. Я и раньше, пока он был еще здесь, несколько раз упоминал о нем в книге «Наброски к роману», но сейчас возникла потребность рассказать подробней, по возможности подряд.

В мае 1954 года я участвовал в составе совершенно грандиозной делегации писателей, музыкантов, артистов в праздновании трехсотлетия воссоединия Украины с Россией. И вот перед началом открытия торжеств, за кулисами Киевского оперного театра Николай Иванович Рыленков, которого я узнал за два дня до этого, познакомил меня с Виктором Платоновичем Некрасовым.

В сановной тесноте и сдержанном гуле собравшихся (за опущенным занавесом переполненный зрительный зал) передо мной стоял крепкий, загорелый, худощавый человек в коричневом пиджаке и с широко распахнутым воротом белой рубашки. У него был умный, независимый взгляд, тонкий хрящеватый нос, небольшие аккуратные, очень идущие ему усы; темные волосы кольцом ложились на лоб.

Он выглядел моложе своих лет. Ему оставалось жить тридцать три года. Через несколько секунд Рыленков шепнул мне:

— Правда, похож на белого офицера?

Я очень удивился:

— Почему?

Мне он показался скорее эдаким городским, чуть приблатненным парнем.

Свободного времени совершенно не было,— беспрерывные встречи и выступления. Наша группа, которую возглавлял Николай Тихонов, ездила еще в Чернигов, в Переяслав-Хмельницкий.

И вдруг — почему-то интервал, окно, и мы, словно очнувшись, сидим в малолюдном ресторанчике в парке, обедаем вчетвером: Н. Н. Ушаков, Некрасов и мы с Рыленковым.

Николай Николаевич мягкий, интеллигентный, очаровательный. И соответственно разговор — о поэзии, об архитектуре,— негромкий, вежливый. А вокруг цветут каштаны, слабеет синева гаснущего дня, где-то вдали золотятся церковные маковки.

Потом мы провожаем Ушакова до такси, прощаемся, усаживаем, он уезжает. Некрасов тут же приглашает к себе.

Он живет вдвоем с матерью в двухкомнатной квартире на Крещатике.

— Где же мама? — удивляется он, едва мы входим, и тут же вспоминает и огорчается, что она сегодня дежурит: мать у него врач.

Во второй комнате он показывает нам какие-то книги и фотографии, и отчетливо помню его слова:

— А это мамино детское распятие...

Он из семьи политических эмигрантов, в самые ранние годы жил в Швейцарии, его держал на коленях Ленин.

Потом мы сидим за столом, пришли еще какие-то люди, один малый работает на заводе, слесарь, имеет влечение к литературе.

Там я впервые обратил внимание на удивительный и такой естественный интерес Некрасова к собеседнику, особенно к каждому новому человеку. Он подходил к моему стулу, опускался на корточки, живо расспрашивал. А вообще-то разговор был общий.

Потом он подарил мне книгу. Было уже очень поздно, глубокая ночь. Они всей компанией отправились нас провожать на бульвар Шевченко, в гостиницу, и не успокоились, пока мы не вошли внутрь.

В гостинице, заполненной только участниками празднеств, кафе работало круглосуточно,— ведь та или иная группа могла прибыть с выступления в другом городе в любое время.

Мы с Николаем Ивановичем завернули туда, сели в уголке и разлили на двоих бутылку кефира. В кафе никого не было. И тут отворилась дверь и шумно ввалилась припозднившаяся бригада. Они устроились вдалеке от нас, и вдруг раздался характерный голос Суркова, возбужденный дорогой, успехом, не знаю еще чем:

— Посмотрите, посмотрите, вон Рыленко̀в с Ваншёнкиным кефир пьют!

Мы потом часто, смеясь, это вспоминали. А тогда мы напустили на себя скромный вид: да, мы такие...

Я стал рассматривать дарственную надпись на книге. Она и сейчас предо мной: «Косте Ваншенкину, чтоб он был таким же хорошим, какой он есть. В. Некрасов 15.V.54. Киев».

На обороте титульного листа напечатано:

«Постановлением Совета Министров Союза ССР Некрасову Виктору Платоновичу за повесть «В окопах Сталинграда» присуждена Сталинская премия второй степени за 1946 год».

Затем я встретил его в «Новом мире»,— вероятно, уже поздней осенью. Там шла его книга «В родном городе». Твардовский был смещен с поста главного редактора (это ведь с ним случалось дважды), но Симонов привечал прежних авторов.

Некрасов стоял посреди редакционной гостиной, рядом с ним — грузный, молодой, весело смеющийся человек на костылях.

Я подошел.

— Костя! — воскликнул Некрасов и тут же спросил, есть ли у меня «Теркин на том свете». Получив отрицательный ответ, он на мгновение задумался, а затем осведомился: — Вы знакомы?

Его смеющимся собеседником оказался Марк Щеглов.

Я потом не раз коротко общался со Щегловым — в Коктебеле и в Москве, бывал у него в Электрическом переулке, возил его на такси к себе, знал его мать Неонилу Васильевну, надолго пережившую сына.

— Марк! — сказал Некрасов тоном, не терпящим возражений.— Дай Косте эту гениальную поэму, он перепечатает и тебе вернет.

Щеглов тут же полез в портфель, лежавший рядом на стуле.

У меня не было тогда пишущей машинки, и я переписал всю вещь от руки. Мы жили на Арбате (теперь многие говорят: «Старый Арбат», как будто есть еще какой-то другой), а поблизости, кажется, в Хлебном переулке, поселился тогда Тендряков. Я встретил его, гуляя, и к слову сказал о поэме. Володя попросил перепечатать и один машинописный экземпляр вручил в благодарность мне. Так они у меня и сохранились — от руки и на машинке.

Нет, это не был так называемый «самиздат». Это был живой интерес к литературе, тяга людей, близких к «Новому миру», к Твардовскому.

Кстати, через девять лет поэма была опубликована. Мне сразу бросилось в глаза, что автор еще поработал над ней — не в смысле смягчения острых мест, а просто кое-что изменил, как я полагаю, не в лучшую сторону.

А в тот раз, когда мы встретились в редакции, Виктор пригласил вечером меня с женой к себе в гостиницу «Советская», которая только что открылась после реконструкции. Некрасов с гордостью демонстрировал свой номер и особенно ванную, сверкающую плиткой и никелем. Были еще приглашенные, и главный из них — дорогой лихой однополчанин, выведенный в «Окопах» под именем Чумака. Они, как видно, отмечали встречу уже не первый час. Спустились в ресторан. Виктор с Чумаком оба были без пиджаков, в рубашечках-безрукавках, явно не по сезону.

И в том же году, в декабре, Второй съезд писателей. Какое событие, если Первый был в тридцать четвертом году!

Оторопь брала.

Я оказался в числе делегатов. Вероятно, ввиду моей относительной молодости и того обстоятельства, что я был членом Союза, а большинство моих литературных сверстников кандидатами, этот институт был позднее упразднен.

(Тогда наша организация называлась: «Союз советских писателей СССР». Потом слово «советских» сократили: а каких же еще, если СССР?)

В первый день съезд работал в Кремле, десятилетиями закрытом для общих посещений. Что там, за его таинственными воротами? И вот писательская толпа спешит по припорошенному утренним снежком двору. Это ведь сейчас обычное дело. А тогда — глазам своим не веришь. В голове у меня звучит:

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?..

Внутри Большого Кремлевского дворца обязанности гардеробщиков выполняют солдаты. Вмиг забирают пальто и суют номерок.

А наверху, перед несколькими входами в зал заседаний, дежурные распорядители в который раз проверяют паспорта и мандаты. Хотя нет, здесь уже только мандаты, вернее, временные удостоверения.

Дежурные привыкли к заведенному порядку: звонок на заседание — все входят в зал, звонок на перерыв — выходят. Поначалу так и было. Но потом: скучный выступающий — повалили курить, объявлен интересный — обратно. Дежурные сперва грудью вставали, не пускали, но не выдержали, сникли, отступились. Смотрели потрясенно, растерянно, их даже становилось жалко.

И зачем открыли заповедные двери для такой несерьезной публики?

Но вначале все в новинку: и длиннейший зал, и наушники у каждого делегата, и, ух ты, правительство в президиуме!

Открывала съезд старейшая писательница — Ольга Форш. Это ведь теперь открывает руководство. А тогда какие корифеи были в секретариате, но нет, открывал старейший. Достойно подражания.

И все это было смешано с шуткой, розыгрышем, забавой. Ведь творческие же люди, писатели. Да и время было такое: хотелось сбросить оцепенение. Один писатель из Средней Азии опоздал на минуту, сел, отдышался. Говорит Форш, медленно, основательно.

Писатель подождал немного, спрашивает у соседа:

— Кто это?

Сосед (им оказался Казакевич) объясняет небрежно:

— Фадеев.

Опоздавший молчит потрясенно, думает и наконец произносит:

— А-я-яй, как постарел!..

Тогда Казакевич сочувственно говорит о необходимости вести размеренный образ жизни.

В большие перерывы писатели, уже освоившись, болтая, гуляют по дворцу: Георгиевский зал, терема Грозного, Святые сени, Грановитая палата...

В последующие дни съезд, как и было предусмотрено заранее, проходил в Колонном зале. Какой-то бесконечный съезд: длинные обзорные доклады, отчеты, вспыхивающие сшибки в прениях, бурлящие фойе и буфет, часто меняющаяся стенгазета съезда, возле которой тоже толпа; остроты, обиды, знакомства, встречи, объятия.

Пришелся на это время и мой день рождения — двадцать девять лет. Я заранее пригласил Некрасова, Рыленкова и незнакомых с ними двух моих испытанных институтских друзей — Винокурова и Трифонова.

Ехать уговорились вместе, прямо отсюда. Да что там ехать — одна остановка на метро от «Площади Революции».

Однако ближе к вечеру подошел Виктор и сказал, что хотел бы послушать выступление Б. Агапова, который собирается долбать его новую вещь и называет его прозу планктоном. Об этом Некрасова предупредил какой-то доброжелатель.

В принципе такая оценка не была новостью. Некрасова, как это не раз бывало в литературе, чаще всего критиковали за его сильные стороны. Он впитывал жизнь во всех ее подробностях, был ее ценителем, что ли. Он все подмечал, видел, слышал и бесхитростно хотел поделиться этим с читателем.

После первой книги наиболее удачны у него вещи очеркового плана, *как бы* очерки — об Италии, о Дальнем Востоке. За них его называли печатно «туристом с тросточкой» и как-то еще в этом же роде.

Демократичность его описаний квалифицировалась как бытовизм.

Там, где он начинал писать *художественно*, выдумывать психологию, он сразу терял. Но живые, жизненные детали оставались, западали. Помню, много было сломано копий вокруг мимоходного взгляда вернувшегося с войны героя, увидевшего на полочке в ванной не одну зубную щетку, а две.

В дальнейшем, в Париже, он утратил эту свою безошибочную точность детали в настроении. Да и не хватало запаса художественной памяти, столь свойственного Ивану Бунину.

А тогда, в фойе Колонного зала, я ответил ему весьма кисло:

— Ну что ж, конечно. Подождем...

Остальные мои гости, я чувствовал, уже испытывали нетерпение, настроились. Но объявляли одного оратора за другим, а обещанного Агапова все не было.

Наконец не выдержал и Некрасов:

— Было бы чего ждать! Поехали!

Особняк стоял посреди двора. Нужно было подняться по опасно сбитым ступеням, пройти через неухоженную коммунальную кухню, темный коридор и отворить дверь в наши две смежные комнатенки (9 и 7 кв. м), но уютные, из другого мира — с книжными полками, горкой, тахтой, письменным столом. А занимая всю первую комнатку, стоял раздвинутый и соответственно накрытый уже готовый стол, вызвавший ликование гостей, особенно Некрасова. Инна скромно улыбалась.

Таким образом я впервые познакомил своих гостей между собой, и, нужно сказать, они очень понравились друг другу.

Сидели поздно, шумно, с удовольствием, но утром как штык были к началу заседания. Тогда это в охотку шло.

Назавтра я спросил:

— Ну, что Агапов? Тебе рассказали?

Он посмотрел с недоумением:

— Наверно, не выступал. Не знаю.

Наконец съезд, к которому мы уже привыкли, окончился, и в Кремле состоялся торжественный прием.

Сейчас это обычно а ля фуршет — стоя, неудобно, но тоже не жалуются. А тогда — настоящий, солидный, *сидячий* ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиною. Что называется, на старый лад.

Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате — не потому, что я был молод,— рядом с

нами сидели и маститые. Мне здесь даже больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами.

Но по мере течения этого долгого ужина захотелось размяться, встретить кого-то еще, посмотреть, что делается на белом свете. Оставив жену на попечение знакомых соседей, я отправился в путешествие.

Георгиевский зал слепил глаза. Первоначальная торжественность приема была уже нарушена, кое-кто тоже болтался между столами. Слышались шум, смех, чоканье. Мне махали, приглашали присесть, но я удерживался.

У дальней торцовой стены стоял поперек стол президиума. Вернее, не вплотную к стене — за ним еще была возведена эстрада, выступали артисты, шел концерт. Я запомнил Райкина и Рашида Бейбутова.

Выступающие, естественно, находились лицом к залу, а внизу, под ними, спиной к ним, сидели члены правительства. Изредка они поворачивали головы и аплодировали — через плечо. А вообще-то непроизвольно растущий гул огромного зала глушил голоса актеров, посылаемые через микрофон.

Мне хотелось подойти поближе, меня обуяла дурацкая идея: посмотреть, кто как пьет. Но чем дальше, тем продвигаться было все труднее, меня выручало только то, что я время от времени подсаживался к знакомым.

Наконец я оказался метрах в пятнадцати от главного стола.

Не помню, был ли Маленков,— в середине стола сидел Никита Сергеевич. Каганович не пил, Молотов едва пригубливал, краснолицый Булганин пил маленькими рюмками водку, Микоян — коньяк. Зато Хрущев чередовал то и другое да еще вдруг налил себе фужер красного вина.

Спич в честь писателей и литературы провозгласил Молотов.

Я двинулся обратно, за Инной. Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдаленной, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души.

Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило.

И тут мы увидели Некрасова. Он целовался с чехом, толстяком Яном Дрдой, о котором, по его словам, был не самого высокого мнения. Но вот они отпустили друг друга, Дрда пошел в одну сторону, а Виктор остался на месте, похоже, слегка потеряв ориентацию.

Я приблизился к нему и взял его под руку. Он слабо удивился, но выразил полнейшее удовлетворение. Когда мы спускались по широкой парадной лестнице, мне пришлось напрячь руку почти до предела. Инна мужественно держалась рядом.

Потом он долго искал номерок, все же нашел, и бодрый солдатик бросил на стойку гардероба его пальто.

Мы в числе последних вышли на кремлевский двор. Воротники пальто и рубашки у Некрасова как всегда были распахнуты.

Стоял поздний зимний вечер, хрустел снежок под ногами. Идущие поблизости наши коллеги разговаривали негромко, все еще ошеломленные небывалыми впечатлениями этого длинного дня.

И лишь Виктор Некрасов не снижал голоса:

— Костя! — кричал он.— Да ты не бойся. Что нам эти писатели! Нет, ты скажи! Что нам это правительство! Да ты не бойся!

На тихом кремлевском дворе от нас только шарахались. Я по-прежнему крепко держал его под руку.

Звучали ли здесь до этого такие слова? Может, уж очень давно. Что сказать в его оправдание? Что ряд членов тогдашнего правительства вскоре оказались членами антипартийной группировки?

Он, правда, не подозревал об этом, но ведь — факт.

Мы вышли через Спасские ворота, пересекли по диагонали Красную площадь и расстались у гостиницы «Москва», где я отпустил его руку и он исчез за дверьми.

Назавтра в Доме литераторов было заседание Правления. Некрасов встретился мне еще на улице.

— Низко тебе кланяюсь,— сказал он серьезно и действительно поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошел Василий Семенович Гроссман. Спрашивает: «Кто это вел вас вчера в Кремле?» Отвечаю: «Ваншенкин». А он: «А я-то думал, охранник».

Дело в том, что на мне была длинная болгарская дубленка, ничуть не являющаяся тогда модной или престижной вещью,— скорее, наоборот.

Он много раз бывал у нас на Арбате. Это была и его трасса: вблизи Киевского вокзала жил Твардовский, на углу Смоленской — работавший в «Новом мире» Игорь Александрович Сац, потом, ближе к началу, мы. Он, гостя в Москве, часто забегал к нам запросто, по дороге,— телефона у нас не было. Иногда Инна заранее приглашала его на обед. Он обычно приводил с собою Саца.

Он вообще имел манеру кого-нибудь с собой притаскивать. Однажды, когда Инна была в отъезде, он заявился с киевским приятелем, плотным, очень компанейским, глядящим выпуклыми добрыми глазами. Это был некий Миша Пархомов. Как выяснилось, он обладал замечательной способностью к адаптации и скоро был уже своим человеком в домах многих московских писателей. Как друг Некрасова.

Не помню уже почему, но в тот вечер оказался у меня и Володя Тендряков. Я, разумеется, их познакомил. Сели ужинать и уничтожили почти все запасы, оставленные мне уехавшей в командировку женой. Тендряк все восклицал, вскрикивал: «Неужели Инка это сама готовила?»

Некрасов восторгался последними работами Тендрякова и особенно повестью «Не ко двору». Он говорил о том, что у него, Некрасова, очень образованная и много читающая тетя, замечательная женщина, она поклонница Тендрякова, написала ему восторженное письмо, но не получила ответа. Володя обещал эту ошибку исправить.

Через некоторое время Тендряков пожаловался мне при встрече, что он и вправду решил, что тетя образованная, а она пишет слово «шофер» с двумя «ф». Я объяснил ему, что это раньше так писали, ва французский манер, и не через «ё», а через «е», чем снял с его души сомнения.

Тогда, в разговоре, выяснилось, что по повести «Не ко двору» отснят уже фильм,— правда, он назывался по-другому. Но главное в том, что автора сценария убедили изменить конец и сделать, чтобы герой не уходил из дому.

— Как! — закричал Некрасов.— И ты согласился?

Тот потупился. Некрасов схватил со стола небольшое такое яблочко и в ярости запустил в Тендрякова, но не попал.

Володя даже не обиделся, хотя отличался в ту пору чрезвычайно вспыльчивым нравом. Впрочем, они тут же примирились. Уже в дверях Виктор сказал мне:

— На днях зайду, поедем к Юре. Мы же давно обещали.

Да, Трифонов звал и ждал давно.

И на этот раз Некрасов прибыл с другом, с фронтовым другом, живущим постоянно где-то на Севере и направляющимся отдыхать в зимний Крым. Это был крупный молчаливый человек, уже несколько оглушенный их встречей.

Замечательное это у Некрасова было качество — верность фронтовому товариществу, не формально, а всей душой, всеми печенками.

Война, однополчане, воспоминания в мельчайших подробностях — это в нем сидело. Его тянуло к тогдашним солдатам и к сегодняшним работягам, он испытывал к ним жгучий интерес, растворялся в них, был такой же, как они.

Он мог бы сказать тоже:

Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат.

Я потом часто думал: как он там безо всего этого? Конечно, там, в бистро или в кафе, тоже есть, наверное, простые, симпатичные ребята, но ведь все другое, и психология тоже.

Мы тут же вышли на улицу, позвонили из автомата, сели в такси — их было тогда полно, на каждом шагу — и поехали.

Трифонов жил на Масловке у своего тестя, старого художника, в специально построенном доме, где помещались и квартиры, и художественные мастерские. Этот дом описан им в позднем рассказе о посещении Шагала. В 1951 году Юра получил за повесть «Студенты» Сталинскую премию и вскоре женился на солистке Большого театра Нине Нелиной. Она, видимо, предполагала, что он и дальше пойдет щелкать премии одну за другой, как тогда не раз бывало. Но у него дело застопорилось, заколодило да и другие появились неприятности, он стал сбиваться с тона, но держался, упорствовал.

От того, последующего, настоящего Трифонова, которого все знают, его отделяло почти целых пятнадцать лет.

А пока что жить было негде, Нинины старики уступили им квартиру, а сами устроились в мастерской. Маленькой Олечке было, думаю, года три-четыре. Она до сих пор или, вернее, с тех пор называет меня «дядя Костя».

Наш приезд вызвал оживление: еще бы, знаменитый Некрасов! Нина с матерью накрывали на стол, друг, похоже, уснул в уголке, в кресле, а мы вели беседу об искусстве.

Один наш поэт в телевизионной передаче о Трифонове охарактеризовал его так: «Молчун, думающий валун».

Совершенно неверно, кроме, разумеется, второго слова. Юра был очень остроумен, бывал весел, даже смешлив. А если бы вы видели, как он слегка тяжеловато, но изящно отбивал чечетку!

Разговор сразу повернулся к живописи. Старик блаженствовал: Некрасов прекрасно знал импрессионистов и постимпрессионистов. Трифонов тоже во всем этом неплохо разбирался, он был образован достаточно глубоко и разносторонне. А я вспомнил лекции Тарабукина и тоже вставил словечко о французской живописи, назвав имена Лоррена и Лебрена, чем несколько удивил Некрасова и заставил старика воскликнуть: «Да, да, конечно. Были такие...»

Мы все находились в разной степени готовности к общению, но это сглаживалось естественностью Некрасова.

Зашла соседка, дочь известного поэта и художника, села к столу, заслушалась Виктора, не скрывая своего восторга. Олечку уже уложили в соседней комнате. И вдруг непосредственная Нина издала вопль. Нужно сказать, что в столице было тогда время разнообразного изобилия. Но, как у нас бывает, какой-нибудь дефицит обязательно обнаруживался. Теперь это были апельсины.

Так вот, в стороне, на столике, стояла ваза с апельсинами — для Олечки, наверное, по одному в день. Некрасовский молчаливый друг, желая более активно участвовать в теплой встрече, вынул перочинный нож и один за другим вскрыл все апельсины, взрезал фигурно, в виде раскрывающихся бутонов. Его действия были замечены хозяйкой слишком поздно. А он недоумевал — что же, собственно, произошло?

Потом мы долго прощались. Виктор обнимался со стариком, а соседка безуспешно пыталась выудить у Некрасова его телефон.

Завезли однополчанина к его родственникам, куда-то на Пресню, ночевать поехали ко мне. По дороге Некрасов сказал, что нужно заехать в магазин, я отвечал, что все уже закрыто. Тогда он велел шоферу повернуть к Киевскому вокзалу.

На ступеньках стояло несколько забулдыг, внутрь пускали только по железнодорожным билетам. Некрасов крикнул: «Я лауреат Сталинской премии!» — и его как ни странно пропустили. Вскоре он появился с тремя бутылками пива.

— Последние,— объяснил он, сев в машину, помолчал и спросил: — Ты слышал?

— Да,— признался я. Он стал тыкать себя кулаком в лоб: — Какой позор!

Я постелил ему на раскладном кресле. Отопление у нас было печное, в тот день я не протопил, и он проснулся утром, стуча зубами... Впрочем, это описано у меня в «Набросках к роману».

Он пристрастился ездить зимой в Малеевку — тяга южанина к морозу, к слепящему снежному простору. Прибывал с матерью своей, милой и интеллигентной Зинаидой Николаевной, только недавно вышедшей на пенсию. Он, человек достаточно безалаберный, относился к ней с исключительной сыновней почтительностью и вниманием.

Еще в первые дни знакомства у него дома, на Крещатике, я обратил внимание, что друзья называют его — Вика. Нетрудно было догадаться, что это его детское имя. Так же звал его Пархомов. Викой иногда называл его и Твардовский. Но лишь сейчас, в Малеевке, услышав это имя из уст его матери, я

незаметно для себя тоже стал называть его так. А на «ты» мы оказались с самого начала.

Рядом с Зинаидой Николаевной гулял по дорожке перед фасадом высокий, красивый старик, вполне еще прямой и бодрый Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это было время, когда он как раз колебался, пора ли ему уже вешать свое охотничье ружье на гвоздь. Не здесь, разумеется,— у себя, в Карачарове.

А Некрасова Володя Тендряков приобщил к лыжам. Тот прежде не знал, что это такое,— только так, со стороны. А тут выбрал ботинки по ноге, и крепления оказались удачные,— и пошел, не оттянешь.

Тендряков, как всегда, много писал, работал зверски и, пробежавшись, оставлял Вику на лыжне одного. И вот выйдешь из лесу и видишь: пашет кто-то по полю да быстро, ближе, ближе, и вот он, крепкий, жилистый, только пар валит.

Крикнешь ему: «Пожалей себя!» — или что-нибудь в этом же духе, а он уже мимо. От души катался.

Недавно нашел снимки: мы — Некрасов, Солоухин и я — выступаем в близлежащей воинской части. Вика, когда видел солдат, прямо-таки таял. На одной из фотографий он, развернув, держит перед собой только что врученную ему «Почетную грамоту».

В нем сидел огромного заряда интерес — не только к общению, к собеседнику. Он очень много читал, чуть не все. Порой звонил по поводу прочитанного или присылал телеграмму. Впрочем, в стихах он не слишком разбирался. Иногда просил Твардовского высказать мнение о том или ином стихотворце. На вопрос, как пишет один и ныне здравствующий, нравящийся Некрасову поэт, Твардовский ответил: «Как все!»

Вика, смеясь, мне об этом рассказывал.

Что же касалось прозы, здесь ему не требовалось консультаций. Вот открытка:

«17/VI—62.

Привет, Костя, из жемчужины Крыма — Ялты. Жалеем, что пьем без тебя. От души радуемся твоей прозе. Ей-богу, хорошо! Как оно там, в Варшаве? Как бимбер? С кем пил? Не забывай. Вика».

Тут же еще и другие приложили руку. Ниже: «Миша» (это Пархомов). А внизу — уже слегка дрожащим почерком: «Привет и от меня тоже! З. Некрасова».

Типичный Некрасов: хочет похвалить, но, словно смущаясь и не желая выглядеть мэтром, тут же снижает, переходит на пресловутый «бытовизм».

Речь идет о моей повести «Авдюшин и Егорычев» («Новый мир», № 5 за 1962 г.). Варшава упоминается в связи с тем, что я там был в составе делегации в мае того же года.

Сколько людей было всегда вокруг него — тянулись встречно: Хуциев, Шпаликов, молодые артисты.

Когда снимался фильм по «Окопам Сталинграда» (название было другое), он по своей непоседливости и дотошности тоже часто крутился в группе. На первом же черновом просмотре обратил внимание на артиста, исполняющего роль Фарбера. Тот играл потрясающе точно и правдиво. Спросил у режиссера,—фамилия ни о чем не говорила. Это был Иннокентий Смоктуновский.

Я уже упоминал: он любил писать письма,— вероятно, особенно, когда не писалось другое.

Так вот, моя дочь художница, рисует с детства. Однажды — мы давно жили в другом месте — он начал внимательно рассматривать ее рисунки, помещенные за стеклами книжного шкафа. Ей было тогда, наверное, лет двенадцать или меньше.

— Послушай,— спросил он,— почему они у тебя все такие грустные? Ты что, грустная?

— Нет,— ответила она беспечно,— я не грустная, это жизнь такая...

Через какое-то время, может быть, через год, меня как-то познакомили с Виталием Семиным.

— О! — воскликнул он живо, услышав мою фамилию. Я грешным делом подумал, что он хочет что-то сказать о моих стихах. Но у него было совсем другое: — Мне о вас Виктор Платонович писал. Ведь это ваша дочка сказала: «Я не грустная, это жизнь такая»?..

Потом мы стали встречаться реже, только случайно. Без всякой видимой причины, просто так. В нем уже не наблюдалось той его шумной открытости. Все шло как-то туго, в Киеве у него были неприятности. Некоторые, слышал, советовали ему перебраться в Москву. Но и здесь у него рассыпали набор двухтомника, да и слишком он был киевлянин.

В одну из годовщин массового расстрела он пришел в Бабий Яр. Там клубились толпы народа, никто к ним не обращался, и он взял это на себя. Он обещал людям, что здесь будет мемориал, памятник и все, что этому месту подобает. Потом им были недовольны. А ведь все случилось, как он говорил, да и могло ли случиться иначе!

Об его отъезде жалели многие. Я думаю, не ошибусь, если скажу: литература жалела. Еще в 1975 году в Минске на совещании, посвященном тридцатилетию Победы, Василь Быков сказал с трибуны о том, как много значит для всей литературы о войне книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Сейчас Некрасова нет, но ясно, что книга эта осталась, ясно, что останется.

В первые годы своей эмиграции он позволил себе ряд выпадов против нашей страны, которые по нынешним критическим временам, может быть, показались бы куда менее страшными. Но ведь выступления такого рода, и порезче, позлей, бывали и у других, в том числе и у Бунина. Мы это тоже помним, но, скажем прямо, проходят годы, и несокрушимая сила искусства перевешивает. Тем более, что в лучших их творениях столько света и добра!

«Ты — мне брат...»

О Кайсыне Кулиеве

Когда я познакомился с Кайсыном? Может быть, когда он учился на Высших литературных курсах? Помню, мы стоим и разговариваем в садике Дома Герцена. Нет, мы тогда уже знали друг друга, но слишком бегло, и вдруг встретились, остановились, а потом пошли в кафе «Мороженое», поблизости, на улице Горького,— это объяснялось, видимо, тем, что у нас было мало времени, но просидели там долго, пили шампанское и ели мороженое — тогда так было принято.

Я испытывал к нему безотчетную симпатию. Думаю, что и он ко мне тоже. Впоследствии я прочитал в подаренной им книге «Так растет и дерево», что он включил меня в очерченный им относительно небольшой круг его друзей. Это меня смутило и растрогало.

Вот я сказал о безотчетной симпатии. Но почему безотчетной? Ведь он был прекрасный поэт. К тому же выяснилось, что мы оба служили в воздушно-десантных войсках (он предпочитал называть себя не десантником, а парашютистом), что комиссаром 201-й бригады, где он начинал, был С. Н. Киреев, ставший затем командиром 4-й бригады, куда попал я. Были у нас и общие привязанности среди литераторов, о чем позже.

И все-таки безотчетная. Мало ли хороших писателей или испытанных однополчан, к которым мы достаточно равнодушны...

Когда еще во время войны балкарский народ был насильственно переселен с Кавказа в Среднюю Азию, Кулиеву, как заслуженному офицеру и талантливому поэту, предоставили право жить там, где он захочет,— кроме, правда, Москвы и Ленинграда. Сообщил ему об этом Н. Тихонов. Кайсын отказался. Он хотел разделить судьбу своего народа. Он был человеком чести, определенных правил, которые он установил для себя и никогда не преступал.

Много раз, но всегда сдержанно, он возвращался в разговоре к тем временам. Я даже вижу как воочию маленький домик во Фрунзе, горы вблизи и письменный стол Кайсына, за которым он работал прямо под открытым небом.

Впоследствии он немало написал об этом.

Обращаясь к судьбе, он говорил: спасибо за то,

Что ты вернула мне, пока я жив,
Снега Эльбруса и рассвет Чегема,

За то, что был я только молчалив
В те дни, когда другие были немы.

(Перевод здесь и далее Н. ГРЕБНЕВА)

Сильно сказано.

В дальнейшем мне доводилось несколько раз жить с ним в Прибалтике. Бывали трудности с обратными билетами. К нему как к депутату Верховного Совета СССР обращалось множество людей: матери с детьми, пожилые пары, просто наглецы. Он никому не отказывал. Он именовал себя самым демократичным сенатором, самым доступным конгрессменом.

Там, на Рижском взморье, он бывал чаще всего с сыновьями и, пока они болтались по пляжу, работал: составлял собрание сочинений, писал статьи, реже—стихи; читал. Он не хотел зависеть от библиотеки и всегда привозил с собой несколько книг, которые собирался прочесть.

Он располагался на высоком этаже, сидел при распахнутых окнах и двери балкона, вдыхая балтийский воздух,— крепкий, круглоголовый.

Когда он приезжал в Москву, а это случалось довольно часто, он — особенно раньше, пока еще был здоров,— регулярно звонил мне, приглашал в гостиницу. Бывал он и у меня. Мы хорошо знали семьи друг друга.

При встречах и по телефону, здороваясь и прощаясь, или просто посреди общения он время от времени проникновенно говорил: «Здравствуй!» (Это звучало у него как «Сэдэравствуй»). Он вкладывал в это слово первоначальный смысл, то есть: «Будь здрав!».

Как-то раз он пригласил меня и Эдуарда Колмановского отобедать в ресторане «Москва». Когда мы пришли, выяснилось, что это отнюдь не обед, а свадьба. Кайсын женил своего старшего сына Эльдара. Мы ничего не знали и чувствовали себя неловко из-за того, что пришли без подарков, но Кайсын упорно объяснял, что заставлять нас заниматься их поисками было бы с его стороны бестактным. Однако в день моего пятидесятилетия он преподнес мне большой рог для вина с надписью золотыми буквами: «Константину Ваншенкину от Кайсына Кулиева» и предварительно публично его обновил.

Вот я сказал о Колмановском. Кайсыну очень хотелось быть автором известной, даже популярной песни. Он познакомился с моим близким другом Марком Бернесом,— по его настойчивой рекомендации и инициативе Колмановский и сочинил первую песню на стихи Кулиева «Все еще впереди». Ее записал Бернес, она широко зазвучала, но, к великому сожалению, оказалась одной из последних песен Марка, болезнь и уход которого Кайсын, знавший его совсем недолго, остро переживал.

Потом появилось еще несколько песен на стихи Кайсына Кулиева и особенно запомнившийся монолог «Та женщина, которую люблю». Однажды на концерте в Колонном зале, где присутствовали и Кайсын, и я, Иосиф Кобзон, исполнявший эту песню, не сумел скрыть слез и едва удержался от рыдания.

У Кайсына была замечательная черта — объединять людей, особенно поэтов. Расул, Мустай, Чингиз, Давид — эти экзотические имена не требуют прибавления фамилий. Мне кажется, никто не связывал их так, как Кайсын. Он серьезно и трогательно говорил с ними — со всеми вместе и с каждым в отдельности. Они любили его, Дудин и Кугультинов называли его Кайсынчик. И в молодых он был заинтересован, к нему тянулись и Олжас Сулейменов, и Борис Укачин, и Инна Кашежева. И еще многие поэты — из различных республик, и русские тоже.

Я уже говорил, что у нас было немало общих литературных и человеческих привязанностей. Мы знали и любили Твардовского, Симона Ивановича Чиковани, Владимира Николаевича Орлова. Кайсын обожал и чрезвычайно высоко ценил Аркадия Кулешова, я тоже был к нему сердечно расположен. Все это также не могло нас не сближать.

Помню, сидим мы в ЦДЛ такой компанией: Кайсын, Аркадий, Резо Маргиани, Владимир Николаевич, Хелемский и я. И не случайно так получилось, а специально собрались, только Орлов присоединился — ко всеобщему удовольствию. Кайсын блаженствует, в тийствует, для него радость, когда рядом друзья. Начинают приглашать на Кавказ: сперва в Чегем к Кайсыну, потом в Сванетию к Ревазу. Они соседи, их аулы рядом, они разделены только хребтом. А затем по Военно-Грузинской дороге — в Тбилиси. И все возбуждены, радуются, строят планы... Боже мой, четверых уже нет...

В 1977 году в Польше находилась большая наша литературная делегация. Я был в автобусе, который между Краковом и Закопане столкнулся на полном ходу со встречной машиной, перевернулся, упал вверх колесами в пятиметровый кювет. Я успел сгруппироваться, ухватиться, не получил даже синяка или царапины.

На другой день, в Катовицах, я встретился с Кайсыном. Он расцеловал меня, возвел глаза к небу и прочувствованно произнес с характерным придыханием: «Брат мой!.. Сэдэравствуй!»

А потом, уже в поезде, когда ехали обратно, предложил тост за мое чудесное спасение. В его повадках иногда проглядывала некоторая театральность (не зря же он до войны учился в ГИТИСе), привычка к воздеванию рук, но в его искренности, склонности к сопереживанию никогда нельзя было усомниться. Однако сам он восхищался сдержанностью своих земляков:

Речь горцев нецветиста, а сурова,
Их разговор бесхитростен и прост
Настолько, что боюсь я вставить слово,
Как конь боится выскочить на мост.

Здесь говорят, не повышая голос,
Неприхотлив крестьянский разговор,
Но слово совершенно, словно колос,
Бесхитростно, как каменный забор.

Тревожит рассуждающих не вечность,
Не старый спор: что истина, что прах?
И в речи их нет слова «человечность»,
А просто человечность в их словах...

Так вот, и в словах Кайсына всегда обнаруживалась человечность, и в его поступках, и делах.

Через полтора года я тяжело заболел. Он посетил меня в больнице, привез большой кулек кураги: «Это тебе будет очень полезно!»

Больница была отдаленная, до метро полчаса на автобусе, и он, услышав, что скоро собирается домой дочь моего палатного соседа, тут же предложил подвезти ее на своей машине. Это в нем сидело крепко.

Я тоже навещал его в больнице. Внешне он мало изменился. Но исчезла его оживленность, экспансивность. Ему теперь было присуще сдержанное достоинство — как у тех стариков горцев.

Потом я видел, как он страдал от боли,— там, в Прибалтике,— от последней или, может быть, предпоследней боли. Он метался, хватался за новые лекарства и методы, но ничто не помогало, да и не могло помочь.

Когда думаешь об ушедших, ужасаешься при мысли, сколько там дорогих тебе людей, близких и знакомых.

И я вспоминаю строчки Кайсына:

Ты — мне брат, ты любимее брата,
Если грудь твою давит и жжет
Боль за всех, кто ушел без возврата,
И тревога за всех, кто живет!

Два письма

О Федоре Абрамове

Федор Абрамов приехал из Ленинграда по договоренности с Твардовским в «Новый мир», но Александр Трифонович оказался нездоров и пригласил Абрамова на дачу, в Пахру, где Федор прежде не был. Это происходило во второй половине шестидесятых.

Абрамов провел там почти весь день, а ночевать его позвал к себе сосед Твардовского — Юрий Трифонов. Федя еще у него на крыльце нарочито запричитал: «Это как же писать-то надо, чтобы так жить! Это какими же художниками надо быть, чтобы в таких-то хоромах...»

Юра только добродушно посмеивался. Хочу засвидетельствовать, однако, что у Трифонова и на даче, и в городской квартире была очень скромная обстановка. В ту пору, во всяком случае.

Что же касается самого Абрамова, то он по мере возрастания литературного успеха и упрочения своего положения обращал на эту сторону жизни определенное внимание. Известно, что одна женщина, горячая его поклонница, чрезвычайно высоко ставившая Федора Абрамова как народного писателя, была разочарована его квартирой и даже назвала ее буржуазной. Наивно, конечно. Что же, он должен на полатях спать, если он народный?

Но иногда в нем проглядывала удивительная, может быть, отчасти и наигранная спесь. Прочитайте его рассказ «Елочка».

Он любил повалять дурака, просто покуражиться. Порой это выглядело трогательно-наивно. Так, вернувшись из Франции, он говорил, что Пряслиных там знают больше, чем Ругон-Маккаров.

Однажды вечером я стоял в ЦДЛ, поблизости от контроля, на ступеньках, чтобы лучше видеть входную дверь, и ждал гостя. Вошел Абрамов, вынул членский писательский билет и безропотно отдал его в руки контролерши. Нужно сказать, что многие наши дежурные дамы никого не запоминают в лицо.

Тогда я крикнул со ступенек нарочито форсированным, театральным голосом: «Пропустите его! Это же Федор Абрамов! Это европейски-известный писатель Федор Абрамов...»

Тут Федя воскликнул: «Негодяи!» — вырвал свой билет и направился к гардеробу.

Он был высокого о себе мнения, но в нем чувствовалась университетская закваска, вкус, интерес к литературе не только о деревне и почти не было присущей сейчас многим угнетающей внешней серьезности, озабоченности.

Встречая его вместе с Борисом Можаевым, я часто спрашивал:

— Нет, вы мне все-таки объясните, кто же лучше: Федор Абрамов или Федор Кузькин?

Федя всегда подыгрывал: сперва приосанивался, а потом изображал возмущение.

Всходя на трибуну на пленумах и съездах, он вдруг начинал говорить не вполне *своим* голосом, кричал, словно его переключили на другой регистр. Подобные метаморфозы случались не с ним одним. Меня, помню, поразил М. Дудин, когда я впервые услышал его общественное выступление. Его подчеркнуто простецкая в быту манера разговора заменилась откровенной декламацией.

Абрамову была присуща не только любовь просто к спору, но и внимание к иному мнению.

Помню, он говорил с трибуны об ужасном явлении: дети у него на родине, в деревне, не хотят учиться, кончают с грехом пополам пять классов — и все. Абрамов объяснил это отсутствием учителей-мужчин и падением таким образом авторитета школы.

Я сказал ему в перерыве, с трудом прорвавшись сквозь хвалебный хор:

— Это, конечно, верно, но лишь отчасти. Вспомни, и у нас, помимо отличных учителей, были и замечательные учительницы. Беда в другом. Дети не хотят учиться потому, что взрослые не хотят работать. Это передается уже как опыт. Ведь учеба — тоже работа.

Он согласился со мной.

Помню еще Дубулты, песчаный пляж, глубокий длинный шрам на ноге Абрамова. Их бесконечные беседы-дискуссии с Трифоновым об Октябре, о гражданской войне: один как бы представлял крестьян, другой — профессиональных революционеров. Федор горячился, Юра отвечал спокойно, рассудительно:

— А имения барские тоже большевики пожгли?

Подошел кто-то из поклонников Абрамова, предложил перед обедом заглянуть в бар.

— Выпить, что ли? — уточнил Федор.— Пить я бросил.— И объяснил еще: — Пустая трата денег...

Федор Абрамов был по-настоящему крупным писателем, вышедшим из гущи народа. Серьезное образование тоже не повредило. Привлекали в нем его упорство, подвижничество, стремление к намеченной цели. Ему жизненно повезло, что он встретился с Твардовским, который поддержал, укрепил веру в собственные силы, призвал к постоянной требовательности, к совершенствованию, наконец просто напечатал.

Я больше всего люблю короткие повести Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».

Я услышал о нем до того, как увидел или прочитал. Помню, В. Ф. Панова говорила в выступлении, что ленинградского писателя Абрамова несправедливо не печатают. Но и лично знаю его, кажется, с незапамятных времен. Чуть ли не всегда мы были с ним на «ты», хотя иногда он начинал говорить мне «вы», на что я не обращал внимания.

Таковы «штрихи» к моему портрету Федора Абрамова. К портрету достаточно будничному,—парадные надоели.

Да и это вряд ли сейчас стал бы писать, если не отыскались бы среди моих бумаг два его коротких письма ко мне, которые захотелось привести, а заодно прокомментировать.

Итак — первое:

«Константин,

просматривая «Литературку» за последние 3 недели (я только что вернулся из ГДР), я, между прочим, натолкнулся в одном из номеров на твою фотографию (где-то на заднем плане, на периферии стоишь) и вот что хочу сказать тебе: разуй голову! Что ты все прячешь ее в мануфактуру!

Нам, читателям твоим, хочется видеть поэтическое солнце, которое излучает такие дивные стихи.

Это — раз. А два... А два и нету. Передай привет милой Ирине (так кажется? Я не ошибся?).

Ф. Абрамов

23/V-77 г.»

Вот такое послание, весьма решительное. Но о чем? О том, что я люблю носить кепку? «А два и нету». Но есть и «два». «Милая Ирина» — это Инна Гофф. Абрамов был с ней знаком и читал ее, но упорно называл Ириной. Но все-таки не вполне был уверен («я не ошибся?»).

А Инна прочитала где-то, что у него была любимая бабушка Иринья, и этим оправдывала его оговорки.

И второе письмо. В 1980 году отмечалось семидесятилетие Твардовского. Был торжественный вечер в Зале им. Чайковского, среди прочих выступал там и я. А непосредственно в день рождения, двадцать первого июня, должно было состояться возложение цветов на могилу,— мне об этом сообщили заранее. Прежде, пока Новодевичье было открыто для посещений, я в этот день рано утром покупал на ближайшем рынке пять красных гладиолусов, приезжал и ставил их в одну из приготовленных банок с водой. Потом подходил еще к могилам Исаковского, Бернеса, Смелякова. Но, когда кладбище сделали закрытым, я перестал навещать их,— не хотелось добиваться, доказывать, убеждать. Теперь начал ездить снова.

А тогда, купив гладиолусы, я поехал, уверенный, что встречу у ворот писательскую толпу. Но у входа было пустынно, и я решил, что все уже внутри ограды. До сих пор не знаю, чем объяснить, но, подойдя ближе, я увидел здесь только тогдашнего председателя Литфонда СССР Алима Пшемаховича Кешокова и Федора Абрамова с толстым портфелем командировочного в руке.

Утро было очень жарким, они стояли в тени и разговаривали. Я поздоровался и стал рядом, не принимая участия в их беседе.

Абрамов говорил о том, каким должен быть новый Дом творчества для писателей Ленинграда. Кешоков соглашался и обнаруживал знание предмета, что удивляло Федора. Затем Абрамов сообщил, как его ценит ленинградское высокое руководство. Кешоков разговаривал с ним очень вежливо и уважительно, но называл не Федором Александровичем, а наоборот, Александром Федоровичем — как Керенского, что бесило Абрамова, но он ни разу не поправил собеседника. Настроение у меня было скверное.

Приблизился сотрудник Литфонда, сказал, что никого уже, видимо, больше не будет, а родственники ждут давно. Мы пошли. Две корзины цветов стояли поблизости от могилы. Одну подняли Кешоков и Абрамов,— в другой руке у Федора был портфель. Вторую — я и нашедшийся поблизости молодой поэт. Обе дочери с мужьями и детьми стояли у могилы. Глаза Валентины

были полны слез. Пока мы ставили корзину, она взяла у меня из руки мой букет.

Через несколько дней я получил письмо:

«Уважаемый Константин Яковлевич!

Уже который день на душе свинарник. Отчего? Перебираю в памяти последние дни и — не обидел ли я Вас?

Во-1-х, вдруг ни с того, ни с сего начал тыкать. А во-вторых, по дороге к могиле Твардовского, сдается мне, я несколько небрежно и даже высокомерно разговаривал с Вами.

Если так, бога ради, простите.

Спасибо за статью в «Правде». Хорошо!

Марии Илларионовне, добавлю к этому, понравилось и Ваше выступление в Зале Чайковского, которое я, к сожалению, будучи на президиумовской Камчатке, не слышал.

Привет Вашей милой супруге.

Ф. Абрамов

24.VI.1980 г.»

Что сказать? Осадок у него, конечно, остался — от того разговора с Кешоковым, от самих тем разговора. Что же касается «высокомерного» обращения ко мне, то тут каждый знающий меня хоть немного, только улыбнется. Со мной это не пройдет: где сядешь, там и слезешь. Так что просить прощения было ему не за что.

О статье в «Правде»; это моя статья о Твардовском, она была напечатана в тот день, но тогда он ее еще не видел. Называлась она «Народность таланта».

После этого мы еще не раз виделись и говорили друг другу «ты», и я спрашивал: «Кто же все-таки лучше: Федор Абрамов или Федор Кузькин?», а Абрамов подыгрывал.

●

Н. Н. БЛОХИН

академик,
Герой Социалистического Труда

Служить милосердию

Более ста лет назад великий русский хирург Николай Иванович Пирогов, прогуливаясь по базару, вдруг обратил внимание на то, что на разрубленных мясниками коровьих тушах четко видна, так сказать, топография тканей, сосудов и органов животного. Обдумав неожиданное наблюдение, Пирогов стал изучать распилы замороженного человеческого трупа и в результате составил на их основе атлас анатомии на срезах человека. Это было величайшее событие в медицине. И вот прошло сто лет, и в наш кибернетический, электронный век создан прибор, который является продолжением и развитием идей Пирогова. Называется он компьютерный томограф. Прибор позволяет делать условные, символические срезы на живом, функционирующем человеческом организме с той частотой и периодичностью, которая необходима врачу, и затем рассматривать их на телевизионном экране. На таком срезе легко выявляется маленькая опухоль где-нибудь внутри печени или слегка увеличенный лимфатический узелок, лежащий на аорте около позвоночника. Никаким другим способом их не увидишь, не прощупаешь, не ухватишь.

Человеческая память, на мой взгляд, является таким же компьютерным томографом, причем роль вычислительной машины, ЭВМ, выполняет мозг — пока еще не превзойденный электронными средствами ни по быстродействию, ни по богатству ассоциативных связей. Именно поэтому мои воспоминания, жизненные наблюдения, мысли кажутся мне такими томограммами, которые проходят по ярким, переломным или болевым точкам прожитых лет.

I

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула лозунг «К двухтысячному году — всеобщее здоровье людей!».

Лозунг громкий, оптимистический. Но мне он показался слишком «революционным» и несколько наивным. Эту мысль я как президент Академии медицинских наук СССР (тогда я занимал этот пост) и высказал работникам ВОЗ — авторам лозунга.

— Как вы себе представляете всеобщее здоровье? — спросил я.— Все больные умрут? Или вдруг неожиданно все вместе выздоровеют?

— Нет,— ответили мне,— конечно же, это лозунг, и его нельзя понимать буквально. Имеется в виду к началу следующего века обеспечить своевременной медицинской помощью каждого жителя Земли.

С подобным «кавалерийским» наскоком на серьезнейшие проблемы медицины мне приходилось сталкиваться и ранее. Лет за пять до празднования 200-летия Соединенных Штатов Америки правительство Ричарда Никсона выделило огромные средства и провозгласило, что к 1976 году, году юбилея, с бичом человечества — раком должно быть покончено навсегда.

У меня давние и тесные профессиональные связи с американскими онкологами, в силу чего этот «большой скачок» происходил буквально у меня на глазах. Я внимательно и заинтересованно следил за «атакой» и мечтал ошибиться в своих прогнозах. Но, несмотря на невероятную сумму, вложенную в это сомнительное для каждого знающего и думающего медика предприятие, поставленная задача не была выполнена. Более того, можно со всей ответственностью заявить, что, даже использовав серьезное финансовое вливание, американские онкологи не особенно сильно вырвались вперед в решении этой проблемы. Сегодня онкология и у нас, и у них находится примерно на одном научном и практическом уровне.

Когда меня спрашивают, как скоро человечество получит в руки радикальное лекарство от рака, я прежде всего разъясняю, что рак не представляет собою одну конкретную болезнь. Под этим названием искусственно объединена большая группа новообразовательных процессов, сильно отличающихся друг от друга, и мысли о создании универсального противоракового препарата вообще выглядят несерьезно. Идут поиски средств, избирательно действующих на определенный вид опухолевых клеток, и

за сравнительно небольшой отрезок времени, приблизительно в 40 лет, создано несколько десятков противоопухолевых препаратов, нашедших применение в современной комбинированной терапии рака.

Активно изучаемые онкологами методы иммунотерапии опухолей в перспективе должны быть более универсальными, поскольку речь здесь идет не о губительном воздействии препарата на клетки опухоли, а о мобилизации защитных сил организма больного. При этом характер опухоли может иметь меньшее значение.

Наилучшие результаты в лечении опухолей по-прежнему дает их хирургическое удаление, но оно эффективно лишь в ранних стадиях болезни, когда в опухолевом заболевании местная патология преобладает над общей и радикальное удаление опухоли спасает жизнь.

Следовательно, в решении проблемы рака раннее выявление опухолей имеет большее значение, чем поиски новых лекарственных средств. Но, пожалуй, еще важнее профилактика рака.

Впрочем, об этом позднее. Пока же хочется отметить, что надо быть очень осторожным с обещаниями и прогнозами, касающимися скорого решения проблемы.

Перечитал я эти несколько абзацев и подумал, что возникает из них образ этакого пессимиста, не верящего в прогресс науки вообще и медицины в частности. Однако это не так. Ведь медициной я занимаюсь более пятидесяти лет, из которых последние тридцать пять — борьбой с онкологическими заболеваниями. И на моих глазах, а в чем-то и при моем скромном участии борьба с раком превратилась за это время в развитую отрасль медицины с серьезным научным фундаментом, оснащенную квалифицированными кадрами, обеспеченную (правда, не всегда в достаточном количестве) аппаратурой, приборами, химическими препаратами, инструментарием.

Сегодня в экономически развитых странах рак занимает второе место среди болезней, от которых умирают люди. На первом твердо стоят сердечно-сосудистые заболевания, включая различные заболевания сосудов, атеросклероз, инфаркты миокарда. Смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и у нас в стране составляют больше половины, примерно 52 процента от общего числа. Количество смертей от злокачественных опухолей значительно меньше — порядка 15—16 процентов.

Третье место держит смерть от всякого рода травм: в быту, на производстве, в автокатастрофах, сюда же входят самоубийства и т. д. Травматизм по численности обгоняет легочные и прочие заболевания.

В развивающихся странах очень велика смертность от инфекционных заболеваний. Такое же положение было в царской России: много людей умирало от холеры, сыпного тифа, от болезней, сейчас просто ликвидированных (например, от оспы, которая к тому же давала массу серьезных последствий).

В царской России средняя продолжительность жизни была всего 32 года. Когда называешь эту цифру, многие считают ее чистой воды пропагандой. И все-таки здесь мы имеем, что называется, медицинский факт. Во-первых, высока была детская смертность. Мы пока не можем гордиться достижениями в борьбе с ранней детской смертностью, но все-таки она сократилась более чем в десять раз. Во-вторых, выжив в первый год своей жизни, ребенок рисковал погибнуть от неисчислимого количества детских болезней, с которыми сейчас научились довольно успешно справляться. Затем человеку в юношеские годы угрожал туберкулез. О множестве ранних смертей от туберкулеза говорит нам не только медицинская статистика, но и история отечественной культуры. Сколько талантливых людей, таких, например, как Добролюбов, скончались от болезни легких, ярко сверкнув, но так и не успев сделать для народа всего того, что можно было от них ожидать. Сегодня это заболевание не носит столь угрожающего характера.

И вот человек живет все дольше и дольше и доживает до сердечных непорядков, до рака.

Однако в возникновении опухолевых заболеваний нет ничего фатального. Некоторые считают, что с возрастом обязательно приходится ждать вспышки того или иного вида рака. Но нет. Все зависит от образа жизни людей. И это можно легко доказать.

Одни формы рака учащаются, другие делаются более редкими. В нашей стране весьма долгое время первое место среди других форм рака занимал рак желудка. Это вызывалось тем, что на протяжении длительных этапов нашей истории люди плохо питались. И если взять период, который я прожил и могу охватить своим взглядом, то получается: и первая мировая война, и революция — с разрухой, с гражданской войной — это все было время скверного питания, а порой и голода. Затем ненадолго наступило относительное улучшение, и вновь ужасы Отечественной войны и трудности восстановительного периода.

Поэтому, если сравнивать динамику развития заболеваний раком желудка, например, у нас и в Америке, то в стране, на территории которой со времен конфликта Севера и Юга не происходила ни одна война, где не знали, что такое массовый голод, рак желудка, естественно, давно не на первом месте.

И не надо думать, что там этот вид рака лучше лечится. Просто теперь в силу названных причин он значительно реже встречается. В Советском Союзе среди прочих факторов очень большую роль играют отдаленные последствия войны: человек плохо питался в раннем

детстве, а организм помнит это до сих пор. Улучшение питания может сказаться на состоянии организма не сразу. Именно поэтому количество заболеваний раком желудка у нас стало снижаться лишь спустя значительное время после окончания Великой Отечественной войны. И сейчас кривая этого заболевания на наших графиках продолжает систематически идти вниз.

Рак легкого среди мужчин в США резко пошел вверх намного раньше, чем в нашей стране. В прошлом в России мужчины так много не курили. Мы шли за Западом в распространении этой вредной привычки. Сейчас курят сигареты с высоким содержанием никотина и смол. Никотин влияет на нервную и сосудистую систему, а смолы создают предраковые состояния. Поэтому и меняется динамика развития разных видов рака: сокращается рак желудка и растет рак легкого.

За годы моих тесных взаимоотношений с онкологией в этой области медицины произошло немало изменений. Еще четверть века назад мы не знали причин возникновения рака. Сегодня же можем сказать, что они в общем известны и весьма сильно отличаются от причин развития других болезней.

Для инфекционных болезней — это возбудитель. Есть болезни, имеющие генетический характер. Есть и такие, в основе которых лежат нарушения обмена веществ. При всех этих заболеваниях почти всегда можно выделить одну, конкретную причину заболевания.

В отношении рака сегодня можно уверенно говорить не об одной, а о двух группах причин. Одна группа — эндогенная, то есть зависящая от самого организма. В 70-х годах обнаружили особые гены, находящиеся в нормальных клетках организма. Этим генам присуще свойство регуляции роста, и они могут под воздействием определенных агентов превратить клетку, в которой поселились, в злокачественную. Их называют теперь онкогенами.

Но онкоген — это еще не возбудитель, а только фактор, который может привести к опухоли лишь потенциально. Чтобы развилась опухоль, нужны, в свою очередь, еще какие-то активизирующие факторы. Это может быть вирус, который, взаимодействуя с онкогеном, приводит к опухоли, может быть и химический агент — то, что обычно называют канцерогенным веществом. В повседневной жизни канцерогеном чаще всего бывает внешне безобидное, привычное вещество, не вызывающее у большинства тревоги. В изобилии поставляет его табачный дым.

Когда экспериментатор-онколог хочет вызвать опухоль кожи у животного, он берет какой-либо канцерогенный агент и понемногу втирает его каждый день в поверхностные ткани до тех пор, пока не образуется рак. А при курении человек сам систематически вводит в себя набор химических агентов, вполне определенным образом влияющих на организм. И если где-то есть места наименьшего сопротивления, то воздействие этих агентов не сулит ничего хорошего...

Не так давно мы пригласили в онкоцентр представителей медицины многих стран для обсуждения вопросов онкогенного воздействия курения. И совместно пришли к выводу, что примерно 30—40 процентов случаев возникновения рака связано с курением. И не обязательно это будет рак легкого, возможен и рак полости рта, языка, глотки, гортани, пищевода, желудка и, наконец, мочевого пузыря, поскольку продукты курения выводятся из организма с мочой.

Конечно, в каждом конкретном случае не всегда удается распознать, от чего заболел раком именно этот человек. Но мы можем сказать, что женщины болеют раком молочной железы в значительной мере на почве перенесенных абортов и отказа от кормления грудью. Есть опухоли вирусного характера, такие вирусы сейчас изучаются.

Я считаю, что теоретическая онкология за последние десятилетия значительно прибавила нам знаний о причинах возникновения и природе рака, а это открывает более широкие возможности для профилактики и лечения заболевания.

К сожалению, эти наши приобретенные знания и возможности, ими открываемые, используются недостаточно.

На мой взгляд, огромная ошибка совершается в нашей политике борьбы с курением. С ним надо бороться не менее активно, чем с алкоголизмом. В социальном плане алкоголизм, безусловно, большее зло, чем курение. Его последствия создают проблемы в межличностных, в производственных отношениях, происходит деградация личности злоупотребляющего алкоголем.

Но давайте поставим вопрос иначе. Если говорить о человеке разумном, не алкоголике, не совершающем антиобщественных деяний... Так вот, кто скорее станет больным — умеренно пьющий или курильщик? Курение в таком контексте для конкретного человека опаснее, чем алкоголь. Курение — это систематическое введение вредных агентов в организм, которые влияют на него не так сильно, как наркотические вещества, но тем не менее являются мягкой наркоманией. Такого разрушения личности, как при употреблении гашиша, морфия или героина, не происходит: там результаты ужасающие. Но идет постепенное отравление организма, медленное, но верное создание почвы для развития и сердечных, и нервных болезней, и опухолей.

Когда курильщик говорит, что он не может не курить, что у него от табачного дыма повышается жизненный тонус и т. д., значит, организм его уже обрел постоянную потребность в допинге. Бороться с курением, на мой взгляд, куда

важнее, чем с рюмкой вина, выпитой на именинах.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли: в моих словах нет апологетики алкоголизма, как врач я слишком хорошо знаю тот неисчислимый вред, который наносит и человеку, и обществу алкоголь. Но я призываю: борясь с одним злом, не будем забывать и о борьбе с другим. Избавить людей от этой привычки можно лишь путем агитации, а не государственного запрета. Ведь каждый курильщик знает: то, что он делает, вредно и для его организма, и для окружающих. А мы ему только одно: «Минздрав предупреждает...».

В борьбе с курением надо идти сразу несколькими параллельными путями.

Прежде всего необходимо понять, что все сразу курить не бросят. Поэтому следует выпускать сигареты лучшего качества, с хорошим фильтром. Когда это делают зарубежные фирмы, они рассчитывают нажиться на стремлении человека, не бросая дурной привычки, хотя бы слегка обезопасить свое здоровье. Мы должны делать то же самое, хотя и из других, не меркантильных побуждений. Если мы все же продаем сигареты, то необходимо думать, как максимально снизить опасность, которую они несут человеку. Пропаганду против курения надо начинать в школах. Мальчишки любят бравировать своей самостоятельностью, своей «взрослостью». Учитывая это, с ними на антиникотиновую пропаганду нужно тратить сил не меньше, чем на обучение истории или математике. Существуют методики преподавания различных предметов, и многие учителя настолько хорошо овладели ими, что могут привить интерес к своему предмету распоследнему оболтусу. Но давайте же объединим усилия медиков и педагогов и создадим методику преподавания нового предмета — антикурения. Ибо то, что человек хорошо усваивает в детстве, чаще всего остается его убеждением на всю жизнь.

В качестве примера своеобразного метода воспитания детей в духе отказа от курения приведу случай из далекого детства. Мой отец — врач и при этом курильщик — спросил меня, когда мне было около семи лет, пробовал ли я уже курить. Нет, ответил я. Тогда он сказал, что хочет дать мне попробовать, и буквально заставил закурить. Мне было противно — я кашлял, задыхался, а он все настаивал, чтобы я поглубже затягивался табачным дымом. Дальше были обморок, рвота, по существу, отравление. Но за этим последовало отвращение к курению на всю последующую жизнь.

Я уже высказывал мысль о том, что для значительного сокращения онкологических заболеваний наибольшее значение сегодня имеют раннее выявление опухолей и профилактика на основе имеющихся знаний о причинах их появления. Однако многие специалисты и неспециалисты придерживаются мнения, что решение проблемы зависит от скорейшего нахождения чудодейственного универсального лекарства.

В результате мы являемся свидетелями перманентного рекламирования массовой прессой различного рода «открытий». Это происходит во всем мире. Американское раковое общество уже ряд лет издает специальный справочник о научно не обоснованных противоопухолевых препаратах, получающих распространение благодаря подчас бесконтрольному их производству и умелой организации газетной пропаганды в этой стране. К сожалению, и у нас не обходится без такого рода «открытий», и публикации в газетах и журналах появляются часто без каких-либо консультаций со специалистами. Нередко в прессе распространяются рассказы об излечении опухолей экстрасенсами или при помощи лекарств, которые не апробированы специалистами и не разрешены Фармакологическим комитетом Министерства здравоохранения. Очень часто такие публикации получают поддержку некоторых кругов общественности — чаще всего литераторов, но бывает, что и кто-нибудь из медиков, обычно далеких от онкологии, берется за необоснованную защиту нового предложения.

Около 30 лет назад в газетах прошла большая дискуссия о «методах лечения рака», применяемых без официального разрешения неким Качуриным. Не один год пришлось потратить на проведение различных проверок и испытаний, чтобы показать отсутствие научных данных для применения рекомендованных им средств при лечении злокачественных опухолей.

В недавнее время широко рекламировался препарат АУ-8, сделанный неким Хинтом из Эстонии. Препаратом торговали по значительным ценам, и некоторые медики выступали в его поддержку в печати. Кончилось дело полным разоблачением «предприятия», арестом главного организатора и осуждением его на 15 лет тюремного заключения.

Можно было бы перечислить немало предложений такого рода — засекречиваемые авторами препараты, различные травы и т. д.

В недавние дни журнал «Смена» сообщил еще об одном «открытии» средства для лечения рака: речь шла об экстракте из печени черноморской акулы катрана, приготавливаемого в одной из лабораторий в Тбилиси. Шумная реклама этого препарата, авторы которого применяют его без разрешения Фармакологического комитета, привела сперва к потоку писем в онкологические учреждения, а затем и к паломничеству самих больных и их родственников в Тбилиси. Необходимо отметить, что и эта публикация была поддержана в печати медиком-физиологом, который никогда не занимался ни онкологией, ни фармакологией, не работал в клинике и не применял препарата из печени акулы, но для читате-

лей казался авторитетом в этой области, раз взялся давать оценку новому предложению. Министерство здравоохранения СССР было вынуждено потратить несколько месяцев и около одного миллиона рублей, чтобы убедительно доказать отсутствие противоракового действия этого препарата.

Поскольку возник вопрос о сомнительных нововведениях в онкологии, надо сказать, что предлагаются не только новые методы лечения, но и методы диагностики рака путем как будто очень простых исследований мазка крови или сыворотки крови больного.

Но нельзя забывать, что для нашей практики годятся только такие методы, которые дают высокий процент точной диагностики рака, в противном же случае возникнут группы людей с неправильно поставленным диагнозом, морально сильно травмированные, все время ищущие и ожидающие у себя проявления болезни.

Телевизионные передачи и статьи в разных газетах организовали недавно шумную рекламу так называемому «методу ранней диагностики рака» по мазку крови, предложенному Говалло. Одновременно обвиняли лично меня в зажиме «открытия». Однако «метод» был лишен научных оснований и показал полную непригодность при его проверке в онкологическом научном центре. Почти год потребовался Министерству здравоохранения на многие проверки «метода», чтобы подтвердить мнение онкологического центра о неспецифичности и практической негодности предложения Говалло для диагностики рака.

Пятьдесят три года я работаю врачом. А если прибавить к этому пору студенчества, то получится, что около шестидесяти лет активно связан с лечением людей. Медицинские проблемы были предметом обсуждения и в доме моего отца, в молодости — земского врача. И я, сколько себя помню, постоянно вращался в кругу разговоров о больных, о передовых для того времени методах лечения, о великих врачах прошлого, о состоянии народного здравоохранения.

В пору моего детства, да и значительно позднее врач ставил диагноз с помощью деревянной трубочки — стетоскопа, тонкой пластинки — плессиметра и молоточка. Элементарные анализы крови, мочи и т. д. носили скорее вспомогательный характер, а рентгеновы лучи хотя и использовались иногда, но в основном воспринимались как гениальное прозрение человечества, которое наверняка найдет широкое применение лишь в будущем.

Вспомним организацию хирургической работы прошлых лет. Хирург был тогда единственным вершителем судеб в операционной. В его руках были скальпель, пинцеты, пилы и долота для работы на костях. Никакой сложной техники, никаких анестезиологов и сложной аппаратуры для наркоза.

Современная операционная представляет собою сложную лабораторию, где размещаются аппаратура для наблюдения за состоянием больного (прежде всего его сердечно-сосудистой системы), аппаратура для подачи наркоза, управляемая специалистами-анестезиологами. В руках хирурга появились механизмы для автоматического сшивания органов пищеварительного тракта, электропилы для работы на костях и много других предметов современной техники.

Со студенческих лет моей медицинской специальностью была общая хирургия, которой я увлекся, работая в клинике Горьковского медицинского института, руководимой тогда профессором Владимиром Ивановичем Йостом. Он был одним из талантливых учеников С. И. Спасокукоцкого, создавшего большую школу хирургов в Саратове, а затем и в Москве. Клиника его была широкого профиля, и после аспирантуры я работал в ней ассистентом. Правда, мой учитель взял меня к себе лишь после того, как я некоторое время лечил на селе. Одновременно с работой в клинике я преподавал топографическую анатомию и оперативную хирургию — хирургию на трупах и живых собаках. Это дало мне фундаментальное знание анатомии. Когда других учишь, предмет запоминается на вечные времена.

К началу Отечественной войны я был уже достаточно подготовленным хирургом. Окончил институт в 1934 году, в 1938 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам переливания крови.

Работая в общей хирургии, каждый хирург обычно имеет какие-то наиболее любимые области. Я тяготел к пластической хирургии и онкологии. Разрабатывал пластические операции при удалении опухолей нижней губы и лица, что очень мне пригодилось в годы Великой Отечественной войны.

Во время войны судьба сложилась так, что мне начиная с летних месяцев 1941 года пришлось стать ведущим хирургом крупного госпиталя, расположенного в родном Горьком. Начинать свою деятельность пришлось с обучения персонала. Первые потоки раненых пошли к нам главным образом из-под Москвы: обгоревшие танкисты, вытащенные из-под обломков летчики... Но меня всегда интересовали сложные реконструктивные операции. И я стал пытаться оперировать поступающих к нам бойцов, сразу делая им пластические операции, а не отправляя их для этого в глубокий тыл, как было положено по инструкции.

После войны я выпустил книжку по кожной пластике. Смотрю ее сейчас, перелистываю страницы, вглядываюсь в фотографии и вспоминаю и операции, и людей, которым их делал. Вот этому человеку крылом самолета сбило все лицо, открыло череп. Он и сейчас жив и

работает в Ленинграде, получил от него телеграмму, поздравление с семидесятипятилетием. Я ему практически сделал новое лицо — и нос, и губы, и все остальное.

А вот девчонка с Горьковского автозавода: на одной фотографии лица просто нет, а на следующей... Видно, конечно, что человек пережил катастрофу, но чудес, к сожалению, не бывает.

...В это время стали бомбить Горький. Я оказался во главе бригады хирургов, которая выезжала по ночам на автозавод оперировать раненых. Причем помню, что в первую бомбежку нам пришлось за ночь прооперировать примерно пятьсот человек. Завод горел, и мы работали почти во фронтовых условиях. Бомбардировки продолжались. Немецкие самолеты прилетали каждую ночь, но такого количества пострадавших уже не было. Люди приспособились. Они уже примерно знали, когда прилетят фашисты, и уходили в укрытия, многие даже переплывали на лодках на другой берег Оки.

В конце лета в Горький с инспекцией приехал заместитель главного хирурга Красной Армии профессор С. С. Гирголав. Мы закрывали свищи кишечника, удаляли осколки из легких, исправляли поврежденные суставы. В полевых госпиталях при ампутациях конечностей по закону военного времени рану не зашивали, чтобы не провоцировать возможную инфекцию, а срочно отправляли пострадавшего в ближайший тыл, где и завершали обработку. Они прибывали сплошным потоком, эти раненые с ампутированными ногами, но с плохими культями. Мы реконструировали культи, чтобы они стали опорными и их можно было потом успешно протезировать. Гирголаву наша работа показалась нужной и важной, и он сказал мне тогда:

— Здесь, в Горьком, мы создадим базу реконструктивной хирургии, потому что вы показали возможность и необходимость таких операций в ближайшем тылу.

Скоро меня перевели главным хирургом в госпиталь реконструктивной хирургии. И до конца войны я в нем проработал, разрабатывая новые методы пластических операций.

Но нет, все-таки не до конца войны, потому что в 1944 году меня вызвали в Москву и предложили поехать в Америку изучать их опыт в этой области.

Проведя в США полгода, я вернулся в Горький и продолжал работу на прежнем месте, но госпиталь уже был реорганизован в Институт восстановительной хирургии, где я стал директором. Одновременно получил должность профессора мединститута.

С Нижним Новгородом — городом Горьким — был связан большой кусок моей жизни: здесь я провел детство и юность, здесь стал врачом-хирургом, здесь начал свою общественную деятельность. При создании Горьковского областного комитета защиты мира был избран его председателем, активно участвовал в работе партийных и советских органов, в 1951 году был избран депутатом Верховного Совета СССР от большого избирательного округа, включавшего Горьковскую область и Чувашскую автономную республику.

Чрезвычайно радостным для меня был день, когда в 1982 году, в период выездной сессии Академии медицинских наук СССР, я был удостоен звания почетного гражданина города Горького.

В нашей стране онкологией начали заниматься, пожалуй, раньше всех в мире. Первый онкологический институт носит теперь имя П. А. Герцена, внука великого русского писателя и общественного деятеля. В начале своего существования это был в основном дом призрения для раковых больных, где из милосердия ухаживали за безнадежными пациентами и старались облегчить им последние дни жизни. Во время первой мировой войны его закрыли, а организатором нового, советского этапа его деятельности и стал Петр Александрович Герцен. Петр Александрович родился в Швейцарии, вырос без знания русского языка, но прекрасно говорил по-французски и по-итальянски. В конце прошлого века, приехав в Москву, он тут же попал под надзор полиции как внук бунтаря и эмигранта. Работал хирургом в старой Екатерининской больнице и только после революции получил кафедру в медицинском институте. Именно он восстановил институт онкологии и на его базе стал преподавать общую хирургию.

Огромную роль в развитии онкологии сыграл ленинградский хирург Николай Николаевич Петров. В 1927 году он организовал в Ленинграде институт, который теперь носит его имя.

Перенесемся, однако, в послевоенное время...

У меня было давнее стремление к научной и практической хирургии. Одно время я думал о переезде в Сибирь, о работе в Томском мединституте — старейшем сибирском медицинском вузе, где, мне казалось, можно было получить наиболее спокойные условия для научной работы. В 1947 году подал на конкурс и был избран профессором Томского мединститута. Однако под давлением Горьковского обкома партии приказ о моем назначении в Томск был отменен, я остался в Горьком заведовать кафедрой хирургии, а затем стал и ректором мединститута. В 1951 году был поднят вопрос о моем переезде в Москву на должность одного из заместителей министра здравоохранения РСФСР. Скажу искренне, что это меня чрезвычайно озадачило, так как означало неизбежный отрыв от научной и хирургической деятельности. Пошел к министру здравоохранения СССР Е. И. Смирнову, которого хорошо знал еще по военным годам, ког-

да тот был начальником Военно-медицинской службы Советской Армии. И он подал мне мысль перейти на работу в организованную семь лет назад Академию медицинских наук СССР.

Создание академии в период Великой Отечественной войны советские врачи восприняли как большую награду за работу советских медиков, добившихся возвращения в строй более 70 процентов раненых. Академия рисовалась нам храмом науки. Ее президент Николай Николаевич Аничков — наш крупнейший патолог — произвел на меня чарующее впечатление как необычайно мягкий, интеллигентный и доступный человек.

Оказалось, что в академии решили предложить мне заняться созданием нового института онкологии.

Нужно сказать, что именно в это время у меня начали меняться медицинские интересы и пристрастия. Скорее всего это произошло потому, что к началу 50-х годов, через пять лет после окончания войны, актуальность проблемы восстановительной хирургии, во всяком случае количественно, пошла на убыль. И, кроме того, у меня возникло ощущение, что я дошел до возможного предела в совершенствовании методики подобных операций и их исполнения, а перспектив развития этого направления я в то время для себя не видел. Но перспективы, конечно же, были, многие специалисты продолжали заниматься проблемами восстановительной хирургии, и благодаря им в настоящее время, особенно когда возникла микрохирургия, это направление медицины переживает второе рождение. Но тогда подобных возможностей еще не было, и представить их появление мне было довольно сложно.

Не в один день, не сразу я пришел к онкологии. Определенные подступы к ней предпринимал и раньше. У себя в клинике я делал онкологические операции, используя опыт реконструктивной хирургии, разрабатывал новые виды операций при опухолях лица и головы, новый метод создания искусственного заднего прохода при раке толстой кишки.

Теперь предстояло вникать в теоретическую и экспериментальную онкологию, чтобы создать коллектив нового института, работающий на современном научном уровне.

Я рассказал президенту академии историю своего неудавшегося переезда в Томск.

— Ничего,— сказал Николай Николаевич Аничков.— мы попробуем убедить товарищей из Горьковского обкома.

Как я и предвидел, в обкоме и слышать не захотели о моем отъезде. На заседании бюро, где рассматривался мой вопрос, присутствовал главный ученый секретарь академии академик А. И. Нестеров, специально приехавший, чтобы поддержать меня. Но и это не подействовало. Вопрос решился лишь после телефонного разговора секретаря обкома с Г. М. Маленковым, который сказал, что доложит «самому» (угроза серьезная). Только тогда меня отпустили.

Итак, в начале 1952 года я занялся организацией института. Первое помещение дали на территории МОНИКИ, где нам отвели всего один этаж. Через некоторое время удалось получить здание на Волоколамском шоссе, затем начали строительство новых корпусов института на Каширском шоссе. Они были готовы в начале шестидесятых годов, а в семидесятые — построено новое здание самого крупного в Европе онкологического центра. Он был возведен на средства, полученные от Ленинского коммунистического субботника.

Я стремился привлечь к работе в институте крупнейших специалистов страны. Л. М. Шабад, Л. Ф. Ларионов, Н. А. Краевский, А. Д. Тимофеевский, Н. П. Мазуренко — все это имена людей, внесших огромный вклад в науку. Мы были тесно связаны с учеными других близких институтов: Л. А. Зильбером, В. А. Энгельгардтом и другими.

Сегодня в онкоцентре (он состоит из трех институтов) — четыре с лишним тысячи сотрудников, тысяча коек в стационаре, почти столько же амбулаторных больных проходит у нас за день, есть виварий на восемьдесят тысяч лабораторных животных... В Томске создан филиал центра, превратившийся теперь в онкологический институт.

Начало моей работы в онкологии совпало с довольно сложным периодом в биологии и медицине. О неисчислимых бедах, о невосполнимых потерях, которые понесла советская наука за тот короткий отрезок времени, сегодня очень много говорят и пишут. Появляются статьи, воспоминания уцелевших участников и очевидцев «борьбы с идеализмом в науке», «борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». Появились романы и повести, где художественными средствами воссоздается и анализируется обстановка, в которой жили и работали мы в те годы.

После юбилейной сессии ВАСХНИЛ, на которой как в научном, так и в человеческом плане была разгромлена отечественная генетика, в биологическую науку хлынул поток некомпетентных, а часто и злонамеренных людей, которые начали спешно заполнять образовавшийся вакуум своими сенсационными «открытиями».

Вовсю шла пропаганда идей О. Б. Лепешинской, якобы экспериментально доказавшей ею же созданную теорию живого вещества. Столь же смело и необоснованно вторгался в вирусологию Бошьян. Со стороны ученых эти теории не могли получить отпора по ряду причин, в том числе и потому, что сам ход экспериментов объявлялся секретным (как бы враги не воспользовались). Публиковались только результаты, а там — пойди проверь...

Все это находило прямые отголоски и в онкологии.

Был, скажем, такой Невядомский, который утверждал, что опухолевая клетка — это не клетка организма, а чужеродная клетка паразита, который проник в организм и развивается в виде опухоли. Можно себе представить, куда завела бы медицину такая, с позволения сказать, «теория».

Со всем этим я столкнулся с первых же своих шагов в институте. И мне нужно было немедленно выбирать: или я борюсь непримиримо с лженоваторами, или потакаю им, иду у них на поводу, но тогда они меня уже не выпустят из рук и будут мной командовать. Надо сказать, что пропаганда их «достижений» велась очень жестко. В кругах медицинского начальства были люди, которые расстилались перед Лепешинской, Бошьяном, Невядомским и т. д.

Я занял абсолютно непримиримую позицию по отношению к этим популярным тогда деятелям. По поводу каждого «открытия», каждой «новой» идеи стал требовать комиссионной проверки, ловил лженоваторов на жульничестве и удалял из института.

Понимание того, что эта борьба могла для меня плохо кончиться, пришло позже.

Однажды меня вызвали в Комитет партийного контроля и предъявили бумаги, где говорилось, что необходимо проверить, не являюсь ли я американским шпионом, потому что во время войны провел полгода в Америке.

Спасла меня от серьезных неприятностей скорее всего смерть Сталина. Дело прекратилось. Но в то время мне казалось, что помогли мои убедительные рассказы о борьбе внутри института, что «наверху» поняли мою правоту и согласились с тем, что мои противники — лжеученые.

Что же из себя представляли эти «новаторы»?

Был такой Глезер — «ученый» без ученой степени. Меня обязали взять его в институт и создать условия для работы. Он, видите ли, заявил в соответствующих инстанциях, что сделал выдающееся открытие, обнаружил вирусы, вызывающие опухоли человека, и разработал методы профилактики. Ему создали большую секретную лабораторию, поставили у дверей солдата с ружьем.

Потребовалось значительное время для того, чтобы его разоблачить. Оказалось, что он даже не врач: свой диплом купил на базаре. Жену и детей он сумел известить о своей якобы героической гибели на фронте, а сам начал новую жизнь, завел другую семью и назвался научным работником. Ему удалось попасть на прием к министру и рассказать о своих «гениальных открытиях». Министр доложил Сталину, а тот отдал распоряжение помочь «раскрыться таланту». Так Глезер получил статус неприкосновенности.

Разоблачать его было довольно трудно и небезопасно. Но я все же сумел доказать, что он жулик. И, прямо скажем, мне повезло, что я пережил это благополучно. Ведь, как потом оказалось, он был одним из тех, кто писал на меня доносы.

Постепенно удалось закрыть «секретные» лаборатории в нашем институте. Результаты работ, ход экспериментов стали обнародоваться, и мошенничать не стало возможности.

Некомпетентность руководства, атмосфера бесконтрольности и антидемократизма, как метастазы раковой опухоли, захватывали в то время не только советскую науку.

В начале 1953 года я в качестве эксперта выехал в Венгрию. Венгерское правительство сообщило Сталину, что местные ученые сделали большое открытие в области онкологии, и меня сразу же командировали в Будапешт, чтобы разобраться на месте и дать открытию научную оценку.

Венгерский химик Вайда предложил новый препарат для лечения рака. Под влиянием возникшей шумихи ему дали клинику на 80 больных. По дороге мне рассказали, что лечат здесь каким-то таинственным засекреченным методом, показывают всякие чудеса.

Приехали. Стал я смотреть больных — они меня не убеждают, и я вслух выражаю свои сомнения. Чувствую, что местные товарищи начинают косо посматривать в мою сторону, и понимаю: действовать нужно решительно. Я обращаюсь за помощью к двум крупнейшим венгерским патологоанатомам (за одним даже сам съездил на машине из Будапешта в Дебрецен). Смотрим вместе эксперименты на мышах. Действительно, под микроскопом видно, как после обработки препаратом Вайды раковые клетки съеживаются, уменьшаются. Я нюхаю пробирку из-под препарата и чувствую запах формалина. Но почему?

— Препарат товарища Вайды разводят формалином...

Я ввожу мышке обычный раствор формалина без всякого секретного препарата, и довольно скоро он оказывает такое же действие на раковые клетки.

С Вайдой мы разговаривали по-английски (он не знал русского, я не говорю по-венгерски).

— У вас есть больные, которых вы могли бы показать как пример успешного лечения?

— Есть,— отвечает.— Я попрошу сейчас привести одну такую больную.

Приводят женщину, которая говорит только по-венгерски. Следовательно, вопросы задавать я могу только через Вайду и ответы получать тоже.

— Ей делали операцию,— говорит Вайда,— увидели, что вырезать невозможно, и после этого вылечили моим препаратом.

Начинаю осматривать больную и вдруг вижу, что рубца-то от операции на животе нет. Так не бывает. Подобное только у филиппинских кудесников случается.

А он все еще не понимает, что попался. Мало того что был шарлатаном, он был еще и глупым шарлатаном. Тогда я ему прямо говорю:

— Как же удалось побывать в животе, чтоб следа не осталось?

Он испугался.

Собрал я всех его сторонников, объяснил им всю безнадежность подобного обмана. Потом мы с венгерскими специалистами подготовили подробный и аргументированный доклад венгерскому правительству...

Только активным разоблачением шарлатанства, отметанием ложных теорий удалось как-то спасти нашу онкологию, уберечь ее от серьезных заблуждений и теоретических извращений.

Особо нужно сказать о той роли, которую играл в развитии науки Сталин. Мне не пришлось сталкиваться с ним лично, но я могу судить о нем, как и многие другие, чья жизнь и деятельность во многом зависели от его воли и прихотей.

Сталин, несомненно, был одаренным и сильным человеком, но, с моей точки зрения, больным. Многие его действия, прежде всего преступные, я отношу к болезни. Есть такие психические состояния, когда мания преследования уживается с манией величия, и если подобное наблюдается у человека, имеющего большую власть, то это страшно. В его психике прослеживалась именно такая картина: с одной стороны, культ, который он сам создал и поддерживал, с другой — мания преследования, которая к тому же специально подогревалась приближенными к нему людьми.

В силу своей профессии мне в течение длительного времени пришлось общаться с рядом крупных советских военачальников и государственных деятелей, которые довольно долго работали со Сталиным, получая распоряжения непосредственно от него самого. Меня интересовал этот человек и как медика. Поэтому часто вопросы свои я задавал так, что мог по ответам с большим или меньшим приближением поставить заочный диагноз. На основании этих рассказов и собственных размышлений я составил себе представление о Сталине.

У него был чисто человеческий интерес к науке вообще и к медицине в частности. Но ведь одного интереса мало, чтобы принимать ответственные, квалифицированные решения. Однако он позволял себе делать это. И даже когда не делал, окружающие толковали его слова, взгляды как прорицания оракула и, подлаживаясь под него, принимали решения.

Предположим, ставился вопрос о присуждении Сталинской премии Лепешинской. Сталин всегда участвовал в решении вопроса о присуждении премий своего имени.

Я потом спрашивал академика Несмеянова, который в те годы был президентом Академии наук СССР и председателем комитета по премиям:

— Ну, скажите, Александр Николаевич, как же получилось, что Лепешинской дали Сталинскую премию за ее бредовые идеи?

И маститый ученый без особенных эмоций, как о чем-то неизбежном, рассказал: на заседании комитета, когда рассматривалась кандидатура Лепешинской, Сталин сказал, что Ольгу Борисовну он знает давно, еще по подпольной работе, хотя не может в настоящий момент оценить важность ее открытия и судить о том, какими путями она к этому открытию пришла. Открытие это или нет, решать вам — ученым. И все.

А дальше вступила в действие магия слова Сталина: он сказал, что давно знает Лепешинскую... И началось! В «Правде» появилась статья о замечательном открытии, о научном подвиге и так далее. Присуждение премии было предрешено.

Не снимая ответственности с самого Сталина за его деяния, можно сказать, что его образ во многом делало его окружение. Для одних он был страшен, для других — удобен и полезен.

Действуя именем Сталина, сфабриковали «дело врачей», которые обвинялись в злостных умыслах и действиях против руководителей партии и правительства. Я уверен, когда Сталину доложили, что разоблачены и нейтрализованы подлые убийцы-врачи, он вздохнул с облегчением: еще одна опасность миновала.

Мои размышления о болезни как одной из причин культа личности, многочисленных злоупотреблений и нарушений социалистической законности, да и просто принципов гуманности находят подтверждение и в истории. Нередко крупные руководители страдали различными заболеваниями, влиявшими на их деятельность. Возьмем, к примеру, Ивана Грозного...

Когда читаешь о необоснованной жестокости царя, о массовых казнях, первый вопрос, который приходит в голову: а был ли умственно здоров этот человек?

Не случайно Сталин хотел сделать из него героя. Возьмите хотя бы эйзенштейновский фильм «Иван Грозный». Мне кажется, что он совершенно неправильно рисует образ царя. Перед художниками и кинематографистами ставилась совершенно определенная задача: они должны были показать крупного государственного деятеля, постоянно преодолевающего препятствия, непрерывно борющегося с изменой. Именно такой образ возникает в убедительном исполнении Николая Черкасова. С тех же позиций трактовался образ Грозного в ряде литературных произведений сталинской эпохи. Вспоминаются роман Костылева, пьеса Соловьева и другие. Но ведь в реальной истории это был совсем иной человек.

Действия Сталина во многом напоминают поступки его давнего страшного предшественника. Он, например, так же необоснованно, бессмысленно и жестоко уничтожил многих, кто приносил и мог еще принести неисчислимую пользу государству.

Я не случайно стольно места в этих записках уделил Сталину и его влиянию на науку. Для меня всякий вождизм, и в частности сталинизм, является одной из причин появления застоя, безответственности, возникновения лженауки. Ведь настоящая наука рождается только при свободном развитии мысли.

Попав на работу в Академию медицинских наук, я прочно сросся с ней на долгие годы. В 1953 году был избран членом-корреспондентом, а в 1960 году стал академиком и одновременно был избран президентом академии, проработав в последующем в этой должности с 1960 по 1968 год и снова с 1977 по 1987 год.

Особенно запомнились первые годы работы, когда перед академией остро стояла необходимость отойти от положения, создавшегося в эпоху Лепешинской, Лысенко и других. В начале 60-х годов мы выбрали в состав академии некоторых генетиков (Е. Ф. Давиденкова, А. А. Прокофьеву-Бельговскую), стали организовывать генетические группы и лаборатории, а затем возник и Институт медицинской генетики. Президиум академии, в котором работали И. В. Давыдовский, В. В. Парин, В. Д. Тимаков, В. М. Жданов, опираясь на таких ученых, как П. К. Анохин, П. А. Куприянов, М. П. Чумаков, П. Ф. Здродовский, Л. А. Зильбер и многие другие, возглавил борьбу с оспой, полиомиелитом; стали создаваться новые крупные научные центры по важнейшим проблемам медицины. Большим успехом академии было создание крупных научных центров в Сибири.

Но академия не всегда могла обеспечить проведение исследований на достаточном уровне.

В области медицинской науки необходимость коренной перестройки, направленной на ускорение научно-технического прогресса, давно назрела, и сейчас создались новые перспективы для этого.

Сегодня медицина пронизывается новыми идеями, достижениями и перспективными разработками ученых самых разных и на первый взгляд весьма далеких от медицины специальностей. К сожалению, должен признать, что по целому ряду направлений мы еще отстаем от Запада и главным образом в области современной медицинской техники.

Пожалуй, здесь и лежат основные задачи ускорения прогресса в нашей отрасли, ее перестройки. Ввести в практическую медицину как можно больше технических достижений для более полного, глубокого изучения всего, что происходит в человеческом организме,— наша главная цель. Мы должны как можно раньше ставить диагноз и соответственно раньше приходить на помощь.

Однако введение современной техники в медицину не безгранично. Оно не решит всех проблем. Компьютеризация не заменит врача.

В свое время, скажем, было большое увлечение кибернетическими диагностическими машинами. Действительно, машина может сравнивать заложенные в нее сведения со свежеполученными симптомами конкретного больного и выдавать на этой основе диагноз. Но, во-первых, для толкового медика диагноз часто ясен и без всякой машины. Ну, а если врач не очень квалифицированный, он может при собирании симптомов наделать ошибок и вгонит в машинную память то, чего на самом деле нет. Машина тогда, естественно, ошибется.

Мне кажется, что, учитывая нашу особую специальность, предполагающую постоянную работу в тесном контакте с больным, мы должны стремиться к тому, чтобы между врачом и пациентом не возникал барьер, пусть даже в виде самой разумной и самой совершенной машины. Старые русские врачи именно тем славились, что умели устанавливать с больным тесный человеческий контакт. Врач должен понимать больного, а больной должен верить врачу. Они должны стать друг другу без преувеличения близкими людьми. Но когда во главу угла работы врача ставятся технократические методы, то контакта не получается: приходит больной на прием, а врач сразу же направляет его на рентген, электрокардиограмму, в лабораторию... В восьми — десяти кабинетах его исследуют техническими методами. Сделали с человеком, кажется, уже все возможное и нужное — все, кроме одного,— с ним не успел поговорить врач.

Есть еще одна беспокоящая меня проблема, относящаяся не только к медицине, но и к общефилософским вопросам. Я говорю о научном, материалистическом мировоззрении сегодняшних медиков.

...Это было в Лукоянове — городе моего раннего детства. Отец мой — земский врач — занимался буквально всем, что могло входить в понятие «медицина».

Помню, мы, ребята, играем во дворе, и с нами дед — отец моей матери. Вдруг во дворе появляется отец. Подходит к деду и вырывает у него несколько волос из бороды. Тот вскрикивает:

— Что ты?

— Ничего, ничего, потом объясню.

И уходит в дом. Игра продолжается, но мы ждем разъяснений, которые приходят лишь за обедом. Дед говорит:

— Так в чем дело, зачем ты меня за бороду дергал?

Я хорошо помню этот эпизод, хотя прошло около семидесяти лет.

Оказывается, к отцу на прием пришла женщина, которая страдала своеобразным заболеванием — ей казалось, что у нее в горле растут волосы. Отец, осмотрев ее и увидев, что в горле, естественно, ничего нет, решил провести такой психотерапевтический опыт. Попросив ее подождать, пока не проделает некоторые необходимые для лечения манипуляции, он вышел к нам во двор. А потом посадил ее в темной комнате, соответствующим образом направил свет и длинным пинцетом стал осторожно щипать ей в горле. Затем резко выдернул пинцет и подал ей спрятанные в другой руке волосы:

— Вот что вам мешало.

Она ушла чрезвычайно довольная. И после того много лет (хотя мы уже переехали из Лукоянова в Нижний Новгород) писала отцу благодарственные письма, где все время вспоминала, как неоднократно обращалась к крупным специалистам в больших городах, включая Москву и Петроград, как ей лишь говорили, что она ненормальная, однако помочь никто так и не взялся.

Эти мои детские воспоминания имеют прямую связь с сегодняшними многочисленными рассказами о случаях невероятных излечений у экстрасенсов, знахарей и тому подобных целителей.

Я материалист. И когда мне рассказывают о различных чудесных исцелениях при помощи взгляда, наложения рук, лекарств, настоянных на святой воде, я сразу вспоминаю бороду своего деда.

Человеку свойственно верить в чудесное, непонятное, особенно когда речь заходит о его здоровье или тем более жизни. Однако мы живем в столь просвещенное время, что простой заговор, которым раньше лечили бабки, или ниточка, завязанная на пальце, не помогают. Сейчас ведунам да знахарям не обойтись без научных терминов — энергия, клетка, даже голограмма.

Возьмем буквально нахлынувшие на нас в последнее время чудеса, связанные с так называемыми экстрасенсами. Какая дискуссия в печати! Какое серьезное обсуждение позиции Академии медицинских наук, которая, мол, в силу своего консерватизма до сих пор не отказалась от устаревших, скомпрометировавших себя методов традиционной медицины и не внедряет «современные» экстраметоды исследования и лечения больных!

Особенно велика в этих дискуссиях роль так называемых «верующих» корреспондентов. Иногда верующих даже не в метод, а в конкретного человека, в какую-то там даму, которая занимается чудесами. У нее, дескать, небывалые успехи, об этом говорят многие излечившиеся.

Но вот всплеск печатных эмоций идет на убыль, и тогда начинается следующий этап: этим «успехам» подбирается соответствующее научное обоснование. Предположим, что руки известной «целительницы» что-то излучают. Казалось бы, что тут такого? И у меня излучают, и у всех излучают. Ведь известно, что человек как физический объект отдает в окружающую среду энергию в виде тепла, электромагнитного излучения и т. д. Он не изолирован от природы, частью которой является.

Микроизлучениями человеческого тела в последнее время заинтересовались физики. Для их изучения создана специальная лаборатория. Сегодня, завтра или в ближайшее время будет составлен подробный, насколько допускают возможности современной науки, каталог всех излучений человеческого тела.

Короче говоря, если излучение человеческого тела полезно для лечения других людей и если зафиксированы все необходимые компоненты так называемой «ауры», пусть товарищи физики-инженеры сконструируют соответствующие аппараты, ее имитирующие, и передадут их врачам для использования в поликлиниках и санаториях, там, где в подобном лечении нуждаются многие. Давайте поможем тысячам больных, а не единицам, сумевшим попасть на прием к светилу.

Но, честно говоря, я мало верю в то, что эти аппараты будут оказывать такое же действие на больного, как экстрасенс — носитель гипотетического лечебного излучения. Ведь в этом случае теряется элемент психотерапии.

Как же создается психотерапевтический эффект? Прежде всего вы в свое исцеление верите — а иначе ведь и не пришли бы к врачевателю на прием. Он и ведет себя как целитель, создает определенную обстановку, положительную для психотерапевтических воздействий.

В клиниках при апробации какого-либо нового препарата, на первых порах требующего дополнительного изучения, применяется такой метод. Двум группам больных, лежащим в общей палате, врач дает одинаковые по виду лекарства, но одним действительно то, от которого ждут результата, а другим — не имеющее лечебных свойств.

Самое удивительное, что и в контрольной группе некоторые начинают на себе ощущать благотворное лечебное действие пустышки. Это контрольное лекарство называется «плацебо».

Среди онкологических больных, с которыми мне приходится иметь дело, часто встречаются женщины, страдающие от канцерофобии — боязни рака. Многочисленные специалисты, к которым они обращались, рака не находили, но обычно такие больные верят лишь себе, убежденные, что от них скрывают истинное положение дел, так как врачебная этика не позволяет сказать больному, что он обречен. Подобную логику иногда переломить чрезвычайно сложно. И тут я обычно вспоминаю моего деда.

— Да,— говорю,— вы правильно сделали, что пришли к нам, но дела ваши не так уж плохи. Я дам препарат, который непременно поможет. В ряде случаев я не даю гарантии, но в данном — гарантирую, что все будет хорошо.

— А что вы мне дадите?

— Вы получите препарат, который до конца не изучен. Он только еще проходит у нас апробацию, но мы возлагаем на него большие надежды! Пока же называем его условно «препарат номер шесть».

Зову ассистента:

— Дайте нам, пожалуйста, препарат номер шесть.

Товарищи уже предупреждены и знают, что нужно принести витаминные препараты. Но, чтобы больная поверила, необходима определенная система, ритуал. Например, «принимать после еды и обязательно точно через пятнадцать минут. А через, положим, две недели вы обязательно ко мне придете, мы посмотрим на ваше самочувствие и решим, что делать дальше».

И если вы попали на человека внушаемого, то через некоторое время его самочувствие резко улучшается.

— Доктор, ну просто небо и земля, мне гораздо лучше.

В моей практике было много таких больных (я не ставлю кавычки — это действительно больные люди), которым помогало правильно подобранное и дозированное психотерапевтическое лечение.

Как видно, я сам нередко прибегал к методам психотерапевтического воздействия на больных. Как же это уживается с протестом против экстрасенсов и других врачевателей этого рода? Во-первых, нельзя такие методы применять при раке, так как они не могут здесь помочь, а отвлекают больного от правильного лечения. Во-вторых, пропаганда этих методов часто содействует мистическим настроениям, что я не могу принять как материалист.

Надо ли говорить, что психотерапия, издавна занимающая свое вполне определенное и важное место в арсенале современной медицины, ничего общего не имеет с теми шарлатанскими панацеями — средствами от всех известных и неизвестных пока болезней, которые предлагают экстрасенсы и их добровольные адепты. (Кстати, не удивлюсь, если услышу или прочту, что какой-то или какая-то, отмеченные печатью избранности, успешно избавили некоего человека от синдрома приобретенного иммунодефицита — так называемого СПИДа.)

Эти люди — целители — и их окружение в целях рекламы создают всякие легенды. Например, легенду о том, что Л. И. Брежнев систематически лечился у экстрасенса. Об этом писали в зарубежной прессе. Но как я могу в это поверить, когда постоянно наблюдавшие Л. И. Брежнева врачи категорически утверждали, что этого не было, что не лечился Брежнев у экстрасенсов.

Вообще-то людей, которые занимаются самодеятельным лечением, я бы не называл таким звонким словом.

Для меня экстрасенсом — сверхчувствующим, сверхчувствительным человеком — скорее является Чайковский, потому что в музыкальности, в области музыкального слуха он не имеет себе равных. Исключительным музыкальным чувством обладал Шаляпин. Когда читаешь о нем или разговариваешь с людьми, знавшими его близко (а мне приходилось встречаться с такими), в представлении возникает огромный многообразный талант не просто певца, но Музыканта. Он мог бы быть замечательным дирижером... Да так, собственно, и было. Ведь, когда пел Шаляпин, то, по сути, не дирижер, а он управлял оркестром. Он делал паузу, и оркестр следовал за ним; он менял темп, и это была его собственная творческая находка, а не дирижера или композитора.

Есть экстрасенсорные данные и у ряда людей, которых не назовешь гениальными, но которые в силу обстоятельств вынуждены развивать в себе сверхчувствительность определенных органов чувств. Скажем, слепые. Лишенные зрения, они компенсируют это обостренным осязанием: читают выпуклые буквы и знаки на таблицах Брайля. Изощренное осязание заменяет слепому зрение. Изощренный слух тоже. Слепой стучит по мостовой палочкой, и многие думают, что палочка нужна ему лишь для того, чтобы на кого-нибудь не наткнуться. Но это не совсем так.

Был у меня такой знакомый, Александр Афанасьевич, человек, с детства ослепший из-за оспы. Мы сидели однажды с ним в комнате, и я спрашивал его:

— Александр Афанасьевич, каково расстояние до противоположной стены, какова высота потолка?

Он постукивал пальцами по столу и каждый раз отвечал правильно. Он жил в полной темноте, но чувствовал окружающие предметы и свое положение относительно них за счет особого слуха, который другим людям несвойствен.

Точно так же наверняка есть люди, которые испускают электромагнитные излучения более интенсивно, чем окружающие, и есть — улавливающие эти излучения более остро, чем остальные. Я могу это понять, и это ни в какой мере не расходится с материалистическим восприятием мира.

Но, к сожалению, встречаются и такие, кто использует эти свои и чужие способности, мягко говоря, некорректно. Пишут, что есть где-то дама, которая подносит к вашему телу свою руку, и у вас появляется ожог. И тут же советуют:

— Вот возьмите и используйте ее способности для лечения радикулита.

Я отвечаю:

— Позвольте, но если мы знаем, что она излучает, какова длина испускаемой волны и прочее, сделайте приборчик, который позволит не только оказать воздействие на организм, но и дозировать его. Женщине-экстрасенсу не укажешь ведь, что на этого больного можно воздействовать излучением, условно говоря, силой лишь в десятую ампера. Сегодня из нее исходит больше энергии, чем вчера, а сколько будет завтра — неизвестно. Все зависит от того, в каком она настроении. А практическая медицина требует стабильности. Да и как доверить такой даме лечение радикулита, если она может обжечь больного?

Я с большим недоверием отношусь к подобным сообщениям нашей прессы. И для этого есть все основания. Про одну целительницу писали, что она в Грузии вылечила трофическую язву за пятнадцать минут. Вскоре после этого сообщения я как раз приехал в Тбилиси и, естественно, поинтересовался, как было дело. Действительно, существовал такой больной, над которым она некоторое время манипулировала, и кому-то даже показалось, что язвочка у него подсохла и будто бы даже стала зарастать кожей. Однако не все происходит так легко и просто, как хотелось бы некоторым. Больной этот и по сей день не излечился (помочь ему чрезвычайно трудно), но слава чудодейственной целительницы бежит по стране и за ее пределами.

В свое время я пережил довольно длительный период, когда на меня давили так же, как сейчас с экстрасенсами, с феноменом филиппинских «хирургов»-хилеров. Тогда в научных и ненаучных кругах распространились просмотры снятых на Филиппинах любительских фильмов об операциях этих врачей. Было у нас создано даже специальное общество (как теперь говорят, неформальная группа) по изучению самого феномена и возможностей его применения в медицине. Меня усиленно приглашали тогда посмотреть один из фильмов, где явственно демонстрировалось, как происходит эта операция: человек лежит на столе, лекарь проводит по его телу руками и, раздвигая ткани пальцами, извлекает из организма некие субстанции, избавляя тем самым пациента от страданий и заболеваний. Я не пошел смотреть этот фильм, так как понимал, что мое присутствие на просмотре придало бы этой в то время спорной проблеме не заслуженный ею уровень. Мол, раз президент Академии медицинских наук интересуется этими методами, следовательно, в них есть как минимум рациональное зерно. Но я уже тогда считал, что все это лишь искусно обставленное шарлатанство: с позиций материалистических подобное невозможно, следовательно, это трюк. В цирке и не то умеют делать — посмотрите номера Кио.

Пока шли у нас эти разговоры (их даже дискуссиями не назовешь), французские и бельгийские врачи, побывав в пресловутых филиппинских операционных, похитили там отторгнутые ткани. И оказалось, что к человеческому организму они отношения не имели, принадлежа мышам, крысам и петухам.

А тут произошел еще и такой случай. В числе людей, сопровождавших Анатолия Карпова в Багио на Филиппины, где он играл матч на первенство мира по шахматам, был мой хороший знакомый — врач Михаил Лазаревич Гершанович.

Попав туда, Гершанович как медик, естественно, не мог упустить случая непосредственно познакомиться с филиппинской медициной и отправился к одному из самых известных целителей с просьбой сделать себе операцию. Об этом он впоследствии рассказал на страницах «Литературной газеты», поэтому я лишь позволю себе напомнить основную канву событий.

Стол, на который его положили, был поднят довольно высоко, и зрители (а они присутствовали при операции) видели не все и недостаточно четко. Сначала врач сильно провел ему рукой по животу.

— Мне было несколько неловко, да и смешно, хоть я не подавал виду,— рассказывал Гершанович.— Я понимал, что он меня не разрезал и вообще никак не проник в полость живота. Вдруг у него из-под руки потекла красная жидкость, затем появилось ощущение, что он руками куда-то глубоко залез, то есть углубился в брюшную стенку, а потом он показал нечто, похожее на сухую траву: «Вот что у тебя там было». Просто комок травы, даже не мясисто-кровавые органы, которые они обычно демонстрируют.

Меня всегда поражает, что, стоит возникнуть разговору об экстрасенсах, о чудодейственных снадобьях, люди, до этого момента материалистически мыслящие, вдруг уходят в такие дебри мистики, что становится страшно. Как это похоже на увлечение спиритизмом, столоверчением, медиумизмом на границе XIX и XX веков!

Совершенно непонятен мне феномен Спиркина.

Он член-корреспондент Академии наук СССР, философ. В то же время один из самых рьяных пропагандистов «экстрасенсизма». В газете «Труд» в свое время (не помню точно, в каком году это было, кажется, в 1980-м) он писал, что можно ставить диагноз человеку по его изображению на любительской фотографии, что источником наших сведений об изменениях здоровья человека или об его мыслях может быть скульптурный портрет и даже телефонный разговор. Спиркин утверждал и буквально следующее: если в комнате, где стоят цветы, произошло преступление, то экстрасенс способен от цветов получить информацию, кто и как его совершил.

Склонность к мистике свойственна людям. Наверно, это идет из тех тысячелетий незнания и невежества, которые предшествовали нашему просвещенному времени всеобщей грамотности и активного воздействия на человека средств массовой информации.

Каждый декабрь газеты дружно печатают сведения, которые иначе, как астрологическими, не назовешь. Дескать, по японскому календарю грядет год голубой крысы, красного быка, обезьяны,

зайца... И, чтобы преуспеть в этом году, необходимо лишь соблюсти некоторые формальности, а остальное в вашей судьбе совершит провидение. Выглядит это довольно забавно, и я, как, наверно, большинство, отношусь к предсказаниям как к милой предновогодней шутке, легенде, сказке двадцатого века. У меня есть маленький внук, и мы с ним довольно серьезно изучаем проблемы Бабы-Яги и Кощея Бессмертного. Но, когда я слишком увлекаюсь, он меня останавливает и говорит: «Дедушка, но ведь это сказка, бабов-ягов на свете не бывает».

То же самое можно сказать и о распространившемся, а вернее, возродившемся в последнее время повальном увлечении вычислением свойств характера человека, его судьбы, здоровья на основании даты рождения.

В одном из серьезных клинических учреждений Сибири, которым руководит профессор, академик, вдруг вижу в ординаторской комнате таблицу, где расписано, каким было в разные годы излучение Солнца и положение Луны. Я поинтересовался, какова практическая польза от этой таблицы, и услышал в ответ, что от положения светил, от энергетического баланса того или иного года рождения зависят состояние здоровья человека, течение его заболеваний, а следовательно, и методы, которые врачи должны применять, оказывая ему помощь.

— Не вталкивайте вы мне глупости в голову! — сказал я академику довольно резко и получил в ответ обиду, ибо относился он к своим таблицам серьезно.

Да, действительно, энергетика, количество солнца, влаги, тепла да и, наверно, еще многие факторы оказывают воздействие на зарождающиеся или развивающиеся организмы. Есть и более мощные факторы, влияющие на жизнь человека. Например, дети, родившиеся во время Великой Отечественной войны, когда матери их недоедали или находились в стрессовом состоянии, ожидая вестей с фронта, несомненно, получили определенную дозу негативного воздействия, которое во многом определяет до сегодняшнего момента и их жизнь, и течение у них болезней. И это воздействие значительно сильнее, чем те дозы солнечной энергии, которые они либо недополучили, либо перебрали до рождения и в момент его. Тем более что современной наукой эта проблема совершенно не разработана. Так стоит ли в медицинском учреждении при назначении курса лечения принимать во внимание столь неуловимые последствия столь неопределенных факторов! Год моего рождения — 1912-й, судя по их таблицам, был не особенно солнечным. Следовательно, я сразу оказался в неблагоприятных условиях. Но, наверно, в последующие годы солнца было побольше, и я наверстал потерянное в первый год жизни. Как это все учесть, есть ли для этого соответствующие методики, практические наработки? Помнится, я спросил тогда у «новаторов»:

— А какое для вас все это имеет значение? (То было легочное отделение.) Вот лежит человек с абсцессом легкого. Что вы с ним собираетесь делать?

А врач, который, естественно, находился под влиянием руководителя, говорит: подбираем ему лечение в соответствии с нашей таблицей.

— Но ведь есть закон медицины,— говорю,— там, где гной, необходимо разрезать и гной выпустить. Этот гнойник надо вскрывать немедленно, и мне абсолютно наплевать, в каком году больной при этом родился. Как я могу свои действия определять не сегодняшним состоянием пациента, а какими-то мистическими рассуждениями о том, как светило солнышко, когда он был еще в утробе матери?!

Говоря о себе, о своей работе врача, я не случайно коснулся проблем, связанных с мировоззрением медика. Медицина — наука очень сложная. Она требует серьезных знаний и в области анатомии, и в области физиологии, патологии, фармакологии, психиатрии и психологии, химии, физики, многих и многих других дисциплин, входящих в курс медицинского института (не случайно медицинское образование у нас самое продолжительное по времени). И пусть читатели поверят мне на слово, а если засомневаются, спросят у любого знакомого врача, что трудности, описанные много лет назад нашими классиками, писателями-врачами Вересаевым или Булгаковым, трудности медика, окончившего курс и осознавшего, что тут-то и пришла пора настоящей учебы, настоящего освоения профессии, они — эти трудности — и сегодня такие же, несмотря на компьютеризацию, рентгенизацию, ЭКГизацию и прочие достижения времени.

Но если мы периодически занимаемся повышением профессиональной квалификации медицинского персонала, то в отношении философских взглядов, материалистического мировоззрения врачей живем в полной уверенности, что фундамент, заложенный в институте, крепок, незыблем и не нуждается в подправке, укреплении и обновлении. Не принимать же всерьез те полусамодеятельные кружки политического самообразования, в которых занимаются пересказыванием содержания утренних газет, но уж никак не обсуждением философских основ профессии.

Медицина, ее достижения в борьбе с болезнями, перспективы ее развития и совершенствования всегда интересовали и, несомненно, всегда будут интересовать всех без исключения. Ведь ее успехи и неудачи вселяют в каждого надежды или разочарования. Поэтому противоестественно ведет себя врач, стремящийся сделать из своих знаний некую тайну, дающую ему якобы преимущест-

ва перед непосвященными. Сила медицины как раз в наиболее широкой пропаганде тех знаний, которыми она располагает, в доведении до публики не только достижений, но и неудач, сомнений, раздумий над нерешенными вопросами. В последнее время и медицинские, и научно-популярные, и общественно-политические издания, и телевидение с радиовещанием все шире привлекают ученых и практических врачей к освещению вопросов народного здоровья, профилактики и гигиены. Но долгие годы замалчивания больных проблем сделали свое дело, и подчас люди сомневаются в искренности тех или иных публикаций, ждут новых подтверждений своим надеждам или сомнениям.

Так, в частности, происходит и с сообщениями о медицинских аспектах последствий чернобыльской аварии. Несмотря на подробные и квалифицированные статьи, в которых рассказано, казалось бы, все, что произошло и может еще произойти, люди с тревогой обращаются в редакции газет и медицинские учреждения с одним вопросом: действительно ли выброс радиоактивных веществ в атмосферу приведет некоторое время спустя к значительному увеличению числа онкологических заболеваний?

Отвечу на этот вопрос так, как я отвечаю на него всем, кто обращается к нам в онкоцентр за разъяснениями: «Значительного увеличения числа онкологических заболеваний, вызванных аварией на Чернобыльской атомной станции, ожидать нет никаких оснований».

А теперь по порядку...

Я не буду говорить о многочисленных последствиях чернобыльской аварии: технических, организационных, специальных научных,— о них довольно много и подробно писала наша пресса. Остановлюсь лишь на некоторых медицинских аспектах проблемы.

В момент аварии и в ближайшее время после нее погибло около тридцати человек, а лучевая болезнь поразила около трехсот. Кроме того, многие получили значительные дозы радиации, которые хотя и не привели к лучевой болезни, но нельзя сказать, что оказались совсем безвредными. Поэтому перед учеными-медиками встала задача провести тщательный учет всех, кто хотя бы в малой степени подвергся действию радиации, а в дальнейшем установить над ними постоянное наблюдение, то есть осуществлять диспансеризацию большого контингента людей на протяжении длительного периода.

Воздействие радиации на человека своеобразно — она не имеет ни цвета, ни запаха, не дает болевых ощущений в момент облучения. Поэтому многие из тех, кто «схватил» некоторое количество рентген, не придали вначале этому никакого значения, попросту не обратили внимания. Были даже такие (и об этом мне рассказывали и в Киеве, и в Чернобыле, где я побывал вскоре после аварии), которые просили, чтоб им разрешили вернуться домой, так как они забыли при эвакуации захватить какую-либо важную вещь. Люди не осознавали опасности, потому что их органы чувств не фиксировали ее, не давали мозгу сигнала тревоги.

Однако различные слухи и разговоры о том, что последствием радиационного воздействия явится рост числа онкологических заболеваний, значительно преувеличивают реальную опасность. Многое в этом вопросе зависит от того, какие радиоактивные элементы влияли на организм, потому что каждый из этих элементов оказывает избирательное действие на определенную систему органов и тканей. Большую роль играли доза воздействия и возраст пострадавших.

Первым изотопом, выброшенным взрывом в атмосферу, был радиоактивный йод. При лечении рака щитовидной железы мы его используем. Попадание же радиоактивного йода в железу здорового человека не только не нужно, но и вредно. По-разному реагируют на получение одной и той же дозы этого агента взрослые и дети. Щитовидная железа в организме ответственна за рост человека. Небольшие дозы радиоактивного йода на взрослых людей влияют куда меньше, чем на детей. Ведь у растущего организма железа должна активно работать.

Я имел возможность посмотреть в Киеве ребят, которые находились в клинике после того, как попали под действие радиации. Первый эффект — это стимуляция деятельности железы. Но мы знаем, что после резкого увеличения активности железы обязательно наступает спад. И тогда активная ткань начнет замещаться соединительной, будет происходить рубцевание железы, и как следствие она начнет плохо функционировать. И вот тут спустя годы среди последствий этого процесса могут возникнуть и онкологические заболевания, но не они будут на первом плане. Прежде всего приходится ожидать возникновения эндокринных нарушений, которые связаны с изменением режима работы железы. И лечить их нужно не онкологам, а эндокринологам, давать недостающие гормоны, поддерживать функции железы за счет введения искусственных препаратов.

Спустя значительное число лет у некоторых групп людей, подвергшихся облучению, вероятно, произойдет увеличение таких заболеваний, как лейкозы. Спустя годы могут появиться и легочные или костные опухоли. Все это зависит от того, какие изотопы находились в атмосфере.

В своих экспериментах онкологи давно используют изотопы для получения искусственных опухолей у животных, так что сегодня мы можем говорить о немалом опыте работы с радиоактивными изотопами, позволяющем делать предположения о том, как пойдет развитие тех

или иных опухолевых болезней в отдаленном будущем.

Но у человечества есть опыт и более страшных экспериментов с радиоактивными веществами. Не на животных в лаборатории, а на людях в Хиросиме и Нагасаки. К счастью, самые мрачные прогнозы, предполагавшие у выживших после атомной бомбардировки большое количество лейкозов и нарастание числа опухолей, оправдались далеко не полностью. Прошло больше сорока лет, и теперь твердо можно сказать, что реальная жизнь разошлась с предсказаниями.

Вернемся к событиям в Чернобыле. Будучи в то время президентом Академии медицинских наук, я поставил вопрос о научном центре на территории, близкой к аварии. Это было необходимо для создания ученым максимально удобных условий для наблюдения за этими людьми.

Уже через несколько месяцев после аварии по решению правительства в Киеве был создан первый у нас в стране Всесоюзный научный центр радиационной медицины Академии медицинских наук. На первых порах он разместился в переоборудованных временных помещениях. Сейчас постепенно идет его расширение, строятся специальные корпуса.

Первой заботой центра стала регистрация всех пострадавших: и тех, кто пришел сам, и тех, кого пришлось выявлять. Большую помощь здесь оказали Министерства здравоохранения Украины, Белоруссии и Российской Федерации. Мы стремились все данные по пострадавшим областям трех республик собрать в одном месте. Киев был выбран потому, что является ближайшим к пораженной зоне крупным научным центром, где сосредоточены специалисты самых различных отраслей знаний. А это очень важно: пока центр находится в стадии организации, можно использовать многочисленные уже существующие учреждения. К работе был подключен институт эндокринологии, куда направлялись дети с поражением или с подозрением на поражение щитовидной железы, а также институт гематологии. Активно работал Центр по охране здоровья матери и ребенка, поскольку среди подвергшихся радиации были и беременные женщины, и роженицы с новорожденными. Был, естественно, задействован и Киевский институт онкологии, который на первых порах использовался не по своему профилю, а для лечения больных лучевой болезнью. Наиболее сильно пострадавшие были направлены в Москву, а для оставшихся при содействии ВЦСПС было получено очень хорошее здание нового санатория под Киевом. Пока строится центр, санаторий используется как место, где могут быть размещены больные, а впоследствии предполагается создать в нем реабилитационный центр.

Пока еще рано подводить итоги нашей работы, но нам удалось справиться с задачами, которые стояли в числе первейших.

Это не говорит о том, что можно успокоиться и отбросить всяческие опасения. Работы созданному центру хватит на годы. В течение еще длительного времени врачи будут заниматься большим контингентом людей, многие из которых ощущают себя совершенно здоровыми, но тем не менее нуждаются в постоянном наблюдении.

Современная онкология позволяет в случае раннего обнаружения канцерогенных процессов значительно легче и быстрее справиться с ними, чем в случае запущенной болезни. И если созданная нами сегодня система диспансеризации и наблюдения за людьми, пострадавшими при аварии, окажется столь действенной, как мы предполагаем, то больные могут с оптимизмом смотреть в будущее. А с точки зрения ранней диагностики эти люди будут находиться даже в более благоприятных условиях, чем все остальные группы населения.

Могут быть, конечно, и неожиданности в каждом индивидуальном случае. Но они есть при любых заболеваниях и не обязательно связаны с получением повышенной дозы радиации.

Следует помнить и о том, что при экспериментах на животных выведен закон, определяющий, что сроки, проходящие от канцерогенного воздействия до появления рака, зависят от продолжительности жизни животных. Чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше времени требуется, чтобы спровоцировать у животного появление опухоли. В свое время основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров, чей портрет висит у меня в кабинете, ставил опыты на обезьянах. Он помещал в организм радиоактивные элементы и ждал появления опухоли. Шли годы... И только через восемь—десять лет постоянного радиоактивного воздействия у подопытных животных стали образовываться опухоли. Люди живут гораздо дольше обезьян, и время, необходимое на развитие у них онкологических заболеваний, уж никак не меньше, а значительно больше, чем у низших приматов. Даже если предположить серьезное увеличение количества заболеваний, то многим просто не хватит жизни, чтобы их гипотетический рак успел развиться.

Чернобыльская авария вызвала поток вопросов о судьбе будущих детей тех, кто оказался в большей или меньшей степени облученным. И здесь я коснусь только той части проблемы, о которой мне позволяет говорить моя профессия.

Сегодня абсолютно твердо установлено, что рак не является наследственной болезнью. А когда говорят, что у больного раком кто-то в роду болел им или даже умер от него, это ничего не значит: просто болезнь эта — часто встречающаяся.

Точно так же многие легенды о заразности рака связаны с тем, что некоторые его формы вызываются вирусами, а раз вирусы — значит, инфекция. Но онкогенные вирусы особые. По воздействию на организм и своим особенностям они сильно отличаются от тех вирусов, которые внезапно поражают нас, вызывая грипп, корь и т. д. Проникая в клетку, онкогенный вирус воздействует только на нее саму — на ее генетический аппарат. Поэтому рак практически не заразен.

Доказательством может служить и то, что онкологи, имеющие дело с больными раком, сами этой болезнью болеют не чаще других. Вместе с тем у врачей-фтизиатров, которые работают в туберкулезных учреждениях, заболеваемость туберкулезом выше среднего уровня.

Специалисты говорят о двух уровнях наследственности рака. Один уровень — человеческий. На этом уровне болезнь не наследственная. Но есть другой уровень — клеточный. Все потомство больной клетки будет сплошь аномальным. Для развития болезни достаточно одной опухолевой клетки, которая, делясь, приведет к росту раковой опухоли. Именно поэтому так важно захватить болезнь в самом ее начале и иссечь больные клетки все до единой. Каждая оставшаяся в организме — это запал для новых опухолей.

От нас, специалистов-онкологов, журналисты часто требуют однозначного обещания, что в двадцать первом веке рака не будет.

И когда им в ответ говорят: «Мы беремся решить проблему рака!» — это звучит как бессмысленная, пустая фраза. Что значит решить? Кто-то думает, что, выяснив до конца происхождение болезни, мы именно тогда сможем ее победить.

К сожалению, не существует прямой зависимости между открытием причин болезни и успехами в ее лечении. Примером может служить история с оспой. Эта болезнь вызывается вирусом, который открыт в двадцатом столетии. А прививка против оспы создана в конце восемнадцатого века английским врачом Эдвардом Дженнером, который ничего не знал о происхождении болезни, кроме того, что она очень заразна. Но, будучи внимательным врачом и наблюдательным человеком, Дженнер заметил, что во время самых страшных эпидемий, уносивших многие жизни, оспа совершенно не затрагивала доярок. Постоянно находясь рядом с коровами, тоже подверженными заболеванию оспой, доярки через многочисленные порезы и ссадины на руках заражались коровьей оспой. У них возникали нарывы — один, два, может быть, три, но после этого эпидемия, от которой умирали их односельчане, доярок обходила стороной. Таким образом Дженнер пришел к созданию средства от болезни, которая тогда была очень опасной. И до сих пор, спустя два века, ничего нового против оспы не придумали. Избавились от нее не при помощи методов, разработанных после открытия вируса, а тем же старинным способом, которым два века назад пользовался доктор Дженнер.

В России первая пробная прививка оспы была сделана при Екатерине II крепостному мальчику. После того как с мальчиком ничего плохого, кроме хорошего, не случилось, его достойно наградили, а потом привили оспу наследнику престола, будущему императору Павлу I. И стали проводить прививки среди русской аристократии. Затем постепенно указами сверху стали внедрять прививки в народные массы. Но невежество и отсталость русского крестьянства приводили к тому, что процесс всеобщего оспопрививания постоянно тормозился.

В Советском Союзе массовая и планомерная борьба с оспой началась сразу после Великой Октябрьской революции. Я еще помню на улицах большое количество людей с оспенными рубцами на лицах, много было слепых, потерявших зрение из-за этой болезни. Только к началу тридцатых годов (понадобилось десять с лишним лет!) в нашей стране с оспой было покончено.

В 1958 году советская делегация во Всемирной организации здравоохранения поставила вопрос, чтобы совместными усилиями многих государств ликвидировать оспу. Выступал на этом заседании по поручению Академии медицинских наук СССР Виктор Михайлович Жданов. Предложение исходило от нашей страны, но заслуга в ликвидации оспы в масштабах планеты принадлежит и нам, и США, и многим другим экономически развитым странам.

А метод был все тот же — дженнеровский.

Другой пример — малярия. Никто не знал, что эта болезнь вызывается малярийным плазмодием. Но народ давно использовал против малярии хинное дерево. В тех странах, где малярия — частая болезнь, по счастью, оно растет. И народ лечился самостоятельно, без всяких предварительных научных исследований. Однако для ликвидации условий возникновения малярии, для борьбы с комарами открытие плазмодия дало много.

Все это я говорю к тому, что, когда речь заходит о решении проблемы рака, не следует думать, что для достижения этой цели достаточно изучить механизм его возникновения. Этим мы занимаемся, и не без успеха, но все же при всем при том речь пока не идет о ликвидации рака. Так что сегодня давать обещания решить проблему рака легкомысленно.

Задача заключается в том, чтобы все силы бросить на раннее выявление болезни — на развитие диспансеризации. Ведь сегодня хирург может удалить любую опухоль, если она обнаружена на ранней стадии развития. Опухолей, не удаляемых на первых этапах, нет. Они делаются таковыми, когда запущены.

В последнее время получили развитие новые методы лучевого лечения: помимо рентгеновских лучей, стали использоваться гамма- и бета-лучи. Необычайно точной фокусировкой и очень мощным ударом по опухолевым клеткам без лучевых поражений организма в целом отличается протонное облучение. На моих глазах появилась совершенно новая область онкотерапии — химиотерапия рака.

Когда я был молодым врачом, считалось, что рак можно только оперировать. Облучение играло тогда лишь вспомогательную роль, лекарственных препаратов не было ни одного. Отвергалась даже сама возможность медикаментозного лечения рака. В последние годы усиленно разрабатывается новое, иммунологическое направление. Оно пока еще не достигло успехов, которых от него ждут, но ведь недавно и химиопрепараты казались многим чепухой.

Все эти методы мало того что во многих случаях приносят положительные результаты, они еще позволяют резко снизить число калечащих операций. Совсем недавно при раке груди спасти женщину можно было, лишь убрав грудь, все подлежащие мышцы, клетчатку и лимфатические узлы. Саркома кости раньше всегда требовала полной ампутации конечности. А теперь, используя современные методы, мы многим женщинам удаляем только часть груди и часть лимфатического аппарата. В случае саркомы кости выпиливается только пораженный участок и вставляется искусственный, сделанный из специальных сплавов металлов.

А вакцина от рака? Она может появиться и быть действенной лишь для некоторых видов опухолей, имеющих вирусное происхождение.

Еще раз подчеркиваю, что не нахожу в подобной реалистичной оценке наших возможностей ничего пессимистического, ничего, что бы хоть как-то умаляло значение и достижения онкологии.

II

Жизнь человека никогда не исчерпывается работой, пусть даже самой интересной и любимой. Семья, друзья, увлечение в свободное время какой-то иной, отличной от профессиональной деятельностью — все это дает необходимый отдых и в то же время помогает решению сугубо профессиональных задач. Некоторое отстранение позволяет по-новому взглянуть на свой труд, оценить себя и найти подчас неожиданные решения.

Для меня такой внепрофессиональной деятельностью стало участие в ряде организаций и мероприятий, направленных на поддержание международных контактов с зарубежными коллегами, на проведение в жизнь миролюбивых устремлений советской общественности, пропаганду внешнеполитического курса Советского государства.

...Так уж сложилось, что наиболее длительные и тесные международные контакты образовались у меня с американцами, причем не только с коллегами, но и с представителями самых различных профессий и общественных групп.

В 1961 году я был избран президентом Общества СССР — США. На первых порах оно называлось Институтом советско-американских отношений и под таким названием вошло в состав Союза обществ дружбы с зарубежными странами. Затем этот институт преобразовался в Общество СССР — США.

Рассказывать подробно о деятельности общества я не буду, да это и не входит в мою задачу. Мне хотелось бы просто вспомнить некоторые встречи с американцами, которые, на мой взгляд, показывают, что во все времена можно было находить общий язык и с простыми гражданами этой великой страны, и с ее официальными представителями.

Мое избрание президентом Института советско-американских отношений я объясняю тем, что у меня были постоянные контакты с американскими медиками, и, наверное, тем еще, что в годы войны провел значительное время в Соединенных Штатах.

Об этой своей поездке я и хочу рассказать.

Меня направили к союзникам в США как специалиста по реконструктивной хирургии. Перед нашей медициной встал тогда серьезный вопрос о массовом производстве протезов для тех, чью жизнь война пощадила, но кого сделала инвалидом. Следовало подумать и о закупке протезов за границей. Это было одной из задач миссии, которую мне предстояло выполнить. Вместе со мной для изучения протезного дела в США был командирован и инженер-протезист. Руководил нашей деятельностью за океаном представитель советского Красного Креста в Вашингтоне профессор Лебеденко, и благодаря совместным усилиям нам многое удалось достичь.

Добираться до Америки в то время было чрезвычайно сложно. Немцы контролировали все морские пути, Европа была все еще под властью фашистов. Оставался только один безопасный, хотя и очень длинный маршрут, тот, которым В. М. Молотов ездил на конференцию в Сан-Франциско,— через Сибирь, Аляску и Канаду.

Я выехал летом 44-го, в июле. До Красноярска — поездом, оттуда самолетом долетел до Киренска — городка на берегу Лены, затем — Якутск, Уэлькаль — пограничный пункт на Тихом океане. Отсюда перелетел в Ном на Аляске, из Нома в Фербенкс, потом был канадский город Уайт Хорс, затем Грейт Фоллс — штат Монтана. Здесь я сел на поезд и приехал в Вашингтон. Все путешествие заняло двадцать дней. Оно настолько крепко отложилось в моей памяти, что сегодня мне не пришлось даже заглядывать ни в карту, ни в записи, чтобы назвать основные пункты маршрута.

Вашингтон поразил меня тишиной и каким-то немыслимым благополучием. Для человека, приехавшего из воюющей страны, причем воюющей тяжело, кроваво, американская столица казалась местом, существование которого на Земле и представить себе невозможно. Никакой светомаскировки, никаких карточек и пайков, никаких раненых... Спокойные, веселые люди с непонятными мирными заботами. И это при том, что американцы тоже воевали.

Мы под руководством профессора Лебеденко составили программу нашего пребывания. Я как хирург интересовался работой американских госпиталей, в отдельных случаях принимал участие в операциях, посещал знаменитую Мейо-клинику в Рочестере. Все свободные вечера проводил в вашингтонской центральной медицинской библиотеке. Набравшись определенного опыта во время работы в госпиталях, я с жадностью стал изучать международную литературу по своей специальности. Эту литературу у нас в стране тогда получить не было никакой возможности. Конечно, мой английский в то время был явно недостаточен, так что совершенствоваться пришлось в процессе чтения.

Я использовал эту поездку и для того, чтобы познакомиться с Америкой. Я встречался со многими врачами, побывал в Национальном раковом институте — онкология меня всегда занимала.

Советское посольство в США в те годы возглавлял Андрей Андреевич Громыко. И он, и его сотрудники из-за нехватки персонала (шла война, и каждый человек был на счету) периодически привлекали меня к исполнению различных разовых поручений. Я вел, например, переговоры с одной из фирм, которая продавала нам партию глазных протезов для раненых, в другой фирме выяснял возможности закупки рентгеновской аппаратуры.

Однажды по поручению посольства я выступал на митинге в одном из ресторанов Филадельфии. В 1944 году в Америке было еще очень много старых русских эмигрантов, заблудших душ, не разобравшихся в революции, покинувших сгоряча Родину и потом всю жизнь ее помнивших и тосковавших по ней. Я бы назвал этих людей благородными эмигрантами. Они сыграли заметную роль во время войны, привлекая внимание американцев к борьбе советского народа с фашизмом, организуя различные благотворительные мероприятия в фонд борьбы с общим врагом.

В Филадельфии в ресторане митинг проводился по поводу доброго поступка одного старого врача-еврея, Абрама Люиса, выходца из России, который за свою жизнь в Америке накопил 13 тысяч долларов (столько лет прошло, а даже сумма запомнилась) и объявил в газетах, что хочет передать эти деньги оставшимся в живых жителям того местечка, недавно освобожденного Советской Армией от гитлеровцев, откуда он был родом. На митинге присутствовало много русских эмигрантов и много американцев. Выступил там и Поль Робсон, известный негритянский певец и общественный деятель. Он впервые на земле Америки спел на русском и английском языках новый советский гимн, который в 1944 году заменил бывший до этого нашим гимном «Интернационал».

...Прошло полгода моего пребывания за границей. Срок большой, если учесть, что дома шла война. Честно говоря, я еле дотерпел до того дня, когда кончалась моя командировка. Начал оформлять бумаги для отъезда на Родину. Но тут А. А. Громыко предложил мне остаться при посольстве еще на некоторое время.

Я решительно отказался. Очень уж не терпелось применить накопленные знания в своем госпитале.

Мои доводы сочли серьезными.

— Поезжайте, но выполните наше последнее поручение. Вам придется ненадолго стать дипкурьером. С вами в Москву поедет дипломатическая почта.

Я подумал, что выдадут дипкурьерскую сумку с запечатанными секретными пакетами, наган,— кто из нас не читал Маяковского: «Засыпал к утру. Курок аж палец свел... суньтеся — кому охота...»? Но нагана не дали, а вместо сумки и пакетов загрузили «Дуглас», на котором я должен был лететь, тридцатью мешками с почтой. Мне нужно было отвечать за их сохранность, следить за багажом, как мне объяснили, днем и ночью, никуда не отлучаясь.

«Дуглас» предназначался нашей стране по ленд-лизу, и его американский экипаж на границе должны были сменить советские летчики.

Вылетели мы 15 декабря 1944 года. Летели медленно. К вечеру добрались только до Чикаго, где и заночевали. И тут я столкнулся с проблемой: ночевать на аэродроме не разрешают, а диппочту я оставить не могу. У меня, к счастью, были определенные финансовые возможности, которые позволили мне выступить в роли эксплуататора. Я нанял негров.

Они погрузили тюки на грузовик, и я, восседая на этой горе бумаги, как восточный правитель на спине слона, поехал в отель. Я не спускал с носильщиков глаз, пока они переносили почту в мой номер. Немного поспал, а в семь часов утра процедура повторилась, но уже в обратном порядке.

Следующий бросок «Дугласа» доставил меня в Уайт Хорс, где добровольными носильщиками стали союзнические канадские солдаты из охраны аэродрома. Затем перелетели в Фербенкс на Аляске, где мне помогли американцы из местного военного гарнизона, а затем и последний американский город нашего маршрута — Ном, известный тем, что там находится домик Джека Лондона.

В Номе нас уже ждали советские пилоты, прибывшие сюда, чтобы принять самолет и меня вместе с ним. И нача-

лись такие же короткие перелеты-броски по нашей территории.

Полет этот был довольно необычным. Во-первых, потому что трасса не была соответствующим образом оформлена знаками воздушной навигации, а во-вторых, выданный экипажу по военным правилам и ввиду суровых северных условий спирт делал свое черное дело, не ограниченное никакими законами и правилами. Естественно, и полет проходил весьма своеобразно... Например, после Уэлькаля сели мы на какой-то реке.

— Что за река?

— Колыма.

— А что за местечко?

— Зырянка.

— Но ведь это в стороне от нашей трассы.

— Ну что ты, доктор, не понимаешь? У нас тут бабы знакомые...

Они весело гуляли, а я на своем горбу перетаскивал диппочту в какую-то избушку. Негров поблизости не было.

На следующий день путешествие продолжалось. Однако после бурно проведенного времени летчики были не совсем в форме. И хотя самолет поднялся, оказалось, что накануне забыли проделать какие-то необходимые манипуляции, кажется, с рулями высоты. Летели, к счастью, довольно низко над землей. Так что когда самолет вдруг потерял управление и упал в районе Верхоянского хребта, за сотни километров от ближайшего обитания человека, никто не пострадал. Зима тогда была очень холодная и снежная. Я сидел на тюках в неотапливаемом самолете. Снаружи было тридцать градусов, и в самолете — тоже тридцать. Самолет утонул в сугробе, иллюминаторы закрыты снегом, темнота. Летчики вышли из своей кабины. Живые и отрезвевшие. С трудом мы открыли дверь наружу и, достав лопаты, стали расчищать взлетную полосу. Этим делом занимались около полутора суток. Наконец удалось подняться, и мы благополучно добрались до Якутска.

Прилетели мы туда в канун Нового, 1945 года, и я понял, что с таким экипажем быстро отсюда не выберешься. Дня два пришлось мне охранять диппочту в Якутске, пока пилоты мои приходили в себя после встречи Нового года. Наконец мы взлетели и взяли курс на Красноярск, где при посадке у нас отломилось шасси. Тут летчики выдали мне бумагу, в которой говорилось, что самолет потерпел аварию и дальше везти на нем почту нет никакой возможности.

Оставив самолет со всем содержимым под охраной этих пилотов, я поехал на вокзал. Начальник дороги, проникшись уважением к моим документам и моей миссии, дал мне в личное пользование международный спальный вагон, который стоял здесь же на запасных путях. Погрузив почту, привезенную с аэродрома на грузовике, я уже без приключений числа 15—16 января прибыл в Москву, пробыв, таким образом, в дороге месяц.

Своим рассказом я никак не стремлюсь очернить героическую работу нашей авиации во время войны. Служба их была трудна, условия тяжелейшие (я сам это ощутил). Но что было, то было. И этот нетипичный случай произошел именно со мной и запомнился мне на всю жизнь.

В 1963 году во главе большой делегации я поехал в Америку, чтобы провести ряд встреч с американской общественностью. Однако поездка оказалась сопряжена с различными сложностями.

Вылетали мы нормально, но, пока находились в полете, в Москве на рынке был задержан американец — профессор Иельского университета Баркхорн. Он вел разговоры на рынке, которые кому-то показались подозрительными. Не успел приземлиться наш самолет, как ко мне подступили с вопросами американские журналисты: за что и почему арестован американский профессор? Я отказался комментировать это событие, поскольку не располагал никакой информацией.

Наши гостеприимные хозяева тут же сообщили, что в связи со злополучным арестом их соотечественника все мероприятия отменяются и нам объявлен бойкот.

Я сказал:

— Хорошо. Мы едем в отель и, пока бойкот действует, живем своей независимой жизнью.

Наше поведение вызвало интерес, и журналисты, естественно, хотели извлечь из него максимум «жареных» подробностей. Возле отеля в Вашингтоне, где мы остановились, постоянно толпились корреспонденты, у входа даже стояла телевизионная камера.

Ситуация была, честно сказать, не из приятных. И я, как руководитель, обратился к группе с небольшой речью.

— Будем вести себя спокойно,— сказал я.— Нас не хотят принимать общественные организации, но не пустить в национальную галерею нас не могут. Я бывал там неоднократно и стану вашим гидом.

При выходе подскакивает к нам тележурналист и, слышу, говорит в микрофон:

— Вот выходит советская делегация, впереди профессор Блохин. Сейчас мы зададим ему вопросы... Скажите, профессор, почему арестован американский профессор?

Я сказал, что не представляю здесь организаций, которые могли бы дать ответ на подобный вопрос, как, наверно, и он — достойный представитель американской телекомпании — не смог бы ответить мне, пожелай я поинтересоваться, кто, где и за что арестован сегодня в США.

— А что вы скажете, если вас здесь арестуют и посадят в тюрьму?

Отвечать нужно было быстро.

— Я попрошу, чтобы со мной посадили члена нашей делегации писателя Бориса Полевого. Во-первых, мне сидеть будет веселее, а во-вторых, Полевому как писателю это даст любопытный материал для мемуаров.

Национальная галерея в Вашингтоне — одна из богатейших в мире. Но, по-моему, она совершенно не оправдывает своего названия — там представлено искусство всех стран и народов: итальянское Возрождение, голландские художники, французский импрессионизм и очень немного — американское.

Там есть картины, которые мы когда-то, испытывая трудности с валютой, продали за границу. Больно было смотреть на «Венеру перед зеркалом» Тициана, которая могла бы по-прежнему украшать коллекцию Эрмитажа, но была продана в сталинские времена.

Буквально через несколько дней благополучно разрешился вопрос с американским профессором, задержанным в Москве. Нас допустили к встречам с различными местными общественными организациями. Но, видно, этой поездке не суждено было стать спокойной: не успели мы, согласно программе, переехать в Чикаго, как разразилась американская трагедия, связанная с убийством президента Кеннеди.

На нас опять начали смотреть косо, потому что первая реакция печати и телевидения была антикоммунистической. Делались попытки связать убийцу с нашей страной.

Мы очень сочувствовали американцам. Сразу же от имени нашей делегации послали телеграмму с соболезнованиями вдове Кеннеди. Но в то же время поражались чисто американскому подходу к освещению событий. В какой-то газете в эти дни на одной странице были опубликованы рядом три портрета: вдова президента, вдова предполагаемого убийцы и вдова полицейского, которого случайно застрелили во время всей этой истории... Было непонятно такое сопоставление.

Наше пребывание в Штатах продолжалось. Мы много ездили, и во время посещения Калифорнии я познакомился с крупным американским ученым и общественным деятелем Лайнусом Полингом, с которым впоследствии пришлось много общаться на почве совместной борьбы за мир.

Во время последней пресс-конференции, перед отлетом из Лос-Анджелеса в Канаду, произошел такой инцидент. Я выступил перед журналистами и, кроме всего прочего, сказал, что все мы очень сочувствуем американскому народу в связи с постигшим его несчастьем — трагической гибелью президента. Тут же американским журналистом был задан вопрос:

— Вот вы делаете заявление от имени всей советской группы. А вы уверены, что все ваши спутники согласны с вами? Вот рядом с вами сидит дама... Хотелось бы услышать, что она думает по этому поводу.

Пример он выбрал совсем неудачный — дама, которая сидела рядом со мной, была моей женой, принимавшей участие в нашей поездке. Воспользовавшись на даме, решили отыграться на чем-нибудь другом:

— Вот ваш руководитель (Н. С. Хрущев) пообещал нас всех похоронить, закопать в землю...

Пришлось терпеливо объяснять, что нельзя буквально воспринимать эмоциональное неофициальное высказывание, пусть даже принадлежащее главе государства. Мы, говорил я, понимаем, что речь шла о неизбежном историческом процессе смены общественных формаций. Как капитализм пришел на смену феодализму, так и он сам, в свою очередь, не вечен... И когда придет время умирания капитализма в Америке, то закапыванием его будут заниматься сами американцы.

Поговорили, как говорится, и разошлись, а потом мы прочитали заметку о пресс-конференции в газете «Лос-Анджелес таймс». Вполне приличная заметка с фотографией, на которой мы с женой были запечатлены весело улыбающимися,— вероятно, снимали в тот момент, когда шел разговор о закапывании капитализма. Но подпись под снимком была довольно подлая. Там было написано, что глава советской делегации и его супруга выражают соболезнования американцам по поводу гибели президента Кеннеди.

Затем события развивались весьма необычно. В день отлета из Лос-Анджелеса группа корреспондентов, участвовавших в пресс-конференции, вновь явилась в наш отель с пожеланием счастливого полета. Кроме того, они попросили сказать несколько слов американским читателям.

— Я хотел бы заметить только одно,— обронил я.— Здешние журналисты — порядочные подлецы.

Провожавшие опешили и с обидой спрашивают:

— А какие основания у вас так говорить?

И я показываю им злополучную газету.

— Разве,— говорю,— вам было непонятно, что и я, и все мы искренне говорили о нашем сочувствии американцам? Зачем же нужно было столь издевательски монтировать не подходящие друг к другу снимок и подпись?

Реакция была для меня совершенно неожиданной.

— Да, вы правы, это подлый прием, но мы сейчас все исправим.

Они быстро исчезли и появились вновь уже в аэропорту. Протягивают газету, смотрю — тот же номер, та же дата, та же фотография, но подпись под снимком совершенно другая, что-то вро-

де: пресс-конференция прошла в дружеской атмосфере.

— Не волнуйтесь,— говорят,— остальная часть тиража пойдет уже в таком виде.

Когда думаешь о той большой, длительной борьбе, которую советские борцы за мир вели постоянно, из года в год, вспоминаются люди, стоявшие у истоков движения. Мне доводилось встречаться с Ильей Эренбургом. Это был феноменальный человек, интересный не только как писатель. Авторитет его был необычайно высок. Он был лауреатом международной Ленинской премии мира.

Много приходилось общаться с Николаем Семеновичем Тихоновым, который долгое время возглавлял Советский комитет защиты мира и тоже был удостоен звания лауреата международной Ленинской премии мира. Занимаясь общими вопросами в советском движении за мир, в 1972 году я стал членом Комитета по международным Ленинским премиям за укрепление мира между народами. Председателем комитета был академик-физик Скобельцын, который возглавлял его с момента основания. А в 1973 году я сменил Скобельцына на посту председателя комитета.

Премия состоит из диплома, золотой медали с изображением В. И. Ленина и денежной суммы в 25 тысяч рублей, которую лауреат может получить в любой удобной ему валюте по существующему курсу. Деньги платит Советское государство. Первоначально периодичность присуждения премий не оговаривалась, и можно было выносить решения каждый год или через несколько лет. Теперь порядок строгий — пять-шесть премий присуждают раз в два года.

Сегодня в состав Комитета по международным Ленинским премиям мира входят Аруна Асаф Али — общественная деятельница из Индии, Эрве Базен — французский писатель, Мирьям Вире-Туоминен — общественная деятельница из Финляндии, Сойло Мариньельо — кубинский профессор-онколог, Джеймс Олдридж — английский писатель, Янис Рицос — греческий поэт, Нгуен Тхи Винь — представительница женского движения Вьетнама, Юзеф Циранкевич — общественный деятель, бывший председатель Совета Министров Польши, Жизель Рабеса-хала — министр культуры Мадагаскара, Александр Чаковский — редактор «Литературной газеты», Борис Патон — президент Академии наук Украины, Николай Пономарев — общественный деятель, бывший председатель Союза художников СССР.

В свое время членами комитета были такие известные общественные деятели, как Илья Эренбург, Луи Арагон, Ренато Гуттузо, Хуан Маринельо...

Среди тех, кому я вручал премии, были главы государств Сальвадор Альенде, Янош Кадар, Ле Зуан.

Я встречался с Индирой Ганди, но премию, которую ей присудили посмертно, мне пришлось вручать ее сыну Радживу Ганди.

С Пабло Нерудой я виделся в последний раз за несколько месяцев до его смерти в 1973 году, когда приезжал в Чили вручать премию Сальвадору Альенде. Мы были связаны общей работой в комитете. Неруда жил в небольшом домике на берегу Тихого океана, в местечке Исла Негре. Он был прекрасным знатоком искусства. У него дома хранилось обширное собрание различных древностей, произведений современного искусства и работ русских художников. Я застал его уже смертельно больным: у него был рак предстательной железы. Операцию ему делали французские хирурги, когда он при правительстве Альенде был послом Чили во Франции, и прошла она, по-видимому, не очень удачно. Состояние его было скверное. Но тем не менее мы с ним очень интересно провели несколько часов. Он был, несомненно, выдающимся человеком, интересным, прогрессивным, нестандартно мыслящим, активным сторонником Альенде.

Среди людей, которых я хорошо знал как коллег по борьбе за мир, был известный французский график, мастер политической карикатуры Жан Эффель. С ним произошел однажды весьма неприятный случай: он потерял золотую медаль лауреата Ленинской премии мира и написал мне в страшном горе с просьбой как-нибудь помочь. Я тогда в Верховном Совете выхлопотал для него дубликат.

Особого внимания заслуживает моя встреча с Сальвадором Альенде, человеком прекрасной души и большого мужества.

Когда в июле 1973 года я приехал в Сантьяго для вручения ему Ленинской премии мира, люди, встречавшие меня на аэродроме, были явно чем-то смущены.

— Вам была приготовлена специальная резиденция в отдельном доме,— сказали мне.— Но по распоряжению сеньора Альенде мы поведем вас в гостиницу.

Я от этого никаких неудобств для себя не предвидел. Гостиница так гостиница. Выяснилось, что указание Альенде было вызвано тем, что за несколько дней до моего приезда в предназначенной для меня резиденции обнаружили бомбу. Ее благополучно обезвредили, но решили не рисковать и поселить меня в большом отеле: вряд ли из-за одного человека станут взрывать отель.

Во дворец Ла Монеда — резиденцию президента — я приехал в торжественно-черном костюме: предстояла встреча с главой государства. Альенде неожиданно для меня появился в рубашке с расстегнутым воротом, на ногах — спортивные ботинки. Разговор был очень простой, неофициальный.

В кабинете было много подарков, преподнесенных президенту и чилийцами, и иностранными политическими деятелями. Среди них мое внимание привлек автомат.

— Это подарок Фиделя Кастро. Но для меня он имеет чисто символическое значение,— сказал Альенде.— Стрелять из него я не собираюсь.

Когда в разговоре с Альенде я сказал, что надо было бы дать рабочим оружие для отпора врагам революции, он заметил, что боится возникновения гражданской войны, не допустит ее и рассчитывает на мирное решение всех конфликтов.

Эти его слова я вспомнил сразу, как из столицы Чили стали поступать сообщения о фашистском путче Пиночета. Президент был убит. И в одной руке он сжимал автомат, подаренный Фиделем, а в другой у него был микрофон: до последней секунды своей жизни он обращался к гражданам Чили, призывая их оказывать сопротивление путчистам.

Международное движение за мир развивалось на моих глазах довольно динамично. Были встречи, на которых нас пытались бойкотировать, случалось, в печати искажались наши выступления. И часто инициаторами подобных недружественных акций были сами западные борцы за мир. Выступая на встречах, они говорили о тех трудностях, которые им приходится преодолевать, о преследованиях, которые они испытывают, а вот, мол, о какой борьбе за мир может идти речь в Советском Союзе, раз там проводится с собственным правительством общая линия?

Как-то на форуме борцов за мир в Афинах мне пришлось выступать сразу после главы греческого правительства Андреаса Папандреу. Отвечая на обвинения в адрес советского движения за мир, я тогда сказал:

— Не только в Советском Союзе и социалистических странах поддерживают свои правительства в вопросах борьбы за мир. Вы правильно отмечаете, что по этим вопросам у нас нет разногласий. Причина здесь в той позиции наших правительств, которая не вызывает у нас протеста, более того, мы с ней полностью согласны и поддерживаем ее. Но ведь и в ряде капиталистических стран возникает ситуация, когда борцы за мир оказываются в одном строю с руководителями государства. Взять хотя бы Грецию, где сегодня проходит наша встреча. Здесь борцы за мир поддерживают те идеи, с которыми перед вами выступил глава греческого государства. Причем государства, входящего в состав НАТО. Но если правительство выражает мнение народа, то народ его поддерживает. То же самое происходит в другом капиталистическом государстве — Финляндии. Президент республики Мауно Койвисто предлагает создать безъядерную зону на Севере Европы, и народ его поддерживает.

Значительным событием в эволюции движения за мир стал состоявшийся в феврале 1987 года в Москве международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества». Я сам видел, как те, кто еще недавно обвинял нас в том, что мы подголоски нашего правительства, стоя приветствовали Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.

Многочисленные мирные инициативы нашего государства встречают широкую поддержку людей Земли. Но как часто в ответ на призывы к реальным действиям по разоружению мы слышим о планах «звездных войн», угрожающих существованию жизни на планете.

Так стоит ли тратить силы, энергию, ум, расходовать средства на то, чтобы лечить от рака и других болезней людей, которым предстоит погибнуть столь страшным образом?

Стоит, если свою деятельность врача, рабочего, инженера, писателя или ученого, любого мыслящего человека сопровождать борьбой за мир, за разоружение.

Врачи мира создали Международную организацию за предотвращение ядерной войны. Они заявили о том, что в условиях ядерной войны они не смогут выполнить свой долг. Их работа — профилактика гибели цивилизации, гибели человечества.

С. ПИСКУНОВА, В. ПИСКУНОВ

Уроки зазеркалья

Писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто.

Аркадий и Борис Стругацкие. «Хромая судьба».

1

В «Преподавателе симметрии» Андрея Битова («Юность», 1987, № 4) и в романе «Трижды Величайший, или Повествование о бывшем из небывшего» Николая Евдокимова («Дружба народов», 1987, №№ 7—9) буквально на первых же страницах появляется черт. Появляется средь бела дня во вполне земном облике и в обстановке полнейшей обыденности. По поводу этого странного происшествия в обоих произведениях имеются соответствующие комментарии. «Очевидно, в прежние времена черти так и выглядели — с рогами, копытами, в звериной шкуре, но я в своих скитаниях таких не встречал»,— замечает повествователь у Евдокимова. С ним солидарен герой Битова Урбино Ваноски: «Зачем уж обязательно с рогами? И глаза у него были голубые-голубые» (кстати, у черта из романа Евдокимова глаза тоже «голубые, как васильки», хотя в отличие от битовского — толстого, лысого, потного — он молод и хорош собой: родился-то «совсем недавно» — в год распятия Иисуса Христа).

Появление этих посланцев из небытия сразу же взламывает плоскость обыденного мировосприятия. На сочетании, игре, взаимоподмене двух планов — бытового, «бывшего», по определению Евдокимова, и «небывшего», вымышленного, фантастического,— строится повествование у обоих писателей, что, конечно же, в истории мировой литературы совсем не новость.

Не новость и пародирование образа подставного автора, якобы свидетеля и летописца происходящих на его глазах событий. К образу автора-хрониста, хроникера, репортера, по современному выражаясь, постоянно прибегали еще сочинители иберийских рыцарских романов, а пародируется этот прием, как известно, в «Дон Кихоте». Битов с Евдокимовым тоже вводят в свои произведения образ повествователя, некоего «я», надевшего на себя маску «свидетеля» описываемых необычайных событий: в одном случае это молодой репортер Тайрд-Боффин, в другом — alter ego автора. «Ныне в силу обстоятельств, не зависящих ни от меня, ни от кого из смертных, я стал свидетелем того, чего не может быть»,— так гротескно-патетически начинается роман Евдокимова. «Я единственный человек в мире, который мог бы пролить некоторый свет...» — приступает, в свою очередь, к рассказу о загадочной жизни и загадочной смерти Урбино Ваноски битовский репортер.

Там, где фигурирует черт, должно появиться и зеркало. Связь между зеркалом и чертом очень остро ощущали писатели-романтики. Вспомним первые впечатления от читанной еще в детстве «Ночи перед Рождеством»: глядящаяся в зеркало красавица и носящийся окрест луны черт. Вспомним — снова из детства — зеркало тролля, разбившееся в прологе «Снежной королевы» Андерсена. Не забудем о Кэрролле... А потом — после детства — длинная череда «взрослых» книг: «Пиковая дама», «Петербург», «Поэма без героя», вплоть до совсем недавнего романа Ю. Трифонова «Исчезновение», где внезапно разбившееся зеркало предвещает нашествие легиона бесов.

Зеркало творит образ-двойник и одновременно образ-антипод нашего посюстороннего, посюзеркального мира; оно нас отражает, нам подражает и в то же время нас передразнивает, карикатурирует, воссоздает нас и окружающий мир в перевернутом обличье (левое становится правым). Но так или иначе зеркало — первый шаг на пути человеческого самосознания, человеческого самоопределения. Ведь для познания себя необходимо

выйти за пределы собственного «я», увидеть себя извне, со стороны, в глазах другого или хотя бы в зеркале. Именно поэтому писатели столь охотно прибегают к помощи самых разнообразных «зеркал», будь то новые миры и планеты фантастов, другие культуры и цивилизации эссеистов («По сути, эта моя Армения написана о России»,— замечает Битов в «Уроках Армении»), будь то образы «братьев наших меньших», рассматривающих нашу жизнь из своего животного зазеркалья.

Такого рода зеркалом, в котором свой, в чем-то искаженный до неузнаваемости, а в каком-то смысле подлинный облик может увидеть не один человек (как то было в давнем рассказе Евдокимова «Случай в особняке», где солдат расстреливает собственное зеркальное отражение, принимая его за немца), а целое общество и даже все человечество, является в романе «Трижды Величайший...» преисподняя.

Но зеркальная поверхность может быть также обманной и обманчивой, порождать миражи и выдавать внешнюю видимость за глубинную сущность вещей. Зеркало не в последнюю очередь ассоциируется с чертом именно потому, что исконное назначение злого духа — имитация, подделка, выдавание черного за белое, угольков за деньги, зла за добро, миражей за реальность. Но искусством всеподражанья-передразнивания, кроме черта, обладает также шут, мим, гистрион.

Сходство, родство черта и шута — не тайна и для Евдокимова, и для Битова. Не случайно автор «Трижды Величайшего...» представляет Сатану в травестийном обличье «спившегося старика пенсионера», а один из героев «Преподавателя симметрии» художник-иллюстратор Варфоломей, подбирая к статье «Арлекин» картинку, замечает на ней «лишнее что-то: вместо бубенчиков — рожки, вместо востроносых штиблет — копытца». Своего рода «симбиозом» черта и шута оказывается и дьявол Эсчегуки — «тень» творца вселенной, персонаж некоего пародийного индейского мифа, о котором заходит речь в битовской повести «Человек в пейзаже» («Новый мир», 1987, № 3), многими нитями связанной с «Преподавателем симметрии». Именно «бездарный пародист и карикатурист Эсчегуки» надумал, по сообщению Павла Петровича, одного из участников философского диспута, развертывающегося в повести, создать человека по образу и подобию божьему: «...и сообразил он жуткую шутку — стал лепить существо наподобие великого Никибуматвы, и получилась у него — обезьяна».

Битов вновь и вновь возвращается к мысли о том, что подражающее отражение, простое зеркалирование — занятие «от лукавого». К такому выводу подводит и миф об Эсчегуки, и давняя новелла «Зеркало», принадлежащая перу «дяди Диккенса» из «Пушкинского дома», и только что написанная история Урбино Ваноски. Исповедь Ваноски — «безвестного автора 30-х — 40-х годов», бум творчества которого пришелся на конец 60-х,— начинается с уже упомянутого эпизода: явления дьявола в центре Лондона, который демонстрирует Урбино фотографию из его будущего. На снимке запечатлелось искаженное ужасом лицо постаревшего Ваноски, отраженное в зеркальной витрине магазина, а рядом — зеркальное же отражение красавицы Елены (да, той самой мифической Елены — «идеи» красоты).

Поиск праобраза, перво-образа «зеркальной» женщины увлекает Урбино на путь, уводящий из жизни, из настоящего, из комнатки живой Эвридики, любящей его неподдельной земной любовью, в мир зеркальных миражей, пародийных подобий. «Мы были окружены зеркалами, стократно повторенными друг в друге. Уходили в бесконечность эти отражения отражений. И они смеялись, отражения, потому что смеялись мы... Фотография совпадала, как пародия»,— повествует Урбино Ваноски о встрече с очередной псевдо-Еленой. Встреча эта станет прологом к гибели Эвридики, конечно же, ужаленной змеей. И тогда Урбино осознает крах прожитой жизни: «О, как я был всю жизнь слеп: волны, зеркала, бумага, фотографии»,— подводит он итог своего земного пути, заживо хороня себя в каморке под крышей.

Интерьер каморки Урбино — это, по сути, замкнутая система зеркал: фотография подражает окну, окно повторяет фотографию. Выходит, что, всю жизнь мечась среди зеркальных отражений и пародийных подобий, Ваноски и в своем последнем прибежище оказывается... среди зеркал. Однако это уже другие зеркала, подводящие к мысли о том, что сам мир, обступающий нас со всех сторон, видимый глазу, доступный обонянию и осязанию,— тоже зеркало, сквозь амальгаму которого просвечивают иные миры и пространства [1]. Не отразить этот мир, а отразиться в нем, довольствуясь ролью соавтора, подмастерья,— вот, по мысли Битова, задача истинного художника. Отразиться во взгляде другого, отразиться во взгляде вечности, во взгляде смотрящего на человека солнца, как в хрестоматийных строках поэта:

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему...

(Б. ПАСТЕРНАК)

Да, не только мы смотрим, но и на нас смотрят — из глубины, из зеркала. Кстати, средневековые иконописцы, строившие свои композиции по закону «обратной перспективы», очень хорошо это понимали.

---

[1] Цепочка отождествлений: зеркало — живопись — мир, со всей тщательностью развернута в повести «Человек в пейзаже».

Зеркальное перевертывание традиционного представления, намертво закрепляющего свойство субъекта за «я», а объекта за «не я», то есть установка на то, что не только «я» отражаю мир, но и мир отражает меня, создает условия для подлинного диалога «я» и «мира». А именно на уничтожение их мучительной разъединенности изначально и сориентировано все творчество Битова.

«Я» и «мир» — оппозиция коренная, корневая, рядом с которой в художественном пространстве прозы Битова выстраивается множество других: «я» и «не я», «я» и народ, культура и природа, цивилизация и жизнь, прошлое и настоящее, слово и вещь, образ и опыт, роль и индивидуальность, внешнее и внутреннее, поверхность и глубина, разум и прозрение, взрослость и детство...

Этот ряд симметричных оппозиций — своего рода жесткий конструктивный остов, замаскированный внешней разбросанностью, эссеистичностью, вольностью битовского письма,— давно в своих отдельных звеньях прослежен критиками. Л. Аннинский так, например, определяет «сюжет всей прозы Битова»: «драма безбытия, прикрытого бытием как фасадом и репетицией».

Впрочем, временами кажется, что для Битова «безбытие» как раз не драма, а развязка и желанный исход... «Я никогда не думал о смерти... но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени мое активное (врожденное?) желание небытия?.. Если любовь и счастье,— это, в опыте, только те мгновения, когда меня не бывало: не было — младенчество, не было — не помню, не было — акт, не было — смерть; — то, значит, прежде всего именно желание исчезнуть владело мною всю мою «сознательную жизнь».

Признание, сделанное в «Грузинском альбоме», многого стоит: мучительно не небытие, а существование «я», замкнувшегося в себе, пребывающего в ирреальном мире зеркал, в каждом из которых оно встречает лишь собственное отражение, в мире слов, тщетно пытающихся уловить в свои «видоискатели» смысл вещей. «Просвет между именем (словом, названием, знаком) и тем, что за этим именем стоит в реальности», по наблюдению того же Л. Аннинского, одна из «главных, сквозных, зияющих тем» творчества Битова.

Тот идеал, к которому устремлен герой Битова, который проходит через все его творчество, начиная с «Дачной местности», который остро ощутим во всех его повестях и романах, рассказах и эссеистике, — пребывание *в настоящем*. («Мы были *в настоящем*. Мне трудно доказать это чувство; как всякое чувство, оно — недоказуемо»,— читаем в «Грузинском альбоме», в главе «Осень в заводи», где, быть может, точнее и полнее, чем где-нибудь в другом месте, чувство настоящего «доказывается».)

Настоящее — ось симметрии прошлого и будущего, та точка, в которой завершается «круговорот жизни» и начинается новый, место встречи «я» и мира, тот ракурс, в котором совпадает отдельное с целым. В «настоящем» заново рождаются и мир, и «я» в этом мире, и слово о мире. «Я» не заключает в себе мир, а выделяет, как бы «вычитает» себя из него, начинает различать свой абрис, глядясь *в зеркало мира*: «Здесь надо было заново учиться языку, зародить его, разлепить с трудом губы, тем же исполненным бесстрашия усилием, каким осмелился распахнуть глаза, и произнести первое слово, одно, чтобы назвать то, что мы видим: *мир*. И дальше по слогам, шажками букваря, держась за краешек страницы: э-то — мир. Он — весь. Это — все. Передо мной — все. Мир — это все. Передо мной отворился мир. Я застыл на пороге. Замер в дверях. Ворота в мир. Врата мира. Я стою на пороге. Это я стою. Это — я».

Тут-то и заполняется пропасть между знаком и предметом, словом и вещью, потому что в зеркале-мире вещь одновременно является и знаком, обозначает самое себя, просвечивает смыслом, а слово, в свою очередь, становится вещью, делается плотным, материально осязаемым.

В мире «настоящего» процесс познания обретает непривычные для нас формы. «Опыт» как таковой, как прибавление нового знания к старому оказывается весьма сомнительным; такой опыт, рождающийся от зеркального рефлекса в нашем сознании безгласного мира, мало чему учит. Подлинное познание — это «узнавание», «воспоминание», «совпадение» вновь получаемой информации с неким образом-кодом, существующим в подсознании человека изначально, до опыта. Вместе с тем этот образ присутствует и в самой действительности — как фрагмент зеркала мира, как буква из «учебника гармонии бытия», как голос настоящего. И там, где с героем Битова происходит чудо узнавания, чудо совпадения «опыта» и «образа», восстанавливается связь времен, связь поколений, чувство родства (драму разрыва всех этих связей, ощущение себя «отлученным, сбоку» Битов переживает очень болезненно). Вот герой «Грузинского альбома» идет по улице старого Тбилиси, зазванный в «один дом», «в одно семейство». И уже по пути этот дом возникает в его воображении — «в мысленном взоре, на грани сна». Подойдя, он тут же его и узнает: «Это именно такой дом и есть». И ничего удивительного нет в том, что в «таком доме» посетителя ждут зеркала и альбом с фотографиями предков хозяйки дома — своего рода «хранилища» образов-идеалов. Когда взгляд прелестной Наны «отразится в зеркале, откуда совершенно тем же круглым и ясным взглядом выглянет ее бабушка

или она сама», «опыт» и «образ» совпадут, все для посетителя дома — героя «Грузинского альбома» — приобретет законченность и станет таким, каким «*с самого начала должно было быть*». Правда, потом станет очевидным, что Нана — не Нана, а Нина, что бабушка — не бабушка и что «весело было лишь на тех выцветших фотографиях...». Утопия развеивается.

Двойственная природа зеркала, меняющего сторонами правое и левое, совмещающего в себе образ и подобие, ведущего в глубь бытия и отталкивающего взгляд смотрящего от своей блестящей поверхности, удваивающего мир и совпадающего с миром, зеркала — орудия обмана и средства познания — вот источник бесконечных метаморфоз Андрея Битова. Его поэтика — сложнейшая система поставленных друг против друга и одновременно обращенных к миру зеркал, криптограмма, которую надо расшифровать, не пренебрегая никакими «мелочами», деталями, подробностями.

2

Рассуждая о мире-зеркале, мы легко можем сбиться на другой, сопложный ему образ: *мир-книга*, состоящая из вещей-знаков, которые нуждаются в прочтении и расшифровке. По сути дела, мир-зеркало и мир-книга — синонимы, а все, что говорилось о первом из этих образов, полностью может быть отнесено и ко второму. Отсюда, из их принципиального тождества,— и позднейшее, возникшее уже в эпоху расслоения слов и вещей, определение книги как зеркала, поставленного против мира и отражающего мир в себе.

«...Книга, по всему, тоже не им писана»,— замечает один из героев Битова, рассуждая о мире и месте человека в мироздании. Сама она, будучи написанной, вмещает в себя все мыслимые времена, то есть в пространстве книги и в мире-книге все времена существуют как бы в одном непреходящем настоящем, в котором совпадают время описываемых и время происходящих событий, время создания (авторское время) и время жизни.

Концепция жизни-книги помогает Битову заполнить образовавшийся между жизнью и литературой зазор, уничтожить границы, разделяющие эти области человеческого существования. Довольно рано писатель нащупывает к тому два пути, хотя в конечном счете они *должны сойтись*. Один — этический: любовь уничтожает границу между литературой и жизнью. Другой — эстетический, внешне выражающийся в экспериментах с художественным временем, в попытке создать литературное произведение, время которого имитировало бы время, точнее, вневременное настоящее мира-книги. (Классический пример такого построения художественного целого, быть может, потому и ставший классикой XX века,— роман Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».)

Синхронизации всех времен служит и помещенная в начале «Преподавателя симметрии» таблица глагольных времен и залогов английского языка, в которых якобы написаны произведения Урбино Ваноски. Читатель таблицы должен в идеале пережить то же, что переживает Урбино Ваноски накануне своего прозрения — чувство исчезнувшего времени: «Время стремительно сокращалось, как живое, как сердце... Время сжалось окончательно, до сегодня, до этого мгновения, до точки и остановилось, как сердце». Время жизни и время романа, в котором жил Урбино и который он одновременно писал, следуя за зеркальной женщиной («Я не помню, что я написал, а что прожил»,— сознается Ваноски), сомкнулись. Сомкнулись... чтобы взорваться гибелью Эвридики!

Так в чем же состоит грех Урбино, искуплением которого станет его уход от мира (схема жития, состоящего именно из этих двух композиционных частей, просматривается в истории Ваноски достаточно отчетливо)? Ведь, кажется, в его судьбе так же невозможно провести границу между жизнью и романом, как не проводится она, например, в битовском восприятии между жизнью и творчеством Пушкина. Ваноски всю жизнь только и делал, что писал некий роман, который, по первоначальному замыслу, должен был стать «новым» рыцарским романом, а его герой — «эдакий рыцарь печального образа» — должен был победить своей любовью и верностью дьявола, внушившего ему образ-мираж Елены. Но судьба повернула возвышенный замысел по-своему: он воплотился в романе «Жизнь мертвого», и повествовал этот несостоявшийся рыцарский роман о человеке, который «потерял душу и обвинил саму жизнь в ее гибели».

Как же так получилось? Отвечает на этот вопрос сам Ваноски, нашедший в себе мужество обвинить в собственной гибели не жизнь, а себя самого. Не различая «жизнь» и «роман», «жизнь» и «литературу», «жизнь» и «зеркало», Ваноски утратил столь важную, *иерархию ценностей*, согласно которой *жизнь* является ценностью наивысшей и изначальной.

Прожив жизнь, как роман, Ваноски не воплотил роман в жизнь (что удалось-таки сделать Рыцарю Печального Образа!), а *подменил* ее романом. Ваноски остался в плену зеркальных миражей и *проспал* жизнь, о чем — по закону зеркальных же парадоксов — ему поведал пророческий сон: «Так, спускаясь, я наткнулся на странное сооружение, чем-то напоминающее зеркальный телескоп, он преградил мне дорогу. Я стал карабкаться по его фермам, соскользнул по некой лесенке и уперся в зеркало. В нем отражалась все та же бухта, тот же берег, то же море, но товарищи мои уже уходили вдаль по берегу. Я понял, что

надо действительно спешить, повернулся от зеркала, ища проход, и опять наткнулся на зеркало. Я бегал, ища выхода,— всюду были зеркала, всюду я на них натыкался, мечась, пока не осознал с ужасом, что кручусь на одном месте, ограненный зеркалами, замурованный в зеркальную призму».

Этот сон — своего рода эмблематическое изображение жизни Урбино до его добровольного из нее ухода — одновременно выявляет метафорическую триаду, на которой держатся и повесть Битова, и роман Евдокимова: *зеркало — книга — сон*.

3

Читая роман «Трижды Величайший...», все время испытываешь то же ощущение, что испытывает Тайрд-Боффин в каморке Ваноски: читая, «и не заметишь, как окажешься на внутренней поверхности явлений, проскользив по умопомрачительной математической кривизне, и выглянешь наружу оттуда, откуда уже нет возврата...».

В романе Евдокимова «я»-повествователь видит сон: он умирает и оказывается во владениях Трижды Величайшего, то бишь в преисподней — сатирическом зеркале реального мира. Там, в преисподней, обнаруживается, что этот реальный мир существует как текст, занесенный на страницы Книги Судеб; ее читают действующие лица сна, и сам повествователь фигурирует в ней как персонаж, а содержание книги составляет реальная жизнь человека и человечества. Граница, разделяющая книгу и жизнь, вымысел и реальность, сон и явь, оказывается размытой, легко переходимой, а блуждания терзаемого муками совести повествователя — «я» — по аллегорической Аллее Стенаний наполняются вполне конкретным смыслом: ведь назвал же один из персонажей-двойников автора, прозаик Крутояров, писательство *самоочищением*! Назвал после того, как к нему явился сотворенный его воображением идеальный герой и потребовал соответствия той мере нравственности, которую писатель предлагает своим читателям.

Сон у Евдокимова выводит человека — существо ограниченное в своем пространственно-временном бытии, но обладающее бесконечными желаниями, «этого жалкого, никчемного муравья, человека, копошащегося во тьме Вселенной и грызущего стену, разделяющую тот и этот мир»,— за пределы самого себя, в иные пространства, в иные времена — в невозвратное прошлое и в неведомое будущее. Поэтому сон не только утоляет желания: «из сновидений рождается знание», сон — небытие, из которого рождается новый образ бытия. Человек естественно и неудержимо стремится выйти за пределы дозволенного.

По Евдокимову, быть человеком — значит быть изначально свободным. Свобода — единственное, что превращает «жалкого муравья» в «вершителя судеб Вселенной», оставляя и Трижды Величайшего, и Не Имеющего Имени на положении «удельных князьков». Евдокимовская картина мира — в отличие от битовской — принципиально *человекоцентрична*. И если есть у автора «Трижды Величайшего...» какая-то надежда, что жизнь на земле все-таки не прервется, то связана она исключительно с человеком.

Однако именно мысль о свободе человека, о возможности выбора, которым он один в целой Вселенной обладает, выливается у Евдокимова в вопрос, мучивший многих: во что человек эту свободу употребит? Вопрос тем более острый, что «вершитель судеб Вселенной» сегодня звучит не только как красивая метафора, но и как зловещее апокалипсическое пророчество.

Человек совершенен, но он не центр мироздания — человек далек от совершенства, но в его руках судьба Вселенной — так, несколько схематически, мы бы обозначили расхождение Битова и Евдокимова. И тогда становится понятным, почему прекрасный замысел Урбино Ваноски превращается в «жизнь мертвого человека», человека, потерявшего душу, а в «дьяволиаде» Евдокимова Сергей Григорьевич — чиновник, отдавший душу дьяволу,— высвобождается после этого акта, вопреки всем традициям, из скорлупы своего чиновничьего «я», становится *человеком* в точном смысле слова.

Закрывая роман Евдокимова, мы вдруг догадываемся, чей «смех сквозь слезы» звучит на его страницах, кто такой Не Имеющий Имени, сотворивший всех героев романа и наделивший их свободой самим распоряжаться своей судьбой: это... автор «Трижды Величайшего...».

Антропоцентрическая картина мира получает свое естественное дополнение в антропоцентрической концепции творчества, творчества — *самовыражения*.

В отличие от Евдокимова, решительно утверждающего свое «я» в центре созидаемого им художественного мира, автор «Преподавателя симметрии» все делает для того, чтобы скрыть свое присутствие в тексте. Однако в конце концов становится понятной и его авторская позиция: Я — Бог, я — скромный подмастерье. Ее характеризует раздвоенность при том, что в 80-е годы Битов все более склоняется к последней роли. И эта *эстетическая* коллизия отражает еще одно противоречие мировоззрения Битова, его «двойной» ответ на вопрос: что такое человек и зачем он на земле?

Человек для Битова — художник, творец, существо, героически отвоевывающее свободу «у собственной жизни» и наделяющее этой свободой своих героев. В то же время он сам — творение, точка приложения неких воздействующих на него сил, персонаж, роман жизни которого

уже написан, траектория судьбы прочерчена. В главе «Осень в заоди» из «Грузинского альбома» — там, где доказывается «настоящее»,— есть очень точный образ «шарика», который «носится по Колизею рулетки, стукаясь, налетая, выписывая большие круги, пытаясь вылететь за пределы».

Однако кружению шара по поверхности игрального стола у Битова противостоит движение по вертикали — *восхождение*. «Лишь на самом верху мы будем иметь окончательно общую природу, отменяющую одиночество, ту общую природу, с которой мы рождены...» — заметил когда-то Битов в «Птицах». И к этому «верху» он устремлен постоянно. Близостью к верху измеряется у него степень человеческой свободы. Естественно поэтому особое пристрастие писателя к *теме полета*. И нет ничего удивительного в том, что Урбино Ваноски в числе прочих своих произведений оставил нам новеллу «0 — цифра или буква?», герой которой некто Гумми — существо, умеющее летать.

В каком-то смысле Гумми — родной брат Эвридики; во всяком случае, разделяет ее судьбу, погибая, как и возлюбленная Ваноски, от предательства близкого человека (ведь недоверие, неверие, с которым столкнулся Гумми,— то же предательство, только «навыворот»).

Гумми убежден, что внешняя сторона — это всегда внутренняя («просто люди смотрят наружу»), что «колесо сложнее паровоза», что не люди верят в Бога, а сами они — «частица веры Бога», что летать для человека, наконец, естественнее, нежели ходить: просто «люди не знают, как они приспособлены». Летать Гумми, по его словам, научился в буддистском монастыре в Камбодже (тут Битов простодушными устами «идиота» излагает методику дзен-буддистских медитаций — упражнений, нацеленных на постижение немыслимого). До какого-то предела единственный близкий Гумми человек доктор Давин оказывается способным понять склад ума (точнее, антиума) своего пациента, но именно *до предела*. И этим пределом становится его, Давина, эгоцентризм, неготовность признаться самому себе в том, что он, «кичливый книгочей», не обладает даром подлинной любви, той, на которую способен «круглый идиот», сумевший прозреть сокровенную красоту невесты доктора Джой, равно как и души девиц с Бродвея, запечатленных на аляповатых олеографиях.

Открытки-зеркала с изображением бродвейских красоток, отраженные во взгляде Гумми, становятся для доктора окошком в четвертое измерение бытия, освобождают его от власти иных «зеркал», коими человек отделил, отгородил себя от мира. Но навсегда переселиться во Вселенную Гумми Давин не смог.

Притча Битова о «летуне», который разбился о зеркало рационализма и эгоцентризма, сама по себе является «криво-зеркальной» конструкцией, преломившей, переплавившей в себе самые разнообразные тексты. Среди них — и популярные книжки о дзэн-буддизме, и нашумевшая статья С. Арутюнова о туринской Плащанице, и роман Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (эпизод с Гумми, взлетающим после того, как он выпивает чашку воды,— явный отголосок эпизода с падре, поднимающимся в воздух после того, как он выпивает чашечку шоколада). Но основным литературным прообразом сюжета новеллы «0 — цифра или буква?», а также некоторых эпизодов из новеллы «Вид неба Трои» (так что Гумми и Эвридика — родные не только по судьбе, но и по литературному первоисточнику) является повесть болгарина Павла Вежинова «Барьер», героиня которой Доротея — девушка, умеющая летать, пациентка психиатрической больницы — погибает, столкнувшись с прагматизмом и эгоизмом любимого человека, погибает, упав с неба в буквальном смысле слова, чем повергает следователей в неразрешимое недоумение. Нетрудно заметить, что рассказ о возвращении «блудного» возлюбленного Эвридики Урбино Ваноски «зеркально» отражает рассказ о возвращении Антония Манева к оставленной им Доротее, а летательный дар и гибель Доротеи, в свою очередь, почти дословно воспроизведены в судьбе Гумми.

4

Гротеск с его непременным реквизитом (кривыми и беспощадно прямыми зеркалами, визитерами из преисподней, несгорающими рукописями и превращающимися в пепел книгами бытия, игрой с чужими текстами), гротеск, который мы понимаем широко — как совмещение несовместимых явлений и понятий, как «взаимопереход» и «обрыв» противоположностей,— сталкивает и сближает крайности разного рода: верх и низ, духовность и телесность, упорядоченность и стихийность, звучащий с олимпийских высот смех и лиризм чистейшей воды. В принципе такой гротеск позволяет совмещать и два, казалось бы, несовместимых, во всяком случае, противоположных «модуса» авторского повествования: максимальную дистанцированность от изображаемого мира и максимальное в него вживание. В обыденно-читательском восприятии это оценивается как «холодность», «бездушие» авторского отношения к герою или, напротив, как сострадательное ему сочувствие. Один критик в таком случае будет говорить о «бесслезной» традиции, которой придерживается писатель в трактовке образа «маленького человека», а другой — о том, как этот писатель любит своих, казалось бы, не заслуживающих любви героев. Именно так оценивают авторскую позицию Т. Толстой, опубликовавшей к сегодняшнему дню около двух десятков рассказов, М. Золотоносов, которому принадлежит самый обстоятельный разбор прозы мо-

лодой писательницы [1], и А. Михайлов, сопроводивший ее первый сборник рассказов напутственным словом [2]. И вот что знаменательно: оба критика правы!

Зеркало для Толстой — *окно*, запертое или открытое. Все ее персонажи (все, за исключением детей) живут, подобно Василию Михайловичу («Круг»), в «трехмерном», замкнутом со всех сторон бытии, остро чувствуя и его ограниченность, и его конечность. Живут, мечтая вырваться за его пределы. «Ничего не происходило. Не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзалось, не слышался глас с неба, никто не искушал, не возносил, не расстилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочки в небосклоне, уйти в нарисованную дверь».

Знаком этой замкнутости, ограниченности как раз и является не уводящее никуда зеркало, то самое, в которое Василий Михайлович видит лишь «себя — одного-единственного». То самое, в котором Аркадий Борисович «с отвращением» разглядывает свой язык («Поэт и муза»). Или то, в котором видит собственное отражение Петерс: «Толстый нос, перевернутые от страсти глаза, мягкие плоские ступни». Аналогом этого зеркала, демонстрирующего герою его самого, «одного-единственного», в рассказе «Петерс» являются образы наглухо закрытого, плотно заклеенного на зиму окна, «стеклянных глаз» умирающего старика и уже не метафорических, а действительно «стеклянных глаз» его внука Петерса, решившего заказать себе контактные линзы (образ — отрицание традиционного «глаза — зеркало души»: в стеклышках-то душа никак не отразится!). В том же ряду — и сны Петерса, которые ведут его не на простор, не в мир, не в жизнь, а через лазы и коридоры, потайные лестницы, чуланы, темные переходы — в «душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, крутя пальцами, знаток многих нехороших вещей».

Вновь перед нами вариация уже знакомой темы «жизнь мертвого человека», жизнь, прожитая, как сон, прошедшая мимо. «Что же ты такое, жизнь? — задается вопросом Петерс, потерпев очередное фиаско на любовной стезе.— Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика?» В этот ряд уподоблений следует встроить еще одно — тусклое зеркало, преграждающее путь в детство, которого Петерс был лишен. И все же в финале героя Толстой ждет пробуждение, воскрешение души: «Старый Петерс толкнул оконную раму — зазвенело синее стекло, вспыхнули тысячи желтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: догоняй, догоняй! Новые дети с ведерками вознились в лужах. И ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной».

Последний абзац рассказа и есть тот необходимый для всякого новеллистического повествования поворотный момент, который создает новеллу как художественное целое! Оказывается, жизнь Петерса — не жизнь «мертвого человека», а зеркально перевернутая жизнь, жизнь, прожитая наоборот: не от детства к старости, а от старости к детству, путь освобождения от иллюзий, от власти мертвых вещей, плюшевых зайцев и пыльных книг. И суть не в том, «заслужил» этот конец Петерс или «не заслужил» (так ставит вопрос М. Золотоносов, подвергая тем самым сомнению одну из лучших новелл Толстой),— детство даруется человеку ни за что или ни за что у него отнимается. Суть в том, что «дар безответной любви», который изначально носит в себе Петерс, находит наконец достойное применение, достойный этой любви объект — *самое жизнь*!

Окно в финале «Петерса» явно перекликается с раскрывшим свои глубины зеркалом в конце рассказа «Любишь — не любишь»: в него смотрится ненавистная гувернантка Марьиванна, покидая дом, где дети, повинуясь присущему им одним *инстинкту жизни*, так и не сумели принять ее «возвышенный мир». Но окно старого Петерса и зеркало Марьиванны распахнуты в противоположных направлениях: в жизнь и в не жизнь, которая у Толстой откровенно ассоциируется с романтико-символистской культурной традицией. У стишков, коими забита головка Марьиванны, и у книжек, коими бабушка Петерса подменила ему детство, явно общее происхождение.

Критика уже отмечала, что у Толстой нет «незначащих» деталей. Свидетельство тому — «немецкий язык», который все пытается изучить Петерс. Почему именно немецкий? Да потому, что Германия Гельдерлина и Шиллера со времен Пушкина стала в России воплощением романтического искусства, романтического мышления. А Татьяна Толстая (как и Битов, как и Маканин, как и многие ее сверстники — «тридцатилетние») — принципиальный антиромантик. Конечно, спорит она не с романтизмом как таковым, а с продолжением, рефлексом романтического искусства в обывательской среде, с эрзац-романтизмом, который прекрасно уживается с мещанским миропредставлением, с убежденностью мещанина в своем праве на личное счастье, коей пронизано, к примеру, все поведение героини рассказа «Поэт и муза»: Нина «ясно поняла, что ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь с рыданиями, букетами, с полуночными ожиданиями телефонного звонка, с ночными погонями на такси, с роковыми препятствиями, с изменами и прощениями...» Такими же псевдоромантическими эрзацами жизни, правда, более невинными, наивными, бюргерски-патриархальными, пичкала Петерса бабушка. В плену романтически-мещанского мифа — о реке Оккервиль — живет и одинокий Симеонов («Река Оккервиль»)...

Романтизм, попав в мещанскую среду, вырождается в понятие «красивая жизнь», принижающее жизнь как таковую. Магический круг этой «красивой жизни» жестко очерчен неким дельцом — «факиром» Филиным («Факир»): он совпадает с «центром» Москвы и декорирован неоновыми огнями театрально-концертного неба. По мере приближения к окраине (в этом Филин и его окружение убеждены) полоса жизни все сужается и слабеет, а там, за окраиной,— сплошь глухая тьма, которая тянется «над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородями, над придавленными к холодной земле деревнями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке...»

Но вот что оказывается: тяга к необыкновенному, к запретному, полному соблазнов, уводящему от повседневности, коренится в самой человеческой природе, берет начало в чистоте детства, охотно готового принять «ветошь и рухлядь, обшарпанные крашеные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый плющ, штопаный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки» за сокровища царя Соломона. Что же, дядя Паша — владелец и хранитель всех этих богатств («На золотом крыльце сидели...») — прямой предшественник жулика Филина? Отнюдь нет: один бескорыстно играет, завораживая своей игрой детей, другой сознательно искушает, расчетливо обманывая. И выходит, дело не в самих «дешевых стекляшках», а в ракурсе, во взгляде, который на них устремлен: детски-восхищенном и благодарном или завистливом, хищно-присваивающем.

Но Толстая беспощадна к детству: «Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разожмем озябший кулак — что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой?» Первым на противоречивую трактовку детства у Толстой обратил внимание М. Золотоносов. Он же сказал о родственности мироощущения ребенка и писателя в рассказах Толстой: оба верят в тайны мира и свои возможности демиурга. «Но и за опровержением детского зрения,— продолжает автор статьи,— стоят собственные же сомнения: не только в преобразующей силе творчества, но вообще в необходимости искусства — этой странной деятельности, которая состоит в выращивании тех самых «тревожных цветов». Захочет ли их человек, нужны ли они будут ему, не откажется ли он от них?»

За разрушением мифа о детстве стоят, однако, не сомнения в преобразующей силе творчества и в необходимости искусства (тут критик прямо противоречит самому себе, своей итоговой мысли о том, что Толстая занята «обоснованием творчества как способа существования»), а все то же неприятие подмены жизни приманчивой книжной иллюзией. Толстая пишет не только о том, как детские сказки и возвышенные мечты рушатся при соприкосновении с «прозой жизни» (это — традиционно-романтический поворот темы!), но и о том, как упакованная в «возвышенную мечту» эгоистическая и эгоцентрическая цель может разрушить, уничтожить самое жизнь. Не жизнь и мир обманны, а люди обманывают сами себя.

Как всю жизнь обманывала себя, меняя мужей (один другого хуже!), «милая Шура» из одноименного рассказа, обманывала мифом об Иване Николаевиче, которого она когда-то, в далеком 1913 году, сама обманула, пообещав приехать, да так и не решилась. Остался от Ивана Николаевича один зеркальный осколочек — пожелтевшая фотография («Вот, возьми его в руки, держи, вот он, плоский, холодный, глянцевый, с золотым обрезом, чуть пожелтевший Иван Николаевич!» — печально-иронически сочувствует ветхой Александре Эрнестовне автор-повествователь). Но путь туда — к Ивану Николаевичу, который именно в воображении *автора* приобретает черты все еще живого, существующего человека, ждущего милую Шуру в Крыму на пыльном перроне,— путь этот для Александры Эрнестовны оказывается закрытым.

«Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день...» — это автор пытается раздвинуть «тысячи прозрачных, непроницаемых занавесей», которые «сгустились, сомкнулись плотными стенами» вокруг Александры Эрнестовны. И это автору «вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой, живой фотографией солнечная комната», в которой начинается действие рассказа «Соня», рассказа все о том же — о любви-фантоме. Но совсем-совсем другой, чем в случае с «милой Шурочкой»: самоотверженной, милосердной, готовой давать, а не брать.

Темы любви-самоотречения и любви-охоты гротескно соединяются у Толстой. И, вслушиваясь в звучание голоса автора, в мелодию авторской речи, мы вдруг различаем что-то очень знакомое. «Шуршало лето, вольно шаталось по садам — садилось на скамейки, болтало босыми ногами в пыли, вызывало Петерса на нагретые улицы, на теплые мостовые; шептало, сверкало в плеске лип, в трепете тополей; звало, не дозвалось и ушло,

---

[1] Золотоносов М. Мечты и фантомы.— «Литературное обозрение», 1987, № 4.

[2] Михайлов А. О рассказах Т. Толстой.— В сб.: Т. Толстая «На золотом крыльце сидели...» М., 1987.

волоча подол, в светлую сторону горизонта. Жизнь вставала на цыпочки, удивленно заглядывала в окно: почему Петерс спит, почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры?»; «А лета и зимы скользили и таяли, растворялись и гасли, урожаи радуг повисали над далекими домами, молодые жадные метели набегали из северных лесов, двигали время вперед, и настал день...» Это — из «Петерса». А вот наугад взятые фрагменты из «Симфоний» Белого: «А потом проливались ливни. Стояла сырость. Приходила северная зима. Блистала по ночам у горизонта полярным сиянием»; «У каждого за плечами стояла скука, среди мелочей открывая бездонное»; «Приходили иные годины, приносили иные вести: что-то отжило свой век и покоилось на кладбище; что-то грустило в доме умалишенных...» Нет нужды, думается, продолжать цитирование: совпадение ритмического рисунка фразы Толстой и фразы Белого видно невооруженным глазом!

Повторимся: Толстая беспощадна к романтическому эгоцентризму, видит опасность романтической мечты, но пародируется, иронически стилизуется у нее в первую очередь не романтизм, а его преемник — проза и поэзия символизма (который, к слову, в лице того же Белого насквозь автоироничен). И стихи дядя Жоржа («Любишь — не любишь»), и фантазии Игнатьева («Чистый лист»), и любовные томления Петерса воплощены в стилевые клише и образы символизма: «В ушах его били торжественные колокола, и глаза прозревали доселе невидимое. Все дороги вели к Фаине, все ветры трубили ей славу, выкрикивали ее темное имя, неслись над крутыми грифельными крышами, над башнями и шпилями, змеились снежными жгутами и бросались к ее ногам, и весь город, все острова — воды и набережные, статуи и сады, мосты и решетки, чугунные розы и лошади — все сливалось в кольцо, сплетая для возлюбленной гремящий зимний венок». Это не столько смех над Петерсом, сколько пародия на «Снежную маску», на блоковскую Фаину, пародия, выдающая з а в и с и м о с т ь Толстой от символизма, который она, и пародируя, воскрешает как живую традицию русской литературы XX века.

Говоря о двойственном (притяжение и отталкивание) отношении Татьяны Толстой к символистской традиции, мы на время обошли молчанием другую историко-культурную «составляющую» ее художественного мира—народную с к а з к у (впрочем, и символизм, и романтизм сказку весьма почитали! Тот же дед писательницы А. Н. Толстой, пародирующий символизм в «Золотом ключике» и в «Хождении по мукам», начинал как автор «Русалочьих сказок» и «Сорочьих сказок», возрождающих «славянский космос» с опорой на символистскую мифологию).

Ориентация Толстой на сказку, на фольклор проявляется не только в обильном введении в повествование сказочных, поговорочных и прочих устойчивых словесных формул и образов: характерно само название сборника — начало детской «считалки». Дело в том, что многие ее новеллы построены на сказочных схемах (поиск далекой красавицы, пребывание в замке волшебника, добывание невесты и т. д.), наполняемых, однако, иным содержанием, полностью выворачиваемых наизнанку, травестируемых: мотив «добывания невесты» преобразуется в «добывание мужа», далекая красавица—«птица в серебряных перьях»— превращается в алкоголичку, владелец волшебного замка — в жулика... Толстая сочиняет а н т и с к а з к и. Их можно было бы назвать «современными сказками», если бы это название уже не было приложено другими писателями к другому материалу. Мы не собираемся углубляться в классику, тревожить память М. Салтыкова-Щедрина, речь пойдет об авторах — наших современниках. Имеются в виду Аркадий и Борис Стругацкие, а также Феликс Александрович Сорокин — писатель, герой их гротескно-фантастической повести «Хромая судьба» (1986).

5

Связь современной гротескно-фантастической прозы с так называемой «научной фантастикой» для нас несомненна, как бы тот же Битов от нее ни открещивался [1], а Толстая ни обходила стороной. Именно «научная фантастика» — это «низовое» ответвление «мениппейной» прозы [2] — сумела сохранить верность принципам дерзостно-экспериментального, игрового, насмешливо-антидогматического художественного мышления в годы, когда признаком хорошего тона считались натужная патетика и вымученная серьезность, а само имя М. Булгакова было под запретом. Достоинство фантастики не в последнюю очередь было утверждено благодаря творчеству братьев Стругацких. Но вот любопытная закономерность: сегодня, когда такая важная для творчества категория, как в о о б р а ж е н и е, выходит на первый план, оттесняя на второй и копиистское бытописание, и типажное социологизирование, и психологическое портретирование, Стругацкие как бы сменили курс и пошли в противоположном направлении— от «чистой» фантастики, сквозь «кривозеркальные» образы которой просвечивает наша действительность, к узнаваемо-«репортажному», хотя и шаржированному воссозданию писательского мирка Москвы.

[1] См. его пренебрежительное упоминание о научной фантастике в эссе «Пастораль, XX век» или пародирование ходов научно-фантастической прозы в истории Гумми.

[2] Привычным стало связывать «мениппейную» прозу с высокими именами Достоевского, Булгакова, Гарсиа Маркеса, забывая о ее «низовых» проявлениях, не беря в расчет того обстоятельства, что в добрые старые времена она сама была «низовой» словесностью.

Однако в повести «Хромая судьба» есть и другие планы, в том числе и фантастический, включенный в основное повествование на правах «текста в тексте», свой «сожженный», а точнее, ненаписанный роман, своя вселенная, раскрывающаяся в глубине зеркала, в которое глядится немолодой уже автор — «известный писатель военно-патриотической темы» Феликс Сорокин. Имеется в виду некая заключенная в Синей папке рукопись, к которой постоянно, урывая часы у литературной подеищины, обращается Сорокин.

Наряду с Синей Папкой у Стругацких фигурирует и множество других текстов: образчики «военно-патриотической» прозы Сорокина и сочиненный им в молодости рассказ «Нарцисс», в котором некий «аристократ и гипнотизер необычайной силы» налетает «на свое отражение в зеркале» (sic!), приключенческие романы Д. Хэммета и четыре томика «Тарзана», партитура труб Страшного Суда, проданная Сорокину за пять рублей каким-то субъектом, смахивающим на бича, но выдающим себя за падшего ангела, и томик Булгакова, рукопись комедии об «Изпитале» — «Измерителе писательского таланта» — и набросок новой «современной сказки» о бессмертных древних чудовищах гишу, в которую воображение Феликса Александровича претворяет произошедшие с ним накануне события.

Не случайно «Хромая судьба» начинается с того, как метельным зимним днем Сорокин устраивает мысленную ревизию своей «последней» библиотеки, вспоминая также книги, что были в его четырех предыдущих — безвозвратно утраченных — библиотеках. Этот эпизод как бы задает тональность, организует жанр повести — как «текста о текстах». Текста, цитирующего или упоминающего другие (подчеркнутая ориентация на «вторичность» создаваемого художественного мира характерна для всей гротескно-фантастической прозы), текста, повествующего о собственном рождении, о том, что такое т в о р ч е с т в о вообще и какова его связь с «прозой жизни», с тем самым «бытом», что далеко не одноцветно-сатирически живописуется Стругацкими. Напротив, лелеемый в воображении Сорокина обед, который он закажет в ресторане писательского Клуба, по вкусности и аппетитности описания очень напоминает те застолья, с которых начинается «Альтист Данилов» Вл. Орлова. «Полет» и «быт» у Стругацких, как у Орлова, в п о л н е с о г л а с у ю т с я.

Авторы «Хромой судьбы» вовсе не изображают Сорокина неким «инопланетянином» (хотя эта версия в повести и присутствует, но именно как версия) или «летуном», вознесенным над бытом. Быт не гнетет, даже быт холостяцкий, заброшенный, а как раз и образует тот «слой», в котором (воспользуемся еще раз образом Битова) человек должен жить, не заглядывая за холст, поскольку «нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ». Так размышляет неверующий Сорокин, кажется, совпадая в нежелании «высовываться» с верующим Павлом Петровичем, размышляет, входя в роль «маленького человека»: «Мрачная логика пучины годилась только для абстрактного мира деяний общечеловеческих, в то время, как каждая конкретная жизнь состоит вовсе не из деяний, к которым только и применимо понятие смысла, а из горестей и радостей, больших и малых, сиюминутных и протяженных, чисто личных и связанных с социальными катаклизмами. И как бы много горестей ни наваливалось на человека единовременно, всегда у него в запасе остается что-нибудь для согрева души. Внуки у него остаются... И бутылочка «пльзеньского» в Клубе... Банально, я понимаю,—«пльзеньское», так ведь и все радости банальны!.. Мы — люди маленькие. С нас и воробьев по утрам предовольно».

Все — так. Но ведь замысел романа, хранящегося у Сорокина в Синей Папке, явно возник не под девизом: «С нас и воробьев по утрам предовольно». Вынырива — набрать воздуха! — на поверхность бытового существования, Сорокин тем не менее продолжает ощущать «пучину», присутствие в его жизни неких таинственных сил, которым «надлежит ведать» его судьбой, принимая обличья то «доброжелателей», то соглядатаев. Есть она, нечистая сила, и у Стругацких: тот же субъект в черном пальто в серую клетку (его можно носить и н а в ы в о р о т: вот он знак-указатель и на шута, и на черта одновременно!), являющийся Феликсу Александровичу в вагоне метро, когда Сорокин возвращается из некоего засекреченного заведения, куда ездил за таинственным лекарством. Вторая их встреча происходит в больничном холле: «В гардеробе, застегивая «молнию» на куртке, я заметил в глубине зеркала нечто знакомое. Прямо за моей спиной сидело на скамье черное пальто в серую клетку... Это был тот самый человек из метро — рыжая бородка, очки в блестящей металлической оправе, клетчатое пальто-перевертыш...» Соглядатай из зеркала продублирован «вурдалаком» Иваном Давыдовичем Мартинсоном («Спустившись с крыльца, я почему-то оглянулся. Сам не знаю почему. И вот что я увидел. За стеклянной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон, собственной персоной. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве»). И оба они — и «черное пальто в серую клетку», и «вурдалак» — отражены в зловещем доносителе Гнойном Прыще, надевшем на себя маску писателя,— тени, которая протянулась «через годы в наше время». А у Гнойного Прыща есть и своя «тень» — поэт О. Орешин, внешне дурак, а на самом деле «представитель особого психологического типа», понять повадки которого трудно нормальному человеку («он среди нас как пришелец-инопланетя-

нин»). И, быть может, попытка, предпринимаемая неведомыми «доброжелателями», зачислить самого Сорокина в «инопланетяне» порождена как раз стремлением нелюдей, «инопланетян», «гишу», ускользнуть от разоблачения?

Сорокин — не «инопланетянин», но и не «маленький человек», живущий, чтобы жить. Сорокин — художник, а значит, он соединяет в себе обе эти ипостаси, соединяет столь же естественно и органично, сколь легко и свободно поддаются разному, порою диаметрально противоположному толкованию случающиеся с ним «какие-то унылые, нелепые, подозрительные даже происшествия».

Все события, описанные в «Хромой судьбе», можно проинтерпретировать в двойном, тройном, n-степенном регистре: именно так ощущает все с ним происходящее Сорокин, от лица которого ведется повествование. Здравый смысл внушает ему, что существует вполне тривиальное объяснение поведения поэтишки Кости Кудинова, сперва в страхе смертном посылающего его к знакомому врачу за редким лекарством — своего рода «живой водой», на что намекает его название «мафусаллин» (по всей вероятности, от имени библейского старца Мафусаила, прославившегося своим долголетием),— а затем вместо благодарности разражающегося туманными угрозами... Можно вполне реалистически мотивировать и поразительное внешнее сходство — не говоря уже о совпадении имени-отчества — с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым некоего сотрудника лингвистической лаборатории, приставленного к ЭВМ — «зеркалу», в которое предлагается посмотреться всем завсегдатаям Клуба и получить предсказание о будущей судьбе любой рукописи.

Да, всему этому можно дать реальное объяснение. Но и Феликса Сорокина, и читателя не покидает ощущение, что герой «Хромой судьбы» — участник какого-то эксперимента, цель и смысл которого ему неведомы (отсюда — мотив таинственных сил, распоряжающихся его судьбой). Эксперимента, подобного тому «театральному действу», что разыгрывают у Стругацких в повести «Волны гасят ветер» «странники», заставляя участвовать в нем космонавтов, оказавшихся на планете Тиссе.

Надо думать, что с ощущением подопытного существа живет не только Феликс Сорокин, но и персонажи его романа из Синей Папки, например, некий Андрей, возникающий перед нами на последней странице сорокинской рукописи во вполне достоверной и точно обозначенной обстановке (Ленинград 30-х годов), Андрей, прошедший «круг первый» и застывший у окна, прижав лицо к стеклу, напряженно вглядываясь в черный провал двора (что там, в зазеркалье?)...

Но именно сознание того, что в самой заштатной обыденности присутствуют силы, пытающиеся манипулировать человеком, стремящиеся превратить его в марионетку, дает герою «Хромой судьбы» (героям Стругацких вообще) шанс выстоять, не принять и не признать их власти, вступить с ними в борьбу. И главным оружием в этой смертельной игре будет в о о б р а ж е н и е, а главной опорой, как ни парадоксально, верность истине, факту, беспощадная точность в запечатлении того, что известно всем (но что обычно предпочитают не замечать или замалчивают).

«Вообразить» — не значит придумать, выдумать. «Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле». «Вообразить» — значит угадать, расшифровать тайный смысл происходящего, прочитать некий уже существующий текст. Здесь Стругацкие вступают в перекличку и с Битовым, и с Евдокимовым, и с Толстой, как бы руководствуясь общим эстетическим принципом.

Нет ничего удивительного в том, что «М. Аф. Булгаков» читает Сорокину отрывки из его же ненаписанного романа, а комедия об «Изпитале» сочиняется до того, как въявь происходят описываемые в ней события. Нет ничего удивительного и в том, что битовский Тайрд-Боффин читает страницы «сожженного романа» Урбино Ваноски, что обуглившиеся последние страницы Книги Судеб шелестят во сне, снящемся героям Евдокимова, что рукописи все-таки не горят.

Гротескно-фантастическая проза постоянно преступает границу между «литературой» и «жизнью», выявляя «литературность» жизни и «жизненность» литературы. Но она же демонстрирует печальные последствия подмен, подделок, «преувеличений». И если Битов пишет о подмене жизни романом, Толстая — о реальности, искаженной мечтой о «возвышенном», Евдокимов — об убиении человека функционером, то Стругацкие — о «писателях и художниках, которые торгуют собачьим мясом, а называют его бараниной».

Да, применительно к «творчеству» большинства сотоварищей Сорокина должно говорить не о «жизненности», а о «мертвенности», о «псине», которую они сбывают с немалой для себя выгодой. И только «живая» — животворящая — литература не боится цитат, «воровства», «переводов», культурных и литературных аллюзий... «Хромая судьба» — наряду с другими гротескно-фантастическими сочинениями последних лет — эту закономерность соотношения литературы и жизни убедительно подтверждает.

Ставя друг против друга, зеркально друг в друге отражая и удваивая Жизнь и Слово, умножая планы художественной реальности, то и дело выявляя, что на свете есть многое такое, что и не снилось нашей «мудрости», совмещая мгновение и вечность, гротескно-фантастическая литература создает мир, пронизанный особой, «дисгармонической гармонией», особой «симметрией».

Теневой силуэт

•

Борис Ямпольский. Московская улица. «Знамя», 1988, №№ 2—3.

•

Похоже, автору замечательной «Московской улицы» Борису Ямпольскому и посмертно не удастся стать знаменитым — попасть в ряд тех, о ком говорят. И это вовсе не досадная небрежность самодеятельного института общественного мнения. Те, о ком говорят все, и сами умеют говорить со всеми и об общем всем. Рассчитывать на столь громкий резонанс Б. Ямпольский и не мог, да, кажется, и не хотел, не имея ни охоты к созданию остросюжетных композиций, ни тяги к общедоступному языку — языку выводов и формул. Не претендовал он вроде бы и на разрешение центрального для нынешнего антикультового романа вопроса: «Являются ли насилие и жестокость неотъемлемыми свойствами революции или это личные качества Сталина?» (А. Бочаров, Послесловие к роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба»). И по поводу личных свойств Сталина Ямпольский не высказался. Хотя действие «Московской улицы» развертывается в пределах последней сталинской зимы, «лично» Сталина здесь нет. Сталин «Московской улицы» — лишь имя на корешках книг. Лишь двойник гипсовых статуй — в привокзальном сквере, в темном углу внутреннего арбатского двора... Неясно даже, кого то раззолоченный, то обшарпанный монумент изображает: не то сам Сталин, не то Орджоникидзе, а может, и вообще некий символ державной власти.

К. Симонов в опубликованных в том же «Знамени» и тоже посмертно мемуарах («Глазами человека моего поколения»), выражая мнение если не всех, то, по-видимому, подавляющего большинства, утверждал: «Сталин — личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания». А вот Ямпольский — избавляется...

Но, может быть, фигура умолчания — своего рода заклятие страха? Может, личные свойства Сталина не обсуждаются в «Московской улице» (и наедине с собой, про себя, для себя) по той же причине, по какой не называется волк из басни?

Думается, и этот момент имеет место быть. И все-таки первопричина умолчания, по-моему, в ином — в том, что и самосознание, и миросознание и автора, и героя не центростремительно, а центробежно, если развернуть малоизвестную метафору Л. Толстого: «Если хотите видеть всю комнату хорошо, то должны стать посредине, а не смотреть на нее из-под дивана, стоящего у стены... Это все равно, как в шаре есть центр».

Человеком центра Ямпольский себя явно не ощущал.

Не чувствует себя стоящим посередине и его герой:

«...Среди ясного, светлого, безмятежного дня прошла эта сумасшедшая искра и пробила все души, все учереждения и все редакции, все министерства, артели, школы, детские сады, и все наэлектризовалось, и стало душно и страшно...»

Ямпольский фиксирует лишь то, что может увидеть оттиснутый на обочину, прижатый к стене — не причины, а следствия электрического разряда: парализованное «психозом подозрительности» человечье общежитие начинает самовращаться, саморазогреваясь, искря и приобретая свойства сверхпроводимости («сумасшедшая искра» поражает всех и сразу). А в наэлектризованной ею атмосфере искажается даже то, что от века почиталось неизменным: природа чувств и сила вещей.

Меняет облик и старый Арбат. Из уютного захолустья становится шумной, грохочущей, похожей на аэродинамическую трубу режимной улицей. Самым узким местом трассы, по которой Сталин ездил на ближайшую дачу. Этаким гулким коридором, по всему вытягу которого — «как наложенный на улицу теневой силуэт» — несут почасовую службу вытягалы страха:

«В метель, и в дождь, и в туман, и когда цветет сирень, и цветет жасмин, и в листопад, на рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрального разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, и в первомайскую ночь, вчера, и сегодня, и завтра — всегда — молчаливая цепочка на Арбате»...

Не типичен, казалось бы, и тот случай из жизни героя Ямпольского, что послужил фабульной основой «Московской улицы»: в отличие от своих соседей по литературному Арбату он — счастливчик, умудрившийся попасть на выигрышный номер в заведомо проигрышной лотерее!

...Уже выписан ордер на его арест. Выписан и утвержден в соответствующих инстанциях. И дело теперь за «мышкой сыска», без которой не вытащить репку. Согласно принятым в данном ведомстве правилам «установщик» обязан установить «время и место» захвата. Ни «черный ворон», ни те, кому поручена эта часть операции по изъятию враждебного элемента, не имеют права делать холостые рейсы. Сие может подорвать престиж органов, заронив у группы содействия подозрение, будто всевидящий глаз — не всевидящ, всеслышащие уши — не всеслышат.

Однако система, как и всякая система, рассчитана на стереотип, а этот тип ведет себя не стереотипно. Вместо того чтобы замереть, как кролик, загипнотизированный удавом, и всем своим поведением продемонстрировать бытовую лояльность: ночью спать, утром, по будильнику, уходить на службу и т. д. и т. п., начинает петлять, да так странно — в пределах насквозь просматриваемой «режимной» зоны,— что и профессиональный «топтун», и поднаторевший в службе наблюдения домовый комитет сбиваются со следа, решив, что подследственный «кролик» исчез, утек в неизвестном направлении.

Идеально отлаженный механизм застопорился, цепочка оборвалась, ордер временно отложили. Затем нахлынула новая кампания — и незамеченного врага народа вообще вычеркнули из списка, дабы не лишиться премиальных за стопроцентное выполнение предыдущего «плана».

Об этой осечке — «диком, конъюнктурном недоразумении» — Ямпольский сообщает на первых же страницах повествования, в прологе. И мы, вздохнув с облегчением, ждем, что подследственный, как всякий живой и нормальный человек, чудом избежавший смертельной опасности, оправится от унижения страхом. Оправится и прилепится к жизни. Жизнь-то ведь продолжается, крутится «на полную катушку»: «что бы ни случилось — война, землетрясение, чума, чистка, погромы, затмение солнца, люди хотят есть, спать, веселиться, любить, ненавидеть, завидовать и продолжать род»...

Ждем возвращения героя к жизни — с тем большей надеждой, что видим: человек этот не робкого десятка. И во время массовых репрессий 1937—1938 годов выдержки не потерял, и в войну, попав в окружение, не растерялся. Да и сейчас, уже загнанный, уже попавший под колпак, уже оборвавший все линии человеческих уз и связей (в его положении связи обоюдоопасны), он все-таки не может отказать себе в опасном удовольствии — заявиться в ночной «Националь», дабы развлечься ежевечерне разыгрывающимся здесь действом: пиром во время чумы.

И обманываемся в своих надеждах. В процессе бега изменился самый состав его существа: биологический «двигатель», вырабатывавший прежде разные виды жизненной энергии, переключился на производство одной-единственной — той, что обеспечивала утекание. Уже выскочив из мышеловки, уже поняв, что на этот раз воистину утек, не может ни восстановиться, ни остановиться — становится неуловимым не только для органов сыска, но и даже для самого себя!

Вначале, когда герой «Московской улицы» еще только прикидывал не столько по разуму, сколько по инстинкту оптимальные маршруты и способы бегства, память его еще могла складывать, связывать, даже сращивать расчлененные раздробленные картины прошлой, почти оседлой жизни. Он открывал и перелистывал любимые когда-то книги. А некоторые даже перечитывал. Он испытывал род брезгливого, но острого любопытства к соседям по коммунальному логову, набрасывал для себя их социальные портреты. Но вскоре и остатки полутворческой жизнедеятельности поглотил бег...

Но что же гонит нашего героя? Неужели один лишь страх — примитивный, животный? Ведь страх — чувство природное, он так же изначален, как и инстинкт самосохранения! Со страхом, и именно потому, что это наидревнейшая из человеческих эмоций, можно бороться... От страха в конце концов можно устать до бес-страшия: «когда уже не было сил бояться»! Но в том-то и дело, что в режиме страха «спасательное» чувство переставало спасать, потому что страха стало слишком много — «больше, чем всего остального, вместе взятого». А кроме того, тотальный страх, этот психомутант, вступил в неожиданную, противоестественную, не предусмотренную биологической программой реакцию с чувством вины, тоже извечным и тоже переродившимся — под напряжением всеобщего психоза.

Рассуждением о растворившейся, как адреналин в крови, вине без виноватости, всеобщей и каждого в отдельности, начинается «Московская улица», им же она и кончается:

«Неузнанная и скрытая вина... незримыми путями... следовала за ним из города в город, и каждый раз, когда только возникала его фамилия: шла ли речь о новой работе, о воинском звании, о награде, о льготе, о пропуске или заграничном паспорте,— тотчас включалась тревожная морзянка. И вина эта, неузнанная и небывшая, как собственная тень, все следовала за ним, и, не старея, перешла из юности в зрелые годы, в пожилые годы, и, наверное, сопроводит его в старость, наверное, в парадном мундире пойдет за его гробом в толпе, в зимней толпе среди темных пальто и цигейковых шапок, и остановится у края могилы, и не успокоится, пока не услышит стук о крышку гроба замерзших комьев земли, лишь тогда, вздохнув, уйдет и заснет в своей дьявольски серой бронированной папке «Хранить вечно» с фотографией,

на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты».

Но если бы «Московская улица» была лишь лирическими, слегка беллетризованными мемуарами, только исповедью пасынка века, чудом проскочившего между Сциллой (страх) и Харибдой (чувство непоправимой виноватости) режимного коридора, мы имели бы еще один «дополнительный» психологический комментарий и к «Печальной притче» М. Алигер, и к документальному повествованию Ивана Трифоновича Твардовского, и ко многим и многим подобным документам и судьбам, начиная с несчастного Зощенко и кончая счастливым Симоновым. Без ныряющих в подсознание комментариев их не понять, во всяком случае, тем, кто «не вырос с этим»... Не привыкшим «к этому с детства», при отсутствии эмоционального опыта, не осилить и типичный «парадокс сталинской эпохи», когда «преступник», которому с пеленок внушили чувство вины без виноватости, не только признает несуществующую вину, но и «сам выбирает себе наказание за преступление, которого он не совершал...» (Я. Рапопорт «Воспоминание о «деле врачей»).

Однако так ли уж были невиновны те, кто, подобно герою Б. Ямпольского, существовал в режиме страха под знаком неминуемой расплаты? Да, конкретной, вписанной в Судебное Дело вины (агент иностранной разведки, член антипартийной группировки, участник заговора) могло и не быть. Но разве то, что ты — и н о й: не отождествляющий себя с Системой, не укладывающийся в Систему,— не создавало ощущения непоправимой виноватости? Ну чем, как не отчаянной попыткой совместить свою инородность с общим всем образом чувств и мыслей можно объяснить, допустим, поведение Юрия Олеши при обсуждении печально памятной статьи в «Правде» — «Сумбур вместо музыки»? (М. Алигер. «Печальная притча»). Ведь Олешу-то никто не заставлял под угрозой репрессий взять на себя роль общественного обвинителя и принародно доказывать, что «Леди Макбет Мценского уезда» — и в самом деле неудача, провал гениального Шостаковича? А письма Михаила Зощенко к Сталину и Маленкову? А его попытки объясниться на судилище в ленинградском Доме литераторов уже после смерти Сталина? А странное поведение «кулацкого сына», которому еще предстоит прослыть «кулацким» поэтом? Я имею в виду рассказ отца Александра Трифоновича Твардовского в переложении младшего брата поэта — Ивана:

«Стоит и смотрит на нас молча. А потом не «Здравствуй, отец», а «Как вы здесь оказались?!». (Трифон Гордеевич, убежав из ссылки, добрался до Смоленска — в надежде на защиту и помощь выбившегося в люди и «уцелевшего» Шурки.) А Шурка: — Значит, бежали?— спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто ему не свойственный, так всего меня к земле прижал...— Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставили вас туда, где были! — так точно и сказал».

Юрий Буртин, комментируя («Юность», 1988, № 3) эту воистину душераздирающую сцену, ссылается на пример... Павлика Морозова — на бескомпромиссность убежденного энтузиаста, истово верующего в необходимость уничтожения кулака как класса.

А мне вот думается, что ситуация и сложнее, и тоньше. Если б Твардовский и в самом деле повторил «подвиг» Павлика Морозова, не было бы не только «По праву памяти» и новомировской «илиады», но и «Теркина», и даже «Страны Муравии». За всеми этими литературными поступками — иная убежденность! Убежденность в необходимости восстановления крестьянина — как класса. Но эта убежденность повязана бессилием «кулацкого сына», за которым тянется скрытая, спрятанная в серую бетонированную именную папку вина вместе с фотографией, где без вины виноватый изображен таким, каким запомнил его отец в минуту трагической встречи: «рослый, стройный красавец»...

К. Симонов, без лести преданный идее сталинской государственности, вроде бы и не задумывается над тем в отличие от Твардовского, какую роль в его жизни сыграла зловещая графа: «Кем был до вас еще на свете отец ваш мертвый иль живой». Он словно бы забыл, как выглядела и что сулила в пору его восхождения столь выигрышная сегодня биографическая подробность: мать — урожденная княжна Оболенская, отец — полковник царской армии Михаил Симонов... И про эту деталь запамятовал? И о существовании в серый бетон замурованных, на вечное хранение обреченных папок не знал? Вряд ли...

Но вернемся к роману Бориса Ямпольского, ибо это все-таки роман, а не лирический дневник. Да, фрагментарный, мозаичный, усеченный, маленький, конспективный, но роман, и притом «общественный».

Взять хотя бы портреты и краткие жизнеописания населенцев арбатского «клоповника», в тесноту которого неразбериха военного лихолетья, поднатужившись, втиснула и нашего героя. На первый взгляд они слишком подробны и вещны. Вначале чуть не досадуешь: автор-де так нерасчетливо расходует романные место и время, живописуя нравы бывших людей! Не вдруг и не сразу даже при пристальном чтении догадываешься, что совладельцы «коммунального леса» (метафора Ямпольского) принадлежат вовсе не к хорошо изученному нашей литературой «классу соседей», а к почти неизвестному нам племени: уцелевшие, просочившиеся сквозь все решета — и чисток, и войн, и селекционных кампаний.

Казалось бы, каждый из уцелевших уцелел по особой, отдельной причине.

Свизляк — в силу животной приспособляемости, помноженной на носорожий заряд амбиции и коварства. Голубев-Монаткин — благодаря природному классовому чутью. Айсоры — по полнейшей непригодности к любой форме цивилизации. Совбарышню Любочку спасла травоядность. «Террористку» Розалию Марковну — сообразительность (в нужный момент затихла, обесцветилась, превратилась в моль). Вольного музыканта Бонду Давидовича — то, что он вроде как чокнутый, и т. д., и т. п.

И все-таки в обитателях особняка есть что-то общее, родственное, подобное, одинаковое. Но что?

Пусть и негромко, но все же вслух мы наконец-то начинаем говорить о наиглавнейшей из наших бед — о том, что значительно ухудшилось «качество человеческого материала нации».

Автор статьи, из которой извлечена цитата (А. Радов, «Творцы и бюрократы». «Огонек», 1988, № 18), объясняет это ухудшение засильем бюрократов, расплодившихся в период застоя, и, ссылаясь на Игоря Акимушкина, сравнивает последних с «крысиным племенем»: и те, и другие, мол, «обладают удивительными способностями распознавать опасность и приспосабливаться к средствам, которые их уничтожают».

В связи с Ямпольским я тоже вот вспомнила одну из ученых работ о крысиных племенах — статью биолога П. Симонова «Искрящие контакты», лет семнадцать тому назад опубликованную в «Новом мире». Исследуя социальное поведение крысиной популяции, П. Симонов обнаружил, что даже на таком низком уровне «личности как живое» существует как бы равновесие между «злом» и «добром» и что динамизм равновесию обеспечивают особи, обладающие даром «чистого альтруизма»: крыса с подобным типом психической организации непременно научится избегать тот путь к кормушке с раствором сахара, где ее появление — одно лишь появление! — сопровождается болевым раздражением сородича! И еще одно поразительное открытие сделал биолог П. Симонов: высоко чувствительные к SOS-сигналам особи имели высокий индекс исследовательской активности и слабую агрессивность, так что «в известном смысле можно сказать, что «чувствительная» крыса стоит ближе к «чувствительной» собаке (обезьяне), чем к своему «нечувствительному» собрату.

Если, воспользовавшись прецедентом, перенести сделанные П. Симоновым наблюдения на изображенное Б. Ямпольским случайное вроде бы сообщество характеров и типов, можно, пожалуй, в порядке литературной гипотезы предположить, что это как бы модель деформированной, искалеченной человечьей популяции, из которой насильственно изъяты носители «чистого альтруизма» — золотой генетический запас любого «этноса».

Допускаю: Б. Ямпольский, заселяя арбатский особнячок обсевками, щепой, мусором, скопившимся за тридцатилетие «лесоповала», мог быть уверен, что просто-напросто описывает обыкновенную московскую коммуналку, ничем не отличающуюся от любой другой, а не строит демографическую модель, тайное назначение которой — продемонстрировать масштаб нанесенного репрессиями генетического урона. Однако объективно описанная в романе ассоциация новоарбатцев сразу-после-военного образца воспринимается именно обобщенно, как сюжетная реализация зловещей формулы: лес рубят — щепки летят...

Сейчас, когда общественное самосознание приковано к фигурам срубленных исполинов, щепа, оставшаяся после генеральной вырубки общесоюзного леса, нас не так уж и интересует. Однако срок, отпущенный на Покаяние, истекает, и вскорости хочешь не хочешь, а придется возвращаться восвояси из исторического далека к нашим замызганным и суматошным будням, к неистребимо-вездесущим, ибо время застоя и в самом деле создало им условия наибольшего благоприятствования — «свизлякам-монаткиным» и их «приплоду». И чтобы с ними со-существовать, надо по меньшей мере не забывать, откуда они есть пошли, а не утешаться вслед за платоновскими ревмечтателями: народ, мол, как был, так и остался «порожним плодородным местом», а «хорошая почва не выдержит долго и разразится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным...».

И все-таки самое замечательное в романе Б. Ямпольского — это материальный и звуковой образ режима страха, созданный на редкость нетривиальным для нашей прозы способом: из пустяков-отходов, из бытового утильсырья, из коммунального хлама — из старых матрацев с выскочившими пружинами, из ржавых и злых висячих замков, из голых экономических лампочек, из бекешей и шинелей, из шушунов и салопов, из шипящих сковородок, закопченных амуров, из цинковых, похожих на детские гробы корыт, из уже почти забытых, давно умерших шумов...

Послевоенная «барахолка», арбатский, так сказать, филиал прославленной А. Вознесенским «парижской толкучки древностей»? Однако почти каждая из собранных Ямпольским вещей «запирает в себе» целый ряд сближений, то внятно грубых, то легкокасательных.

Взять хотя бы сравнение режимного Арбата с «аэродинамической трубой, в которой испытывают самолеты». На беглый взгляд — чисто зрительная ассоциация. Но, если задержаться подольше, наверняка дождешься и усечешь тот миг, когда безобидные с виду самолетики, совсем по Осипу Мандельштаму («Разговор о Данте»), на полном ходу сконструируют еще один «летальный» аппарат, прочно вписавшийся в эмоциональную атмосферу режимных лет авиамарш:

«Нам разум дал стальные руки-крылья и вместо сердца — пламенный мотор»... А бодрая эта песенка, в свою очередь, «так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить» еще одну авиационную реалию. В годы, о которых повествует «Московская улица», тех, кому угрожала «высшая мера», отправляли в Лефортовскую тюрьму. Считалось, что самый факт заключения сюда — «уже смертный приговор». А о том, что узник находится именно в Лефортове, ему сообщал рев аэродинамической трубы, сотрясавшей стены тюремного здания...

По версии Аллы Латыниной, формой преодоления «эпохи страха» в романе Б Ямпольского «оказывается беспощадная анатомия страха, которым было заражено общество». На мой же взгляд, дело тут не в «анатомии», скорее — в музыке, только не в нынешнем измызганно-разболтанном («мусор, музыкою ставший».— А. Вознесенский), а в блоковском, высоком и строгом смысле:

«Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышать музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая «сухая материя» — сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки достучаться нельзя» («Интеллигенция и революция»).

Да, слова, называющие по имени события и реалии режима, беспощадны, а порою и сухи, однако Ямпольский, уравновешивая гнетущую немузыкальность своего сюжета, словно бы ставит невидимые ноты над этими сухими и беспощадными словами; музыкой, то есть «строем», вкусом и мерой, защищая и поруганную человечность, и попранное достоинство российской прозы. Дух музыки, незримо присутствующий в романе, исключает и любительщину, и пошлость, и приблизительность — все те литературные «мхи» и «лишайники», что возводил «на престол» темный ужас безвременья:

«Это было время коммерческих ресторанов, Сталинских премий, лакировочных романов-близнецов, судов чести, которые в историю вошли как суды бесчестья, когда бездарность была синонимом благонадежности, бессилие крушило силу и вперед вырывались самые низменные, самые бесчестные, самые коварные, на престол поднимались мхи, и зима царила в стране моей...»

Музыкой достукивается и автор «Московской улицы» до нашей досознательной памяти. Достукивается — и сквозь нынешний образцово-показательный, пешеходный, деловой, практичный, почти что фирменный Арбат, и сквозь уже миновавший, окуджавский, проступает его прежний режимный облик.

«Это была самая шумная, грохочущая, жадная улица, напоминающая аэродинамическую трубу... а в этой трубе и спишь, и ешь постную картошку, читаешь газеты и романы, ссоришься, и целуешься, и болеешь гриппом, и тоскуешь...»

В наши дни все множатся версии, толкующие причины репрессий.

И я еще раз перечитала «Московскую улицу»: а вдруг в одном из чуланов со злым и ржавым замком припрятан ключик и от этих загадок? И в самом деле... «Террор родил страх»,— это я уже В. Амлинского цитирую, его версию сталинизма, в 3-м номере «Юности». А может, и наоборот: страх родил террор? Страх, умноженный на чувство вины, не иллюзорной, а реальной? А что, если и тот, по чьей вине сверху шли директивы, тоже убегал, петляя, запутывая следы, и от страшного суда истории, и от своих органов? Ведь это же он сам натренировал их так, что мгновенно «стирали в порошок» любого члена ЦК. Если к моменту ареста Бухарин знал: усомнись Сталин в себе, «подтверждение последовало бы мгновенно», то почему не допустить, что об этом свойстве своего аппарата и генсек по крайней мере догадывался?

А что, если и ему было страшно? И в кремлевских убежищах, и на бесчисленных ближних и дальних дачах, а пуще всего — когда проезжал по узкому перешейку Старого Арбата? И что именно страха и здесь было больше, чем всего остального, вместе взятого?

Во всяком случае, изображенный Б. Ямпольским режимный Арбат — с тенями «топтунов», наложенных на это изображение как теневой силуэт,— очень уж похож на коридоры кремлевских лабиринтов — о них рассказывал Л. Гурунцу адмирал И. С. Исаков, один из чудом уцелевших «любимцев» Сталина (Л. Гурунц. «Из записных книжек». «Звезда», 1988, № 3):

«Коридор этот под прямым углом ломался, по углам едва угадывались силуэты охраны. Коридор ломался несколько раз то вправо, то влево... Было мучительно от обильного света, оттого что идешь, как слепой...

Я сказал:

— Не слишком ли много света?

Сталин не сразу ответил...

— Вы хотите сказать: не слишком ли много охраны?

— Да, пожалуй, и это.

Сталин снова задержался с ответом. Потом медленно, едва слышно, выцедил:

— Не в том беда, что много света или много охраны. Беда в том, что я не знаю, когда и кто из этих негодяев пустит мне в затылок пулю».

Алла МАРЧЕНКО

Черно-белое кино

•

Юрий Левитанский. Годы. М., Советский писатель, 1987; **Из книги «Белые стихи»**, «Знамя», 1987, № 4; **«Я люблю твой свет и сумрак»**. Интервью. «Юность», 1987, № 5.

•

Литературные события последних лет выявили наиболее слабое, уязвимое место нашей культуры — философию истории. Стало очевидным, что чем менее способен автор к самостоятельной выработке такой философии, чем легче подменяет он ее коллективной или групповой идеологией, тем меньше вероятность появления настоящей литературы. И наоборот — чем оригинальнее и глубже разработана индивидуальная историческая картина мира, тем интереснее и художественные результаты. Это равно справедливо по отношению и к роману, и к малой прозе, и к стихам. Насущными и жизненно необходимыми оказались для нас сегодня вопросы о политической власти, о ее реальных носителях, о степени вовлеченности отдельной личности в политический процесс, о власти и народе, наконец — о самой политической культуре русского народа, которая, в свою очередь, не может нормально развиваться без философии истории, общей и индивидуальной.

Но неужто мы вспомнили (или нам напомнили) обо всем этом только сегодня? Неужто в «застойном вчера» вопросы эти не тревожили нас, неужто мы о них почти не думали? Думали, еще как думали! Ведь нынешнее кипение страстей вокруг «болевых точек» нашего прошлого и настоящего и есть продолжение тех долгих, тяжких, казавшихся бесплодными дум. И как ни парадоксально, поэзия в этом смысле давала нам не меньше (а то и больше) других литературных родов: она держала наш интеллект и душу в постоянном напряжении, не позволяя им лениться. Так, прочитанные сегодня — после всего, что мы успели узнать за три года,— стихи Юрия Левитанского обнаруживают философско-историческое качество, прежде как-то не замечаемое. Это, между прочим, имеет прямое отношение к вопросу о «белых пятнах» на литературной карте: постепенное заполнение их не только не заглушает уже известное, но напротив — высвечивает его неожиданные ракурсы.

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Я не сразу замечаю, как проигрываешь ты
от нехватки ярких красок, от невольной немоты.
Ты кричишь еще беззвучно. Ты берешь меня сперва
выразительностью жестов, заменяющих слова.
И спешат твои актеры, все бегут они, бегут —
по щекам их белым-белым слезы черные текут.
Я слезам их черным верю, плачу с ними заодно...
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!
Ты накапливаешь опыт и в теченье этих лет,
хоть и медленно, а все же обретаешь звук и цвет.
Звук твой резок в эти годы, слишком грубы голоса.
Слишком красные восходы. Слишком синие глаза.
Слишком черное от крови на руке твоей пятно...
Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Выбор и использование образа кинематографа — как жизнеорганизующего начала, руководства извне — дело не столько эстетических пристрастий, сколько исторической реальности. В жизни поколения, к которому принадлежит Ю. Левитанский, этот вид искусства играл невероятно большую роль. «То было время царствия кино, немалую оно взвалило ношу. История — оно. Мораль — оно. Эстетика, политика — оно же»,— писал Слуцкий. А вот воспоминания Константина Симонова: «Он (Сталин.— **В. Ш.**) любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссеров... Он ничего так не программировал — последовательно и планомерно,— как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами» («Знамя», 1988, № 4). И все же не надо было в период стагнации как-то уж особенно напрягаться, не надо было быть «специальным» читателем, натасканным на «сам-» и «тамиздате», чтобы понять, что говорил поэт. Всякий имеющий уши слышал. «Всего и надо, что вчитаться,— боже мой, всего и дела, что помедлить над строкой — не пролистнуть нетерпеливою рукой, а задержаться, прочитать и перечесть».

Но мы вообще плохо умеем читать книги стихов. Вначале пробегаем глазами то, что уже знаем, потом то, на что случайно натолкнемся, а уж потом остальное, если задело... Между тем поэты особенно трудятся над составлением своих книг: ибо порядок, в котором стихи должны появляться перед читателем, сам по себе рождает новое эстетическое качество — из сопряжения стихов давних и недавних, простых и сложных, быстрых и замедленных. «Выражаясь в несколько высоком штиле,— говорил Левитанский об одной своей книге,— она построена по принципу симфонии — аллегро, анданте, скерцо, аллегро. Это, вероятно, и придало ей тот музыкальный лад, ту незаметную для глаза, а все же ощущаемую и слышимую опытным читателем некую музыкальную гармонию». То же, в сущности, можно отнести и к последней книге поэта «Годы», добавив еще, что каждая часть ее — стихи «Кинематограф» (1970), «День такой-то» (1976), «Письма Катерине» (1981), «Белые стихи» — имеет самостоятельное завершенное построение. Общий

смысл книги — смысл лейтмотива — в окликающих, уточняющих, подтверждающих друг друга моментах. Они то предвосхищают последующее, то возвращают к предыдущему, крутятся, скользя по спирали, на каждом витке внося в разработку темы что-то иное, давая все новые и новые вариации...

Философия истории отнюдь не предполагает непременных исторических иллюстраций (их у Левитанского очень мало, «Петербургские гравюры» — вопрос особый). Философия истории в данном случае прежде всего чуткий слух на сам ход истории и ясное осознание себя как р я д о в о г о участника исторического действа. В философской балладе «Песочные часы» подобное мироощущение реализовано емко и точно:

Я был частицей этого песка,
участником его высоких взлетов,
его жестоких бурь,
его падений,
его неодолимого броска,
которым все мгновенно изменялось,
того неукротимого броска,
которым неуклонно измерялось
движенье дней, столетий и секунд
в безмерной череде тысячелетий...

Такое восприятие места отдельной личности в истории кажется необычным на фоне общей потребности и, конечно, реальной необходимости активно и декларативно отстаивать самостоятельность каждого — «не винтиками мы были...» или «мы песчинки? но которые жерла пушечные рвут». Это, наверное, главная в нашей поэзии альтернатива эпохе сталинизма. Внутренне с нею солидаризируясь, Левитанский тем не менее принципиально отказывается от притязаний на особенность, отважно стремится смотреть на свою жизнь с точки зрения вечности, ибо «замысел, который движет нашей рукою, выше, чем вымысел, который доступен нашей руке».

Стихотворение «Песочные часы» — «сон». Есть еще у Левитанского «Сон о забытой роли», «Сон об уходящем поезде», «Сон о дороге» и много других снов, включая «Прогулку с Фаустом» — ведь тогда «остановилось время», но «шли часы». Сам по себе «сон» не только облегчает высказывание, он отражает ту зыбкую территорию между внешним и внутренним миром человека, на которой происходит освобождение от пут обыденного и активизация творческого начала. И как раз «сны» Левитанского имеют обычно историческую подпочву — будто сознание пробивается сквозь толщу времени назад, к историческим предпосылкам своего опыта.

Особого разговора требует стихотворение «Сон о рояле» (из книги 1970 года). Своими опорными «перекрытиями», своими главными мыслями (сегодня мы имеем возможность это увидеть) оно корреспондирует с романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Масштабное по размаху видéние Левитанский умещает в двадцать три четырехстрочные строфы. Привожу вподбор четыре заключительные: «Кончалась музыка и корчилась, в конце концов уже звеня. И вскоре там, где она кончилась, лежала черная земля. И я не знал ее названия — что за земля, что за страна. То, может быть, была Германия, а может быть, и не она. Как бы чертеж земли, погубленной какой-то страшною виной, огромной крышкою обугленной лежал рояль передо мной. И я, в отчаянье поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант помешанный опять к роялю подходил». Обращает на себя внимание здесь и необычное (впрочем, не такое уж и необычное, если вспомнить об Адриане Леверкюне) сопряжение политической темы с музыкальной, ибо она принадлежит системе Левитанского. И если «кинематограф» для поэта то, что стремится регламентировать жизнь всех вместе и каждого в отдельности, то «музыка», идущая из космоса и природы и из отзывающейся им души, стремится, напротив, к бесконечному освобождению человека.

Стихия мелоса питает поэзию Левитанского. Отсюда, кстати говоря, и признание «примата ритма над рифмой», о котором поэт не раз заявлял, и великолепные верлибры, и ворожащие, гипнотического действия повторы-заклинания:

Я говорю вам — послушайте,
о, не печальтесь,—
о, не скорбите безмерно о вашей потере —
ибо я помню, что где-то на пятой странице
вы все равно успокоитесь и обретете.
Я говорю вам — не следует так убиваться,
о, погодите, увидите, все обойдется —
Ибо я помню, что где-то страниц через десять
вы напеваете некий мотивчик веселый.

Музыка — и символ искусства (жизнь коротка, а музыка прекрасна!), и наиболее совершенная метафора земного и космического бытия, и источник жизненной силы. Взаимопереливаются сущности музыки и природы: «А листья будут падать, будут падать, и ровный звук, таящийся в листве, напомнит о прямом своем родстве с известною шопеновской сонатой».

Иногда критики поддаются искушению очевидным и сводят творчество Левитанского к у ч е б н и к у д о л г а, к набору правильных правил. Да, чувство долга и в самом деле у поэта императивно: «Делаю то, что должен, а не то, что хочу. Тяжкий крест несу терпеливо, тяжкий камень в гору качу» — это строки из новой книги «Белые стихи». Нельзя, однако, придумать ничего более чуждого для поэзии, чем «правильность». Поэтому история Сизифа («Проторенье дороги») решается Левитанским подчеркнуто м у з ы к а л ь н о и уже потому диалектично: «Проторенье дороги, евангелье от Сизифа, неизменное, как моленье и как обряд, повторение до, повторенье ми, повторение **мифа** (обратите внимание на игру омонима.— **В. Ш.**), до-

ре-ми-фа-соль одним пальцем сто лет подряд». Левитанский постоянно показывает диалектическую связь бесчисленных повторов жизни вообще и конкретной единственности твоей судьбы, твоих усилий, потому что все уже было и все потом будет, «а теперь это с нами, теперь это с нами самими»...

Кроме того, его Сизифа представляешь лучше не во время подъема, а во время спуска, во время краткой передышки. Как писал в «Мифе о Сизифе» Альбер Камю, «час, когда можно вздохнуть облегченно и который возобновляется столь же неминуемо, как и само страдание, есть час просветления ума... И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с полным презрением». Сизиф Левитанского — это именно Сизиф в час просветления ума, человек, с иронической — иначе невозможно! — улыбкой взирающий на испытания, уготованные ему богами, на тяжесть и безнадежность своего удела. «Мне нравится иронический человек... Он, в сущности, героический человек».

«Что... дает ирония лирике? В чьем творчестве... этот синтез наиболее плодотворен?» — спросили однажды у Левитанского. И поэт ответил *иронически*, то есть невпрямую и впрямую, с усмешкой и всерьез: Чехов и его стихи «Милого Бабкина алая звездочка. Юность по нотам аллегро промчится...» (музыкальный образ наверняка сыграл не последнюю роль в этом предпочтении). Да, так у Чехова: когда человеку по-настоящему плохо, он ходит и посвистывает... Часто за иронию принимают надменную глумливость, в связи с чем неизбежно возникает вопрос: почему, дескать, это человеческое выражение должно почитаться за одно из высших? Но ирония, «улыбка духа», дает возможность, выражая сокровенное, избежать патетики, слезливости, сострадательного отношения к себе, словом, всего, что претит метафизике искусства, и тем самым выразить сокровенное полнее. «Она есть самая свободная из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над самим собой»,— заметил специалист по данному вопросу.

Ирония Ю. Левитанского — вовсе не победная или самодовольная усмешка и даже не способ снятия противоречий. Ирония — это позиция, мировоззрение, судьба, наконец. «Хочу опять туда, в года неведенья, где так малы и так наивны сведенья о небе, о земле... Да, в тех годах преобладала вера, да, слепая, но как приятно вспомнить, засыпая, что держится земля на трех китах... Какой ценой, ценой каких потерь я оценил, как сладостно незнанье...».

Человек всегда «заброшен» в определенную историей ситуацию: в ней он делает выбор, с ней связывает надежды и разочарования, в ней он развивается, к ней относится, реализуя себя таким образом исторически. И малая, индивидуальная ирония есть один из принципов отношения к большой «иронии истории»; «Сомнений дух над нами не витал, и в двадцать лет, доверчивый не в меру, уже скопил я круглый капитал готовых истин, принятых на веру». Безапелляционность, категоричность иронии враждебны, и единственный для нее адекватный способ выражения — диалектика. Как говорит сам Левитанский, его вечно томило «стремление избежать по возможности прямого, лобового выражения своих чувств, состояний, настроений». И отсюда — потребность во все новых уточнениях, потребность, стремящаяся к бесконечности, так как высказанное изначально не завершено: «хочется увидеть все и с этой стороны, и с той, и еще с этой...»

Однако при явной необычности стихотворной интонации Левитанского его словарь подчеркнуто традиционен. В этом стремлении пользоваться «обычным» поэтическим языком мне видится еще одно проявление философско-исторического импульса — быть как все. Такое может себе позволить (без риска раствориться в «массе», обезличиться в ней) только очень сильная индивидуальность. Левитанский — может.

Ну что с того, что я там был.
Я был давно. Я все забыл.
Не помню дней. Не помню дат.
Ни тех форсированных рек.
Я неопознанный солдат.
Я рядовой. Я имярек...

Виктория ШОХИНА

Сказка русской жизни

•

Юрий Кашук. Месяцеслов. Слово о русской зиме. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство, 1987.

•

Говоря во вступительном «Посвящении» о цели «Месяцеслова» — заинтересовать широкий круг современных читателей древней фольклорной культурой, ярко воплощенной в народном календаре, самым тесным образом связанном с укладом жизни русского крестьянина, автор пишет: «...Хочу привлечь новые силы к обновлению связи времен, к тому, чтобы мудрость и красота, нашедшие выражение в Месяцеслове, были поняты нами и вошли бы в наш духовный мир». Он подчеркивает, что «прикасается» к Месяцеслову, «чтобы новые поколения имели хоть начальное представление о

том, какие духовные миры сотворены нашим народом».

Эта цель, на мой взгляд, более чем оправданна: сохраняя в памяти обрывочные сведения об отдельных датах народного календаря — о том, например, что на Масленицу положено печь блины,— мы совершенно не представляем себе общую картину народной жизни как единства «круга крестьянского труда, круга домашнего, семейного и мирского быта, круга праздников, обычаев и традиций, круга явлений природы» (Ю. Кашук). Что же касается русской языческой мифологии, богатой и самостоятельной по отношению к христианской традиции, то древнегреческие мифы известны нам не в пример лучше.

Из годового круга Месяцеслова автор выбирает период с октября по март — «главную сказку русской жизни: о том, как борются Лето с Зимой, как сражаются Свет со Тьмой». От главы к главе — от Покрова до Масленицы — прослеживается зимний сюжет русского календаря, идет рассказ о приуроченных к каждой дате трудах, праздниках, обрядах, поверьях.

С первых же страниц книги Юрия Кашука «Месяцеслов» дает почувствовать то горячее, поэтическое отношение автора к предмету рассказа, которое определяет тон всего дальнейшего повествования. Здесь объединяется опыт прозаика, поэта и собирателя фольклора, что делает книгу весьма своеобразной.

Жанр ее необычен: он представляет собой нечто среднее между публицистикой и художественным произведением. Каждая глава состоит из народных примет, песен, поговорок, перемежающихся авторскими информативными справками, лирическими рассуждениями, стихами. В центре повествования остается автор-рассказчик. Пропуская фольклорную культуру прошлого через свое восприятие, Кашук не столько рассказывает, сколько разыгрывает на глазах читателя зимний Месяцеслов, стремится представить его тем, чем он был для русского крестьянина, то есть вечной импровизацией по канве раз и навсегда установленного сюжета. Чаще всего автор иллюстрирует рассказ о каком-либо обряде или поверье собственным стихотворением на ту же тему: таково стихотворение «Каженик» — о человеке, которому вечно кажется недоброе; «Огненный Змей» — о Змее, что в крещенский вечер морочит одиноких девушек, и многие другие. Можно спорить о поэтических достоинствах этих стихов. На мой взгляд, они непритязательны и свободно вписываются в общий тон книги. Но самое яркое впечатление оставляют две небольшие вставные новеллы, непосредственно посвященные народным песням: «Виноградиё» и «Песни подблюдные (Святки в заливе Аляска)».

В отличие от прочих частей «Месяцеслова» эти две главы не пестрят разнообразием сообщаемых сведений, не развлекают взгляд непрерывной сменой стихов и прозы, примет и поговорок, песен и обрядов. «Все тихо, просто» в них. Первая новелла посвящена одной-единственной предновогодней песне, ею начинается, ею и заканчивается, а в промежутке автор пытается вспомнить, когда и где, в каком уголке России слышал он эту песню. И за простым перечислением мест, куда заносила судьба его семью — Дальний Восток, Беломорканал, Сибирь, снова Дальний Восток,— встает связанная с этими названиями недавняя история нашей страны, в которой, кажется, неоткуда взяться прекрасному переливчатому «виноградию». Автор вспоминает, где и от кого слышал другие песни: «Без ноги ли, без руки с фронта едут мужики». А заветная песня — чья, откуда — не вспоминается, просто «поется сама собой». Вот и весь рассказ о «виноградии». Откажу себе в удовольствии привести отрывок из самой песни, скажу только, что она и впрямь показалась удивительно знакомой и мне, и всем, кому я показывала ее, чтобы проверить впечатление,— а уж нам-то заведомо негде было ее услышать.

Вторая история — «Святки в заливе Аляска» — тоже очень простая. «На плавучем краборыбоконсервном заводе» женщины-работницы собрались под старый Новый год погадать и пригласили автора — наблюдать гаданье и слушать «подблюдные» песни. Работницы, завербованные из разных уголков России, поют одна за другой, каждая песни своего края — «к счастью, к свадьбе, к скорой радости, к богатству, к встрече». А когда гаданье закончилось, стали вспоминать грустные. «Самая маленькая из гостий» попросила разрешения спеть песню, которую «мама под Новый год всегда сама себе пела»,— и запела вдовью песню с тягучей руладой в каждой строке, а на последних звуках спрятала лицо в ладони... Сугубо описательный стиль, отсутствие всякой стилизации и патетики делают рассказ очень естественным и выразительным. Не буду утверждать, что вся книга должна была бы состоять из подобных новелл,— собранный материал просто не вместился бы в такую форму, но несомненно одно: две названные главы представляют собой художественную кульминацию «Месяцеслова».

В книге собрано много любопытного и занимательного фольклорного материала. Сами за себя говорят названия дат: Наум Грамотник (день отдачи детей в учение), Аксинья Порезуха (в селе режут поросенка для встречи Нового года), Онисим Овчар («окликают звезды, чтобы овцы ягнились»), Тарас Бессонный (запрещается спать днем, чтобы не напала Кумоха-лихорадка), Семен с Анной сбрую чинят («на Семена с Анной медведь в берлоге заворочался, мужик о молотьбе задумался»).

Большое внимание Ю. Кашук уделяет «вершинному творению народа — языку». Отмечая разрыв связи с вековыми культурными и бытовыми традиция-

ми, он с болью и жаром пишет об оскудении языка: «Это теперь мы говорим просто «снег». А раньше для разных снегов было свое слово. Самый крупный, идущий хлопьями, назывался «пушной», или «кидь», или «пад». Мокрый полудождь был «лепень» или «рянда». Вихревой снег, кроме теперешних, сохранившихся метели, вьюги, бурана, пурги, носил имена «заметь», «кура», «хурта», а также «волокуша», «сипуха» и многие еще — и все это были разные погоды!» И далее: «...А вот вырубить, иссушить, спалить и выкорчевать живую тайгу языка — это вполне доступно умыслу с недомыслием рука об руку...» (глава «Солнцеворот»). Вовлечение забытых слов в живую битву речи и есть, как мне кажется, основная роль авторских стихов в тексте. Автор как бы создает прецедент для подражания. В тех случаях, когда слово в стихотворной ткани останавливает внимание, запоминается, опыт можно считать удачным. Так, по-моему, произошло в стихотворении «Чигирь-звезда» из одноименной главки: «Звезда едина именем Чигирь, Указчица, надежда и порука! Проходят войны, мятежи и гиль, Сменяется прилукою разлука...» Впрочем, пусть об этом судит каждый вновь читающий.

В конце книги находится своеобразный справочник — полный зимний календарь. Здесь можно узнать, как одна и та же дата называлась в разных уголках России, как название связано с крестьянским бытом, историческими событиями, языческими мифами. Это вполне необходимое к свободному лирическому повествованию дополнение.

Дальневосточное издательство позаботилось о том, чтобы сделать «Месяцеслов» ярким и привлекательным на вид, как того и требует содержание. Правда, художественное оформление может вызвать двойственное отношение: очень удачно вписываются в текст небольшие, стилизованные под народный лубок картинки, данные заставками к каждой главе (художник С. Голощапов); на разворотах же помещены иллюстрации, выполненные в совершенно противоположной манере, и соседство двух несовместимых художественных стилей под одной обложкой несколько озадачивает. Впрочем, это не мешает перелистывать книгу с удовольствием. Что же касается содержания, то, без сомнения, люди самых различных интересов, возрастов и профессий могут найти в «Месяцеслове» пищу для сердца и ума.

М. ГЕОРГАДЗЕ

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. рвдактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 30.06.88. Подписано к печати 03.08.88. А 04932. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 250 000 экз. Заказ № 2706.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.